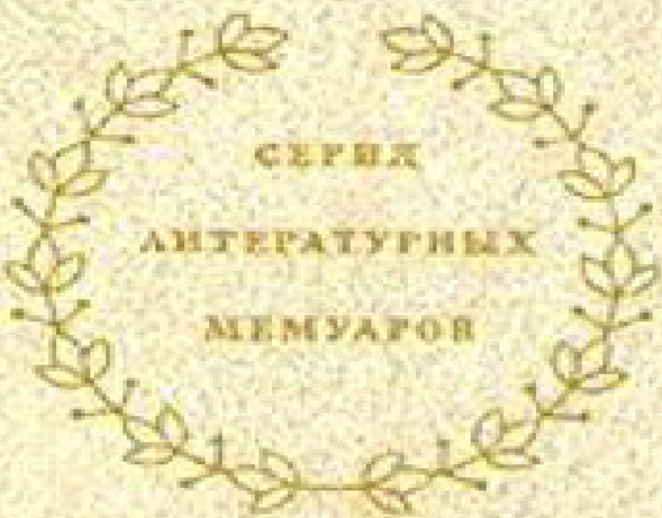
А. С.
ГРИБОЕДОВ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ



SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В сборник вошли наиболее значительные и достоверные воспоминания о великом русском писателе А. С. Грибоедове: С. Бегичева, П. Вяземского, А. Бестужева, В. Кюхельбекера, П. Каратыгина, рассказы друзей Грибоедова, собранные Д. Смирновым, и др.

•

А. С. ГРИБОЕДОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

Оглавление

С. А. Фомичев. Личность Грибоедова

Все, что мы знаем о человеке отдаленной эпохи, мы черпаем, казалось бы, только из трех источников: из собственных его дневников и писем, из официальных документов и из воспоминаний его современников. Каждый из этих источников имеет свои достоинства и недостатки. Откровенная, искренняя самохарактеристика может граничить с самообманом. Точность документа тоже бывает призрачной. Воспоминания же современников крайне противоречивы. Здесь нужно принимать во внимание и вполне понятные ошибки памяти (обычно воспоминания пишутся на склоне лет), и беллетризацию действительных событий, и намеренное искажение истины в силу разных причин (цензурных, пристрастных, деликатных и т. п.), и поспешность суждений случайных знакомых, вольно или невольно преувеличивающих степень близости к знаменитому современнику.

Впрочем, субъективность восприятия – недостаток относительный. Вступающие подчас в резкое противоречие свидетельства различных людей о своем современнике в своей совокупности сохраняют живой его облик, изменчивый, неоднозначный, полнокровный. Но и самые достоверные мемуары – тем не менее, всего лишь "слова, слова, слова". В памяти же последующих поколений человек остается, прежде всего, своим делом, и к нему, в конечном счете, примеривается все остальное. Позднейшие догадки и домыслы соперничают с фактами – тем более успешно, если по каким–то причинам вспоминания о выдающемся деятеле (да и официальные свидетельства о нем) долгое время находятся под спудом. Тогда недостаток

информации компенсируется воображением: в восприятии следующих поколений закрепляется легенда о загадочной личности.

Так случилось с Грибоедовым.

1

"Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов", – с горечью заметил в 1835 году о Грибоедове Пушкин. Поэт знал, конечно, что биография Грибоедова пять лет назад была уже опубликована. Принадлежала она перу Ф. В. Булгарина, поспешившему объявить себя самым преданным другом покойного. Современниками эта претенциозная попытка была справедливо оценена как величайшая бестактность.

Ты целый свет уверить хочешь,
Что был ты с Чацким всех дружней. Ах ты бесстыдник, ах злодей!
Ты и живых бранишь людей,
Да и покойников порочишь, —

писал Вяземский (О взаимоотношениях Грибоедова с Булгариным см. на с. 394–398 наст. изд.).

Призыв Пушкина остался безответным, и не стоит строго винить друзей драматурга в том, что они не выполнили своего долга. Когда спустя четверть века после гибели Грибоедова самый близкий ему человек, Степан Никитич Бегичев, предпринял попытку рассказать о друге, он заполнил воспоминаниями лишь тонкую тетрадочку и так и не решился отдать ее в печать. Вчитываясь в его записку, мы сейчас понимаем, почему во многих случаях мемуарист вынужден переходить на невнятную скороговорку, многое утаивать.

Вспоминая петербургские годы Грибоедова (1815–1818), Бегичев замечает: "С его неистощимой веселостью и остротой, везде, когда он попадал в круг молодых друзей, был он их душой", – и далее переходит к повествованию о театральных знакомствах Грибоедова. Но ведь круг петербургских друзей молодого драматурга был неизмеримо шире – и прежде всего это были молодые вольнолюбцы И. Д. Якушкин, П. Я. Чаадаев, С. П. Трубецкой, И. Д. Щербатов, Я. Н. Толстой [Активный деятель ранних декабристских организаций Я. Н. Толстой в 1835 г. писал о Грибоедове как об одном из "ближайших друзей своих" [ЛН, 47–48, с. 104).], П. А. Муханов и многие другие. О них в воспоминаниях Бегичева нет ни слова, как нет ни слова и о том,

что сам Бегичев в эти годы вступил в Тайное общество.

"Не имею довольно слов объяснить, до чего приятны были для меня частые (а особливо по вечерам) беседы наши вдвоем", – свидетельствует Бегичев и ограничивает темы этих бесед литературными замыслами и персидскими впечатлениями друга. Но ведь были и иные темы! "Вспомни наш разговор в Екатерининском, – напишет в конце 1826 года Бегичеву Грибоедов. – Теперь выкинь себе все это из головы. Читай Плутарха, и будь доволен тем, что было в древности. Ныне эти характеры более не повторятся".

"На возвратном пути из Петербурга 1825 года Грибоедов... проехал в Грузию через Крым, который желал видеть. А в начале 1826 года отправлен он был генералом Ермоловым по делам службы в Петербург", – говорит Бегичев, помня, конечно, что в Грузию Грибоедов отправился прежде всего через Киев, куда специально для встречи с ним собрались руководители Южного тайного общества. "По делам" же "службы" – глухой намек на арест Грибоедова, препровожденного с фельдъегерем в Петербург, и на его более чем стодневное заключение.

О гибели Грибоедова Бегичев только обмолвился: "всем известна его трагическая кончина", и четверть века спустя эта тема была запретной для печати. Официальная точка зрения на катастрофу в Тегеране была установлена задолго до того, как были получены сколько–нибудь подробные о ней сведения. В отношении министра иностранных дел от 16 марта 1829 года к командующему Кавказским корпусом указывалось: "При сем горестном событии его величеству отрадна была бы уверенность, что шах персидский и наследник престола чужды гнусному и бесчеловечному умыслу и что сие происшествие должно приписать опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова, не соображавшего поведение свое с грубыми обычаями и понятиями черни тегеранской..." [Журн. "Русская старина". СПб., 1872, Ќ 8, с. 194–195.] Сомневаться в такой трактовке событий впоследствии не дозволялось.

Многое могли бы припомнить о Грибоедове и другие его ближайшие друзья: Вильгельм Кюхельбекер, Александр Одоевский, Александр Бестужев – из них только последний попытался описать знакомство с Грибоедовым (записка эта появилась в печати в 1860 г.), но смог коснуться лишь нейтральных тем, и, не будь его показания в Следственном комитете: "С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я нередко мечтал о желании преобразования России", – мы были бы вынуждены оцепить их знакомство как чисто литературное.

Конечно, знакомства Грибоедова не исчерпывались

декабристским кругом. Среди товарищей его были писатели и артисты, композиторы и музыканты, профессора и путешественники, офицеры и генералы, чиновники и дипломаты, польские изгнанники и грузинские друзья... Многие из них нам хорошо известны; о других мы с трудом выискиваем сведения; о третьих только догадываемся. Кто, например, скрывался за инициалами П. Н., помеченными в путевом журнале драматурга 1819 года в списке его близких, которым он, по–видимому, собирался писать, – быть может, это инициалы той женщины, от любви к которой Грибоедов "чернее угля выгорел" (см. его письмо к Бегичеву от 4 января 1825 г.)?

Грибоедов отнюдь не был замкнутым человеком, как это закрепилось в легенде: он тянулся к людям и люди тянулись к нему; вынесенная из гусарских лет привычка к непринужденному дружескому общению с окружающими позволяла ему легко заводить новые знакомства. И жизнь его складывалась так, что сферы его общения причудливо менялись: огромное, по–московскому чтимое родство и свойство в детстве, университетские приятели, сослуживцы–гусары в годы войны, потом кавалергарды, преображенцы, семеновцы в Петербурге, литераторы и театралы, чиновники Коллегии иностранных дел, кавказские и персидские приятели и недруги, новые московские и петербургские знакомства 1823–1825 годов, встречи в Киеве и в Крыму 1825 года, товарищи по гауптвахте Главного штаба 1826 года, и снова Кавказ, и снова Персия,

Об этом необходимо вспомнить, чтобы оценить сравнительную бедность мемуарной литературы о Грибоедове. Менее десятка специальных мемуарных очерков, ему посвященных; почти столько же пространных и связных рассказов мы можем извлечь из записок и дневников его близких и дальних знакомых, в остальном же – множество мимолетных штрихов к характеристике Грибоедова, сохранившихся в воспоминаниях и письмах его современников. Дробность этого материала, проникавшего в печать в разных изданиях и в разные годы (в основном в конце XIX века), затрудняла целостное представление о реальном облике Грибоедова.

Личность его представлялась загадочной и странной.

2

Странной казалась судьба Грибоедова уже ближайшим его потомкам. С одной стороны, автор полузапрещенной комедии, отчаянно смелой сатиры, известной более по спискам, нежели по печатным изданиям (напомним, что без цензурных изъятий это произведение в России было опубликовано лишь в 1862 году). С

другой – опытный дипломат, в несколько лет сделавший блестящую карьеру, оборванную трагической гибелью. "Грибоедов Александр Сергеевич мало известен, – век спустя писал Н. Я. Берковский. – Грибоедов построил "Горе от ума". Еще популярна тегеранская смерть Грибоедова и, кажется, надпись, сделанная женой на памятнике" [Н. Я. Берковский. Текущая литература. М., 1930, с. 184.]. По законам легенды два этих события (создание "Горя от ума" и гибель автора) подавляют, как будто засвечивают все остальное, накладываются одно на другое. Остается единственное – горе от ума. Сначала вольнолюбивые идеалы юности, дружба с декабристами, творчество – потом трезвый расчет, чины и награды, дружба с Булгариным, творческое бесплодие... Перевел – 14 декабря 1825 года, Следственный комитет и "очистительный аттестат".

Такова схема, которая нередко определяла беглые замечания и пространные суждения о Грибоедове. Убогая схема! Ибо в нее не вписывается главное дело жизни Грибоедова – его бессмертная комедия.

"Горе от ума"... – изумлялся А. Блок, – я думаю, – гениальнейшая русская драма; но как поразительно случайна она! И родилась она в какой–то сказочной обстановке: среди грибоедовских пьесок, совсем незначительных; в мозгу петербургского чиновника с лермонтовской желчью и злостью в душе и с лицом неподвижным, в котором "жизни нет" [А. Блок. Собр. соч. в 8–ми томах, т. 5. М.–Л., 1962, С 168.].

Цитирует здесь Блок стихотворение Баратынского "Надпись", которое считалось посвященным Грибоедову и которое – как это давно неопровержимо установлено – не имеет к нему никакого отношения. Но до сих пор, открывая популярный роман Ю. Тынянова "Смерть Вазир–Мухтара", мы вслед за заглавием читаем эпиграф:

Взгляни на лик холодный сей,
Взгляни: в нем жизни нет;
Но как на нем былых страстей
Еще заметен след!

Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратив прежний грозный рев,
Храня движенья вид.

И возникает в памяти позднейший, написанный в 1873 году портрет Грибоедова кисти Крамского. Высокий, гладкий лоб

спокойного мыслителя, черные густые брови, оттеняющие мраморную бледность лица, взгляд сквозь очки, прикованный к чему–то стороннему, тонкие губы, язвительно сжатые в полуусмешке... Холодный лик...

Проверим это впечатление свидетельствами современников.

"Грибоедов был хорошего роста, довольно интересной наружности, брюнет с живым румянцем и выразительной физиономией, С твердой речью" (В. Андреев).

"Кровь сердца всегда играла на его лице" (А. Бестужев).

...ты ясен был...
Твои светлее были очи,
Чем среди смехов и забав, В чертогах суеты и шума,
Где свой покров нередко дума Бросала на чело твое, –
Где ты прикрыть желал ее Улыбкой, шуткой, разговором...

(В. Кюхельбекер) Не было, оказывается, холодного лика у Грибоедова!

3

Замечательное единодушие мы встречаем у мемуаристов в определении главного качества личности Грибоедова.

"Это один из самых умных людей в России", – заметил о нем Пушкин, и редкий человек, знавший драматурга, не повторил того же. А это были разные люди, каждый со своим представлением об уме (вспомним рассуждения грибоедовской героини: "...что гений для иных, а для иных чума..."). Обаяние личности Грибоедова было неодолимо. Показательны отзывы о нем педанта и службиста (по–своему неглупого) Н. Н. Муравьева–Карского. "Человек весьма умный и начитанный, – брюзжит полковник при первом знакомстве с поэтом, – но он мне показался слишком занят собой". Чуть позже он через силу, явно нехотя, признает: "Человек сей очень умен и имеет большие познания". И наконец, не может уже подавить невольного восхищения: "Образование и ум его необыкновенны".

Ум Грибоедова воспринимался в качестве абсолютной величины, чуждающейся ограничительных определений (таких, например, как "практический", "язвительный", "книжный" и т. п.). Это необходимо подчеркнуть хотя бы с той целью, чтобы не сводить разговор об уме Грибоедова к нередкому, к сожалению, в критической литературе суррогату: политическому скептицизму. Вспомним одного из первых биографов писателя, благонамеренного его почитателя Д. А. Смирнова, простодушно убежденного в том, что "Грибоедов, собственно, не принадлежал к

заговору (декабристов)... уже потому не принадлежал, что не верил в счастливый успех его. "Сто человек прапорщиков, – часто говорил он, смеясь, – хотят изменить весь государственный быт России!" ["Беседы в Обществе любителей российской словесности при Московском университете", М., 1868, вып. 2, с. 20.]. От кого слышал биограф об этой фразе? Ближайшим друзьям драматурга запомнилось нечто противоположное. С. Бегичев вспоминал, как Грибоедов однажды сказал, "что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся, – продолжает Бегичев, – и отвечал: "Бред поэта, любезный друг!" – "Ты смеешься, – сказал он, – но ты не имеешь понятия о восприимчивости и пламенном воображении азиатцев! Магомет успел, отчего же я не успею?" И тут заговорил он таким вдохновенным языком, что я начинал верить возможности осуществить эту мысль". Декабрист П. Бестужев писал, в сущности, о том же: "...Грибоедов – один из тех людей, на кого бестрепетно указал бы я, ежели б из урны жребия народов какое–нибудь благодетельное существо выдернуло билет, не увенчанный короною для начертания необходимых преобразований". "Способности человека государственного" в Грибоедове несомненны и для Пушкина.

Но и эти "способности" не исчерпывали ни гения Грибоедова, ни высшей цели его жизни – жизни, исполненной крутыми поворотами судьбы.

В юности Грибоедов избрал ученое поприще. Получив редкое по тем временам систематическое, глубокое и разностороннее образование, он готовился уже к испытаниям на звание доктора прав. Отечественная война 1812 года круто изменила жизненные планы. Сложившийся ученый стал корнетом гусарского полка.

Сразу же после войны он вышел в отставку, чтобы отдаться давно уже осознанному призванию – поэзии. Пришлось, однако, считаться с прозой жизни: средства существования могла обеспечить только служба. "Что за жизнь!.. – посетует Грибоедов в 1819 году. – Да погибнет день, в который я облекся мундиром иностранной коллегии", "...кончится кампания, – мечтает он в 1827–м, – и я откланяюсь. В обыкновенные времена никуда не гожусь... Я рожден для другого поприща".

До конца дней своих не сможет Грибоедов сбросить мундир и отдаться своему призванию. Не сможет он и равнодушно, механически "исполнять обязанности" – будет щедро отдавать ум, дарования, энергию не службе, нет, – а служению отечеству. После его смерти Н. Н. Муравьев найдет в себе силы, чтобы честно сказать: "...Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте... он заменял нам там единым своим лицом

двадцатитысячную армию... не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места".

Деятельный ум Грибоедова вызревал в жизненных испытаниях. "Вот еще одна нелепость, – записывает он в дневнике, – изучать свет в качестве простого зрителя. Тот, кто хочет только наблюдать, ничего не наблюдает, так как, будучи бесполезным в трудах и отяготительным в удовольствиях, он никуда не имеет доступа. Наблюдать деятельность других можно не иначе, как участвуя лично в делах..." Потому и дипломатическое поприще, столь блистательно им освоенное, было для него узким. Проект Российской Закавказской компании, явившийся итогом его изучения Востока, сложился в мыслях человека той эпохи, когда, по выражению Пестеля, "дух преобразования заставлял умы клокотать".

Для обывателя проект этот представлялся одним из грибоедовских чудачеств. "Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, – иронизирует Н. Муравьев, – он сделал проект о преобразовании всей Грузии, коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании наподобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право объявлять соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с соседними державами". Узкий честолюбец, Муравьев и подозревает в проекте прежде всего честолюбивые помыслы; профессиональный военный, он не способен оценить основную созидательную идею замысла возрождения полудикого края "для новой, неведомой ему жизни"; не война, а зиждительный труд увлекает воображение Грибоедова: "Никогда войско, временно укрощающее неприятеля или готовое только истребить его, не может так прочно обуздать и усмирить вражду, как народонаселение образованное и богатое, которое оттеснит до крайних пределов варварские племена или примером своим и обоюдностию выгод сольет их с собою в один состав, плотный и неразрывный. Таким образом, при расчистке лесов или водворения усадеб и хлебопашеств исчезают хищные звери..."

Нет, не случайно педанту и рационалисту Муравьеву Грибоедов представлялся странным человеком. Ум Грибоедова был тоже по–своему очень практичным – но и крылатым, обгоняющим время, поистине свободным. И эта свобода определяла грибоедовский стиль повседневного поведения, чуждающегося строгих этикетных норм, манеру его речи,

вдохновенной и захватывающей, его несветскую откровенность, его просветительское вольнодумство. Конечно, особенно с годами, Грибоедов умел "властвовать собою". Но прав ли Вяземский, писавший на склоне лет о Грибоедове: "Вообще, не был он вовсе, как полагают многие, человеком увлечения: он был более человеком обдумывания и расчета"? Вспомним, что сам мемуарист, рекомендуя драматурга А. И. Тургеневу, писал в 1824 году: "Познакомься с Грибоедовым: он с большими дарованиями и пылом", – а в 1828–м, – наблюдая за Грибоедовым и Пушкиным, с удовольствием отмечал: "В Грибоедове есть что–то дикое... в самолюбии: оно, при малейшем раздражении, становится на дыбы, но он умен, пламенен, с ним всегда весело. Пушкин тоже полудикий в самолюбии своем, и в разговорах, в спорах были у него сшибки задорные".

"Человек обдумывания и расчета" – и "с пылом", "пламенен". Очевидно, так оно и было: и то, и другое. Раскованность поведения Грибоедова – при его уме – вовсе не была плодом простодушия. "Главными отличительными его свойствами были, сколько я мог заметить, – писал Кс. Полевой, – большая сила воли и независимость в суждениях и образе жизни... он не находил ничего невозможного для ума и воли..."

Грибоедов был дипломатом и экономистом, историком и лингвистом, музыкантом и композитором. Но главным делом своей жизни он считал поэзию ("Поэзия!!! Люблю ее без памяти, страстно"); она воспринималась им как средство преобразования жизни – поэзия, находящая отклик в сердцах людей, воспламеняющая и (вдохновляющая их– Такая поэзия требовала от поэта глубоких и разнообразных знаний. "Талант, – по определению Грибоедова, – есть способность души принимать впечатления и живо изображать оные; предмет – природа, а посредник между талантом и предметом – наука". Такая поэзия должна быть мужественной и действенной.

Вот эту сущность грибоедовских высших требований к себе и следует иметь в виду, оценивая его личность, внешнюю неожиданность некоторых его поступков, приступы отчаяния (всегда преодолеваемого, однако), – то противоборство "пылких страстей" и "могучих обстоятельств", которое наложило печать на всю судьбу Грибоедова.

4

Советские исследователи многое сделали для прояснения и личности, и судьбы Грибоедова, обнаружив несостоятельность ряда принципиальных суждений о нем, бытовавших в "веке минувшем" на правах самоочевидных будто бы истин. Важнейшие

открытия их определены утверждением неслучайности, закономерности появления высшего достижения грибоедовского творчества – комедии "Горе от ума", органически связанной с национальной литературной традицией, с литературно–общественным движением первой четверти XIX века. Кровное идейное родство Грибоедова с революционными устремлениями декабристов, его близость к декабристским тайным обществам сейчас, особенно после исследований академика М. В. Нечкиной, тоже не вызывают сомнения. Как ни трактовать решение Следственного комитета, выдавшего драматургу "очистительный аттестат", – как результат заступничества влиятельных Яиц и собственной обдуманной тактики подсудимого, перехитрившего царских сатрапов, или как следствие необнаружения глубоко законспирированных связей петербургских заговорщиков с Кавказским корпусом – в любом случае мы вправе не доверять основательности этого аттестата. Один из самых ближайших друзей Грибоедова А. А. Жандр знал, что говорил, когда на вопрос о "действительной степени участия Грибоедова в заговоре 14 декабря" отвечал уверенно и определенно: "Да какая степень? Полная".

Немало исследований посвящено и дипломатической деятельности Грибоедова, в том числе две книги, О. И. Поповой и С. В. Шостаковича, выявивших дипломатическое искусство Грибоедова и развеявших лживую легенду о нем как "неловком дипломате", якобы виновном в своей гибели.

И все же в судьбе Грибоедова не все окончательно прояснено. Особенно это относится к последним годам его жизни, после поражения восстания декабристов, – то есть к тому периоду его биографии, который представляется наиболее документированным: если бы была издана "Летопись жизни Грибоедова", то едва ли не половину ее составили бы события 1826–1828 годов.

Последний год жизни Грибоедова, как известно, послужил материалом романа Ю. Н. Тынянова "Смерть Вазир–Мухтара", где автор "Горя от ума" представлен жертвой вдруг – после 14 декабря 1825 года – "переломившегося времени".

Роман Тынянова был закончен в 1927 году и с тех пор переиздан десятки раз. Блестящий романист создал прекрасное произведение, в котором главный герой столько же художественно убедителен, сколько и исторически недостоверен. В противоречии между образом и его реальным прототипом нет еще ничего исключительного – достаточно вспомнить Наполеона и Кутузова в романе Л. Толстого "Война и мир". И если концепция Тынянова до сих пор оказывает влияние на трактовку личности

Грибоедова, то только потому, что научной биографии автора "Горя от ума" еще не создано.

Последний период жизни писателя, насильственно оборванной, представляется итогом его судьбы, и это не может не отбрасывать свет на весь его облик. Как бы ни были высоки и прекрасны идеалы молодости, их жизнестойкость проверяется в зрелости, и жалким кажется человек, изменивший своим высоким убеждениям.

С особым вниманием поэтому мы вчитываемся в мемуары, касающиеся последних лет жизни Грибоедова.

5

В 1826 году, после освобождения из–под ареста по делу декабристов, Грибоедов возвратился к месту службы на Кавказ в то время, когда по высочайшей воле была предрешена отставка генерала А. П. Ермолова. Командование Кавказским корпусом перешло к любимцу нового царя, И. Ф. Паскевичу. В ту пору, когда из военной и гражданской администрации Кавказа выживались все ермоловские любимцы, Грибоедов, бывший в числе первых из них, не только уцелел, но и вскоре стал фигурой чрезвычайно влиятельной. "Представь себе, – писал А. Всеволожскому его брат, – что son factotum est (его, т. е. Паскевича, доверенное лицо. – С. Ф.) Грибоедов, что он скажет, то и свято... Подробно все знаю от Дениса Васильевича (Давыдова. – С. Ф.), который всякий день со мной" [С. В. Шостакович. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. М., 1900, с. 120.].

В "Записках Дениса Васильевича Давыдова, в России цензурой не пропущенных", изданных в Лондоне в 1863 году и хорошо известных с тех пор на родине, этому событию посвящено немало горьких слов: "...в Грибоедове, которого мы до того времени любили как острого, благородного и талантливого товарища, совершилась неимоверная перемена. Заглушив в своем сердце чувство признательности к своему благодетелю Ермолову, он, казалось, дал в Петербурге обет содействовать правительству к отысканию средств для обвинения сего достойного мужа, навлекшего на себя ненависть нового государя... в то же самое время Грибоедов, терзаемый, по–видимому, бесом честолюбия, изощрял ум и способности свои для того, чтобы более и более заслужить расположение Паскевича, который был ему двоюродным братом по жене".

Таково обвинение, и если оно справедливо, то все остальное в жизни Грибоедова последних лет предстает в резко определенном свете: расчетливость, карьеризм, непорядочность, которым

пожертвованы идеалы молодости...

Но справедливо ли это обвинение? "Что Грибоедов был человек желчный, неуживчивый, – возражает Давыдову кавказец В. Андреев, – это правда, что он худо ладил с тогдашним строем жизни и относился к нему саркастически – в этом свидетельствует "Горе от ума"; но нет поводов сомневаться в благородстве и прямоте Грибоедова потому только, что он разошелся с Ермоловым или был ему неприязнен при падении, сделавшись близким человеком Паскевичу. Во–первых, он был с последним в родстве, пользовался полным его доверием и ему обязан последующей карьерой; тогда как у Ермолова Грибоедов составлял только роскошную обстановку его штаба, был умным и едким собеседником, что Ермолов любил... Грибоедов, чувствуя превосходство своего ума, не мог втайне не оскорбляться, что он составляет только штат Ермолова по дипломатической части, но не имеет от него серьезных поручений..."

Оба мнения пристрастны, но на стороне первого – авторитет любимца русского общества, поэта–партизана Дениса Давыдова. Однако пусть второй мемуарист ничем не знаменит, это не позволяет с пренебрежением отмахнуться от его показаний. В конце концов, авторитет создателя "Горя от ума" тоже многое значит. И все–таки для выяснения истины важно было бы свидетельство современника, знающего обстоятельства дела из первых рук, но не принимавшего в нем непосредственного участия.

Есть такой свидетель – А. С. Пушкин. "Его рукописная комедия "Горе от ума" произвела неописанное действие, – скажет он, – и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна".

Пушкин знал об обстоятельствах отставки Ермолова – прежде всего от него самого, как знал о тяжелых предчувствиях Грибоедова перед последним его отъездом на Восток – от самого Грибоедова. Но никакого ощущения ущербности грибоедовской судьбы нет в словах Пушкина. "Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни..." – мог ли поэт завидовать предателю?

Должны быть приняты во внимание при анализе этой истории и собственные показания Грибоедова.

В разных по времени отзывах Грибоедова о Ермолове нетрудно уловить, что восхищение в них сочетается с непременными оговорками, в которых то скрыто, то явно прорывается осуждение Ермолова, личности крайне противоречивой. М. С. Щепкин вспоминал, в частности: "Я сказал в глаза Алексею Петровичу, – говорил Грибоедов, – вот что: зная ваши правила, ваш образ мыслей, приходишь в недоумение, потому что не знаешь, как согласить их с вашими действиями; на деле вы совершенный деспот". – "Испытай прежде сам прелесть власти, – отвечал мне Ермолов, – а потом и осуждай" ["Ежегодник императорских театров", СПб., сезон 1907–1908, с. 190.].

Потому–то и роль Грибоедова при Ермолове была незначительной: с ним можно было быть совершенно откровенным, но направлять его действия никому бы не удалось. Паскевичем же можно было руководить. Перед Грибоедовым открывался простор деятельности поистине государственной при тех почти неограниченных полномочиях, которыми был наделен наместник Грузии. Грибоедов, как свидетельствуют современники, имел большое влияние и в период персидской кампании, и в гражданских делах по управлению Кавказом.

Деятельной натуре Грибоедова такое поприще предоставлялось впервые в жизни. Была, однако, как мы сейчас все более отчетливо понимаем, и еще одна, едва ли не самая важная причина, которая удерживала Грибоедова на Кавказе. Облегчение участи осужденных декабристов – вот то дело, которому он последовательно и умело служил последние годы, используя все возможные каналы: влияние на Паскевича; дружеские отношения со многими кавказскими военачальниками, от которых зависела судьба разжалованных декабристов; прямая помощь осужденным деньгами и словом участия, которое тоже многого стоило.

Вполне понятно, что эта сторона деятельности Грибоедова выявляется с трудом. Но и то, что нам уже известно, позволяет говорить о Грибоедове как о самом, пожалуй, удачливом защитнике осужденных. Мы знаем, какое участие принимал Грибоедов в судьбе А... Одоевского. 3 декабря 1828 года драматург писал из Тавриза Паскевичу: "Теперь без дальних предисловий, просто бросаюсь к вам в ноги и, если бы с вами был вместе, сделал бы это и осыпал бы руки ваши слезами. Вспомните о ночи в Тюркменчае перед моим отъездом. Помогите, выручите несчастного Александра Одоевского... Может ли вам государь отказать в помиловании двоюродного брата вашей жены, когда двадцатилетний преступник уже довольно понес страданий за свою вину, вам близкий родственник, а вы первая нынче опора

царя и отечества..." А. Одоевский из сибирской каторги был переведен на Кавказ после смерти Грибоедова, как и А. Бестужев, который писал в 1832 году из Дербента: "Тяжело мне было здесь сначала, и нравственно еще более, чем физически. Паскевич грыз меня особенно своими секретными. Казалось, он хотел выместить памяти Грибоедова за то, что тот взял слово мне благодетельствовать, даже выпросить меня из Сибири у государя. Я видел на вей счет сделанную покойным записку... Благороднейшая душа! Свет не стоил тебя... по крайней мере, я стоил его дружбы и горжусь этим" [Журн. "Русский вестник". М., 1861, Ќ 3, с. 321.].

В письме к декабристу А. А. Добринскому Грибоедов писал 8 ноября 1826 года: "...по прибытии моем в Тифлис, я говорил о вас с главнокомандующим; он принял мое ходатайство благосклонно. Потом Паскевич поручил мне, перед своим отъездом в Елисаветполь, обратиться от его имени к Алексею Петровичу с ходатайством на Шереметева, который разделяет вашу печальную участь, и снова получил в ответ, что он не находит никакого затруднения сделать представление кому следует о том, чтобы перевести вас обоих в один из полков, назначенных к действиям против неприятеля". За участие в кампании позднее и А. А. Добринский, и Н. В. Шереметев были представлены к чинам. Едва ли можно сомневаться в том, что давнишний друг драматурга Н. Н. Оржицкий, разжалованный в 1826 году в солдаты, тоже получил чин прапорщика не без помощи Грибоедова [См. газ. "Русский инвалид", 1828, 22 марта.].

В своих записках Петр Бестужев рассказывал, какое деятельное участие принимал Грибоедов в его судьбе, как и в судьбе младшего брата, Павла, по молодости не вовлеченного в заговор, но сосланного на Кавказ из злобной мести самодержца славному роду Бестужевых.

Очевидно, дальнейшие исследования обнаружат и другие факты помощи Грибоедова декабристам. Не так давно, например (внутри двойного листа), в письме Грибоедова П. М. Устимовичу 2 декабря 1828 года из Тавриза, была обнаружена тайная приписка: "Еще просьба о разжалованном Андрееве. Любезный друг, я знаю, кого прошу. Заступите мое место при графе (Паскевиче–Эриванском. – С. Ф.), будьте в помощь этому несчастливцу. При сем и записка об нем. Сестра моя заливается слезами, говоря о несчастных его родителях" [См.: М. Медведев. Горе... от царя. – Газ. "Неделя", 1960, Ќ 17, с. 18.].

Нет, расчетливые честолюбцы (вспомним обвинения Д. Давыдова) ведут себя иначе. Одним только повседневным подвигом самоотверженной помощи осужденным декабристам

Грибоедов заслужил право на благодарную память потомков.

6

Многие из знакомых Грибоедова вспоминали о приступе мрачного настроения, с которым Грибоедов отправился 6 июня 1828 года из столицы в последний свой путь на Восток. Возвращение в Персию в чине посланника было вызовом судьбе, и Грибоедов отчетливо понимал это.

Однако все дальнейшее поведение свидетельствует не только о мужестве и самообладании, о блестящей храбрости Грибоедова, но и о том, что жизнедеятельной его натуре была чужда мысль о смерти.

Не иссякали творческие замыслы, но требовательность большого мастера не позволяла спешить с обнародованием уже написанных произведений. Трагедия "Грузинская ночь" хранилась в его памяти [Об этом свидетельствовал В. Ф. Одоевский. См.: В. Ф. Одоевский. Музыкально–литературное наследие. М., 1956, с. 374.], но даже Бегичеву Грибоедов отказался ее прочесть. "Я теперь еще к ней страстен, – говорил он, – и дал себе слово не читать ее пять лет, а тогда, сделавшись равнодушнее, прочту, как чужое сочинение, и если буду доволен, то отдам в печать". Знаменательный штрих: в тот же день драматург говорил другу о предчувствии скорой смерти, однако творчество рассчитывал на долгие годы. Рядом с "Грузинской ночью" волновали воображение поэта еще несколько грандиозных замыслов, частично уже осуществленных: трагедии "Федор Рязанский", "1812 год", "Радамист и Зенобия". Только этих творческих планов хватило бы на долгую жизнь.

До чего же неверна часто цитируемая фраза о том, что на кронверке Петропавловской крепости было затянуто шесть, а не пять петель, – шестой будто бы была удавлена муза Грибоедова. Не мог человек, приготовившийся к смерти, обдумывать рассчитанный на многие годы проект Российской Закавказской компании. А ведь этот проект активно разрабатывался после назначения Грибоедова полномочным министром в Персию. За три месяца до тегеранской катастрофы второй секретарь посольства К. Ф. Аделунг надеется принять участие в этом предприятии, о чем сообщает отцу: "Грибоедов пошлет меня в будущем году в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать овец".

Оптимистическую устремленность натуры Грибоедова по–особому оттеняет его дружеская привязанность к молодежи. Александр и Владимир Одоевские, Николай и Александр Мухановы, Петр и Василий Каратыгины, Федор Хомяков и Карл

Аделунг – все это юные приятели, друзья, воспитанники Грибоедова, которых он не устает опекать. С годами его интерес к молодому поколению возрастает. "Радушие Грибоедова ко мне, – справедливо замечал Кс. Полевой, – объясняю я только добрым расположением его ко всем молодым людям, в которых видел он любовь к труду и просвещению. Может быть, оттого говорил он со мной обо многом пространнее, нежели с равными себе или с старыми своими знакомыми, что хотел, как видно, передать юноше верные понятия, к каким привели его необыкновенный ум и опытность". Точность этого наблюдения подтверждается письмом юного А. И. Кошелева (в будущем видного деятеля славянофильства) к матери, написанным весной 1828 года: "Я познакомился с Грибоедовым. Какой прекрасный человек, хотя несколько оригинальный: кто ему не нравится, он не скрывает; но зато он совсем не петербуржец относительно тех, К кому чувствует расположение. Я его раз видел у кн. Одоевского; я ограничился совершенно равнодушным поклоном, но он подошел ко мне и наговорил мне кучу любезностей" [Н. Колюпанов. Биография А. И. Кошелева, т. I, кн. 2. М., 1889, с. 203.].

Следует подчеркнуть, что после разгрома декабрьского восстания именно молодое поколение сохраняло в себе жизненные силы, готовилось к коренной переоценке ценностей, что обусловило напряженные общественно–философские искания русского общества следующих десятилетий. В 1827 же году в "Кратком обзоре общественного мнения", подготовленном III Отделением, сообщалось: "М_о_л_о_д_е_ж_ь, т. е. дворянчики от 17 до 25 лет, составляет в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающиеся в разные формы и чаще всего прикрывающиеся маской р_у_с_с_к_о_г_о п_а_т_р_и_о_т_и_з_м_а. Тенденции, незаметно внедряемые в них старшими, иногда даже их собственными отцами, превращают этих молодых людей в настоящих карбонариев... В этом развращенном слое общества мы снова находим идеи Рылеева" ["Красный архив", 1929. М, – Л., т. 6 (37), с. 149–150.].

Щедрые награды, излившиеся на Грибоедова в 1828 году (орден св. Анны 2–й степени с бриллиантами, денежная премия в 4000 червонцев, чин статского советника и, наконец, назначение полномочным министром) были попыткой купить не просто дарования и опыт талантливого дипломата, но самую душу его, так как царское правительство знало (это отмечалось и в агентурном донесении), "что Грибоедов имеет особенный дар привязывать к себе людей своим умом, откровенным, благородным обращением и ясною душою, в которой пылает

энтузиазм ко всему великому и благородному. Он имеет толпы обожателей везде, где только жил, и Грибоедовым связаны многие люди между собою. Приобретение сего человека для правительства весьма важно в политическом отношении".

"Нас цепь угрюмых должностей // Опутывает неразрывно", – писал Грибоедов в одном из последних своих стихотворений, а в замысле трагедии "Радамист и Зенобия" намечал характер Касперия, римского посла в восточной державе, – образ, несущий в себе, несомненно, некоторые автобиографические черты. "К чему такой человек, как Касперий, в самовластной империи, – размышляет о нем Радамист, – опасен правительству, и сам себе бремя, ибо иного века гражданин".

Иного, грядущего века гражданином предстает перед нами из воспоминаний его современников автор бессмертной комедии "Горе от ума", светлый ум которого, гармоническая личность и деятельная натура, – принадлежат к самым могучим проявлениям русского духа.

А. С. ГРИБОЕДОВ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

С.Н. Бегичев. Записка об А.С. Грибоедове

С душевным удовольствием прочел я статью вашу о незабвенном для меня Грибоедове. Вы вполне поняли и оценили его светлый ум, его благородную душу, страстную любовь к отечеству и. огромное дарование. Но вы замечаете справедливо, что в изданных его биографиях многого недостает, а потому вызываете друзей его пополнить эти пробелы.

Конечно, из всех, которые называют себя теперь его друзьями, никто более меня не имеет на это права! Я знал его с юношеских лет, долго жил с ним, следил за каждым его шагом и пользовался неизменной его дружбой до конца жизни. В этом последнем отношении может состязаться со мной только А. А. Жандр: [1] Грибоедов всегда видел в нем истинного друга, любил и душевно уважал его, но Жандр узнал его позднее меня.

Намереваясь написать краткий очерк биографии Грибоедова, против воли моей я вынуждаюсь необходимостью говорить о себе. Без личных, самых откровенных и самых дружеских отношений Грибоедова ко мне, я мог бы только сказать о нем, что он написал превосходную комедию и убит в Персии, но это известно всем.

Грибоедов родился в Москве, 1795 года [2], мать его [3], имевши только сына и дочь [4], ничего не щадила для их воспитания [За ней было тогда две тысячи душ, но впоследствии времени дела ее расстроились. (Примеч. С. Н. Бегичева.)], и

Грибоедов своею понятливостью и любовнанием в полной мере удовлетворял ее. Тогда еще не были назначены лета для вступления в университет, и он вступил студентом тринадцати лет, знавши уже совершенно французский, немецкий и английский языки и понимавши свободно в оригинале всех латинских поэтов; в дополнение к этому имел необыкновенную способность к музыке, играл отлично на фортепиано и если б посвятил себя только этому искусству, то, конечно, сделался бы первоклассным артистом. Но на пятнадцатом году его жизни обозначилось уже, что решительное его призвание – поэзия. Он написал в стихах пародию на трагедию "Дмитрий Донской", под названием "Дмитрий Дрянской" [5], по случаю ссоры русских профессоров с немецкими за залу аудитории, в которой и русские и немецкие профессора хотели иметь кафедру. Начинается так же, как и в трагедии, советом русских, которые хотят изгнать из университета немцев, потом так же кстати, как в трагедии явилась в стан княжна Ксения, пришла в университет Аксиния, и т. п. Все приготовились к бою, но русские одержали победу. Профессор Дмитрий Дрянской, издававший журнал, вышел вперед, начал читать первый номер своего журнала, и немцы все заснули. Тетрадка эта, писанная его рукой, сохраняется у меня. Конечно, это произведение юношеское, но в нем, однако ж, много юмора и счастливых стихов [Далее в рукописи оторван угол с двенадцатью строками текста.].

<...того вр<емени>... и вышел... солдатом. Он... <пользовался серде>чным уваже<нием>... Иона [6]. Вскоре <около> 1811 года... Штейн <оставил> свое место в отечестве. Нашел в Москве убежище от гонения Напо<леона, который объя>вил его в газетах вне закона (hors la loi)> [Так говорили тогда в Москве, во за достоверность этого я не ручаюсь. (Примеч. С. Н. Бегичева.)].

Буль познакомил с Штейном Грибоедова, Штейн приласкал юношу, и Грибоедов несколько раз рассказывал мне с удовольствием о беседах их с Штейном и Булем [7].

<Затем А. С. Грибоедов, когда неприятель приблизился к границе России, поступил под команду князя Салтыкова [8], получившего дозволение сформировать гусарский полк> [Текст в скобках реконструирован И. А. Шляпкиным из отдельных слов десяти строк рукописи, находившихся на обороте оборванного угла.].

Но едва приступили к формированию, как неприятель взошел в Москву. Полк этот получил повеление идти в Казань, а по изгнании неприятелей, в конце того же года, предписано ему было следовать в Брест–Литовск, присоединиться к разбитому

иркутскому драгунскому полку и принять название иркутского гусарского. Здесь началось наше знакомство, а вместе с этим истинная и неизменная дружба на всю жизнь. По заключении мира он приехал в отпуск в Петербург и осенью того же года вышел в отставку из гусар, и, кажется, 1815 года причислен к иностранной коллегии [9]. Я служил тогда в гвардии, и мы жили с ним вместе. 19–ти лет написал он в одном действии, в стихах, комедию "Молодые супруги". Содержание взято из французской пьесы ("Secret du menage"). Кажется, г. рецензент, это вам неизвестно, но ее тогда часто давали на петербургской сцене, и всегда она была принята публикою очень хорошо [10]. В Петербурге, по молодости лет, Грибоедов вел веселую и разгульную жизнь. С его неистощимой веселостью и остротой везде, когда он попадал в круг молодых людей, был он их душой. Всегдашнее же наше и почти неразлучное общество составляли Грибоедов, Жандр, Катенин [11], Чипягов [12] и я. Все они, кроме меня, были в душе поэты [Булгарин в изданной им биографии Грибоедова написал, что он в обществе литераторов был только с 1824 года. (Примеч. С. Н. Бегичева.)], много читали, знали хорошо европейскую литературу и отдавали преимущество романтикам. В дружеских беседах часто сообщали они друг другу планы будущих своих сочинений, но мало писали, да и не имели времени для этого от своих служебных занятий. Все мы любили очень театр, часто его посещали и оканчивали наш вечер, т. е. до 2–х и 3–х часов утра, у кн. Шаховского [13], бывшего тогда директором театра. Хозяин был очень любезен, всегда весел, и разговор его о всех предметах был занимателен и разнообразен, но более любил он говорить о литературе. В доме его встречались разнообразные и разнохарактерные лица. Тут можно было увидеть и литератора, и артиста, и даровитого актера, и хорошенькую актрису, и шалуна офицера, а иногда и ученого академика [Князь Шаховской был членом Академии и лучшим того времени писателем для сцены. Многие его комедии исполнены комической веселостью, и публика всегда видела их с удовольствием. По страсти своей к театру он сформировал многих хороших актеров. (Примеч. С. Н. Бегичева.)]. Веселая и беззаботная была тогда жизнь наша! Я, при старости моей, до сих пор с удовольствием вспоминаю об этом времени!

С Хмельницким [14] Грибоедов был знаком только по дому князя Шаховского и ни в одной из его комедий не участвовал. Но по просьбе кн. Шаховского написал он одну сцену в комедии его "Своя семья", и для бенефиса, не помню какого актера, перевели они с Жандром с французского, в несколько дней, маленькую комедию "Притворная неверность". А судя только по этому, вы, г.

рецензент, удивляетесь резкому переходу Грибоедова в комедии "Горе от ума" и спрашиваете, "каким образом из школы поверхностно–остроумной и однообразно–забавной на французский лад мог выйти писатель такой, как Грибоедов?". Но при первом знакомстве нашем вкус и мнение Грибоедова о литературе были уже сформированы: это известно мне на мой собственный счет. Из иностранной литературы я знал только французскую, и в творениях Корнеля, Расина и Мольера я видел верх совершенства. Но Грибоедов, отдавая полную справедливость их великим талантам, повторял мне: "Да зачем они вклеили свои дарования в узенькую рамочку трех единств? И не дали воли своему воображению расходиться по широкому полю?" [15] Он первый познакомил меня с "Фаустом" Гете и тогда уже знал почти наизусть Шиллера, Гете и Шекспира. Все творения этих гениальных поэтов я прочел после в французском переводе.

Никогда не говорил мне Грибоедов о виденном им в Персии сне [Булгарин в своей биографии Грибоедова говорит об этом. (Примеч. С. Н. Бегичева.)], вследствие которого он написал "Горе от ума" [16], но известно мне, что план этой комедии был у него сделан еще в Петербурге 1816 года, и даже написаны были несколько сцен; но, не знаю, в Персии или Грузии, Грибоедов во многом изменил его и уничтожил некоторые действующие лица, а между прочим жену Фамусова, сантиментальную модницу и аристократку московскую (тогда еще поддельная чувствительность была несколько в ходу у московских дам) и вместе с этим выкинуты и написанные уже сцены [17].

Настал, наконец, 1818 год, с которого жизнь Грибоедова совершенно изменилась и взяла переворот благотворный для его дарования.

К нам ездил часто сослуживец мой по полку, молодой, очень любезный, шалун и ветреник, поручик Ш<ереметев>. В одно утро вбегает он к Грибоедову совершенно расстроенный, жалуется, что танцовщица, в которую он был влюблен, изменила ему для графа З<авадовского>, говорил, что он застрелит его, послал уже к нему вызов и просил Грибоедова быть у него секундантом. Со всем своим красноречием Грибоедов не мог уговорить его, и на другой день Ш<ереметев> был смертельно ранен [Я<кубович>, один из секундантов, оказавшийся по следствию главной причиной этой дуэли, был выписан из гвардии с тем же чином в армейский полк и отправлен в Грузию. А Грибоедов по высочайшей воле оставлен без наказания. (Примеч. С. Н. Бегичева.)]. Я был в отсутствии, и Грибоедов писал ко мне в Москву, что на него нашла ужасная тоска, он видит беспрестанно перед глазами умирающего Ш<ереметева> и пребывание в

Петербурге сделалось для него невыносимо [18]. А в продолжение этого времени познакомился с ним очень замечательный по уму своему Мазарович; он был назначен поверенным по делам в Персию и предложил Грибоедову ехать с ним секретарем посольства [19]. Я возвратился из Москвы за несколько дней до их отправления, и горестно было расставание наше!!!

Трехлетнее (если не ошибаюсь) [20] пребывание его в Персии и уединенная жизнь в Тебризе [Посланник наш по временам только ездил в Тегеран ко двору шаха, но жил всегда в Тебризе, при тогдашнем наследнике Абасс–Мирзе, любимом сыне шаха и правителя Персии. (Примеч. С. Н. Бегичева.)] сделали Грибоедову большую пользу. Сильная воля его укрепилась, всегдашнее любознание его не имело уже преграды и рассеяния. Он много читал по всем предметам наук и много учился. Способность его к изучению языков была необыкновенная: он узнал совершенно персидский язык, прочел всех персидских поэтов и сам мог писать стихи на этом языке. Начал также учиться санскритскому языку, но учение это не кончил. Потом был он чиновником при известном генерале и тогдашнем начальнике Грузии и Кавказа, Алексее Петровиче Ермолове, пользовался его благорасположением, бывал с ним в военных экспедициях и до конца жизни отлично уважал его [21]. Из Грузии писал он мне: "Наш Кавказский проконсул гигантского ума!" – и после лично несколько раз повторял мне то же. После пятилетней разлуки с душевной радостью увиделись мы опять с ним в Москве. Он приехал в отпуск в марте 1823 года.

Из комедии его "Горе от ума" написаны были только два действия. Он прочел мне их, на первый акт я сделал ему некоторые замечания, он спорил, и даже показалось мне, что принял это нехорошо. На другой день приехал я к нему ране и застал его только что вставшим с постели: он, неодетый, сидел против растопленной печи и бросал в нее свой первый акт лист по листу [22]. Я закричал: "Послушай, что ты делаешь?!!" – "Я обдумал, – отвечал он, – ты вчера говорил мне правду, но не беспокойся: все уже готово в голове моей". И через неделю первый акт уже был написан.

В апреле я женился; [23] событие это интересно только для одного меня, и я бы, конечно, об нем умолчал без маленького происшествия, которое характеризует поэтическую натуру Грибоедова. Он был у меня шафером и в церкви стоял возле меня. Перед началом службы священнику вздумалось сказать нам речь, Грибоедов, с обыкновенной своей тогдашней веселостью, перетолковывал мне на ухо эту проповедь, и я насилу мог

удержаться от смеха [24]. Потом он замолчал, но, когда держал венец надо мной, я заметил, что руки его трясутся, и, оглянувшись, увидел его бледным и со слезами на глазах. По окончании службы, на вопрос мой: "Что с тобой сделалось?" – "Глупость, – отвечал он, – мне вообразилось, что тебя отпевают и хоронят".

Я выехал из Москвы в конце мая, но перед отъездом моим, недели за три, я очень редко видел его. Он пустился в большой московский свет, бывал на всех балах, на всех праздниках, пикниках и собраниях, по дачам и проч. и проч.

На замечание мое о перемене его образа жизни Грибоедов всегда отвечал: "Не бойся! время мое не пропадет". Мать его, живши безвыездно всегда в Москве и имевши дочь–невесту, вывозила ее в свет и имела огромное знакомство. Но он прежде никуда почти не ездил! Вслед за мной приехали ко мне в деревню брат мой с семейством и Грибоедов. Последние акты "Горя от ума" написаны в моем саду, в беседке. Вставал он в это время почти с солнцем; являлся к нам к обеду и редко оставался с нами долго после обеда, но почти всегда скоро уходил и приходил к чаю, проводил с нами вечер и читал написанные им сцены. Мы всегда с нетерпением ожидали этого времени. Он хотел оставить мне на память свою пьесу, написанную его рукой, но имел терпение написать только два акта, а остальные заставил писаря. Тетрадь эта у меня сохраняется. В сентябре Грибоедов возвратился со мной в Москву и жил у меня в даме до июня 1824 года, располагая опять провести лето со мной в деревне, но мне случилась надобность ехать совеем в другую сторону, а он отправился в Петербург, где и прожил около года.

Не имею довольно слов объяснить, до чего приятны были для меня частые (а особливо по вечерам) беседы наши вдвоем. Сколько сведений он имел по всем предметам!!! Как увлекателен и одушевлен он был, когда открывал мне, так сказать, нараспашку свои мечты и тайны будущих своих творений или когда разбирал творения гениальных поэтов! Много он рассказывал мне о дворе персидском, нравах и обычаях персиян, их религиозных сценических представлениях на площадях и проч., а также об Алексее Петровиче Ермолове и об экспедициях, в которых он с ним бывал. И как он был любезен и остер, когда бывал в веселом расположении! [25]

Он был в полном смысле христианином и однажды сказал мне, что ему давно входит в голову мысль явиться в Персию пророком и сделать там совершенное преобразование; я улыбнулся и отвечал: "Бред поэта, любезный друг!" – "Ты смеешься, – сказал он, – но ты не имеешь понятия о

восприимчивости и пламенном воображении азиатцев! Магомет успел, отчего же я не успею?" И тут заговорил он таким вдохновенным языком, что я начинал верить возможности осуществить эту мысль.

Из планов будущих своих сочинений, которые он мне передавал, припоминаю я только один. Для открытия нового театра в Москве, осенью 1823 года, располагал он Записать в стихах пролог в двух актах, под названием "Юность вещего". При поднятии занавеса юноша–рыбак Ломоносов спит на берегу Ледовитого моря и видит обаятельный сон, сначала разные волшебные явления, потом муз, которые призывают его, и, наконец, весь Олимп во всем его величии. Он просыпается в каком–то очаровании; сон этот не выходит из его памяти, преследует его и в море, и на необитаемом острове, куда с прочими рыбаками отправился он за рыбным промыслом. Душа его получила жажду познания чего–то высшего, им не ведомого, и он убегает из отеческого дома. При открытии занавеса во втором акте Ломоносов в Москве, стоит на Красной площади. Далее я не помню. Но слух об его комедии распространился по Москве, он волею и неволею, читал ее во многих домах. Сначала это льстило самолюбию молодого автора, а потом ужасно ему наскучило и отняло у него много времени. Пролога он написать не успел, а театр открылся.

На возвратном пути из Петербурга 1825 года Грибоедов уже ко мне не заехал и проехал в Грузию через Крым, который желал видеть. А в начале 1826 года отправлен он был генералом Ермоловым по делам службы в Петербург 2в, возвратился оттуда в Москву в конце июля и в начале августа был у меня в деревне на один день: он спешил съехаться с генералом Паскевичем в Воронеже. Известный теперь уже всей Европе князь Варшавский, граф Паскевич–Эриванский, всегда принимал Грибоедова родственно [Супруга князя Варшавского – двоюродная сестра покойного Грибоедова. (Примеч. С. Н. Бегичева.)] и почти дружески. Грибоедов служил при нем в персидскую кампанию, был во всех сражениях возле главнокомандующего, исполнял многие его препоручения и преимущественно участвовал в переговорах о мире, потому что знал хорошо Персию и персидский язык. Все это засвидетельствовал граф Эриванский перед государем императором и послал его с донесением о мире. В проезд его через Москву он заезжал ко мне часа на два и, между прочим, сказывал мне, что граф Эриванский спрашивал его, какого награждения он желает. "Я просил графа, – говорил он, – представить меня только к денежному вознаграждению. Дела матери моей расстроены, деньги мне нужны, я приеду на житье к

тебе. Все, чем я до сих пор занимался, для меня дела посторонние, призвание мое – кабинетная жизнь, голова моя полна, и я чувствую необходимую потребность писать". Но человек располагает, а бог определяет, говорит французская пословица. По прибытии Грибоедова в Петербург государь император принял его очень милостиво и осыпал награждениями. Он получил и деньги, и чин, и орден св. Анны 2–й степени с бриллиантами, а потом по высочайшей воле министр предложил ему ехать полномочным послом в Персию [27]. На пути к месту своего назначения Грибоедов пробыл у меня три дня. В разговорах наших, между прочим, спросил я его, не написал ли он еще комедии или нет ли еще нового плана. "Я уже говорил тебе при последнем свидании, – отвечал он, – что комедии больше не напишу, веселость моя исчезла, а без веселости нет хорошей комедии. Но есть у меня написанная трагедия". И тут же рассказал он содержание и прочел наизусть читанные им сцены в Петербурге. Не стану говорить мнения моего об этих сценах, вы его высказали в вашей рецензии. Но на убеждения мои прочесть мне всю трагедию он никак не согласился. "Я теперь еще к ней страстен, – говорил он, – и дал себе слово не читать ее пять лет, а тогда, сделавшись равнодушнее, прочту, как чужое сочинение, и если буду доволен, то отдам в печать" [28]

Во все время пребывания его у меня он был чрезвычайно мрачен, я ему заметил это, и он, взявши меня за руку, с глубокой горестью сказал: "Прощай, брат Степан, вряд ли мы с тобою более увидимся!!!" – "К чему эти мысли и эта ипохондрия? – возразил я. – Ты бывал и в сражениях, но бог тебя миловал". – "Я знаю персиян, – отвечал он. – Аллаяр–хан [Аллаяр–хан был зять тогдашнего шаха персидского и в большой силе при дворе. Он возбудил шаха к объявлению войны [29]. (Примеч. С. И. Бегичева.)] мой личный враг, он меня уходит! Не подарит он мне заключенного с персиянами мира. Старался я отделаться от этого посольства. Министр сначала предложил мне ехать поверенным в делах, я отвечал ему, что там нужно России иметь полномочного посла, чтобы не уступать шагу английскому послу. Министр улыбнулся и замолчал, полагая, что я, по честолюбию, желаю иметь титул посла. А я подумал, что туча прошла мимо и назначат кого–нибудь чиновнее меня, но через несколько дней министр присылает за мной и объявляет, что я по высочайшей воле назначен полномочным послом. Делать было нечего! Отказаться от этого под каким–нибудь предлогом, после всех милостей царских, было бы с моей стороны самая черная неблагодарность. Да и самое назначение меня полномочным послом в моем чине

[Он только перед этим произведен был в статские советники. (Примеч. С. Н. Бегичева.)] я должен считать за милость, но предчувствую, что живой из Персии не возвращусь". То же рассказывал мне при свидании А. А. Жандр. Грибоедов прямо от министра приехал к нему поздно вечером, разбудил его и сказал: "Прощай, друг Андрей! Я назначен полномочным послом в Персию, и мы более не увидимся". И, к несчастью, предчувствие это сбылось!!! Он погиб в цвете лет своих, и всем известна его трагическая кончина. Более 25–ти лет прошло после этого события, но и до сих пор я не могу без грусти вспомнить об этом!!! Он был хорошим сыном, хорошим братом, верным другом и всегда по сердцу готовым на помощь ближнему.

Желательно, чтобы вы, г–н рецензент, из изданной уже биографии и этого краткого очерка, с любовью... [На этом слове рукопись обрывается.]

В. И. Лыкошин. Из "Записок"

<...> Самый любимый родственный дом <семьи Лыкошиных> был Хмелита [1] Алексея Федоровича Грибоедова [2], это была великолепная каменная усадьба в Вяземском уезде <Смоленской губернии>, верстах в тридцати от Казулина; но у отца была усадьба – Никольское близ Хмелиты, и когда летом приезжало семейство Грибоедовых в Хмелиту, и мы переезжали в Никольское, где помещались в старом флигеле и в амбарах, а каждое послеобеда в прогулках наших сходились мы с молодежью Грибоедовых, а по воскресеньям целый день проводили в Хмелите. Алексей Федорович был беспечный весельчак, разорявшийся в Москве на великолепные балы, и в деревне жил на широкую руку, без расчета, хотя и не давал праздников. У него была от первого брака с кн. Одоевской дочь Елизавета Алексеевна, вышедшая впоследствии за Паскевича, князя Варшавского, вторая жена его, рожденая Нарышкина, никогда не приезжала в Хмелиту. Для воспитания дочери был учитель l'abbe Baudet, арфист, англичанин Адаме, и рисовальный учитель, немец, Майер, чудак оригинальный.

Сестра Алексея Федоровича, Анастасия Федоровна, также по мужу Грибоедова, – мать поэта и дочери, известной по Москве своим музыкальным талантом, – с детьми и их учителем Петрозилиусом [3] с женою проводила также лето в Хмелите; она была истинный друг нашей матери и доказала это на деле, как видно будет из дальнейшего рассказа. Кроме того, приезжали гостить и другие сестры Грибоедова, и племянницы его Полуехтовы [4], веселая компания, любившая поврать – как они

сами о себе выражались – и придумывавшие разные штуки над приезжавшими соседками и живущими в доме иностранцами, которых вместе с нашими собиралась порядочная колония разноплеменных субъектов. Веселое это было время нашей юности. <...> [5]

В 1805 году мать начала думать об определении нас в учебное заведение и решилась на Московский университет, который в недавнем времени был преобразован, и в ноябре мать повезла меня и брата Александра в Москву; нам сопутствовал и Мобер, который должен был жить при нас: профессор Маттеи согласился принять нас к себе в дом пансионерами, с нашим гувернером за 1200 р. ассигнациями в год. В назначенный день съехались к нам к обеду Профессора: Гейм, Баузе, Рейнгард, Маттеи и три или четыре других, помню один эпизод этого обеда: пирамида миндального пирожного от потрясения стола разрушилась, тогда Рейнгард, профессор философии, весьма ученый, но Молчаливый немец, впервые заговорив, возгласил: "Ainsi lombera Napoleon" [Так падет Наполеон (фр.).]. Это было во время Аустерлицкой Кампании. За десертом и распивая кофе профессора были так любезны, что предложили Моберу сделать нам несколько вопросов; помню, что я довольно удачно отвечал, кто был Александр Македонский и как именуется столица Франции и т. п. Но брат Александр при первом сделанном ему вопросе заплакал. Этим кончился экзамен, по которому приняты мы были студентами, с правом носить шпагу; мне было 13, а брату 11 лет.

Пока мать оставалась месяца два в Москве, мы ходили с Мобером на лекции в университет, первую слушали у профессора русской словесности Гаврилова; он заставлял переводить со славянского псалом: "На реках Вавилонских"; можно посудить, как отчетливо умел я это сделать, когда не знал русского правописания! Профессор Гаврилов, заметя это, посадил меня подле старшего казенного студента Дмитревского, которому поручил за нами следить; вместе с тем его <Гаврилова> наняла мать приходить давать нам уроки на дому; сестре же Марье между тем профессор французской словесности Aviat давал вместе с нами уроки литературы, а Loustot – рисования.

По отъезде матери перешли мы на пансион к Маттеи, пользующемуся европейской известностью по глубокому знанию греческого языка; этот старик был деканом словесного факультета; весьма добродушный, простой в обращении; я, как теперь, вижу его высокую фигуру в колпаке, прикрывающем его лысую голову, его высокий лоб, умные и добрые черты его лица. Жена его, добрая и умная женщина, и две красивые дочери,

Амалия и Каролина, напоминали немецкие семейные типы Августа Лафонтена. Маттеи в свободные минуты давал нам первоначальные уроки латинской грамматики, но как это занятие мало соответствовало его филологической знаменитости, то он довольно небрежно этим занимался.

Мы были первый образчик дворянских детей, обучающихся не на казенный счет в университете; да еще в одно время с нами были пансионерами у профессора Фишера Перовский Алексей и Ковалевский. Потом по примеру нашему привезли для определения нашего И. Д. Якушкина в и Бунакова, которых пристроили у профессора Мерзлякова. Скоро после того и некоторые из москвичей стали посылать на лекции детей с гувернерами, которые, как и наш Мобер, присутствовали в классах; так приходил с Петрозилиусом на лекции и Александр Грибоедов.

Мы поручены были родственному надзору его матери, добрейшей Анастасии Федоровне, у которой большею частью проводили праздничные дни, а она часто приезжала к нам осматривать, все ли около нас в порядке. Тогда же приходили на лекции кн. Иван Дмитриевич Щербатов [7] и двоюродные его братья Михаил и Петр Чаадаевы [8] с гувернером–англичанином, князья Алексей и Александр Лобановы, два брата графы Ефимовичи <Ефимовские> и другие. Много приятных воспоминаний оставило мне это время, проведенное на университетских скамьях. Устройство университета в то время было отлично от настоящего: здание нового университета было тогда принадлежностью Пашкова, с садом, наполненным разными диковинами, а флигель по Никитской занят был под императорский театр. В так называемом теперь старом университете залы бельэтажа были аудиториями для студентов; в большой средней ротонде была конференц–зала, а в боковом отделении направо от входа с Моховой была церковь; под нею была квартира ректора Страхова. Верхний этаж занят был дортуарами казенных студентов и классами гимназистов. Близ самого университета был корпус больницы, а вслед за оным по Никитской – дом Мосолова, занимаемый профессором естественной истории Фишером, где была и его аудитория; неподалеку же в переулке – анатомический театр, где профессор Гольдбах преподавал астрономию, а Рейс – химию. Обыкновенно собирались мы ей лекции в 8 часов утра и оканчивали в 12, чтоб после обеда опять слушать от 3 до 5 часов. Я слушал лекции политической экономики у Шлецера, философии – у Рейнгарда, римского права – у Баузе, гражданского права – у Цветкова, естественной истории – у Фишера, логики – у Брянцева, эстетики

– у Сохацкого, русской словесности – у Гаврилова, французской литературы – у Aviat de Vattoy, английского языка – у Перелогова, который по билетам приходил к нам на дом повторять английские уроки и математику; поэзии – у Мерзлякова, русской истории – у Каченовского. Но самые интересные были лекции экспериментальной физики у ректора Страхова; это были публичные лекции, и аудитория устроена иначе, чем в других залах: полукруглым амфитеатром возвышались скамьи слушателей, каждый ряд отделен перегородкой с пюпитрами, и Страхов, преподаватель красноречивый, хорошо усвоивший по тогдашнему времени свой предмет, обставленный разными физическими инструментами, объяснял нам законы электричества, магнетизма и пр. весьма увлекательно. Лекции истории всеобщей профессора Черепанова, преподававшиеся по Шреку, были иногда забавны по его объяснениям, вроде следующих: "Милостивые государи, с позволения вашего, Семирамида была великая б..."– и когда нам надоест, бывало, слушать эти глупости, мы, как школьники, зашаркаем ногами, и профессор–добряк, рассердясь, уходит. Старик Гейм со своею статистикою всякий раз лишь отворит дверь, начинает на скором бегу к кафедре бормотать под нос себе лекцию, так что начало ускользало от нас и не могло быть записано на тетрадях наших. Какая галерея оригиналов!! [9]

Пробыв несколько месяцев на пансионе у Маттеи, Моберу надоело быть некоторым родом в зависимости у старого немца, который, впрочем, нисколько не был взыскателен. Вследствие этого он уговорил мать позволить нанять особую квартиру и хозяйство поручить ему. Первая нанятая была в Газетном переулке, в доме Троицкого подворья, потом перебрались на Кисловку в дом Калашникова; прислали нам из деревни повара и лакея с женою–прачкою, в лошадях мы не имели нужды, потому что жили вблизи от университета, в каждое воскресенье и по праздникам присылали за нами экипаж кто–нибудь из родных: Анастасия Федоровна Грибоедова, Аграфена Федотовна Татищева, Полуехтовы, Акинфьевы, Прасковья Александровна Ушакова, барон Корф, женатый на Наталии Алексеевне кн. Вадбольской, приходившейся нам как–то дальней родственницею.

Всего приятнее нам было бывать у Анастасии Федоровны, которая нежными попечениями заменяла нам мать, и сын ее Александр был особенно дружен со мною; у них, кроме праздничных и вакационных дней, в которые мы совсем к ним перебирались, был два вечера в неделю танц–класс известного всей Москве Иогеля, у которого и мы брали уроки, и эти вечера были для нас настоящими bals d'enfants [детскими балами (фр.).],

не подобные нынешним, где все делается для выставки и где под предлогом детей танцуют и взрослые. Дом Грибоедовых был под Новинским, с большой открытой галереею к площади; можно посудить, как счастливы мы были, когда на святой, во время известного катания, мы толпились на этой галерее в куче ровесников и взрослых, собиравшихся смотреть, что происходило под Новинским. В доме же бабушки Татищевой бывали тоже танц–классы и множество молодых кузин, а как я с первой молодости был очень влюбчив, то и нашел здесь себе предмет обожания в кузине – княжне Грузинской Дарье Леоновне, которая была немного постарее меня.

Здесь надо заметить, что в первом десятилетии этого века москвичи еще отличались хлебосольством и радушным приемом даже дальних родных, приезжающих из провинции; бывало, в праздничный день несколько карет приезжало за нами, и нельзя было выбирать, куда веселее ехать, потому что прочие родственники сочли бы наш отказ за неуважение и, конечно, пожаловались бы на нас за это родителям, – и потому надо было наблюдать строгий черед. У старой тетки Ушаковой съезжались мы иногда с ее родственниками наших лет, Ушаковыми, из которых Василий Аполлонович впоследствии сделался известен в литературном мире своими повестями [10]. Нынче кто станет заботиться приголубить мальчиков–студентов, да еще и с неразлучным гувернером? Теперь и взрослые, хотя год не ходи, никто и не взыщет. Но в то время менее было экономических расчетов, а жили привольнее, не было таких утонченных прихотей роскоши, но барство как-то ярче проглядывало во всей обстановке жизни; толпы слуг, прилично одетых, вежливой внимательностью показывали, что довольны своим состоянием и за честь считают служить своим господам; экипажами не щеголяли, но щеголяли упряжью: в чинах бригадира, статского советника и выше иначе не ездили, как цугом, шестериком с двумя форейторами, лошади в шорах, кучера и вершники в ливреях и треугольных шляпах, никогда менее двух лакеев на запятках, а иногда и три. Одни купцы ездили парой. И, несмотря на хлебосольство, на содержание огромной дворни и большого числа лошадей в городе, мало имений заложено было в Опекунском совете, и редко о ком говорили, что долги его неоплатны.

Вакационное время летом мы всегда ездили проводить в деревне у родителей. Мобер и какой-нибудь студент из немцев нам сопутствовали, в то же время и Хмелита Грибоедовых наполнялась приезжими родными, и мы, переезжая в Никольское, были с ними неразлучны.

Но ни праздничные развлечения в Москве, ни приятная

вакационная жизнь в деревне не мешали мне серьезно заниматься наукою, я с любовию предался учению и полтора года по вступлении в университет стал готовиться выдержать экзамен на степень кандидата, которая давала право носить мундирный воротник, шитый золотом, и чин губернского секретаря. Между тем я приготовлял к публичному акту диссертацию на заданную тему о великом переселении народов. Добрый профессор Aviat предложил в мое распоряжение свою французскую библиотеку, и я схватился обеими руками за Гиббона; по латыни я плохо знал, потому писал диссертацию на русском. Один из старых казеннокоштных студентов, Словиковский, выпросил меня посмотреть мое совсем уже приготовленное сочинение, перевел его целиком на латинский язык и получил золотую медаль, а я, потому что писал на русском, получил только похвальный отзыв, – вот черта моей юношеской наивности! Впрочем, пробежав недавно эту диссертацию, которая хранится в моих бумагах, я откровенно скажу, что она похвального отзыва не заслуживала. В ту пору куда как незрелы были понятия о способах исследования исторических фактов!.. Экзамен на степень кандидата выдержал я хорошо; тогда не было таких строгих научных требований, о публичных диспутах и помину не было [11]. Анастасия Федоровна Грибоедова непременно хотела, чтоб и сын ее вместе со мной экзаменовался, и как он ни отговаривался, она настояла на своем. Нас обоих в конференц–зале экзаменовал тогдашний ректор Гейм в присутствии наших гувернеров – Мобера и Петрозилиуса; без хвастовства скажу, что я гораздо лучше Грибоедова отвечал, и вместе с ним провозглашены мы были кандидатами. Как чванился я моим шитым воротником! Как польстил моему юношескому самолюбию вопрос очень миленькой девицы, с которою я танцевал на свадебном бале Павла Васильевича Вакселя: "Не камер–юнкерский ли это мундир?"

Чем более припоминаю, тем менее нахожу сходства в тогдашнем московском обществе полвека назад с чертами, так ярко схваченными позже Александром Грибоедовым в его "Горе от ума"! Наши знакомства и родственные связи были у нас обоих одни и те же, но я нигде в то время не встречал ни Фамусовых, ни Репетиловых, ни всех этих комических типов, за верность которых ручается громкая слава, заслуженная этой комедией, – так изменилось все после 1808 года, когда я расстался с Москвою и с Грибоедовым, с которым мне привелось столкнуться уже в Петербурге на службе. <...>

Летом 1809 года новая церковь наша была окончена, и стали готовиться к освящению трех престолов нижнего яруса, мать поехала в Москву для закупки утвари церковной и взяла меня с

сестрами, Марьею и Настею, с собою. Это было в июне... В Москве остановились мы в доме двоюродного брата, Михаила Михайловича Грибоедова, на Кисловке; здесь почти ежедневно посещала нас добрая Анастасия Федоровна Грибоедова с Александром, о котором здесь кстати несколько слов еще: в ребячестве он нисколько не показывал наклонности к авторству и учился посредственно, но и тогда отличался юмористическим складом ума и какою–то неопределенною сосредоточенностью характера. Вспоминаю одну из его детских шалостей: в одно прекрасное утро он вздумал остричь наголо свои брови, которые были очень густы, и за это ему порядочно досталось от матери. Отца его мы почти никогда не видали, он или жил в деревне далеко от семьи, или когда приезжал в Москву, то проводил дни и ночи за азартною игрою вне дома, и расстроил сильно имение.

А. И. Колечицкая. Из "Моих записок"

10 августа 1822 г. Казулино. Мы отправились летом с Пьером, Аничкою и сестрою Лизою в Москву; первое время стояли в доме священника старого Вознесенья, отца Иосифа, умного старика, любившего говорить по–французски, и случилось, что, обходя с кадилом церковь, куда собирался весь beau–monde [высший свет (фр.).] московский, он говорил: "Pardon, mesdames" ["Простите, сударыни" (фр.).]. Он был моим духовником по совету нашей доброй, родной Анастасии Федоровны Грибоедовой, которую от младенчества привыкли уважать, как друга маменьки, и имевшей самое нежное попечение о братьях, когда они ходили в университет. Я чаще всего бывала у нее; помню, в один день она позвала меня обедать, и я нашла у нее большое общество. Вдруг входит молодой человек в очках, которого мне трудно было узнать, как Александра Грибоедова [1], товарища нашей юности, а ему невозможно было неожиданно догадаться, что я та, которую он знал девочкою; но мать его, с ее обычной живостью, воскликнула: "Александр, как же это ты не узнаешь дочь Мироньи Ивановны Лыкошиной?" Тогда он подошел ко мне и стал расспрашивать о братьях. Сестра его, Марья Сергеевна, лучшая музыкантша Москвы, ученица Фильда, проводила все дни за фортепьяно и арфою. <...> [2]

25 марта 1829 г. Грустная весть дошла до нас о бедственной кончине милого нашего Александра Грибоедова. Мы так недавно радовались его назначению посланником в Персию, блистательному пути, открывшемуся его замечательным способностям, он так недавно женился на молоденькой Нине, княжне Чавчавадзе, по любви, и вот в нынешнем январе он убит в

Тегеране разъяренной чернью, за неосторожность кого–то из его людей, вздумавшего поднять покрывало проходившей женщине, чтобы посмотреть на ее лицо; Александр Сергеевич, услыша шум, сошел на улицу, чтобы унять волнение, и сам сделался жертвою фанатизма! Милый, умный Александр, как мне жаль его! Я писала о нем и его семье на стр. 12 и 99 этого тома [3], в воспоминаниях юности нашей, – тогда он был только веселый, резвый юноша, потом товарищ братьев в университетской жизни и не обещал еще того высокого таланта, который показал, написав бессмертную свою комедию "Горе от ума", которой многие стихи вошли в пословицы и так верно изображают Москву того времени. Бедная мать его, Анастасия Федоровна! С какою нежною любовью, с какою неусыпною, исключительною заботою она пеклась о воспитании сына и дочери, и в ту минуту, как видела труды свои, увенчанные таким блестящим успехом, она лишилась таким ужасным образом того, кто был бы славою ее старости. У него осталась молоденькая жена, урожденная княжна Чавчавадзе, на которой он только что женился в Грузии...

1 января 1840 г. Вчера у Труб<ецких> я познакомилась с П. А. Бестужевым, меньшим братом Марлинского, он рассказывал нам о своих несчастных путешествиях по Азии, о Грибоедове, которого он знал в Грузии и который называл его своим приемышем. Он очень привязан к брату, и я боялась слишком много расспрашивать о нем.

Н. Н. Муравьев–Карский. Из "Записок"

<1818 г. Тифлис.>

7–го <октября>. Якубович [1] рассказал мне в подробности поединок Шереметева в Петербурге. Шереметев был убит Завадовским, а Якубовичу тогда должно было стреляться с" Грибоедовым за то же дело. У них были пистолеты в пуках; но, увидя смерть Шереметева, Завадовский и Грибоедов отказались стреляться. Якубович с досады выстреляет по Завадовскому и прострелил ему шляпу. За сие он был сослан в Грузию. Теперь едет через Грузию в Персию Грибоедов. Якубович хочет с ним стреляться и поверил сив мне и Унгерну. Он не зовет нас в секунданты, зная, тему они подвергаются со стороны правительства, но желает, чтобы мы шагах в двадцати находились и помогли бы раненому. Я советовался на сей счет с Унгерном, и мы не находим в Тифлисе места удобного для сего. Грибоедов едет сюда потому, что он находится при Мазаровиче, который назначен поверенным в делах при персидском дворе. Мазаровичу положено при сем месте 3000 червонцев жалованья, кроме

экстраординарной суммы.

8–го. После обеда ходил в сад, дабы найти место, удобное для поединка Якубовича. Вечер провел у меня Якубович. Его образ мыслей насчет многих предметов мне очень понравился.

21–го. Якубович объявил нам, что Грибоедов, с которым он должен стреляться, приехал, что он с ним переговорил и нашел его согласным кончить начатое дело. Якубович просил меня быть секундантом. Я не должен был отказаться, и мы условились, каким образом сие сделать. Положили стреляться им у Талызина на квартире.

22–го. Я обедал у француза а и видел Грибоедова. Человек весьма умный и начитанный, но он мне показался слишком занят собой. Секундант его маленький человек; не знаю, кто он такой. С ним вместе приехал сюда один капитан Быков, лейб–гвардии Павловского полка, для выбора людей в гвардию. Ввечеру Грибоедов с секундантом и Якубовичем пришли ко мне, дабы устроить поединок как должно. Грибоедова секундант предлагает им сперва мириться, говоря, что первый долг секундантов состоит в том, чтобы помирить их. Я отвечал ему, что я в сие дело не мешаюсь, что меня призвали тогда, как уже положено было драться, следственно, Якубович сам знает, обижена ли его честь. И мы начали уславливаться; но тот вывел меня в другую комнату и просил меня опять стараться о примирении их, говоря, что он познакомился в Москве с матерью Грибоедова, которая просила его стараться сколько возможно остановить сей поединок, который она предвидела, и, следственно, что долг заставлял его сие делать. Между тем Якубович в другой комнате начал с Грибоедовым спорить довольно громко. Я разнял их и, выведя Якубовича, сделал ему предложение о примирении; но он и слышать не хотел. Грибоедов вышел к нам и сказал Якубовичу, что он сам его никогда не обижал. Якубович на то согласился. "А я так обижен вами; почему же вы не хотите оставить сего дела?" – "Я обещался честным словом покойному Шереметеву при смерти его, что отомщу за него на вас и на Завадовском". – "Вы поносили меня везде". – "Поносил и должен был сие сделать до этих пор; но теперь я вижу, что вы поступили как благородный человек; я уважаю ваш поступок; по не менее того должен кончить начатое дело и сдержать слово свое, покойнику данное". – "Если так, так господа секунданты пущай решат дело". Я предлагал драться у Якубовича на квартире, с шестью шагами между барьерами и с одним шагом назад для каждого; но секундант Грибоедова на то не согласился, говоря, что Якубович, может, приметался уже стрелять в своей комнате.

Я согласился сделать все дело в поле; но для того надобно

было достать бричку, лошадей, уговорить лекаря. Амбургер, секундант Грибоедова, взялся достать бричку у братьев Мазаровичей и нанять лошадей. Он побежал к ним, а я к Миллеру, который сперва подумал, что его в секунданты звали, смешался сперва и не хотел согласиться; но когда он узнал, что его просили только помочь раненому, он тотчас согласился и обещал мне на другое утро дожидаться меня. Амбургер, со своей стороны, достал бричку. Все опять у меня собрались, отужинали, были веселы, дружны, разговаривали, смеялись, так что ничего на поединок похожего не было. Желая облегчить поединок (как то был мой долг), я задержал Унгерна и Якубовича у себя, после того как все ушли, и предлагал Якубовичу кончить все при двух выстрелах, несмотря на то, будет ли кто ранен, и взять восемь шагов между барьерами. Но он никак не согласился на мое предложение, и я принужден был остаться при прежних правилах.

23–го. Я встал рано и поехал за селение Куки отыскивать удобного места для поединка. Я нашел Татарскую могилу, мимо которой шла дорога в Кахетию; у сей дороги был овраг, в котором можно было хорошо скрыться. Тут я назначил быть поединку. Я воротился к Грибоедову в трактир, где он остановился, сказал Амбургеру, чтобы они не выезжали прежде моего возвращения к ним, вымерил с ним количество пороху, которое должно было положить в пистолеты, и пошел к Якубовичу, а от него к Миллеру; но Миллера я не застал дома. Я побежал в военный госпиталь, нашел его там и сказал ему, что ему уже отправляться пора. Мы с ним условились, что он прежде всех поедет в Куки в военный госпиталь, что он там дождется, пока я проеду, и поедет в лагерь к колонистам, откуда он будет смотреть к монументу, и как скоро я покажусь верхом из оврага, он поскачет к нам. Якубовичу я сказал, чтобы он отправлялся пешком к месту, спрятался бы за монумент и не выходил бы оттуда, пока я его не позову. Амбургеру с Грибоедовым я сказал, чтобы они в бричке ехали и взяли бы с собой свои пистолеты. Я сам поехал верхом, увидел Миллера, поставил бричку за горой и повел Грибоедова с секундантом. Я полагал, что Якубович, который видел, куда бричка поехала, пойдет за ней; но он пошел к монументу и спрятался за оный. Я забыл, что ему велел туда идти, и, когда Грибоедов спросил у меня, где он, я поскакал из оврага и, вспомня, что он за памятником, позвал его; но Миллер принял сие за знак, подумал, что ему выезжать пора, и тронулся, но он не приметил оврага, в который я опять въехал, и проскакал в горы.

Мы назначили барьеры, зарядили пистолеты и, поставя ратоборцев, удалились на несколько шагов. Они были без сюртуков. Якубович тотчас подвинулся к своему барьеру смелым

шагом и дожидался выстрела Грибоедова. Грибоедов подвинулся на два шага; они простояли одну минуту в сем положении. Наконец Якубович, вышедши из терпения, выстрелил. ""Он метил в ногу, потому что не хотел убить Грибоедова; но пуля попала ему в левую кисть руки

[Говорят, будто Якубович воскликнул: "По крайней мере, играть перестанешь!" Грибоедов лишился одного пальца на руке, что не помешало ему по–прежнему отлично играть на фортепианах. Н. Н. Муравьев был тоже пианист. (Примеч. П. И. Бартенева.)]. Грибоедов приподнял окровавленную руку свою, показал ее нам и навел пистолет на Якубовича. Он имел все право подвинуться к барьеру; но, приметя, что Якубович метил ему в ногу, он не захотел воспользоваться предстоящим ему преимуществом: он не подвинулся и выстрелил. Пуля пролетела у Якубовича под самым затылком и ударилась в землю; она так близко пролетела, что Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку, однако крови не было. Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, но что это не было первое его намерение, когда он на место стал. Когда все кончилось, мы подбежали к раненому, который сказал: "O, sort injuste!" [O, несправедливая судьба! (фр.)] Он не жаловался и не показывал вида, что он страдает. Я поскакал за Миллером, его в колонии не было; я поехал в горы, увидел его вдали и окликнул; он приехал к нам, перевязал слегка рану и уехал. Раненого положили в бричку, и все отправились ко мне. Тот день Грибоедов провел у меня; рана его неопасна была, и Миллер дал нам надежду, что он в короткое время выздоровеет. Дабы скрыть поединок, мы условились сказать, что мы были на охоте, что Грибоедов с лошади свалился и что лошадь наступила ему ногой на руку. Якубович теперь бывает вместе с Грибоедовым, и по обращению их друг с другом никто бы не подумал, что они стрелялись. Я думаю, что еще никогда не было подобного поединка: совершенное хладнокровие во всех четырех нас, ни одного неприятного слова между Якубовичем и Грибоедовым; напротив того, до самой той минуты, как стали к барьеру, они разговаривали между собою, и после того, когда секунданты их побежали за лекарем, Грибоедов Лежал на руках у Якубовича. В самое время поединка я страдал за Якубовича, но любовался его осанкою и смелостью: вид его был мужествен, велик, особливо в ту минуту, как он после своего выстрела ожидал верной смерти, сложа руки.

25–го. Грибоедов перешел поутру на другую квартиру. Слух о поединке разнесся и дошел до Наумова. Никого больше в том

нельзя подозревать, кроме капитана Быкова, который стоял вместе с Грибоедовым; но Наумов ничего не знает наверное. Его мучит любопытство: ему бы хотелось, чтобы мы все к нему пришли, повинились бы в сеоем поступке; тогда он принял бы на себя вид покровителя и, пожуривши нас за молодость, взялся бы поправить все дело, которое не требует поправления. Ему весьма обидно показалось, что мы сего не сделали; он напал на бедного Талызина, не смея на другого напасть, наговорил ему неприятностей и обвинял его в обмане. "Ты должен был все знать, потому что ты вместе с Якубовичем жил; для чего ты мне ничего не сказал и не говоришь?" Бедный Талызин клялся ему, что он ничего не знает. Тогда Наумов позвал к себе Якубовича, хотел из него все выведать самым глупым образом, но ошибся. Он стал уверять Якубовича, что он все знает. "Если вы все знаете, – отвечал ему Якубонич, – так зачем же спрашиваете вы меня? А я вам говорю, что поединка не было и что слухи эти пустые". Весьма приметно, что Наумов еще недавно имел такую власть; он хочет ее выказать; его любопытство мучает, и он хотел бы быть в состоянии рассказывать всем на ухо обстоятельства сего поединка, но ему не удалось и не удастся. Вечер мы провели у Грибоедова. Наумов посылал меня к себе просить; я пошел к нему, но не застал его дома.

26–го. Наумов прислал сказать Якубовичу, что полковник Наумов приказывает ему выехать из города, а что Сергей Александрович позволяет ему до вечера 27–го числа " Тифлисе остаться. Наумов сим подтверждает то, что я об нем выше написал.

27–го ввечеру Якубович уехал на Карагач в полк. Про рану Грибоедова распущено множество слухов. Унгерн слышал вчера, что пуля ударила его в ладонь и вылетела " локоть. <...>

25–го <декабря>. <...> Вечер я провел у главнокомандующего и сидел у Петра Николаевича до 2–го часа ночи. он мне рассказывал разные происшествия по службе. Между прочим, он сказал мне, что Алексей Петрович <Ермолов> очень сердится на Якубовича за случившийся поединок, и советовал мне чрез Грибоедова попросить Мазаровича, чтобы он объяснил дело генералу и устроил бы оное так, чтобы он не сердился и оставил бы оное. <...>

31–го. Я обедал у Алексея Петровича, вечер провел до полуночи у Грибоедова и встретил у него Новый год. Ужин был прекрасный, и все несколько подпили. Краузе показывал разные штуки. <...>

<1819 г. Тифлис.>

11–го <января> я был у Алексея Петровича, который говорил очень долго о разделении Польши с таким красноречием и с такими познаниями, что мы все удивлялись и заслушались его. Грибоедов проделывает с ним все те же самые штуки, которые он со мной делал, и надувает Алексея Петровича, который, верно, полагает <в нем> пространные и глубокие сведения. Грибоедов умен и умеет так осторожно действовать, что все речи его двусмысленны, л он тогда только дает утвердительное мнение свое, когда Алексей Петрович свое скажет, так что никогда ему не противоречит и повторяет слова Алексея Петровича: все думают, что он прежде тот предмет также хорошо знал. Я уже был надут им и видел ход его действий.

16–го. Мне кажется, Грибоедов придирается ко мне и что у нас не обойдется ладно. Вчера обедал я в трактире, и Грибоедов тоже. Пришел туда тот самый толстый Степанов, с которым я раз виделся на его квартире и который отказался от своих слов и просил извинения. Грибоедов не знал его. Увидя его, он спросил меня, та ли это особа, про которую прежде говорено было и которой я побоялся. "Как побоялся, – сказал я, – кого я буду бояться?" – "Да его наружность страшна". – "Она может быть страшна для вас, но совсем не для меня". Меня очень рассердило сие маленькое происшествие. Я дождался, пока Степанов ушел, а потом, подозвав к себе Амбургера, спросил у него громко при всех, слышал ли он суждение Грибоедова, который находит наружность Степанова грозною. Грибоедов несколько потерялся и не умел иначе поправиться, как сказав, что он ее грозною потому находит, что Степанов громаден. Тем и кончилось. Грибоедов почувствовал свою ошибку и все вертелся около меня. <…>

22–го я обедал у Алексея Петровича. Грибоедов отличался глупейшей лестью и враками. Я не понимаю, как Алексей Петрович может так долго ошибаться в нем. Он, кажется, к нему еще очень хорошо расположен, и мне кажется сие за счастье, что Грибоедов не остается в Тифлисе, а уезжает с Мазаровичем.

28–го. Уехал отсюда с Мазаровичем в Персию, к великому удовольствию всех, Грибоедов [3], который умел заслужить всеобщую нелюбовь. Мне кажется, однако же, что Алексей Петрович не ошибся на его счет. Он препоручил Грибоедову сделать описание случившемуся здесь землетрясению для помещения оного в ведомости. Грибоедов написал ужасную штуку: "Куринские льды с ревом поколебались, треснули и стремились к пучине"; тут был и гром, и треск, и стук, и страх, и разбежавшиеся жители, и опустелый город; землетрясение пять минут продолжалось и пр. и пр., и все написано так лживо и так нескладно, что было больше похоже на силлогизм человеческого

преследования. Я узнал, что Алексей Петрович премного его благодарил за сие и расхваливал его; по отъезде же Грибоедова он приказал Могилевскому пересочинить все сие сызнова.

<...>

31–го <мая>. 30–го приехал сюда из Тифлиса Амбургер с депешами от Мазаровича. Он мне отдал две книги Малькольма, "Историю Персии", которая из Индии выписана, и письмо от Монкейта, приславшего оную. Он просит меня, чтобы я нашел здесь место для сына его 4–летнего, прижитого с армянкой в Тавризе. Вечер провел у меня Амбургер, и я, кажется, выманил у него славную персидскую грамматику с английским. Мы с ним долго говорили о Персии, о которой он весьма здраво судит. Он мне говорит насчет действий Мазаровича в Персии, что братья его совершенно пустились без стыда в торги и таскаются но базарам для закупки товаров, которые они намерены продать в России. Поведение такое, кажется, неприлично русскому поверенному в делах [4]. <...>

<1822 г. Тифлис.>

25–го <января>. Провел вечер у Грибоедова. Нашел его переменившимся против прежнего. Человек сей очень умен и имеет большие познания. <...>

2–го <февраля>. Пришел ко мне обедать Грибоедов; после обеда мы сели заниматься и просидели до половины одиннадцатого часа: я учил его по–турецки, а он меня по–персидски. Успехи, которые он сделал в персидском языке, учась один, без помощи книг, которых у него тогда не было <поражают>. Он в точности знает язык персидский и занимается теперь арабским. Я нашел его очень переменившимся, и он очень понравился вчера. Он мне рассказывал, между прочим, обращение Мазаровича в Персии и каким он образом роняет честь своего звания, а следственно и государя, своим поведением в Персии. Когда получены были бумаги из Петербурга, которыми извещали персидский двор, что турки своим поведением навлекают на себя гнев государя и сами задирают нас к войне, надобно было объяснить Аббас–Мирзе, что государь желает дать знать всем народам, что не страсть к завоеваниям его к сему понуждает, но единственно неправильные поступки турок против него. Грибоедов ходил к Аббас–Мирзе и объяснил ему сие, говоря, что государь не требует союзников, но дает только ему знать о сем. Аббас–Мирза, обрадованный сим случаем, обещался выставить 50 тыс. воинов и идти на турок, что он и сделал. На другой день Мазарович, увидевшись с ним в саду, стал ему о том же говорить; но вместо того, чтобы соблюсти благопристойность,

он просил Аббас–Мирзу быть союзником нашим и в знак благодарности, когда тот объявил свое согласие, схватил у него руку и поцеловал ее. Вот поступок, достойный иностранца, наемщика в нашей службе!

3–го. Грибоедов приходил ко мне поутру, и мы занимались с ним до пяти часов вечера. <…>

5–го. Я провел часть дня у Грибоедова, занимаясь восточными языками. <…>

6–го. Был день происшествий. Я узнал поутру, что Рюмине приехал, ждал его к себе; но он не приходил. Воейков был у меня и, заставши у меня Грибоедова, сказал мне в другой комнате, что если б я одну вещь знал, то бы она меня очень рассердила. Я просил у него объяснения; он не хотел объясниться, наконец, он ушел. В обед пришел ко мне Катани и сказал, что Рюмин еще поутру пошел из артиллерийского дома ко мне, взяв с собой чертежи свои; между тем Катани сказал, что он слышал, будто Рюмин был у главнокомандующего и у начальника штаба. Я применил слова Воейкова к сему случаю и, крепко рассердись, готовился Рюмина арестовать при первой встрече, ибо поступок сей служит продолжением прежних и означал прежнюю его склонность к хвастовству и неповиновению. Проступок его по службе был довольно важен. Я послал за Воейковым, чтобы переговорить с ним о сем случае; между тем пошел после обеда к Верховскому для сего самого. Верховский начал речь тем, что рассказал мне свое происшествие с Гиертой, который таскал из чертежной карандаши и тушь и стал отвечать ему дурно, когда он просил его не трогать сих вещей. Верховский принужден был его остановить угрозою, что он ему покажет свои права. Случай сей расстроил Верховского. Засим я ему рассказал Рюмина дело, и в то самое время пришел ко мне человек с известием, что Рюмин явился ко мне и дожидается с чертежами. Я просил Верховского быть свидетелем твоего поступка с Рюминым, и он пришел ко мне. Рюмина работа была очень хороша. Я поблагодарил его; а между тем, узнавши, что он был у главнокомандующего и у начальника штаба и показывал им свою работу, я побранил его, как должно, и отпустил. Пришел Бобарыкин, а за ним Воейков; я просил их изъяснить мне, в чем состояли слова, сказанные Воейковым поутру, полагая, что тут касается нечто до Грибоедова. После долгих отговорок Бобарыкин сказал мне, что накануне Грибоедов изъяснялся у Алексея Петровича Петру Николаевичу насмешливо насчет наших занятий в восточных языках, понося мои способности и возвышая свои самыми невыгодными выражениями на мой счет. Меня сие крепко огорчило. Необходимо должно было иметь поединок, чтобы остановить Грибоедова, что было весьма неприятно. Я пошел к Воейкову, где нашел Бобарыкина, объяснил им, сколько происшествие сие было неприятно для меня, послав вслед засим к Грибоедову книгу его и велев потребовать мои назад; и то было вмиг исполнено. Вскоре засим явился ко мне Грибоедов, дабы я ему объяснил причины, понудившие меня К "ему поступку. Я ему объяснил их и назвал свидетелей. Ми напали все на него и представляли ему его неосторожность. Он извинился передо

мною и просил, чтобы я забыл сие; но Бобарыкин, имея старые причины на него сетовать, продолжал спорить с ним. Сие подало повод к колкостям с обеих сторон. Бобарыкин сознавался, что он не должен был мне передавать этих слов, не объяснившись Сперва с Грибоедовым, но сказал, что уважение его и преданность ко мне понудили к сему. В самое это время Грибоедов вскочил и ушел.

Мое дело было поправлено, но Бобарыкин и Воейков оставались на дурном счету в глазах Грибоедова. Я намеревался и теперь намереваюсь пресечь понемногу знакомство с ним; но тут я должен был примириться с ним и принять его извинения, и потому я отправился с Бобарыкиным к нему и примирился, с тем условием, однако ж, чтобы: 1) Грибоедов не смел после разносить сего, и 2) чтобы он вперед был осторожнее в своих речах.

Он охотно согласился на сие и дал честное слово, что вперед будет осторожнее и нигде не разгласит сего дела. Я отдал ему книги и обещался заниматься прежнему с ним. Бобарыкин извинился в том, что ее мне сказал сие, а Грибоедов в том, что прежде подал ему повод неудовольствия на себя своими неосторожными шутками. И мы так расстались. Перед отходом Грибоедов дал мне письмо, которое он хотел послать к Петру Николаевичу, которым он просил его помирить его со мною. Я сжег сие письмо и пошел к Воейкову, куда вскоре и Грибоедов пришел и просидел с нами до 11 часов вечера. Я возвращался с Бобарыкиным домой с двумя фонарями, как встретился нам Газан с третьим фонарем. Мы зашли к нему, и он рассказал нам следующее происшествие, случившееся с ним.

Здесь есть гражданский чиновник Похвиснев, привезенный недавно Алексеем Петровичем. Он брал книги у Газана. Газану они были нужны, и он отправился за ними к Похвисневу, не нашел его дома и стал рыться в книгах его, чтобы свои отыскать. Человек Похвиснева не давал ему сего делать; но как скоро он увидел, что Газан насильно хотел сие делать, он вышел и запер его в комнате. Сколько Газан ни просил его отпереть двери и выпустить его, человек не делал сего. Газан выломал пинком дверь и вышел.

Засим я пошел домой и лег спать, вспомнив, что несколько раз в жизни мне случалось иметь дни, преисполненные происшествиями, неприятностями, и был рад, что те, которые до меня касались, так хорошо кончились. <…>

10–го. Я был почти целый день дома и занимался. Я писал к Грибоедову записку, в которой я объяснял ему, что занятия мои по службе не позволяют мне больше продолжать занятия наши в восточных языках и что в субботу должен у нас последний урок

быть. Ввечеру поздно он ко мне пришел и просидел до полночи. Образование и ум его необыкновенны. <…>

27–го. Я ходил к Алексею Петровичу и носил к нему турецкую грамматику, которую я для него сочинил. После полдня я ходил к Грибоедову, который был болен сии дни. Он получил при мне записку от одного англичанина Мартина, который просил его прислать к нему лекаря, потому что был болен, но он никакого языка, кроме английского, не знал. Мы искали средства, чтобы доставить ему переводчика, и как другого не было, как мне самому идти, то я написал записку к Миллеру, которою я просил его прийти к нему, а сам отправился. Сей несчастный приехал из Калькутты в Тавриз для лечения, полагая, что холодный климат будет ему полезен. Из Тавриза он сюда прибыл из любопытства и еще более занемог; он принимал множество меркурия и хины, которые расстроили его здоровье. Положение его заслуживает сострадания. <…>

15–го <марта>. Поутру заходил ко мне Грибоедов с англичанином Мартином, который оправился от своей болезни и сбирается на днях отсюда ехать. <…>

19–го. Я провел часть дня у Грибоедова и обедал у него, занимаясь с ним турецким языком. <…>

31–го марта провели у меня вечер Грибоедов и Кюхельбекер [6], первый был так любезен вчера, что можно бы почти забыть его свойства. <…>

16–го <апреля> я ходил ввечеру в собрание и узнал там от Грибоедова происшествие, недавно случившееся между Кюхельбекером и Похвисневым. На днях они поссорились у Алексея Петровича, и как Похвиснев не соглашался выйти с ним на поединок, то он ему дал две пощечины. Алексей Петрович, узнавши о сем, очень сердился, сказав, что Кюхельбекера непременно отправит отсюда в Россию, а между тем велел, чтобы они подрались. У Похвиснева назначен секундантом Павлов, а Кюхельбекер послал на Гомборы по сему предмету за артиллерийским штабскапитаном Листом, с которым он очень дружен. <…>

19–го я обедал у губернатора, где слышал от него самые неприличные отзывы об Вельяминове. Ермолов <Петр Николаевич> после обеда приехал ко мне и рассказал мне дело Похвиснева с Кюхельбекером. Грибоедов причиною всего, и Кюхельбекер действовал по его советам. Мне сказал Ермолов, что Алексей Петрович имеет тайное приказание извести Кюхельбекера; невзирая на то, кажется, что слабость его допустит последнего до того же состояния, в котором он прежде был принят у него в доме. <…>

20–го. Кюхельбекер стрелялся с Похвисневым [7]; один дал промах, у другого пистолет осекся, и тем дело кончилось. <...>

4–го <мая> в 9 часов утра Ермолов уехал. Грибоедов, проводив его, приехал ко мне обедать.

<1826 год.>

<Сентябрь>. В Тифлисе было две невесты, на коих все обращали глаза: дочь покойного артиллерии генерал–майора Ахвердова и дочь совестного судьи Перфильева.

Первая была скромная и весьма хорошо воспитанная девушка, но жила с мачехою своею, женщиною, которая по правилам своим пользовалась всеобщим уважением, но по смерти мужа своего, управляя оставленным имением сирот, по незнанию своему, почти совсем истребила оное. Как тому более всего способствовал род жизни, который она вела несообразно своему и их состоянию, то и можно почти сказать, что имение сие было промотано, хотя и без всякого дурного умыслу со стороны Прасковьи Николаевны Ахвердовой. Она была обижена и обманута теми людьми, коим доверяла управление имением своим в России. Содержась давно уже имением сирот, коих она была попечительницей, она едва уже находила средства к дневному содержанию своему и семейства своего. Но при всем том вечеринки, балы, выезды, наряды шли прежним порядком и умножили долги ее. Красота и воспитание Софьи Ахвердовой привлекали в дом ее множество гостей. Многие в нее влюблялись, но не приступали к женитьбе, опасаясь расстроенного состояния дел ее. Брат Софьи Федоровны [От первого брака Федора Исаевича Ахвердова (ум. в 1818 г.) с княжною Юстиниани. (Примеч. Л. И. Бартенева.)] был отправлен в Петербург в Пажеский корпус, где о воспитании его имели мало попечения. Прасковья Николаевна имела еще собственную дочь, лет 10–ти, которую она также воспитывала весьма хорошо. В доме жила еще двоюродная сестра нынешней жены моей, Ахвердова. В числе женихов для Сонюшки выбирали разных людей, коих нравственность и правила, по легкомыслию Прасковьи Николаевны, казались удовлетворительными. В таком роде был один грек Севиньи, плут скаредный и обманщик, который говорил хорошо по–французски и обольстил старуху до такой степени, что она обручила за него Сонюшку, когда ей было только 12 лет; но подложные письма его и все поведение были открыты Грибоедовым, который в сем случае поступил по–рыцарски: он изгнал его из круга дома сего [8]. Севиньи скоро уехал в Россию, где обнаружил себя фальшивыми паспортами и кражею. Имение детей покойного Ахвердова состояло из дома и сада в Тифлисе,

которые Прасковья Николаевна стала разыгрывать в лотерею. Собранные до сих пор 44 тыс. рублей были из опеки взяты опекуном князем Чавчавадзевым, который уплатил оными собственные долги, частию передав попечительнице, и не в состоянии был платить исправно проценты. Попечительница продавала вновь билеты, записываемые на приход в капитал, которого давно уже не существует. Приязнь между обоими семействами была причиною, что по сих пор не было никаких исков; их и вперед не будет: они оказались бы тщетными. Не менее того имение сирот исчезло, деньги за билеты взяты, и лотерея уже восемь лет осталась без розыгрыша. Все сии обстоятельства устрашали женихов.

В то время была еще другая невеста в Тифлисе, славившаяся своею красотою, искусством петь и танцевать, недавно прибывшая с отцом своим, полька Александрина Перфильева. Отец ее, прибывший на службу в Грузию с семейством своим, был вскоре по покровительству Ховена назначен совестным судьею. Дом их имел все признаки шляхетского происхождения; но Александрина, вскружившая многим молодым людям голову, не могла никогда занять меня, хотя многие и предназначали мне ее в супруги. Непомерное желание нравиться и слухи об упрямых свойствах ее достаточны были, чтобы совершенно отклонить с моей стороны всякий иск или желание принять ее в жены. Еще перед выездом моим из Тифлиса я предупредил Мазаровича о желании моем и выборе и просил узнать о состоянии дел Ахвердовой и о расположении ее, но с тем, чтобы не объяснять ничего. В Джелал–Оглу я получил ответ его. Я мог видеть, что она ничего не имела; но я не искал состояния, а жену. <…>

<1827 год.>

В начале года я опять приехал из Манглиса в Тифлис, но с твердым намерением не отлагать более избрания себе супруги. Мазарович, коему я в прошлом году перед походом говорил о намерении моем жениться на Ахвердовой, тогда же писал к мачехе ее, и, как я после узнал, избираемая мною невеста не изъявила мачехе своей совершенного согласия быть за мною замужем, о чем, кажется, не было говорено Мазаровичу, который не мог сомневаться в успехе сего дела. Впрочем, я ему не поручал никакого ходатайства, и никому не поручал оного, желая сам все кончить, как сие и случилось без чьей–либо посторонней помощи. Я не колебался в выборе себе невесты и не помышлял избрать Александрину Перфильеву или дочь князя Арсения Бебутова, но устремил мысль на нынешнюю жену свою, хотя и не чувствовал к ней сильной страсти и хотя мне несколько нравилась княжна

Нина Чавчавадзе; но ее лета, ум и воспитание далеко отстали от тех же качеств Сонюшки Ахвердовой. Я совещался с Мазаровичем, дабы узнать в подробности те обстоятельства, которые затрудняли меня в решении, а именно состояние дел ее, сношения с мачехою и тот обширный круг всякого народа, который ежедневно наполнял дом их и который бы я весьма желал удалить от себя.

Я узнал от Мазаровича, что хотя и нельзя было ожидать приданого (потому что все имение, оставленное ей и брату ее покойным отцом, было запутано, по–видимому, беспечностью опекуна князя Чавчавадзе и неумеренностью мачехи ее), но долгов она не имела, и сего мне было достаточно, ибо я не искал богатства, а искал жены. О состоянии мачехи я также узнал, что оно было в самом расстроенном положении, что она была вся в долгах, но что долги сии нисколько не падали на сирот. Насчет шумного круга, посещавшего дом ее, Мазарович уверял меня, что с появлением моим он весь разойдется, и сей последний предмет один только мог меня затруднять. Впрочем, дабы иметь лучшие сведения, я обратился к Грибоедову, коему состояние дел ее было известно. Он достал мне какую–то таблицу, по коей видно было, что долги старухи простирались сверх 30 000 руб., что имение падчерицы ее хотя и полагалось налицо, но что оно было все почти издержано старухою. Оно состояло из дома и сада, которые были заложены и сверх того разыгрывались в лотерею уже 7 лет в 80 000 руб.; деньги, за билеты вырученные, более 40 000 руб., были издержаны; выхлопотанные Алексеем Петровичем в пользу вдовы сей от государя 20 000 руб. были им удержаны в пользу сирот и отданы в Приказ общественного призрения, но опекуном взяты. Он по ним обещался платить проценты в пользу сирот, но не делал сего, и проценты добывались старухою, продававшею вновь билеты и записывавшею их на приход в капитал, коего таким образом собралось 44 000. Но между тем опекун был ей порукой в займе у другого лица денег. Довольно ясно было видно, что ни дома, ни имения сего более не существовало, но меня сие не беспокоило. Кроме того, имелся еще дом и пять дворов крестьян, которые давали небольшой доход и коим пользовалась старуха; но и сие не могло остановить меня. Касательно сношений моих со старухою Грибоедов уверял меня, что он на моем месте всячески старался бы удалить ее в Россию после свадьбы, в чем он был совершенно справедлив. Он сам был весьма рад намерению моему и всячески старался склонить меня в деле, в коем не нужно мне было посторонних советов, почему я и не просил его дальнейшего участия. Но тут же, при объяснениях, сознался я ему, что Нина Чавчавадзе мне более нравилась, а он

сознался, что был неравнодушен к Ахвердовой, но не помышлял о женитьбе, потому что не имел состояния.

Я не имел с Грибоедовым никогда дружбы; причины сему были разные. Поединок, который он имел с Якубовичем в 1818 году, на коем я был свидетелем со стороны последнего, склонность сего человека к злословию и неуместным шуткам, иногда даже оскорбительным, самонадеянность и известные мне прежние поступки его совершенно отклонили меня от него, и в сем случае, хотя доверенность, мною ему сделанная, сближала меня с ним некоторым образом, но не склонила меня к нему с лучшим душевным расположением, и я до сих пор остался об нем мыслей весьма невыгодных насчет его нравственности и нрава.

Между тем слух, не знаю на чем основанный (ибо я оного повода не давал), разнесся по городу, что я женюсь на Перфильевой. Так как я не был оному виною, то я и не заботился о прекращении оного и оставил всех в заблуждении сем, более скрывавшем действия мои для достижения предполагаемой мною цели.

Жена моя имела несколько женихов. Давно уже, вскоре после смерти отца ее, ветреная мачеха ее обручила ее почти в ребячестве с офицером, родом греком, по имени Севинис, который стал всем известен славным воровством известной в мире жемчужины, сделанным им года четыре тому назад в Москве у купца Зосимы [См. подробности в "Воспоминаниях" Н. И. Шёпига в "Русском архиве" (1881, 1, 238). (Примеч. П. И. Бартенева.)]. Человек сей, пришелец из неизвестного отечества, прибыл в Грузию, распустил великолепные слухи о происхождении своем и богатствах своих, подложными письмами обольстил Прасковью Николаевну Ахвердову и сделался женихом Сонюшки Ахвердовой, но был через несколько времени изобличен в плутовстве своем Грибоедовым, который выгнал его из Тифлиса, прекратил связь его с домом Ахвердовых и тем приобрел неограниченную доверенность Прасковьи Николаевны.

Другие женихи, являвшиеся после того, были отдаляемы; но в последнее время походный атаман здешних донских полков генерал–лейтенант Василий Дмитриевич Иловайский стал часто ездить в дом и искать расположения Сонюшки, в чем он не мог успеть ни по уму своему, ни по качествам. Он был уже в некоторых летах, вдовец, человек тяжелого нрава и весьма глупый. Он думал жениться, но затруднялся в выборе невесты. У Прасковьи Николаевны, однако же, он мог надеяться на успех: ибо она, может быть, и пожертвовала бы падчерицею своею в надежде поправить расстроенные дела свои, выдав ее за человека богатого, хотя и пустого, каков был Иловайский; и Сонюшка, видя

пользу сего, не поколебалась бы ни минуты отдать ему руку свою с тем, чтоб угодить женщине сей, которую она обожает, как родную мать, и к коей она имеет неограниченную доверенность; но Иловайский не принимал решительных мер и спрашивал у всех совета, на ней ли жениться или на Нине Чавчавадзе. В первом не успел, во втором получил отказ. Он ежедневно посещал дом Прасковьи Николаевны и служил посмешищем толпе молодежи, отчасти наглой, которую также принимали в доме сем слишком хорошо и которая, пользуясь сим ласковым приемом, веселилась и не переставала в неприличных шутках заочно превозносить красоту и качества Сонюшки, не имея на нее никаких честных видов супружества.

Итак, дабы чаще видеть ту, которую избирал себе в супруги, я стал ездить в собрание, в которое старуха находила удовольствие ее возить и хвалиться внутренно, видя толпу обожателей, окружавших ее. Глупое самолюбие сие, к счастью, не имело действия на Сонюшку Ахвердову, которая, будучи одарена природным умом и отличными правилами, пребыла равнодушной к сим похвалам и умела истинно величественною наружностью своею и приемами держать обожателей своих в должном почтении.

Вместе с нею видел я и Нину Чавчавадзе, которой наружность мне нравилась. Я стал засим ездить в оба дома сии, но не долго колебался и решил выбор свой на Сонюшке, после чего и начал чаще бывать в доме Прасковьи Николаевны.

Княжна Нина Чавчавадзе вышла в сем году замуж за Грибоедова. Дело сие сделалось внезапно, пока мы находились под Ахалкалаками. Кажется, что к сему способствовала Прасковья Николаевна, коей слишком короткое обхождение с Грибоедовым и даже дружба с ним весьма предосудительны и не могли мне нравиться, когда я весьма далек от того, чтоб иметь хорошее мнение о человеке сем. Мне даже не могло посему быть и приятно, что он был принят, в отсутствие мое, в доме, коего я хозяин, как самый ближайший родственник. Нет сомнения, что Сергей Николаевич Ермолов не мог быть супругом Чавчавадзевой; но, зная его добрый нрав и честные правила, я бы всегда предпочел его в сем случае Грибоедову, на правила коего не мог бы я положиться. В сем случае руководствовали родителями разные виды, кроме доверенности,; которую имели к жениху. Он был назначен министром к персидскому двору, получил непомерно большое содержание, получал от государя по представлениям (Паскевича, коему он вдобавок был по жене двоюродный брат) большие денежные награждения. Все сие способствовало ему, и он получил весьма скоро согласие

родителей. Князь Александр (Чавчавадзе) так поторопился в сем случае, что даже не уведомил меня о том предварительно, как мы о том уговорились при прекращении ходатайства моего о Сергее Николаевиче, коему следовало бы сперва отказать. <…>

Курганов не прекращал своих доносов, и я недавно слышал, что Эрнстов и Мухранский, до смены Алексея Петровича, ходили по ночам, переодетые в бурках и грузинских шапках, к Паскевичу, показывая через сие опасность, в которой находились, если бы были открыты. Обстоятельство сие истинное и дает понятие как о предосудительном расположении друг к другу начальников, так и о глупости доносчиков.

Не подвержено почти сомнению и то, что Грибоедов в сем случае принял на себя обязанности, несогласные с тем, чего от него ожидали его знакомые [9]. Казалось бы,, что и самые связи родства, в коих он находился с Паскевичем, не должны были его склонить к принятию постыдного звания доносчика [Далее в подлиннике четыре строки зачеркнуты, и разобрать их невозможно. (Примеч. П. И. Бартенева.)].

<…> нас обвенчали 22 апреля 1827 года.

Мы выехали из церкви вместе и приехали в дом к Прасковье Николаевне, где она уже ожидала нас с Алексеем Петровичем, Мадатовою и Чавчавадзе. За ужином присутствовали только вышеозначенные лица и приглашенные еще Мазарович с женою. Грибоедов приехал без приглашения. Вечер был скучный. Алексей Петрович засел играть в вист; жена моя была в большом замешательстве от столь быстрого переворота в жизни ее. В первом часу ночи разъехались, и я пошел с женою наверх в приготовленные для меня комнаты. <…>

Накануне выезда своего [10] Алексей Петрович, прощаясь со мною в квартире младшего Вельяминова, отвел меня в сторону и предупредил меня, чтобы, невзирая на доверенность, которую ко мне оказывали, я никому из вновь прибывших не верил и, обращаясь со всеми по долгу службы, лично вел бы себя осторожно: ибо они показывали мне доверенность свою только по необходимости, которую во мне имели. Он предупредил меня, чтобы я не полагался на получение скоро места начальника штаба, которое мне обещали, потому что Паскевич для сего выписывал одного генерала из России, который должен приехать, и прибавил, чтобы я наблюдал за сим и вел бы себя согласно с сим и что я неминуемо сам замечу намерения их. Я благодарил его за совет, но не мог ничего заметить до самого приезда графа Сухтелена, о коем я узнал в Аббас–Абаде за несколько дней до приезда его в армию.

Я, помнится мне, тогда же сообщил слова Алексея Петровича

Грибоедову, спрося его, справедливо ли сие; но он мне отвечал таким голосом, будто Паскевич не имеет сего в виду, что я более не мог бы усумниться в искренности намерений Паскевича относительно меня, если бы совершенно верил Грибоедову, который о сем, кажется, давно уже знал. <...>

<Май>. Часто повторявшееся состояние исступления, в которое приходил Паскевич без всякой причины, возродило в нем, наконец, желчную болезнь, с коею он через несколько дней своего пребывания в Шулаверах и выехал в Джелал–Оглу.

По прибытии в лагерь за Бабьим Мостом болезнь его усилилась до такой степени, что к ночи, казалось, уже было мало надежды к его выздоровлению. Видя, сколько потеря его могла произвести беспорядка, и помня обещание, данное мною Дибичу, не оставлять его и быть терпеливым, притом же руководимый человеколюбием, я принял личное участие в его болезни и вместе с Грибоедовым, который ему был родственником, не оставлял его и служил как ближнему, стараясь сколь возможно его успокоить и помочь ему, о чем он и отозвался однажды благодарностью. <...>

<Июнь>. Однажды, потребовав меня к себе, Паскевич вспомнил о давнишнем намерении правительства нашего завоевать Астрабад и приказал в ту же минуту написать о сем предположение, которое он хотел послать к Дибичу, а отвечал ему, что сие должно было основать на подробных сведениях о морских и провиантских средствах наших в Астрахани и Баку, что мне было неизвестно, и потому я не мог взять на себя положения сего, особливо в столь короткое время, как он сего требовал. Он отнес ответ сей к недоброй воле моей и приказал непременно сделать, говоря, что я там был и должен все знать. Видя, что нечего делать, я занялся сим делом и чрез несколько часов представил ему записку, в которой были самые неосновательные предположения по сему предмету, что оговорено было и в самом рапорте, изготовленном мною от Паскевича к Дибичу. Записка сия, которая ровно не могла ни к чему служить, сначала ему понравилась, и он принял меня ласково; но, по прочтении рапорта, ему показалось что–то в ней несогласного с его образом мыслей, а потому он начал перемарывать оную и поправлять. Паскевич читал и перечитывал рапорт сей, но сам не постигал его; наконец, по обыкновению своему, рассердился и, сказав, что он неверно списан, приказал к себе принести черновой, нашел его во всем сходным с подлинником, наставил еще точек и запятых, так что смысл оного совершенно уже затмил, и, отдавая мне оный для отправления: "Voila, monsieur, – сказал он, – comme il faut strictement observer la ponctuation; tout depend de la" [Вот, сударь,

как нужно точно соблюдать пунктуацию; все зависит от этого (фр.).]. Я не мог смеяться; но вышел из комнаты, встретил Грибоедова, которому и объяснил, сколько я затруднялся послать сию бумагу к Дибичу, прося его совета, как поступить в сем случае. Он мне сказал, что делать было нечего и что рапорт надобно уже было так отправить, что я и сделал; но, кажется, на оный и ответа не было, по крайней мере, ответ сей мне в руки не попадался. Я старался достать список впоследствии времени с сего донесения, дабы поместить оный, как редкость, в сии записки, которые я предполагал всегда продолжать; но не нашел к тому средств и оставил дело сие, которое могло подвергнуть меня большим неудовольствиям.

29–го числа <июня> на рассвете я отправился к Аббас–Абаду с Ренненкампфом и сотнею казаков. Я держался влево, дабы скрыть движение свое за продолговатыми возвышениями, идущими на расстоянии одной или полуторы версты от крепости, и, скрывшись за бугор, спешил казаков, оставил за бугром лошадей и выслал пеших людей за бугор, дабы оставить неприятеля в недоумении о числе людей, оставшихся за бугром. Хитрость сия, как я после узнал от самих персиян, имела полный успех; ибо они, предполагая, что у нас за горою засада и скрываются силы, не смели с большими силами напасть на нас и не истребили мой слабый отряд.

По вершине сего продолговатого бугра я прошел с пешими казаками до оконечности, подходящей под самую крепость, откуда спустил несколько человек влево, а сам поехал с несколькими казаками вправо для обозрения крепости. Мы подъехали с Ренненкампфом к развалинам стенок, оставшихся с северной стороны Аббас–Абада, как увидели персидскую конницу в числе 600 человек, переправлявшуюся через Араке и подвигавшуюся ко мне. Я хотел отступить на бугор и защищаться на оном до прибытия новых сил из лагеря; но Ренненкампф советовал лучше потребовать к себе казаков, отступать равниною, понемногу отстреливаясь, а между тем послать в лагерь с приказанием 3–й сотне поспешить прибытием к нам на помощь. На сем и решили. Мы дождались на месте казаков, оставленных на бугре, и, построив их в две линии, отступали с одною шагом, пока другая стояла лицом к неприятелю. Персияне также выстроились фронтом и пустились было на нас рысью; но, увидя порядок, в коем мы отступали, остановились и выслали фланкёров, что и я сделал, чтобы занять их до прибытия подкрепления. Между тем я посадил засаду из 20 казаков в деревне, которая у меня была на правом фланге, дабы отрезать фланкёров их, задающихся слишком вперед; но 3–я сотня казаков

уже скакала ко мне на помощь, и неприятель, собрав фланкёров своих, начал отступать под самую крепость. Причиною сего отступления персиян, кажется, более всего было то, что они заметили толпы конницы, подвигавшиеся к нам из лагеря, в коем делалось следующее.

Паскевич, увидя из окон своих перестрелку, засуетился и рассердился. Грибоедов, который в то время был при нем, и другие его окружающие советовали ему послать ко мне подкрепление, говоря, что я могу погибнуть с горстью людей против такого сильного неприятеля. "Пускай он погибает! – отвечал Паскевич. – Если он расторопный офицер, то сам отделается; если же он плох, то мне не нужен, и пускай погибает!" Надеясь, однако, захватить персиян, которые бы слишком далеко заехали в ожидаемом им преследовании меня, он вскоре поднялся со всею кавалериею и выехал на высоты, которые были за моим правым флангом; но, видя, что неприятель стал отступать, остановился и послал за мною Бородина, который застал меня уже совершенно вне опасности и свободного от неприятеля на лугу за завтраком и сказал, что Паскевич сердит, бранится и требует меня к себе.

Я приехал к нему. Он напустился на меня с криком, спрашивая, как я смел завязывать дело, тогда как он меня послал единственно для того, чтобы заманить неприятеля и скакать в лагерь, дабы дать ему случай отхватить гнавшихся за мною. Я отвечал ему, что если в том была цель его, то он бы с большим успехом употребил казачьего офицера с несколькими казаками, но что я такого приказания никогда не получал и, напротив того,, имел приказание осмотреть крепость. Неправда, сударь, сказал он в сердцах. Тогда я ему напомнил, как он приказывал мне осмотреть ров крепостной,, и сказал, что я опасался еще ответственности за то, что не исполнил в точности сего приказания. После сих слов Паскевич перестал браниться; он постоял несколько времени на возвышении с конницею и возвратился в лагерь.

Июль <...> я продолжал заниматься еще своею обязанностью и в ту же ночь пришел еще к нему, Паскевичу,, с докладом. Он тогда был занят реляциею о победе над Аббас–Мирзою, которая никак не клеилась по его желанию. Писал ее Вальховский, писал Грибоедов, и все не выходило того, что ему хотелось. Просмотрев со мною принесенные бумаги, он обратился ко мне с дружеским видом: "Mon cher general! – сказал он, – faites–moi l'amitie d'ecrire de ma part un mot au general Sipiaguine, pour le prevenir de la viteoire, en lui disant, que les details ulterieurs viendront a la suite" [Дорогой генерал, сделайте одолжение, напишите от меня

словечко генералу Сипягину, уведомьте его о победе и сообщите, что дальнейшие подробности следуют (фр.).].

Возвратясь в свою палатку часу во втором после полночи, я продиктовал Ахвердову, при мне находившемуся в должности адъютанта, письмо от Паскевича к Сипягину, в коем пояснено было вкратце все дело, не упустив ничего того, что могло служить к представлению дела сего в настоящем виде, т. е. победы, означив число пленных, знамен и проч. Но как я удивился, когда, по прочитании письма сего Паскевичу, я увидел, что он выходил из себя. "Кто это писал?" – закричал он. "Я писал". – "Кто писал?" – возразил он снова. "Писал Ахвердов по моей диктовке". – "Arretez–moi cet homme, – закричал он, – c'est un petit coquin" [Арестуйте этого человека, он мошенник (фр.).]. Я, разумеется, не арестовал его, а спросил Паскевича, чем Ахвердов провинился. "Вы, сударь, – отвечал он мне в пылу, – не поместили всего в реляции". – "Это не реляция, – сказал я, – а короткое письмо в предупреждение генерала Сипягина до отправления настоящей реляции, которую вы мне не приказывали написать". – "Вы, сударь, скрыли число пленных ханов: их взято семь, а не три, как вы написали". – "Их взято только три". – "Неправда, сударь, семь взято; сочтите их в палатке". В палатке точно сидело семь человек пленных с ханами, но в том числе были и прислужники их, что я ему и объяснил; но он не хотел принять сего. "Вы написали мало пленных, – продолжал он. – Алексею Петровичу Ермолову написали бы вы 30 ханов и 30 000 неприятельского урона, а мне вы не хотите написать семи ханов <...>. Но я знаю, что это все последствия интриг ваших с Ермоловым: вы хотите затмить мои подвиги и не щадите для достижения цели вашей славы российского оружия, которую вы также затемнить хотите, дабы мне вредить". Слова сии были столь обидны, что я не мог выдержать оных. "Ваше высокопревосходительство обвиняете меня, стало быть, в измене, – отвечал я. – Обвинение сие касается уже до чести моей, и после оного я не могу в войске более оставаться. Прошу вас отпустить меня теперь в Тифлис". – "Как вы смеете проситься?" – сказал он. "Я доведен до крайности". – "Но вы знаете, что теперь ни отпусков, ни отставок нет". – "Знаю, а потому и уверяю вас, что моя главная цель состоит единственно в том, чтобы не служить под начальством вашим; каким же образом достигну до оной, до того мне дела нет. Вы меня до того довели, что я буду счастлив удалиться отсюда под каким вам угодно будет предлогом. Угодно вам, отпустите меня; угодно, командируйте по службе; угодно, ушлите, удалите со взысканием, как человека неспособного, провинившегося, с пятном на всю мою службу. Я уверяю вас, что всем останусь довольным, бы не при вас служить". – "Хорошо, –

сказал он с видом гораздо спокойнее, – я ваше дело решу ужо, а теперь прошу вас до того времени продолжать занятия ваши по–прежнему". Я пошел к Грибоедову, рассказал ему все происшествие и объяснил, что более в войске не остаюсь. Сколь ни было прискорбно Грибоедову, по родствуу его с Паскевичем, видеть ссору сию, но он не мог не оправдать поведения моего в сем случае [10].

<1828 год.>

25–го <июля> ввечеру я виделся на весьма короткое время с Грибоедовым, который, отъезжая в Персию в звании генерального консула, заехал повидаться с Паскевичем и принять от него приказания. Но сему посещению была еще следующая причина. Грибоедов съездил курьером к государю с донесением о заключении мира с Персиею, получил вдруг чин статского советника, Анну с бриллиантами на шею и 4000 червонцев. Человек сей, за несколько времени перед сим едва только выпутавшийся из неволи, в которую он был взят по делу заговорщиков 14 декабря и в чем он, кажется, имел участие (за что и был отвезен с фельдъегерем в Петербург к допросу), достижением столь блистательных выгод показал редкое умение свое. Сего было мало: он получил еще в Петербурге место генерального консула в Персии с 7000 червонцами жалованья, присвоенными к сему месту. Грибоедов, таким образом, вмиг сделался и знатен, и богат. Правда, что на сие место государь не мог сделать лучшего назначения; ибо Грибоедов, живши долгое время в Персии, знал и хорошо обучился персидскому языку, был боек, умен,, ловок и смел, как должно, в обхождении с азиатцами. Притом же, по редким способностям и уму, он пользовался всеобщим уважением и лучше кого–либо умел поддерживать в настоящей славе звание сие как между персиянами, так и между англичанами, имевшими сильное влияние на политические дела Персии и пребывающими постоянно в Тавризе, под предлогом учителей или образователей регулярного войска.

Я, кажется, выше упоминал, в каких личных сношениях я находился с Грибоедовым. Я был весьма далек от того, чтобы к нему иметь дружбу и (как некоторые имели) уважение к его добродетелям, коих я в общем смысле овеем не признавал в нем, а потому и не буду повторять сего. Но как я сам удалялся от него, то и всякое сближение его с семейством моим было для меня неприятно. Мне всегда было досадно видеть, сколько Прасковья Николаевна <Ахвердова> имела к нему доверенности, и тел неприятнее было узнать о сильном участии, которое она приняла в помолвке Грибоедова на Нине Чавчавадзевой, ибо он к нам под

Ахалкалаки приехал, к удивлению всех, уже женихом ее [12].

Грибоедов имел много странностей, а часто и старался прослыть странным, для чего говорил вещи странные и удивлял других неожиданностью своих поступков. Нина прежде еще его несколько занимала, и как он извлекал изо всего пользу для своей забавы, то пользовался пущенным о том слухом, дабы выводить из себя ее страстного обожателя Сережу Ермолова. За это однажды у них дошло было почти до поединка, что и прекратило насмешки Грибоедова. Приехавши из Петербурга со всею пышностью посланника при азиатском дворе, с почестями, деньгами и доверенностью главнокомандующего, коего он был родственник, Грибоедов расчел, что ему недоставало жены для полного наслаждения своим счастьем. Но, помышляя о жене, он, кажется, не имел в виду приобретение друга, в косм мог бы уважать и ум, и достоинства, и привязанность. Казалось мне, что он только желал иметь красивое и невиннее создание подле себя для умножения своих наслаждений. Нина была отменно хороших правил, добра сердцем, прекрасна собой, веселого нрава, кроткая, послушная, но не имела того образования, которое могло бы занять Грибоедова, хотя и в обществе она умела себя вести. Не имея никого другого в виду, Грибоедов думал о Нине и с сими думами отправился в Гумры, дабы оттуда приехать в Каре к Паскевичу, но дорогою вздумал жениться и внезапно возвратился в Тифлис, приехал ко мне в дом и открыл свое намерение Прасковье Николаевне, которая от сего была в восхищении. Кроме того, что она надеялась видеть их счастливыми, потому что заблуждалась насчет Грибоедова, ей льстил выбор Грибоедова, ибо Нина была ею воспитана. Она, может быть, вспомнила вскоре после первой радости своей, что сие супружество подает ей средства поправить свои дела по доверенности, которую Грибоедов имел у Паскевича. Она вмиг побежала к Чавчавадзевым и без затруднения нашла скорое согласие на сие матери и бабки Нины, двух грузинок, из коих последняя хотя и умная женщина, но прельщалась связью и сближением с великою, единою ведомою им властью главнокомандующего в Грузии, коего участие было весьма нужно врасстроенном состоянии дел семейства их и тяжбах <которые они> имели с казною.

Грибоедову сказано было испросить согласие Нины. Он к сему приступил весьма простым образом и получил оное. Нина после говаривала, что она давно уже имела душевную склонность к Грибоедову и желала его иметь супругом. Все сие было улажено у меня в доме. Послали курьера к отцу Нины, который начальствовал войсками и областью в Эривани, и ответ от него

получен, без сомнения, утвердительный; он всех более радовался сему союзу.

Итак, Грибоедов из Тифлиса приехал к нам в Ахалкалакский лагерь женихом. Я его видел, так сказать, мельком в палатке у Паскевича, и он хотел уже со мною быть на родственной ноге, ибо Ахвердовы были через князей Челокаевых в родстве с Чавчавадзевыми; но я не отвечал ему тем же образом, и он мог видеть во мне прежнюю мою недоверчивость к нему. Мне весьма не нравилось, напротив того, сближение его с моим семейством, и я безошибочно был уверен в сильном участии, которое Прасковья Николаевна принимала в сем браке. И Сережа Ермолов был в досаде, но он старался скрыть сие и говорил, что более не думает о Нине и желает ей всякого счастья.

Грибоедов женился по возвращении в Тифлис со всею пышностью посланника и с таковою же отправился вместе с женою в Персию, где он был убит в народном возмущении. Происшествие сие будет описано в своем месте. К удивлению многих, прочитали в журнале Греча после смерти Грибоедова напечатанное письмо его к Гречу, в коем он описывает обстоятельства его женитьбы. На Нину он взирал более как на забаву, чем на жену [13]. Я дал сие заметить Прасковье Николаевне, коей выражения его также не нравились; но, будучи уже слишком ослеплена им, она не могла сознаться в своем ошибочном о сем человеке понятии.

27 июля войска переменили лагерь и подвинулись на 3 версты вперед. 29–го был размен ратификации мирного трактата с Персиею, в коем, вероятно, был действующим лицом со стороны Персии приехавший Исмаил–хан, или мирза Исмаил. Грибоедов поехал в Тифлис, где и женился, и оттуда выехал с женою к своему месту в Персию.

Описывая разные связи и интриги Тифлиса, нельзя умолчать о причинах, которые, как кажется, подали повод к сближению Грибоедова с З<авелейским>, каковое всем казалось безобразным по совершенному различию сих двух особ.

Когда Грибоедов ездил в Петербург, увлеченный воображением и замыслами своими, он сделал проект о преобразовании всей Грузии [14], коей правление и все отрасли промышленности должны были принадлежать компании наподобие Восточной Индии. Сам главнокомандующий и войска должны были быть подчинены велениям комитета от сей компании, в коем Грибоедов сам себя назначал директором, а главнокомандующего членом; вместе с сим предоставил он себе право объявлять соседственным народам войну, строить крепости, двигать войска и все дипломатические сношения с

соседними державами. Все сие было изложено красноречивым и пламенным пером, и, как говорят, писцом под диктовку Грибоедова был З<авелейский>, которого он мог легко завлечь ив коем он имел пылкого разгласителя и ходатая к склонению умов в его пользу. Грибоедов посему старался и многих завлечь; он много искал сближения со мною, но я всегда удалялся от него. Когда он приезжал в Ахалкалаки на короткое время, обручившись с Ниною Чавчавадзевой (супружество, предпринятое им в тех же пламенных и пылких ожиданиях, по коим он сам хотел преобразоваться в жителя Грузии, супружество, – которое никогда не могло быть впоследствии времени счастливым по непостоянству мужа и коему покровительствовала ослепленная Грибоедовым Прасковья Николаевне), он замолвил о своем проекте Паскевичу (что было уже в отсутствие мое к Хыртысу) и, говорят, настаивал, чтобы приступлено было к завоеванию турецкой крепости Батума, что на Черном море, как пункта, необходимо нужного для склада в предполагаемом распространении торговой компании. Говорят, что Паскевич несколько склонялся к сему, увлеченный надеждою на легкие сношения с царевною Софьею, правившею тогда Гуриею в соседстве с той стороны с Турциею, женщиною довольно молодою еще, собою видною и известною в том краю по бойкости своей и влиянию, которое она в народе имела. Не будучи расположена с усердием к русским, она впоследствии времени бежала в Требизонт с несовершеннолетним своим сыном и через то фамилия сия лишилась права на владение Гуриею, для управления коей, кажется, назначен был и русский комендант. Не могу утвердительно сказать, но кажется, что даже были тогда сделаны некоторый прибавления к сей экспедиции. После того генерал Гессе, предпринимавший несколько походов из Имеретии в ту сторону, имел постоянные неудачи. Проект сей, уничтожающий почти совершенно власть Паскевича, не мог ему нравиться, и он впоследствии времени не был взят во внимание никем. Когда же Грибоедов, женившись, уехал Персию, то З<авелейский>, полагая себя как бы померенным Грибоедова, сильно вступался за оный и уверял даже, что он находится на рассмотрении у министра финансов в Петербурге. Таким образом, он мне однажды прочитал довольно длинное вступление к сему проекту. Оно было начертано Грибоедовым и было чрезвычайно завлекательно как по слогу, так и по многоразличию новых мыслей, в оном изложенных; но по внимательном рассмотрении вся несообразность огромного предположения сего становилась ясною, и никто не остановился бы на сем любопытном, но неудобосостоятельном предположении, от коего

З<авелейский> приходил в восторг. Я же готов думать, что Грибоедов, получив назначение министра в Персии, значительные выгоды и почести, сделался равнодушнее к своему проекту и, обратись к новому, предмету, стал бы о прошедшем говорить с улыбкою, как о величественном сне, им виденном, причем, вероятно, не пощадил бы и З<авелейского>, к коему невозможно было, чтобы он имел дружбу или уважение. <...>

Однажды поутру З<авелейский> приехал ко мне и с большим смущением объявил мне в тайне, что из Персии получено известие, что Грибоедов убит в народном, возмущении. Он показывал заботу, как довести известие сие до сведения Прасковьи Николаевны и семейства Чавчавадзевых. Первой не было дома; по возвращении ей объявили о смерти Грибоедова, и так как она к нему в; особенности благоволила, то и огорчилась сим известием и несколько времени плакала. От Чавчавадзевых долго скрывали сие известие; но как оно уже сделалось гласным во всем городе, то Прасковья Николаевна рассудила за лучшее объявить о сем матери и бабке Нины, дабы предупредить неосторожное и внезапное объявление сего Родственниками, грузинами, которые по нескромности своей могли сие сделать не вовремя и не впору и через сие испугать женщин и наделать новой тревоги: ибо они Нину любили без памяти и, не имея настоящих сведений о положении ее в Персии, стали бы весьма беспокоиться. Объявление Прасковьи Николаевны произвело много хлопот; слезы, вопли, стоны не умолкали в соседстве нашем, их было слышно из нашего дома; но к сему случаю были припасены лекарства и все нужные средства, и последствий никаких не было. Мать Нины, княгиня Саломе, билась, кричала и с нетерпением переносила скорбь свою; но старуха княгиня Чавчавадзе проливала в тишине слезы, и горесть ее изъявлялась молчанием и задумчивостью. Шеншина сия была почтенная и всеми уважена.

Засим желали иметь подробнейшие известия о смерти Грибоедова, но никто их не мог дать. Говорили, что приехал курьер, передавший бумагу, в коей было написано, что он убит или умерщвлен злодейски в Тегеране, в народном смятении, со всем посольством своим, и что спасся только один чиновник Мальцов. Между тем Нина оставалась в Тавризе; она была беременная, молодая женщина, едва супругою взятая из дома родительского и оставшаяся одна среди народа безнравственного, разъяренного. Сие могло точно всех беспокоить, и положение ее было истинно бедственное. Отец ее был окружным начальником в Эривани; он, кажется, просился ехать в Персию, дабы вывезти дочь свою, по ему было дозволено ехать только до границы.

Кажется, при Нине оставался двоюродный ее брат Роман Чавчавадзе; или, по крайней мере, он скоро приехал к ней, и, сколько было у него сил, он старался ей помочь, заступая в то время место покровителя ее, и дело об убиении ее мужа было от нее скрыто до самого возвращения ее в Тифлис.

Теперь должен я изложить, с известными мне подробностями, обстоятельства смерти Грибоедова, о коей столько говорят и имеются различные мнения. Иные утверждают, что он сам был виною своей смерти, что он не умел Еести дел своих, что он через сие происшествие, причиненное совершенным отступлением от правил, предписанных министерством, поставил нас снова в неприятные сношения с Персиею. Другие говорят, что он подал повод к возмущению через свое сластолюбие к женщинам. Наконец, иные ставят сему причиною слугу его Александра... [15] Все же соглашаются с мнением, что Грибоедов, с редкими правилами и способностями, был не на своем месте, и сие последнее мнение, кажется, частью основано на мнении самого Паскевича, который немного сожалел о несчастной погибели родственника своего (он был двоюродный графине), невзирая даже на важные услуги, ему Грибоедовым оказанные, без коего он, может быть, не управился бы в 1826 и 1827 годах при всех кознях и ссорах, происходивших в Грузии во время смены главнокомандующих, и без помощи коего он бы не заключил столь выгодного с Персиею мира. Паскевич имел неудовольствия на Грибоедова, и причиною оных было то, что последний, будучи облечен званием министра двора нашего в Персии, должен был сообразоваться с данными ему из Петербурга наставлениями и не мог слепо следовать распоряжениям Паскевича. Прямые же сношения Грибоедова с министерством иностранных дел, минуя Паскевича, были неприятны последнему. Я же был совершенно противного мнения.

Не заблуждаясь насчет выхваленных многими добродетелей и правил Грибоедова, коих я никогда не находил увлекательными, я отдавал всегда полную справедливость его способностям и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, что он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию и что не найдется, может быть, в России человека, столь способного к занятию его места. Он был настойчив, знал обхождение, которое нужно было иметь с персиянами, дабы достичь своей цели, должен был вести себя и настойчиво относительно к англичанам, дабы обращать в нашу пользу персиян при доверенности, которую англичане имели в правлении персидском. Он был бескорыстен и умел порабощать умы если не одними дарованиями и преимуществами своего ума,

то твердостью. Едиными сими средствами Грибоедов мог поддержать то влияние, которое было произведено последними успехами оружия нашего между персиянами, которые на нас злобствовали и по легковерию своему готовы были сбросить с себя иго нашего влияния по случаю открытия турецкой войны (а на нее были обращены почти все наши войска). Сими средствами мог он одолеть соревнование и зависть англичан. Он знал и чувствовал сие. Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством Персидским. Если б он возвратился благополучно в Тавриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось; но в сем ратоборстве он погиб, и то перед отъездом своим одержав совершенную победу. И никто не признал пи заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела!

Грибоедов поехал из Тавриза в Тегеран, дабы видеться с шахом, а между тем и кончить некоторые дела по требованиям нашим на основании мирных договоров, которых персияне не хотели было исполнить. Он достиг цели своей, и между сими домогательствами ему удалось даже извлечь из гарема Аллаяр–хана (зятя шахского и первого министра его, первой особы в Персии, того самого, который был взят нами в плен при занятии Тавриза) двух армянок,, взятых в плен в прошлую войну в наших границах, кои находились у него в заложницах и о возвращении коих, на основании мирных договоров, ходатайствовали, кажется, родители пленниц. Сие могло удасться только одному Грибоедову; ибо шах был вынужден отдать приказание зятю своему (нашему первому в Персии врагу) о возвращении их только по неотступной настойчивости и угрозам Грибоедова. Женщины сии были приведены к нему в дом, где и ожидали выезда посланника, дабы с ним следовать в Тавриз и оттуда на родину. Но озлобленный и ревнивый Аллаяр–хан не мог перенести ни оскорбления, ему нанесенного, ни удаления своих наложниц. Он стал волновать народ и даже в мечетях приказал произносить на пас проклятья, дабы более остервенить против нас чернь. В народе было заметно волнение уже несколько дней. О сем предупреждали Грибоедова; но он пренебрегал слишком персиянами и, будучи убежден в преимуществе, которое он имел над ними, был уверен, что одного появления его, одного присутствия его будет достаточно, чтобы остановить толпу; притом же уклонение казалось ему мерою неприличною, и страх не мог им овладеть. Между тем волнение усиливалось, народ начинал толпиться на улицах и площадях и произносить оскорбительные для посланника нашего выражения и угрозы. Недоставало только искры, от коей бы пламя занялось, и искра

сия вскоре показалась.

Слуга Грибоедова, Александр, молодой человек, преизбалозанный и коего он находил удовольствие возвышать против звания его ... человек сей стал приставать к армянкам, содержащимся в доме. Женщины сии, может быть, и до сего уже недовольные тем, что их взяли из пышного гарема для возвращения в семейства, где бы они стали вести жизнь бедную и в нужде, оскорбленные ласками и приемами Александра, выскочили в двери и, показавшись на улице, стали кричать, что их бесчестят, насильничают. Что между ними было, того никто не знает; ибо свидетелей никого не осталось. Иные говорили, что будто сам Грибоедов хотел их прельстить; но сие невероятно, не потому, чтобы он не в состоянии был оказать неверность жене своей (я полагаю, что правила его не воспрепятствовали бы сему), но он бы не сделал сего никогда, дабы не навлечь порицания званию своему, особливо в тогдашних обстоятельствах и сношениях своих с Аллаяр–ханом.

Происшествия сии я рассказываю по тем сведениям, которые я мог изустно собрать; за точную же справедливость оных ручаться не могу.

В сие уже смутное время армянин Рустам, молодец собою, тот самый, который первый схватил Аллаяр–хана (когда его в плен взяли при занятии Тавриза, что выше описано), шел по городу и, по обыкновению своему, расталкивал с дерзостью толпившийся на базаре народ. Кажется, возвращаясь в дом посольства, Рустам был окружен разъяренною толпою. Он стал защищаться, но был вмиг растерзан; его умертвили, волочили по улицам труп его и, рассекши оный на части, разметали.

Народ собрался с шумом перед домом посланника (который тогда из осторожности заперли) и требовал выдачи одного армянина, служившего при посольстве, как и Рустам, в должности курьера. После некоторых переговоров, не знаю кем веденных, армянина выдали, и он был в то же мгновение повешен перед домом посольства.

Сими жертвами народ не удовольствовался и, поощренный успехом, стал требовать самого посланника. Разбивши караул, стоявший у дома и состоявший из 16 или 20 персидских джанбазов с офицером, из коих 2 или 4 солдата было убито или ранено, народ вломился во двор и напал на людей, чиновников и казаков посольства, которые долгое время защищались, удерживая с упорством всякую дверь. При посольстве сем было около пятнадцати линейных казаков, молодцов, которые отличились в сем случае мужеством своим, побили много персиян, но все погибли, защищая начальника своего.

Мне говорили, что ужасный приступ сей продолжался более двух часов, и я удивляюсь, что Грибоедов сам тут не присутствовал. Но сие невероятно: не в подобном случае упал бы дух в сем человеке, мне довольно известном. Может быть, что сведения по сему предмету недостаточны, ибо почти никого свидетелей не осталось: почти все чиновники, слуги посольства и казаки были растерзаны, и в числе их и слуга Грибоедова Александр. Когда народ осадил уже и самую комнату, в коей находился Грибоедов, рассказывают, что он тогда отпер двери и стал у порога, показываясь народу, и с бодрым духом спросил, чего они хотят. Внезапное появление его, смелая осанка, выражение слов его (он знал хорошо по–персидски) остановили разъяренную толпу, и дело пошло на объяснения, как Грибоедов был неожиданно ударен и повержен без чувств на землю большим камнем, упавшим ему на голову. Персияне, встречая сильные затруднения к достижению посланника, еще с самого начала приступа обратились к плоским крышам, по коим, добежав до покоя Грибоедова, разрыли землю, покрывавшую оный, разобрали слабый потолок и во время разговора пустили роковой камень на голову Грибоедова. Надобно, впрочем, полагать, что встреча его с народом несколько украшена. Народ можно было остановить до кровопролития; но после долгого и упорного боя вряд ли присутствие лица, на коем возлегало все мщение народа, сколь бы оно ни осанисто было, могло бы остановить чернь. Надобно также думать, что Грибоедов не был до того времени в совершенном спокойствии, ибо вмиг нельзя разгородить и разобрать крышу, дабы пустить сквозь оную камень; все сие происходило, вероятно, в шуме и в драке.

Но с роковым камнем кончилось и все. Вслед за сим ударом последовал удар сабли, нанесенный Грибоедову одним из присутствующих персиян, и после того толпа уже бросилась на него, поразила многими ударами, и обезображенный труп Грибоедова выброшен на улицу. Дом посольства был разграблен, и лучшие вещи, принадлежавшие чиновникам, очутились вскоре у шаха, который не упустил и сего случая для удовлетворения своему корыстолюбию.

Из хода сего дела заключают, что сам шах и все персидское правительство знало об умысле Аллаяр–хана и тайно допустило совершение злодеяния; полагали даже, что англичане, видя верх, который Грибоедов над ними начинал брать, из–под руки склоняли главных чиновников Персии к дерзкому поступку. Нельзя полагать, чтобы они хотели довести дело до такой степени; но весьма немудрено, что они желали какого–либо происшествия, последствием коего было уничижение нашего

посланника и уменьшение его влияния.

Участие, принятое в сем смертоубийстве персидским правлением, ясно доказывается тем, что оно было заблаговременно предуведомлено о намерении народа, тогда еще, как Грибоедову советовали укрыться в смежной с квартирою его армянской церкви, из коей ему бы можно было уклониться и бежать из Тегерана, что он отверг с презрением. Люди, доведшие сие до сведения шаха и губернатора Тегерана (одного из сыновей его), будучи преданы нам, просили помощи и присылки войск для разогнания собравшегося народа; но шах и губернатор медлили, вероятно с намерением, дабы допустить злодеяние, и отряды персидской пехоты пришли к квартире посланника, когда уже все было кончено. Иные полагают, что шах, знавши остервенение, в коем чернь находилась, опасался противуборствовать оной, дабы не обратить оную на себя. Впрочем, и войско равно ненавидело русских и вряд ли стало бы действовать против народа. После говорили мне, что и слухи об упорной защите посольского персидского караула были несправедливы, что караул сей, увидя решительность народа, тотчас разошелся и что едва ли один из солдат оного был легко ранен; говорили даже, что и они приняли участие в разграблении посольского дома.

Из всего посольства спасся тогда только один чиновник Мальцов. Иные говорят, что он при начале волнения побежал в шахский дворец, дабы просить от персидского правительства помощи; но кажется, что дело иначе было. Мальцов укрылся в нужное место, как говорят, и средство к уклонению его было дано ему одним армянином, коему он предложил тогда находившиеся при нем 50 червонцев (ибо всякий опасался в такое время показать какое–либо участие к жертвам, дабы не быть открытым и чрез сие не пострадать). Мальцеву удалось пробраться до шахского дворца, где его, как говорят, сперва спрятали в сундук, ибо сам шах боялся возмущения. Когда все затихло, он остался во дворце под покровительством самого шаха и наконец выехал в Грузию. Кроме его, кажется, не было очевидного вестника сему ужасному происшествию. Мальцева многие обвиняли в том, что он не погиб вместе с Грибоедовым. Не знаю, справедливо ли сие обвинение. Мальцов был гражданский, а не военный чиновник и но вооруженный, секретарь посольства, а не конвойный; целью посольства были не военные действия, где бы его обязанность была умереть при начальнике. На них напали врасплох, резали безоружных, и я не вижу, почему Мальцов неправ в том, что он нашел средство спасти себя, и, может быть, еще с надеждою прислать помощи к осажденному посольскому дому. Впрочем, он, кажется, по домашним связям своим был близок к Грибоедову, и

о поведении его подробнее вышеизложенного я не знаю. Может быть, и есть обстоятельства мне неизвестные, которые в общем мнении обвиняют его поступок. Я его лично не знаю, едва видел его в Тифлисе; в пользу его не было ничего особенного слышно.

Нина Грибоедова была в Тавризе и беременная во время сего происшествия, которое от нее скрыли. Двоюродный брат ее Роман Чавчавадзе, по совету англичан, пребывающих в Тавризе, из коих поверенный в делах имел весьма умную и приятную жену, перевез ее к ним в дом. Мера сия была тем нужнее, что в Тавризе оказывалось беспокойство в народе, в коем воспрянула придавленная злоба к русским по получении известия о случившемся в Тегеране. Не менее того Аббас–Мирза старался показать большое огорчение и даже наложил на несколько дней траур.

Нину уверяли, что ее перевезли к англичанам по воле мужа ее, которого дела задерживают на некоторое время еще в Тегеране; наконец, когда списались с Тифлисом, ей сказали, что ее везут в Тифлис, также по воле мужа ее, который ее в дороге нагонит. Верила ли сему, несчастная вдова, того не знаю; но не полагаю, ибо она не получала от мужа писем. Ее привезли с большою опасностью до границ наших, где ее, кажется, встретил отец и привез в Тифлис. Ее остановили в карантине, куда к ней ездили для свидания родственники. Она была молчалива, мало упоминала в речах о муже и, казалось, догадывалась об участи своей.

Но Нина претерпела все сии бедствия в состоянии беременности, коей было уже 7 или 8 месяцев, когда Прасковья Николаевна, опасаясь, дабы до нее дошло известие о погибели мужа стороннею дорогою и с неосторожностью, решилась объявить ей о сем. Нина не металась в отчаянии; она плакала, но тихо и скрывала грусть свою. Печаль же на нее столько подействовала, что она чрез несколько дней после того выкинула еще живого ребенка, который через несколько часов умер. Тут стали обвинять в сем Прасковью Николаевну, коей участие и принятое на себя звание возвестительницы столь печального происшествия могли только честь делать; ибо подобные порученности бывают самые неприятные. В число обвинителей замешался и Мартиненго, человек, которого она всегда отличала; он находил, что ребенок мог жить и что он умер от нераспорядительности Прасковьи Николаевны. Сие произвело несколько разговора в городе, по тем и кончилось.

Правительство наше требовало выдачи тела Грибоедова, дабы похоронить оное с честью. То ли самое тело, или другое какое–либо, было привезено в Тифлис? Открывавшие гроб в Джелал–

Оглипском карантине говорили мне, что оно было очень обезображено, порублено во многих местах и, кажется, без одной руки; но сие уже было летом следующего, 1829 года. Труп сей похоронили с надлежащею почестью у монастыря Святого Давыда, построенного на горе за домом нашим. Вдова и все родственники ее, а также и наши, провожали гроб; многочисленная толпа тифлисских жителей, собравшаяся без приглашения, следовала за печальным шествием. Там построили арку, которая видна из всего города. Грибоедов любил картинное место сие и часто говорил, что ему там бы хотелось быть похоронену.

Нина осталась печальна, скрывала грусть свою и тем более вселяла к себе участия. З<авелейский> искал руки ее; но он заблуждался, когда надеялся, что добродетельная Нина могла выйти за него замуж.

Однако правительство наше не могло оставить нанесенное оному поругание в убиении посланника без внимания. Персидский двор уверял, что несчастное событие сие приключилось без ведома оного и что виновные будут наказаны; а между тем по получаемым сведениям известно было, что персидские войска собирались около Тавриза. Многие говорили, что мера сия была только предостерегательная на случай вторжения наших войск; но не менее того брожение умов в Персии было чрезвычайное: хотели возобновить войну с Россиею, полагаясь на то, что мы были заняты войною с Турциею. И в самом деле, обстоятельства наши в Грузии в таком разе были бы несколько затруднительны; но с обеих сторон остались в покое. Нас точно занимала турецкая война, а персияне еще не забыли прошедших побед наших. Мы требовали выдачи виновников в смерти нашего посланника; нам обещались их выдать, но не выдавали и, наконец, не выдали. Требовали, чтобы, по крайней мере, сын Аббас–Мирзы, Хозрой–Мирза, приехал для испрошения у государя прощения. И в том медлили, боялись его выслать в Россию; наконец его прислали в Тифлис уже в мае месяце 1829 года, без всяких наставлений от персидского двора и даже без позволения далее ехать. Паскевич отправил его почти насильно в Россию, против воли отца, а особливо деда его, с коими все велись переговоры, по предмету сему, и, наконец, Хозрой–Мирза получил уже в Царском Селе наставления от шаха относительно порученности, на него возлагаемой. 16

Всем известен прием, оказанный ему в Петербурге, речь его, сочиненная, вероятно, в иностранной коллегии нашей и напечатанная в ведомостях, в коей он просил от имени родителей своих прощения за убиение нашего посланника. Ему удалось еще,

кроме того, выпросить у государя прощения двух куруров из восьми, наложенных в дань с Персии при заключении мира, что составляло 20 000 000 уступки с 80 000 000, о чем и прежде персидский двор настоятельно просил, но чего Грибоедов не хотел уступить, и это было также причиною злобы на него персиян, которые, как к концу дела оказалось, достигли своей цели убиением посланника нашего. Причиною сего была, без сомнения, турецкая война, коею персияне искусно воспользовались тогда; но можно ли полагать, чтобы злодеяние их, коварство и нарушение всех прав народных остались впоследствии без наказания со стороны России?

Хозрой–Мирза возвратился из Петербурга в Тифлис уже в конце 1829 или в начале 1830 года; он не нашел у Паскевича приема, подобного тому, который ему оказывали в России: у нас лучше знали цену ему. Прихоти его не были всегда уважены, и он имел более одного раза случай вспомнить и о молодости своей и постичь ничтожность двора персидского; но вряд ли он мог сие уразуметь. Когда он приехал на границу Персии, его встретили еще с меньшею пышностью; он сожалел о России, где на него потратили миллионы. <…>

Место Грибоедова в Персии заступил князь Долгорукий, уже по возвращении Хозроя. Нельзя не приписать к уменью его то, что он поладил с двором персидским; но я не полагаю, чтобы он достиг того влияния, до которого Грибоедов отчасти уже и добился. Впрочем, и персидский двор старался загладить вину свою; но не менее всякая похвала принадлежит первому водворившему опять в Персии звание посланника нашего, после умерщвления Грибоедова, и сие, без сомнения, было сопряжено с большою опасностью, ибо народ ненавидел нас и хвалился еще торжеством своим <…>

П. А. Вяземский.
Дела иль пустяки давно минувших лет
(Письмо к М. И. Лонгинову)

Премного благодарю вас, любезнейший Михаил Николаевич [1], за присылку мне сентябрьской книжки "Русского вестника". В ней напечатана статья о "неизданных пьесах Грибоедова". А как в одной из помянутых пьес есть и мое участие, то вы, по любознательности своей, желаете иметь от меня справки и объяснения по этому делу. Не могу не повиноваться требованиям вашим: вы отец и командир всей пишущей грамотной и полуграмотной братии нашей, как строевой и наличной, так и бессрочно–отпускной и инвалидной. Вы не только начальник

главного управления по делим печати живой и нынешней, но и мертвой, вчерашней, третьегодняшней, и едва ли не допотопной. Трудолюбивый, неутомимый изыскатель по русской части биографической и библиографической, вы все прочуяли, переведали, пересмотрели, до всего добрались и продолжаете добираться. От ваших истинно цензорских, то есть сотенных Аргусовых глаз ничто печатное доныне, и чуть ли не все писанное, не ускользнуло. Всеведение и память ваша изумительны. На ловца и зверь бежит. Вот нечаянно попалось вам на глаза давным–давно забытое, да и в свое время мало известное, и, можно сказать, случайное произведение Грибоедова: "Кто брат? Кто сестра?", и вы сейчас производите, хотя и по остывшим от времени следам, дознание, чтобы определить, как, когда и при каких обстоятельствах оно возникло и совершилось. Из всех ответчиков и свидетелей по этому делу чуть ли не я один налицо из числа всех живущих на земле. Присягнув пред вами, что я буду говорить правду и одну правду, начинаю показание свое. Но извольте принять в соображение, что с того времени прошло несколько законных и крупных давностей; следовательно, могу передать только то, что помню и что уцелело в памяти моей под спудом, ныне неожиданно пробужденной вашим вопросом и предъявленными уликами. Теперь к делу, но с маленьким предисловием.

Литература наша в настоящее время переродилась в Чичикова. Вероятно, за неимением живых, наличных душ, она принялась промышлять мертвыми. Везде, где бы то ни было, у кого бы то ни было, скупает она мертвые души, выгребает их из могил и закладывает в разные журнальные банки. Иные из этих операций хорошо и блистательно удаются, но далеко не все. Другие проваливаются, за недостатком достоверных и законных свидетельств, за неблагонадежностью лиц, представляющих эти залоги. Впрочем, это дело банков – быть осмотрительными и строго контролировать сбои кредитные распоряжения. Жаль только, что частые несостоятельности и ложные документы могут подрывать доверие публики к подобным сделкам. Впрочем, и то сказать, публика наша такая благонравная, такая целомудренно–доверчивая, что за нее печалиться нам не для чего. Один тесть говорил про зятя своего: "Мой зять прекрасный человек; что ни поставь перед ним – все съест". Наша публика сродни этому зятю.

Как бы то ни было, я никогда не думал и не гадал, чтобы по истечении полустолетия вынырнуло из театральных подвалов дитя почти мертворожденное и вскоре погребенное. Мне казалось, что, не удержавшись на сцене, оно вовсе и безвозвратно погибло. Не тут–то было. Выходит, что французская поговорка:

"Discret comme la tombe" [Молчаливый, как могила (фр.).] не всегда верна. В наше время и могилы сделались очень нескромными и болтливыми.

Во время оно и я был присяжным московским театралом. Привычка к театру есть род запоя. В известный час после обеда заноет какой–то червь в груди; дома не сидится; покидаешь чтение самой занимательной книги, отрываешься от приятного и увлекательного разговора и отправляешься в театр, чтобы в креслах своих смотреть на посредственных актеров и слушать скучную драму. Московская труппа была так себе. Больших талантов, и в особенности образованных актеров, тогда не было. Репертуар, как и вообще весь русский репертуар, был слаб и скуден. Нас, между прочим, забавляло смотреть, как некоторые из актеров, на сцене, в самом пылу действия или любовного объяснения, одним глазом ни на минуту не смигнут с директорской ложи, чтобы видеть, доволен ли игрою их Аполлон Александрович Майков, тогдашний директор театра. Но нас, на ту пору блестящую московскую молодежь, привлекал в особенности балет, пламенно воспетый Денисом Давыдовым, в лице красавицы Истоминой, и удостоенный похвальным отзывом в "Евгении Онегине". Когда говорю балет, то должно под ним скорее разуметь разнохарактерный дивертисмент. Тут подлинно в разнообразных плясках являлись красивые грациозные талантливые танцовщицы. Это была своего рода поэзия. Кроме помянутой царствующей Истоминой было несколько блестящих личностей: в числе их назову Новикову, живую, увлекательную, черноглазую и густо–черноволосую цыганочку. Особенно памятен мне один дивертисмент, под названием, кажется, "Семик". Тут на выбор подобрано было все что ни есть лучшего в московском театре по ведомству пляски и пения. Молодой Лобанов в роли цыгана, с черною бородою и в ярко–красном архалуке, приводил в восторг всю публику от кресел до райка своими эксцентрическими и неистовыми коленцами. Тогда канкан не был еще изобретен, и мы беспорочно довольствовались некоторою отвагою в движениях. Со славою Лобанова соперничал, помнится, какой–то Лебедев, не принадлежавший московскому театру, но "со стороны" участвовавший в "Семике" как песельник. Голосом своим он звонко заливался, руки его, вооруженные ложками, фейерверочно вертели ими; ноги его так прытко изворачивались вприсядку, и все тело его так изгибалось и трепетало, что он был живой и превосходный образец беснующегося. В один из проездов через Москву государя Александра Павловича театральная дирекция вздумала угостить его "Семиком". Но он вообще не охотник был до эксцентрических изъявлений и выказал мало

сочувствия разгулу и дикой поэзии "Семика". Напротив, узнав, что беснующийся ложечник – служащий писарь по какому–то военному ведомству, он остался очень недоволен: приказал, чтобы сей артист–дилетант вперед не осмеливался показываться на сцене, а военному начальству его сделан строжайший выговор за допущение подобного безобразия.

Извините меня: старые воспоминания бывшего театрала увлекли меня далеко в сторону. Но судя уже по вашей любопытной статье о русском театре, видно, что и вы старый театрал. А потому оправдываюсь перед вами переделкою стиха латинского поэта: "Вы театрал, и ничто театральное чуждым быть вам не может".

Теперь уже решительно выступаю на прямой путь.

В первой половине двадцатых годов, в 22–м или 28–м, директор московского театра Ф. Ф. Кокошкин [2], с которым находился я в приятельских отношениях, просил меня написать что–нибудь для бенефиса Львовой–Синецкой (кажется, так), актрисы, состоявшей под особенным покровительством его. Я ему отвечал, что не признаю в себе никаких драматических способностей, но готов ссудить начинкою куплетов пьесу, которую другой возьмется состряпать.

Перед самым тем временем познакомился я в Москве с Грибоедовым, уже автором знаменитой комедии. Я сообщил ему желание Кокошкина и предложил взяться вдвоем за это дело. Он охотно согласился [3]. Мы условились в некоторых основных началах. Он брал на себя всю прозу, расположение сцен, разговоры и прочее. Я брал всю стихотворную часть, т. е. все, что должно быть пропето. Грибоедову принадлежит только один куплет [4]:

Любит обновы
Мальчик Эрот и проч.
("Русский вестник", сентябрь 1873 г., стр. 257).

Не помню и не полагаю, чтобы романс Грибоедова:
Ах, точно ль никогда ей в персях безмятежных...
(там же, стр. 257) был пропет на сцене в водевиле "Кто брат? Кто сестра?" Все мои куплеты из этого водевиля были, помнится мне, впоследствии времени напечатаны в "Дамском журнале", издававшемся князем Шаликовым [5].

Незадолго перед тем возвратился я из Варшавы. В память пребывания моего в Польше предложил я Грибоедову перенести место действия в Польшу и дать вообще лицам и содержанию польский колорит. Каюсь, – двум девицам, участвующим в пьесе,

дал я имена Антося и Лудвися в честь двух варшавских сестер–красавиц, которых можно было встретить на всех гуляньях, во всех спектаклях, одним словом – везде, где можно было на людей посмотреть, а особенно себя показать. Водевильную стряпню свою изготовили мы скоро. Кокошкину и бенефициантке пришлась она по вкусу. Казалось, все шло хорошо. Но первый день представления все изменил. Пьеса, сама по себе не очень оживленная занимательным и веселым действием, еще более задерживалась и, так сказать, застывала под вялою игрою актеров, из которых иные неохотно играли. Затем, разумеется, публика неохотно слушала. Одним словом, если пьеса не совершенно пала, то разве оттого, что на официальной сцене пьесы падать не могут. Известная французская поговорка: "Il est un dieu pour les ivrognes" [Пьяных бог бережет (фр.).] – может быть применена у нас к театру. Для пошатнувшихся и споткнувшихся драматургов есть театральная дирекция. Она может сбить с ног лучший успех и вынести на руках своих комедию, рожденную калекою. Как бы то ни было, пьеса наша была не хуже многих, которые с успехом разыгрывались на московской сцене.

Худо ныне помню содержание и ход водевиля; но имя Грибоедова ручается, что произведение его не было же лишено всякого дарования и вообще драматической сноровки. То же скажу, без уничижения и гордости, о куплетах своих, которые только что теперь прочел в "Русском вестнике", как будто заново или чужие. Право, не хуже они того, что распевалось на русской сцене прежде и после. Причина неуспеха нашего скрывалась в закулисных тайнах. В тогдашней московской театральной дирекции числился молодой Писарев [6]. Он был ловкий переводчик французских водевилей и неутомимый поставщик их на московскую сцену, которая ими только и жила. Вообще был он не без дарования, но, вероятно, вследствие болезненного организма, был раздражителен и желчен. Он меня, не знаю за что, невзлюбил. Не любил он и Грибоедова, который уже пользовался рукописною славою своего "Горя от ума". Влиятельным лицом в дирекции был и Загоскин, также ко мне тогда недоброжелательный. С Грибоедовым же имел он старые счеты по Петербургу [7]. Одним словом, хотя приглашенные в почетные гости у хозяина дома, Кокошкина, мы были вовсе не в чести у домашних его. С Загоскиным мы впоследствии времени хорошо сблизились. Вы знавали его и согласитесь, что никакое злопамятство не могло устоять против его цветущего и румяного добродушия. С Писаревым примирения у нас не было, но не было и случая к примирению.

Теперь, по желанию вашему, приступим к заметкам моим о статье, напечатанной в "Русском вестнике".

Грибоедов, вовсе не с горя, что не удалось ему видеть на сцене "Горе от ума" (стр. 251), принялся за помянутый водевиль, а, как сказано мною выше, совершенно случайно и по моей просьбе.

Стран. 252. Ошибочно сказано, что я с Грибоедовым познакомился "в то время, когда мы оба служили в военной службе и стояли с полками в Царстве Польском". В военной службе состоял я только в 1812 году и не далее Бородина; с Грибоедовым познакомился лет десять позднее в Москве.

Стран. 258. Также ошибочно показание, что куплеты: "Жизнь наша сон! все песнь одна!" писаны именно Грибоедовым. Напротив, написаны они именно мною, в подражание французской пьесе, которую певал в то время заезжий француз.

Выше упомянул я о недоброжелательстве ко мне Писарева. Вот, между прочим, и доказательство тому. Однажды сидим мы одни с Грибоедовым в директорской ложе. Сознаюсь, я тогда более смотрел на ложи, нежели на сцену. Вдруг Грибоедов говорит мне: "Eh bien, vous voila chansonne sur la scene"

[Ну-ка, там о вас поют на сцене (фр.).]. – "Как это?" – спросил я. Между тем слышу громкие рукоплескания и крики "bis". К ним присоединил я и свои, чтобы узнать, в чем дело. Актер повторил требуемый куплет, и я догадался, куда автор хотел метить. Это было во время полемики моей с М.А. Дмитриевым по поводу "Бахчисарайского фонтана". Помню куплет доныне. Не подумайте, что он занозою въелся в память мою. Сейчас покажу вам, что куплет вовсе не занозливый. Но он был одним из поличных обстоятельств в литературной тяжбе, которая в свое время немало наделала шума. А потому и почитаю, что он подлежит вашему цензурно–генерал–прокурорскому надзору:

Известный журналист Графов
Мишурского задел разбором;
Мишурский, не теряя слов,
На критику ответил вздором.
Пошли писатели шуметь,
Кричать, сердиться от безделья.
Пришлось же публике терпеть
В чужом пиру похмелье [8].

Позвольте мне теперь на досуге исследовать археографически и археологически этот допотопный памятник. Известный журналист Графов. В то время под этим прозвищем "Графов" осмеивали бедного графа Хвостова; придать это прозвище и

Каченовскому не было очень лестно для журналиста, которого Писарев считался приверженцем.

Мишурский, не теряя слов, На критику ответил вздором.

Мишурский, очевидно, я, и потому, что я урожденный сиятельство, а, вероятно, еще более потому, что я люблю играть словами и часто выражениями своими пускаю в глаза блеск, или, пожалуй, мишуру. Прекрасно. Но, на беду автора куплета, рифма попутала его. Он должен был и хотел сказать: "Не теряя времени". А теперь мудрено согласовать, что я и "не терял слов" и "ответил вздором".

Пошли писатели шуметь,
Кричать, сердиться от безделья.

Под словом писатели должен быть подразумеваем и М.А. Дмитриев, с которым мы вели пререкания. А между тем Писарев и он были приятелями и литературными единомышленниками. Таким образом, швыряя в меня камнем, задевает он при сей верной оказии и приятеля своего. Один путный стих во всем куплете есть последний, да и то потому, что он весь заключается в известной пословице.

Прозвище Мишурского напоминает мне другого остряка, который где–то пожаловал меня "князем Коврижкиным". Что же прикажете делать? Не обрежешься от нарезного огнестрельного остроумия наших литературных знаменитостей.

Автор статьи о "неизданных пьесах Грибоедова" читал (стр. 257) большое письмо его к Верстовскому по поводу водевиля нашего, выражающее "большую заботу о постановке этой пьесы" [9]. Я этого никак не ожидал, и вот по какой причине.

Следующий рассказ может, во всяком случае, служить характеристическою чертою в изображении Грибоедова и показать, как умел он владеть собою и не выдавать себя другим врасплох. Вообще, не был он вовсе, как полагают многие, человеком увлечения: он был более человеком обдумывания и расчета [10].

В день представления водевиля Грибоедов обедал у меня с некоторыми приятелями моими. В числе их был и Денис Давыдов. "А что, – спросил он Грибоедова, – признайся: сердце у тебя немножко екает в ожидании представления?" – "Так мало ёкает, – отвечал отрывисто Грибоедов, – что даже я и не "поеду в театр". Так он и сделал. Мы отправились без него и заняли литерную ложу во втором ярусе. Оттуда мог я следовать за постепенным падением пьесы. Со всем тем, по окончании, раздалось в партере несколько голосов, вызывавших автора. Я,

разумеется, не вышел. Актер явился на сцену и донес публике, что авторов два, но что ни одного из них нет в театре. Давали ли водевиль после первого представления, – сказать не могу [11] и до нынешнего случая ничего не слыхал о нем.

В разбираемой статье (стр. 252) говорится, что пьеса никогда не была напечатана, "хотя издание ее было бы в высшей степени любопытно", но нельзя приступить к тому без согласия моего. Не полагаю, чтобы это произведение Грибоедова могло послужить приращением к славе его и к пользе нашего репертуара. Но во всяком случае, что до меня относится, предоставляю этот водевиль в полное распоряжение желающих потребителей.

Еще одно замечание, хотя по предмету постороннему. На странице 235 приводится известная эпиграмма на Карамзина:

Послушайте, я вам скажу про старину,
Про Игоря и про его жену...
и проч., —

и приписывается она Грибоедову. В заграничных изданиях печатается она под именем Пушкина – и, кажется, правильно [12]. В ней выдается почерк Пушкина, а не Грибоедова, которого стихи, за исключением многих удачных и блестящих стихов в "Горе от ума", вообще грубоваты и тяжеловаты. При всем своем уважении и нежной преданности к Карамзину Пушкин мог легко написать эту шалость; она, вероятно, заставила бы усмехнуться самого Карамзина. В лета бурной молодости Пушкин не раз бывал увлекаем то в одну, то в другую сторону разнородными потоками обстоятельств, соблазнов и влияний, литературных и других.

В той же статье приводятся слова Грибоедова, сказанные приятелю его уже после написания "Горя от ума". Они меня очень поразили, между прочим и тем, что служат новым свидетельством тому, как часто авторы ошибаются в оценке свойств таланта своего. Он говорит: "Я не напишу более комедии; веселость моя исчезла, а без веселости нет хорошей комедии" [13]. Последние слова совершенно справедливы. Но дело в том, что в комедии "Горе от ума" именно нет нисколько веселости. Есть ум, есть острота, насмешливость, едкость, даже желчь; есть здесь и там, бойкие черты карандаша, схватывающего с удивительною верностью и живостью карикатурные сколки; все это есть – и в изобилии. Но веселости, без чего нет хорошей комедии, по словам Грибоедова, не найдешь в "Горе от ума". Это сатира, а не драма; импровизация, а не действие. О комических положениях, столкновениях, нечаянностях (естественно, а не натянуто и не произвольно вытекающих из самой сущности драматической

басни) нет тут и помина [14]. Один Чацкий, и то, разумеется, против умысла и желания автора, оказывается лицом комическим и смешным. Так, например, в сцене, когда он, после долгой проповеди, оглядывается и видит, что все слушатели его один за другим ушли; или когда Софья Павловна под носом его запирает дверь комнаты своей на ключ, чтобы от него отделаться. Эта исповедь моя, по поводу "Горя от ума", покажется многим дикою и страшною ересью. Но я ни в чем не терплю преувеличения. Один из первых приветствовал я "Горе от ума" с живым сочувствием. Не только у нас, на сценическом безлюдии, но и на другой, гуще населенной сцене, например французской, комедия Грибоедова была бы блестящим явлением. У нас, после "Недоросля" и до "Ревизора", была она не только блестящей, но прямо из жизни выхваченной картиной; картина, может быть, слишком раскрашена, немного натянута; в ней, может быть, выдается более сам живописец, нежели изображенные им лица; но все же, повторяю, картина замечательная по бойкости кисти, по краскам и живости своей. Кажется, довольно и сказанного для беспристрастной оценки этого творения. Вероятно, и сам автор, несмотря на самолюбие свое и чадолюбие, которое присуще каждому автору, не пошел бы многим далее меня в определении достоинства комедии своей. Он был очень умен, образован, хорошо знал иностранные литературы, следовательно, не мог запрашивать у общественного мнения цену, слишком не подходящую к делу. Но наши присяжные ценители и судьи не связаны ни этими и никакими другими условиями. Они рубят сплеча того, кто им не по вкусу и не по нраву; зато уже любимцев своих торжественно и празднично закачивают, на усердных руках своих до беспамятства и тошноты. Признаюсь, мне оскомину набили эти стереотипные прилагательные: бессмертная, гениальная, которые, по заведенному единожды порядку, привешивают к комедии "Горе от ума". Хотелось бы спросить этих господ: из каких доходов раздают они эти дипломы на бессмертие и гениальность? Какие личные права имеют они на подобные производства? Вообще критика наша необстоятельна: ей следовало бы воздерживать себя от неблагоразумной расточительности. Но широкой русской натуре тесно в условиях и законных пределах. Она перескакивает их. Ей, например, Мольер не более известен, чем китайцам; но она не усомнится принести его и многих других в жертву Грибоедову. И так далее, везде и во всем. У нас встречаются писатели с дарованием, но писателей образованных очень мало. Оттого и критика наша или поверхностна, или сбивчива, когда ей захочется поумствовать и полиберальничать. Общественное мнение, по крайней мере в

большинстве, подчиняясь этой критике, с каждым днем все более и более заблуждается и падает. Что ни говори, а все это признаки болезненности и отсутствия образованности.

А вы, которые изведали, исследовали, проверили, промерили на Руси все чернильные потоки, протоки, притоки, знаете ли вы, что в комедии "Горе от ума" есть и моя капля, если не меда и желчи, то, по крайней мере, капля чернил, то есть: точка. Угадайте, поищите. Нет, не находите! Так и быть: укажу я вам.

Скоро после приезда в Москву Грибоедов читал у меня и про одного меня комедию свою. После падения Молчалина с лошади, испуга и обморока Софьи Павловны (действие 2–е, явление 8–е) Чацкий говорил:

Желал бы с ним убиться для компаньи.

Тут заметил я, что влюбленному Чацкому, особенно после слов:

Смятенье, обморок...

Так можно только ощущать,

Когда лишаешься единственного друга... —

неловко употребить пошлое выражение "для компаньи", а лучше передать его служанке Лизе. Так Грибоедов и сделал: точка разделила стих на два [15]; и эта точка моя неотъемлемая собственность в бессмертной и гениальной комедии Грибоедова. Следовательно, и на мою долю надает чуть заметная гомеопатическая крупинка, о чем имею честь заявить нашим маклерам по части бессмертных и гениальных дел.

"Ух!" – скажете вы. "Ух!" – говорю и я. Меня самого пугает непомерная долгота письма моего. Каково же будет вам? Впрочем, виноваты вы сами. Вы задрали родным вопросом старого приятеля, который в немецком закоулке своем сидит, как заключенник в тюрьме, на одиночном и безмолвном положении. Вот меня и прорвало! Вперед будьте осторожнее <...>

Письма из Петербурга. 1828 г.

15 марта.

Вчера гром пушек возвестил нам приезд Грибоедова,; вестника мира с Персиею, вследствие коего приобретаем мы несколько десятков миллионов рублей и область Армянскую до Аракса. Приезд его был давно обещаем и очень ожидаем, так что государь собирался даже послать к нему навстречу, чтобы проведать, что случилось с курьером: мир был подписан 10–го февраля, следовательно, – ехал он нескоро. Я еще с ним не видался: вероятно, будет он хорошо награжден. Здесь говорят о

значительном награждении героям персидским. Паскевичу миллион рублей, Обрескову, дипломатическому представителю, триста тысяч, генералам по сту тысяч [1]. После этого я согласился бы Паскевичем быть. Сейчас барышни поехали в русском платье в дворец на персидское молебствие <…>

18 марта.

Вчера видел Грибоедова, l'homme du jour [героя дня (фр.).], но, впрочем, я нашел в нем вчерашнего, то есть того же, он, без сомнения, был главным тружеником мира: во–первых, сто раз умнее других, да и знал народ персидский. Я очень рад за удачу его <…>

19 марта.

Паскевич – граф Ериванский, и дано ему миллион Рублей. Обрескову – анненская лента, невесте его триста тысяч рублей, которые принесли ей третьего дня в узле. Архарова, старушка, думала, что тридцать тысяч, и тут ей от радости сделалось дурно; узнав истину, она помножила и обморок свой на десять. Грибоедову – чин статского советника, Анну с бриллиантами на шею и четыре тысячи червонцев [2]. Всей армии, действующей или действовавшей против персиян, денежные награждения. В публике Паскевич затмил славу Суворова, Наполеона! О Ермолове, разумеется, говорят не иначе, как с жалостью, а самые смелые с каким–то. удивлением. Впрочем, кажется, он в самом деле в соображениях и планах своих был не прав. У провидения свои расчеты: торжество посредственности и уничижение ума входят иногда в итог его действий. Кланяемся и молчим <…>

27 марта.

<…> имели мы приятный обед у Вьельгорского с Грибоедовым, Пушкиным, Жуковским.

В Грибоедове есть что–то дикое, de farouche, de sauvage, в самолюбии: оно, при малейшем раздражении, становится на дыбы, но он умен, пламенен, с ним всегда весело. Пушкин тоже полудикий в самолюбии своем, и в разговоре, в спорах были у него сшибки задорные <…>

19 апреля.

Смерть хочется, приехав, с вами поздороваться и распроститься, возвратиться в июне в Петербург и отправиться в Лондон на пироскафе, из Лондона недели на три в Париж, а в августе месяце быть снова у твоих саратовских прекрасных ножек… Вчера были мы у Жуковского и сговорились пуститься на

этот европейский набег: Пушкин, Крылов, Грибоедов и я. Мы можем показываться в городах, как жирафы или осажи: не шутка видеть четырех русских литераторов. Журналы, верно, говорили бы об нас. Приехав домой, издали бы мы свои путевые записки: вот опять золотая руда. Право, можно из одной спекуляции пуститься на это странствие. Продать заранее ненаписанный манускрипт своего путешествия какому–нибудь книгопродавцу или, например, Полевому, – деньги верные <…>

24 апреля.

Обедал у Кутайсовых с Шепелевым и Дурновой, которая говорит, que vous etes tres jolie [что вы прелестны (фр.).], неправда ли, что она очень мила? Хотя только глаза остались у нее прежние, а то все прочее скомкалось. Шепелев едет на войну, для него настоящий военный пир, со всею горячностью буйной молодости. А меня на этот пир не пустили, от того–то на других скалю зубы. Пушкин с горя просился в Париж: ему отвечали, что, как русский дворянин, имеет он право ехать за границу, но что государю будет это неприятно. Грибоедов же вместо Парижа едет в Тегеран чрезвычайным посланником. Я не прочь ехать бы и с ним, но теперь мне и проситься нельзя

[3]. Эх, да матушка Россия! попечительная лапушка ее всегда лежит на тебе: бьет ли, ласкает, а все тут, никак не уйдешь от нее <…>

9 мая.

Вчера обедал я у Грибоедова, а потом был у Замбони в бенефисе <…>

17 мая.

Вчера Пушкин читал свою трагедию у Лаваль: в слушателях были две княгини Michel, Одоевская–Ланская, Грибоедов [4], Мицкевич [5], юноши, Балк, который слушал трагически. Кажется, все были довольны, сколько можно быть довольным, мало понимая <…>

26 мая.

<…> Наконец, вчера совершил я свое путешествие в Кронштадт с Олениными, Пушкиным и проч. В два часа ночи возвратился я из Царского Села, в девятом утра был я уже на пристани. Вот деятельность. В Кронштадте осматривали мы флот или часть флота, которая выступает в море сначала под командою Сенявина, но он доплывет с ним только до Копенгагена, а там возвратится; начальником же останется Рикорд, известный

своими японскими приключениями и пребыванием в Камчатке и женою, балладною Людмилою, которая печаталась в журналах. На корабле у меня закипел демон мятежный и волнующий, но я от него скоро отмолился. Туда поехали мы при благоприятной погоде; но на возвратном пути, при самых сборах к отплытию, разразилась такая гроза, поднялся такой ветр, полил такой дождь, что любо. Надобно было видеть, как весь народ засуетился, кинулся в каюты, шум, крики, давка; здесь одна толстая англичанка падает с лестницы, но не в воду, а на пол, там француженку из лодки тащут в окошко, на пароход; толстый Шиллинг садится в тесноте и в темноте возле какой–то немки, и какой–то немец по этому случаю затевает une querelle d'Allemand [ссору на немецкий лад, из–за мелочей (фр.).], во всех углах истории. Прелесть! Старик Оленин ссорится с англичанином <...> Оленин–сын выпивает портера и водки на одну персону на 21 рубль. C'est sublime [Восхитительно (фр.).], Пушкин дуется, хмурится, как погода, как любовь. У меня в глазах только одна картина: англичанка молодая, бледная, новобрачная, прибывшая накануне с мужем [6] из Лондона, пострадавшая во все плавание, страдает и на пароходе. Удивительно милое лицо, выразительное: Пушкин нашел, что она похожа на сестру игрока des eaux de Ronan [из Ронанских вод (фр.). Имеется в виду роман В. Скотта "Сен–Ронанские воды".]. Они едут в Персию, он советник посольства, недавно проезжал через Москву к Персии, очень знаком с Корсаковым, поехал жениться в Англию вследствие любви нескольколетней и теперь опять возвращается. Ион красивый мужчина и, по словам Киселева и Грибоедова, знавших его в Персии, очень образованный человек. А жена – живописная мечта [7].

Е. П. Соковнина. Воспоминания о Д.Н. Бегичеве

<...> О дружбе его (Д. Н. Бегичева) с Грибоедовым Кс. А. Полевой в своих "Записках" говорит, что Грибоедов изобразил своего друга Д. Н. Бегичева в "Горе от ума" – в лице Платона Михайловича. Но беззаботный характер последнего решительно ни в чем не сходен с энергично–деятельным характером Д. Н. Бегичева. Молва же об изображении Д. Н. Бегичева в роли Платона Михайловича распространилась вследствие одного незначащего случая. В 1823 году А. С. Грибоедов гостил летом в деревне [1] друга своего Степана Никитича Бегичева и здесь исправлял и кончал свою бессмертную комедию, поселясь в саду, в беседке, освещаемой двумя большими окнами. Д. Н. Бегичев в это лето приехал к брату с своею женою. Раз Грибоедов пришел в

дом к вечернему чаю и нашел обоих братьев Бегичевых сидящими у открытого окна в жаркой беседе о давно прошедших временах. Так как вечер был очень теплый, то Дмитрий Никитич расстегнул жилет. Жена его Александра Васильевна [2], боясь, чтобы муж не простудился, несколько раз подходила к нему, убеждая застегнуть жилет и ссылаясь на сквозной ветер. Дмитрий Никитич, увлеченный разговором, не обращал внимания на ее просьбы и, наконец, с нетерпением воскликнул: "Эх, матушка! – и, обратись к брату, сказал: – А славное было время тогда!" А. С. Грибоедов, безмолвный свидетель этой сцены, расхохотался, побежал в сад и, вскоре затем принеся свою рукопись, прочел им сцену между Платоном Михайловичем и Натальей Дмитриевной, только что им написанную, прибавив при этом: "Ну, не подумайте, что я вас изобразил в этой сцене; я только что окончил ее перед приходом к вам". Конечно,, все смеялись, и так как этот маленький эпизод был передан Д. Н. Бегичевым братьям его жены, и, между прочим, Денису Васильевичу <Давыдову>, словоохотливому весельчаку, то не мудрено, что стоустая московская молва поспешила разнести весть, что А. С. Грибоедов изобразил своего друга Д. Н. Бегичева в роли Платона Михайловича. Жена Д. Н. Бегичева, Александра Васильевна, не имела ничего общего с светской и бесцветной московской барыней Натальей Дмитриевной, изображенной в "Горе от ума". Александра Васильевна росла сиротою, под строгим надзором своей родной тетки Ек. Евд. Бибиковой, и была вынуждена с 18–летнего возраста взяться за управление имением не только тетки, вдовы с расстроенным состоянием, но и имениями своих трех братьев Давыдовых, которые все были на службе. Их уважение и благодарность сестре за ее заботы были беспредельны. <...>

Мне было всего 12 лет, когда я провела зиму в Москве у моего дяди Степана Никитича Бегичева, у которого тогда, в 1823 году, жил его друг А. С. Грибоедов. Они оба имели большое влияние на мое умственное развитие. Слова А. С. Грибоедова, говорившего мне: "Лиза, не люби, света и его побрякушек; будь деревенской девушкой, ты там будешь больше любима, а главное, научишься сама лучше любить", – глубоко запавшие мне в душу, сохранились живо в моей памяти и дали мне направление к тихой семейной жизни. Даже любовь к музыке и серьезному чтению были развиты во мне моим дядей С. Н. Бегичевым и его другом А. С. Грибоедовым. В эту зиму Грибоедов продолжал отделывать свою комедию "Горе от ума" и, чтобы вернее схватить все оттенки московского общества, ездил на обеды и балы, до которых никогда не был охотник, а затем уединялся по целым дням в своем кабинете. Тогда по вечерам раздавались его чудные

импровизации на рояли, и я, имея свободный доступ в его кабинет, заслушивалась их до поздней ночи. У меня сохранился сочиненный и написанный самим Грибоедовым вальс, который он передал мне в руки [3]. Прилагаю этот вальс, в уверенности, что он может и теперь доставить многим удовольствие.

Дядя С. Н. Бегичев при богатстве своей жены мог бы жить роскошно в Москве, но так как он, подобно другу своему Грибоедову, не любил светских удовольствий, то всю роскошь в его домашнем обиходе составляли гастрономические обеды и дорогие вина, которые так славились, что привлекали в дом его многих приятных собеседников.

Почти ежедневными посетителями дяди были, между другими, князь В. Ф. Одоевский [4], очень еще тогда молодой, почти юноша, и товарищ его по изданию сборника "Мнемозина" Кюхельбекер, который давал мне уроки русского и немецкого языков. Часто оживлял общество весельчак А. Н. Верстовский [5], который тогда нависал знаменитый свой романс "Черная шаль" и певал его с особенным выражением, своим небольшим баритоном, аккомпанируемый Грибоедовым. Остроумный и словоохотливый Денис Васильевич Давыдов сыпал острыми шутками и рассказами о былом. Понятно, что такое приятное общество, и притом с приправой лучших вин и изысканного обеда, приманивало многих посетителей. Бестужев, издатель альманаха "Полярная звезда", искал знакомства с С. Н. Бегичевым, но А. С. Грибоедов советовал ему избегать Бестужева, зная замыслы декабристов, которым, впрочем, Александр Сергеевич не придавал значения, что и выразил в ответе Чацкого Репетилову: "Шумите вы – и только!" [6]

Никто не мог ожидать, чтобы рассеянный мечтатель и ипохондрик Кюхельбекер мог быть завербован в политический заговор. Его рассеянность давала повод к многим забавным анекдотам, но это не мешало ему обладать литературным талантом. Я обязана Кюхельбекеру тем, что он познакомил меня с красотами поэзии, а Грибоедову тем, что научил меня понимать высокопоэтическое достоинство псалмов Давида, заставляя переводить некоторые из них.

Нравственное влияние С. Н. Бегичева на Грибоедова, начавшееся с 1812 года, когда Грибоедов, попав из университета в гусары, увлекался рассеянной жизнью военной молодежи, продолжалось до конца его жизни. Степан Никитич был на 9 лет старше Грибоедова, и Александр Сергеевич уважал в нем человека с большим умом и здравым смыслом, необычайно доброго, без всяких эгоистических и честолюбивых целей и всегда поддавался благотворному влиянию своего друга. Могу

прибавить к этому, что С. Н. Бегичев всегда входил в материальные интересы Грибоедова, которые бывали порою очень стеснены, вследствие расточительности его матери. Дружеская помощь Степана Никитича не раз выручала его из затруднений.

Насколько сильно было влияние С. Н. Бегичева на Грибоедова, служит доказательством, что Александр Сергеевич, как бы предчувствуя свою гибель, очень не желал принять предлагаемый ему пост посланника в Персии и принял его единственно по убеждениям своего друга С. Н. Бегичева [7]. Степан Никитич был уверен, что, при знании Грибоедовым восточных языков, при его знакомстве с нравами и обычаями персиян, он мог принести на этом посту большие услуги России. Как же поразил Степана Никитича трагический конец его задушевного друга! [8] Он упрекал себя в рановременной кончине Грибоедова, зная, что мечтой последнего было – поселиться в деревне и посвятить себя литературным трудам. Внезапная весть об убиении Грибоедова разом состарила дядю Степана Никитича; он вдруг постарел, и с этих пор ничто не могло развлечь его сердечной скорби.

В настоящее, переживаемое нами время эгоизма и холодного расчета такие бескорыстные, светлые личности,; как оба брата Бегичевы, способные любить до самозабвения, составляют уже редкое явление.

А.А. Бестужев. Знакомство мое с А.С. Грибоедовым

Я был предубежден против Александра Сергеевича. Рассказы об известной дуэли, в которой он был секундантом, мне переданы были его противниками в черном виде. Он уже несколько месяцев был в Петербурге, а я не думал с ним сойтись, хотя имел к тому немало предлогов и много случаев. Уважая Грибоедова как автора, я еще не уважал его как человека. "Это необыкновенное существо, это гений!" – говорили мне некоторые из его приятелей. Я не верил. Всякий энтузиазм в других порождал во мне холодность, по весьма естественному рассуждению: чем более человек находится вне себя, тем менее он способен ценить или измерять вещи глазами рассудка; следственно, те, которые внемлют ему, должны дополнять своим разумом пустоту и, не увлекаясь чувствами, более не доверять, чем верить. Впрочем, это правило применил я только к заглазным похвалам. Электрическая искра восторга потрясала нередко и меня, но не иначе, как от прикосновения. Притом частые восторги иных друзей моих нередко вспыхивали от таких предметов, которые вовсе того не стоили – как Макбет привидениями, я был пресыщен их чудесами

и феноменами. Знаки восклицания в преувеличенных письмах о нем не убеждали меня более, чем двоеточия и многоточия, словом, я хотел иметь свое мнение и без достаточной причины не менять старого на новое. Между тем, однако ж, как я <ни> упирался с ним встретиться, случай свел нас невзначай. Я сидел у больного приятеля моего, гвардейского офицера Н. А. М<ухано>ва [1], страстного любителя всего изящного. Это было утром, в августе месяце 1824 года [2]. Вдруг дверь распахнулась; вошел человек благородной наружности, среднего роста, в черном фраке, с очками на глазах.

— Я зашел навестить вас, — сказал незнакомец, обращаясь к моему приятелю. – Поправляетесь ли вы?

И в лице его видно было столько же искреннего участия, как в его приемах умения жить в хорошем обществе, но без всякого жеманства, без всякой формальности; можно сказать даже, что движения его были как–то странны и отрывисты и со всем тем приличны как нельзя более. Оригинальность кладет свою печать даже и на привычки подражания. – Это был Грибоедов.

Обрадованный хозяин поспешил познакомить нас. Оба имени прозвучали весьма внятно, но мы приветствовали друг друга очень холодно, даже не подали друг другу руки. Разговор завязался по–французски о чем–то весьма обыкновенном – наконец он склонился на словесность. Передо мною лежал том Байрона, и я сказал, что утешительно жить в нашем веке по крайней мере потому, что он умеет ценить гениальные произведения Байрона.

— Даже оценять многое выше достоинства, — сказал Грибоедов.

— Я думаю, это обвинение не может касаться авторов, каковы Гете или Байрон, — возразил я.

— Почему же нет? Может быть, и обоих. Разве поклонники первого не превозносят до небес его каждую поэтическую шалость? Разве не придают каждому его слову, наудачу брошенному, тысячу противоположных значений? С Байроном поступают еще забавнее, потому что его читает весь модный свет. Гете толкуют, как будто оп был непонятен; а Байроном восхищаются, не понимая его в самом деле. Никто не смеет сказать, что он проник великого мыслителя, и никто не хочет признаться, что он не понял благородного лорда.

— Этому виной, я думаю, различные способы их выражения. Гете облек мысли чувствами, между тем как Байрон расцветил чувства мыслью. Не всякий дерзнет хвалиться своим умом; но всякий рад сказать, что у него есть сердце, и, замечая, что Гете терзает более его ум, а Байрон чувство, полагает, что легче разгадать последнее, чем первый, хотя то и другое равно трудно.

— Для того чтобы заглянуть в лицо к ним, для доступа к высотам их не помогут ни ползки, ни прыжки: тут надобны крылья... И крылья орла, – прибавил Грибоедов. – Солнечные лучи играют и в блёстке, и в капле, но только масса воды может отразить целое солнце, только высокая душа может обнять полную мысль гения. Что касается, однако ж, до характеристики выражений в Гете и Байроне, она, мне кажется, слишком произвольна. Вы назвали их обоих великими, и, в отношении к ним, это справедливо; но между ними все превосходство в величии должно отдать Гете: он объясняет своею идеею все человечество; Байрон, со всем разнообразием мыслей, — только

человека.

— Надеюсь, вы не сделаете этого укора Шекспиру. Каждая пьеса его сохраняет единство какой–нибудь великой мысли, важной для истории страстей человеческих, несмотря на грязную пену многих подробностей, свойственных более веку, нежели человеку. Я не знаю ни одного писателя в мире, который бы обладал сильнейшим языком и большим разнообразием мыслей. Вспомните, что он проложил дорогу самому Гете. Вспомните, когда писал он...

— Все обстоятельства времени, просвещения благоприятствовали, конечно, развитию крыльев Гете. Но я сужу не творца, а творения, и едва ли творения Шекспира выдержат сравнение с гетевскими.

— Признаюсь вам, что я не могу понять суда, где красоты ставятся в рекрутскую меру. Две вещи могут быть обе прекрасны, хотя вовсе не подобны.

Это правда, это осязаемая правда; мы спорили на ветер...

— Я готов пройти тридцать миль пешком, — промолвил он, улыбаясь, по–английски цитируя Стерна, – чтоб поглядеть на человека, который во всем наслаждается тем, что ему нравится, не расспрашивая, как и почему? Вы англоман и поймете меня.

Мы скоро расстались, с меньшей холодностью, правда, но без всяких приветов и приглашений.

— Каков? — спросил меня с торжествующим видом приятель мой.

— Умный человек — и до сих пор только я не вижу в нем ничего чрезвычайного. Конечно, он держался более в оборонительном положении, и ему смешно было бы расстегнуться на первый случай и выставить напоказ все свои достоинства; по крайней мере, я не нахожу причины Переменять своего мнения. Ум и сердце, человек и автор — не все равно!

Я думал так и ошибался. Дальнейшие опыты и думы, более глубокие, убедили меня, что истинно умный человек — наверно человек добрый, и что произведения автора есть отпечаток его души. Маска, приемлемая на себя сочинителем, обманывает только сначала; век нельзя притворяться. Одна мысль, одно слово изменяет самому хитрому лицемеру, умей только схватить его.

Вскоре после ужасного наводнения в Петербурге Ф. В. Булгарин, у которого сидел я, дал мне прочесть несколько отрывков из грибоедовской комедии "Горе от ума". Я уже не раз слышал о ней; но изувеченные изустными преданиями стихи не подали мне о ней никакого ясного понятия.

Я проглотил эти отрывки; я трижды перечитал их. Вольность русского разговорного языка, пронзительное остроумие,

оригинальность характеров и это благородное негодование ко всему низкому, эта гордая смелость в лице Чацкого проникла в меня до глубины души. "Нет, — сказал я самому себе, — тот, кто написал эти строки, не может и не мог быть иначе, как самое благородное существо". Взял шляпу и поскакал к Грибоедову.

— Дома ли?

— У себя–с.

Вхожу в кабинет его. Он был одет не по–домашнему, кажется, нуда–то собирался.

— Александр Сергеевич, я приехал просить вашего знакомства. Я бы давно это сделал, если б не был предубежден против вас... Все наветы, однако ж, упали пред немногими стихами вашей комедии. Сердце, которое диктовало их, не могло быть тускло и холодно.

Я подал руку, и он, дружески сжимая ее, сказал:

— Очень рад вам, очень рад! Так должны знакомиться люди, которые поняли друг друга. В ответ на искренность вашу заплачу тоже признанием... не все мои друзья были вашими; притом и холодность ваша при первой встрече, какая–то осторожность в речах отбили у меня охоту быть с вами покороче. После меня разуверили в этом, и теперь объяснилось остальное. Очень рад, что я ошибся.

После нескольких слов о потопе, который проник и в его квартиру, я встал.

— Вы собираетесь куда–то ехать, Александр Сергеевич, не задерживаю вас.

— Признаться, хотел было ехать на обед; но, пожалуйста, останьтесь и будьте уверены, что для меня приятнее потолковать о словесности, чем скучать за столом.

Вы, верно, уже обедали (было около пяти часов), а мне нередко случается позабывать за книгою обед и ужин.

— По несчастью, я не книга, Александр Сергеич, — сказал я, шутя.

— И слава богу! Человек–книга никуда не годится.

Не желая, однако ж, воспользоваться его снисходительностью, я раскланялся и просил его "Горе от ума" для прочтения.

— Она у меня ходит по рукам; но лучше всего приезжайте завтра ко мне на новоселье обедать к П. Н. Ч. [3]. Он на вас сердит за критику одного из друзей своих, а друзья у него безошибочны, как папа; но он благороднейший человек, и я помирю вас [4]. Вы хотите читать мою комедию — вы ее услышите.

Будет кое–кто из литераторов; все в угоду слушателей–

знатоков: добрый обед, мягкие кресла и уютные места в тени, чтоб вздремнуть при случае.

Я дал слово, и мы расстались.

Разумеется, я не замедлил на другой день явиться по приглашению. Обед был без чинов и весьма весел. С полдюжины любителей, человека четыре литераторов составляли общество. Часов в шесть началось чтение. Грибоедов был отличный чтец. Без фарсов, без подделок он умел дать разнообразие каждому лицу и оттенять каждое счастливое выражение.

Я был в восхищении. Некоторые из любителей кричали "прелесть, неподражаемо!" и между тем не раз выходили в другую комнату, чтоб "затянуться". Один поэт повторял "великолепно" при всяком явлении, но потом в антракте, встретив меня одного, сказал:

— Великолепно! Но многое, многое надо переделать, et puis quel jargon! [и что за жаргон! (фр.)] Что за комедия в четыре действия!

— Неужели вы находите, что мало четырех колес для дрожек, на которых ездите? – отвечал я и оставил его проповедовать, как надобно писать театральные пьесы [5].

Чтение кончилось, и все обступили автора с поздравлениями и комплиментами, которые принимал он очень сухо. Видно было, что он взялся читать не для жатвы похвал, а только чтоб отделаться от неотступных просьб любопытных. Я только сжал ему руку, и он отвечал мне тем же. С этих пор мы были уже не чужды друг другу, и тем чаще я мог быть с ним.

Обладая всеми светскими выгодами, Грибоедов не любил света, не любил пустых визитов или чинных обедов, ни блестящих праздников так называемого лучшего общества. Узы ничтожных приличий были ему несносны потому даже, что они узы. Он не мог и не хотел скрывать насмешки над подслащенною и самодовольною глупостью, ни презрения к низкой искательности, ни негодования при виде счастливого порока. Кровь сердца всегда играла у него на лице. Никто не похвалится его лестью; никто не дерзнет сказать, будто слышал от него неправду. Он мог сам обманываться, но обманывать — никогда. Твердость, с которою он обличал порочные привычки, несмотря на знатность особы, показалась бы иным катоновскою суровостью, даже дерзостью; но так как видно было при этом, что он хотел только извинить, а не уколоть, то нравоучение его, если не производило исправления, по крайней мере, не возбуждало и гнева.

Он не любил женщин, так, по крайней мере, уверял он, хотя я имел причины в этом сомневаться. "Женщина есть мужчина–ребенок", — было его мнение. Слова Байрона "дайте им пряник да

зеркало, и они будут совершенно довольны" ему казались весьма справедливыми [6]. "Чему от них можно научиться? – говаривал он. — Они не могут быть ни просвещенны без педантизма, ни чувствительны без жеманства. Рассудительность их сходит в недостойную расчетливость и самая чистота нравов в нетерпимость и ханжество. Они чувствуют живо, но не глубоко. Судят остроумно, только без основания, и, быстро схватывая подробности, едва ли могут постичь, обнять целое. Есть исключения, зато они редки; и какой дорогою ценой, какой потерею времени должно покупать приближение к этим феноменам. Одним словом, женщины сносны и занимательны, когда влюбишься".

Вся жизнь его, деятельность, проведенная или на бивуаках кавказских, или в азиатских городах Грузии и Персии, имела много прелестей или, по крайней мере, занимательности и без общества женщин, и это самое породило в нем убеждение, что в политическом быту мы должны осудить женщин на азиатское или, по крайней мере, на афинское заключение. "Они рождены, они предназначены самой природой для мелочей домашней жизни, — говаривал он, – равно по силам телесным, как и умственным. Надобно, чтоб они жили больше для мужей и детей своих, чем невестились и ребячились для света. Если б мельница дел общественных меньше вертелась от вееров, дела шли бы прямее и единообразнее; места не доставались бы по прихотям и связям родственным или меценатов в чепчиках, всегда готовых увлечься наружностью лиц и вещей, — покой браков был бы прочнее, а дети умнее и здоровее. Сохрани меня бог, чтоб я желал лишить девиц воспитания, напротив, заключив в кругу теснейшем, я бы желал дать им познания о вещах, гораздо основательнее нынешних" [7].

П.А. Каратыгин. Мое знакомство с Александром Сергеевичем Грибоедовым

В театральном училище, где я воспитывался, в начале 1820–х годов хотя и был уже устроен постоянный театр, но на нем играли мы только в великий пост, во время экзаменов и иногда в успенский пост. Учителем драматического искусства был у нас тогда князь Александр Александрович Шаховской [1], считавшийся в то время, и по справедливости, знатоком театрального дела. Когда же, в 1822 году, любимые ученицы князя были выпущены из училища, он перестал ездить в школу, а продолжал свои уроки у себя на дому. Таким образом, училище осталось без драматического учителя, а домашний наш театр без

употребления. Мы тогда задумали устраивать, в свободное время, домашние спектакли собственными средствами. Инспектором театрального училища был в ту пору Иван Самойлович Бок, он же занимал и докторскую должность при театре. Это был человек очень добрый, простой, но вместе с тем слабый и трусливый донельзя. Он ни за что не позволял воспитанницам участвовать в наших спектаклях: "Играйте, говорит, одни, а я об этом директора не смею просить". Нечего делать, надо было выбирать пьесы без женского персонала, но это было довольно затруднительно, потому что таковых в тогдашнем репертуаре не имелось. Мои товарищи–однокашники избрали меня своим режиссером, и мы принуждены были играть тогда по большей части пародии, не дозволенные цензурой, как, например: "Митюху Валдайского" (пародия на "Димитрия Донского"), "Трумфа" соч. Ивана Андреевича Крылова и некоторые другие... Чтобы помочь нашему бедному репертуару, я в то время написал тоже пародию, в стихах, под названием "Нерон" и потом "Сентябрьскую ночь", сюжет которой заимствовал из рассказа (Александра Бестужева), помещенного в "Литературных прибавлениях к журналу "Сын отечества" [2]. Две эти пьески были без женских ролей и имели на нашей миниатюрной сцене большой успех. Само собою разумеется, что наша домашняя публика была невзыскательна и снисходительно относилась к доморощенному автору. Главные в них роли играли мои совоспитанники – Григорьев и Воротников. Петр Иванович Григорьев, впоследствии известный актер и сочинитель, готовился тогда быть музыкантом и уже начинал играть на виолончели в театральном оркестре. Я уговорил его принять участие в наших спектаклях; он согласился попробовать свои средства и, сыграв удачно несколько ролей, так пристрастился к сценическим занятиям, что вскоре выполз из оркестра на сцену, оставил свой инструмент и решился сделаться актером. Через год после того он начал учиться у кн. Шаховского и дебютировал на публичной сцене.

По выходе моем из училища (в 1823 году) я продолжал занимать принятую на себя должность режиссера у прежних своих однокашников. Наши ребяческие спектакли посещал несколько раз Александр Сергеевич Грибоедов – и они ему очень нравились... Я помню, как он от души хохотал, смотря моего "Нерона". Водевиль же мой "Сентябрьская ночь" он даже уговаривал меня тогда поставить на публичном театре, но я в то время не смел и мечтать об этой чести! [В 1830 году этот водевиль был игран на Большом театре, бенефис актера Рязанцева. (Примеч. П. А. Каратыгина.)]

Вместе с Грибоедовым посещал наши спектакли Александр

Бестужев. Однажды мне случилось играть на нашем театре роль офицера Хрустилина в водевиле "Пурсоньяк" (кн. Шаховского). В нашем театральном гардеробе мундиры были больно безобразные, и я выпросил у Бестужева его адъютантский мундир со всеми к нему принадлежностями... И как же я был тогда доволен, что мог на сцене пощеголять в настоящей гвардейской форме!.. что, разумеется, не дозволено было на публичном театре...

Думал ли я тогда, что, может быть, играю в том самом мундире, в котором, через несколько времени, Бестужев будет разыгрывать злополучную роль на Сенатской площади и за которую его вызовут в Петропавловскую крепость!!

В 1824 году появилась в рукописи бессмертная комедия Грибоедова. В печати были тогда только две или три сцены из нее, помещенные в альманахе под названием "Русская Талия", изданном Булгариным; но вся комедия была в то время запрещенным плодом... Мы с Григорьевым предложили Александру Сергеевичу разыграть "Горе от ума" на нашем школьном театре, и он был в восхищении от нашего предложения... Большого труда нам стоило упросить доброго инспектора Бока дозволить и воспитанницам принять участие в этом спектакле... наконец, он согласился, и мы живо принялись за дело; в несколько дней расписали роли, в неделю их выучили, и дело пошло на лад [Вот фамилии воспитанников и воспитанниц, которые должны были участвовать в комедии: Григорьев – Чацкого, Чайников – Фамусова, я – Репетилова, Экунин – Скалозуба, Софью – Прилуцкая, Лизу – Лебедева (впоследствии она вышла замуж за танцора Шелихова), Хлестову – Ковалева (теперь она классная дама в театральном училище), остальных не помню... Но чуть ли только мы вдвоем с Ковалевой изо всего этого персонала и уцелели на нашей жизненной сцене. (Примеч. П. А. Каратыгина.)]. Сам Грибоедов приезжал к нам на репетиции и очень усердно учил нас... Надо было видеть, с каким простодушным удовольствием он потирал себе руки, видя свое "Горе от ума" на нашем ребяческом театре!.. Хотя, конечно, мы откалывали его бессмертную комедию с горем пополам, но он был очень доволен нами, а мы были в восторге, что могли угодить ему. На одну из репетиций он привел с собою А. Бестужева и Вильгельма Кюхельбекера [3] – и те также нас похваливали... Наконец, комедия была уже совсем приготовлена, на следующий день назначен был спектакль... но, увы! все наши хлопоты и надежды лопнули, как мыльный пузырь! Накануне самого представления, во время последней репетиции, является к нам инспектор Бок и объявляет нам грозный фирман графа

Милорадовича (который имел тогда главное начальство над императорскими театрами и которому кто–то донес об наших затеях), чтобы мы не смели так либеральничать и что пьесу, не одобренную цензурой, нельзя позволить играть в театральном училище. Все мы повесили носы от этого неожиданного известия, и пришлось нам, горемычным, повторить два стиха из запрещенной комедии:

Ни беспокойства, ни сомненья,
А горе ждет из–за угла!

Да, действительно, мы все были в страшном горе, а наш простодушный Бок перетрусился не на шутку; он, кажется, боялся, чтоб за свою слабость к нам не попасть ему в крепость!.. Но дело ограничилось одним только выговором.

Мы с Григорьевым отправились тотчас же к Грибоедову с этим роковым известием, что, конечно, его сильно огорчило [5].

Итак, поэту не суждено было видеть на сцене (даже и в таком горемычном исполнении, как наше) своей бессмертной комедии.

В этот период времени Грибоедов часто бывал у нас в доме, а мы с братом, Васильем Андреевичем, еще чаще посещали его... [5] Кроме его остроумной беседы, любил я слушать его великолепную игру на фортепьяно... сядет он, бывало, к нему и начнет фантазировать... сколько было тут вкуса, силы, дивной мелодии! Он был отличный пианист и большой знаток музыки: Моцарт, Бетховен, Гайдн и Вебер были его любимые композиторы. Однажды я сказал ему: "Ах, Александр Сергеевич, сколько бог дал вам талантов: вы поэт, музыкант, были лихой кавалерист, и, наконец, отличный лингвист!" (он, кроме пяти европейских языков, основательно знал персидский и арабский языки). Он улыбнулся, взглянул на меня умными своими глазами из–под очков и отвечал мне: "Поверь мне, Петруша, у кого много талантов, у того нет ни одного настоящего". Он был скромен и снисходителен в кругу друзей, но сильно вспыльчив, заносчив и раздражителен, когда встречал людей не по душе... Тут он готов был придраться к ним из пустяков, и горе тому, кто попадался к нему на зубок... тогда соперник бывал разбит в пух и прах, потому что сарказмы его были неотразимы! Вот один из таких эпизодов: когда Грибоедов привез в Петербург свою комедию, Николай Иванович Хмельницкий просил его прочесть ее у него на дому; Грибоедов согласился. По этому случаю Хмельницкий сделал обед, на который, кроме Грибоедова, пригласил нескольких литераторов и артистов, в числе последних были: Сосницкий, мой брат и я. Хмельницкий жил тогда барином, в

собственном доме на Фонтанке у Симеоновского моста. В назначенный час собралось у него небольшое общество. Обед был роскошен, весел и шумен... После обеда все вышли в гостиную, подали кофе, и закурили сигары... Грибоедов положил рукопись своей комедии на стол; гости, в нетерпеливом ожидании, начали придвигать стулья; каждый старался поместиться поближе, чтоб не проронить ни одного слова... В числе гостей был тут некто Василий Михайлович Федоров", сочинитель драмы "Лиза или Торжество благодарности" и других давно уже забытых пьес... Он был человек очень добрый, простой, но имел претензию на остроумие... Физиономия ли его не понравилась Грибоедову или, может быть, старый шутник пересолил за обедом, рассказывая неостроумные анекдоты, только хозяину и его гостям пришлось быть свидетелями довольно неприятной сцены... Покуда Грибоедов закуривал свою сигару, Федоров, подойдя к столу, взял комедию (которая была переписана довольно разгонисто), покачал ее на руке и, с простодушной улыбкой, сказал: "Ого! какая полновесная!.. Это стоит моей Лизы". Грибоедов посмотрел на него из–под очков и отвечал ему сквозь зубы: "Я пошлостей не пишу". Такой неожиданный ответ, разумеется, огорошил Федорова, и он, стараясь показать, что принимает этот резкий ответ за шутку, улыбнулся и тут же поторопился прибавить: "Никто в этом не сомневается, Александр Сергеевич; я не только не хотел обидеть вас сравнением со мной, но, право, готов первый смеяться над своими произведениями". — "Да, над собой-то вы можете смеяться, сколько вам угодно, а я над собой — никому не позволю..." — "Помилуйте, я говорил не о достоинстве наших пьес, а только о числе листов". — "Достоинств моей комедии вы еще не можете знать, а достоинства ваших пьес всем давно известны". — "Право, вы напрасно это говорите, я повторяю, что вовсе не думал вас обидеть". — "О, я уверен, что вы сказали, не подумавши, а обидеть меня вы никогда не можете".

Хозяин от этих шпилек был как на иголках и, желая шуткой как-нибудь замять размолвку, которая принимала не шуточный характер, взял за плечи Федорова и, смеясь, сказал ему: "Мы за наказание посадим вас в задний ряд кресел..."

Грибоедов между тем, ходя по гостиной с сигарой, отвечал Хмельницкому: "Вы можете его посадить, куда вам угодно, только я, при нем, своей комедии читать не стану..." Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа — и где его ни тронет, везде уколется... Очевидно, что хозяин был поставлен в самое щекотливое положение между своими гостями, не знал, чью сторону принять, и всеми силами старался как-нибудь потушить эту вздорную ссору, но Грибоедов

был непреклонен и ни за что не соглашался при Федорове начать чтение... Нечего было делать... бедный автор добродетельной Лизы взял шляпу и, подойдя к Грибоедову, сказал: "Очень жаль, Александр Сергеевич, что невинная моя шутка была причиной такой неприятной сцены... и я, чтоб не лишать хозяина и его почтенных гостей удовольствия слышать вашу комедию, ухожу отсюда..." Грибоедов с жестоким хладнокровием отвечал ему на это: "Счастливого пути!" Федоров скрылся... Итак, драматургу, из-за своей несчастной драмы, пришлось сыграть комическую роль, а комик чуть не разыграл драмы из-за своей комедии.

При уходе Федорова чтение началось — и нужно ли говорить, какой эффект произвела эта комедия на слушателей!

Здесь, для контраста, приведу другой случай из домашней жизни покойного Александра Сергеевича. Был у него камердинер, крепостной его человек [7], который с малолетства находился при нем для прислуги; он вместе с ним вырос и был при нем безотлучно во всех его путешествиях. Грибоедов его очень любил и даже баловал, вследствие чего слуга зачастую фамильярничал со своим господином. По какому-то странному случаю этот слуга назывался Александром Грибовым, и Грибоедов часто называл его тезкой. Однажды Александр Сергеевич ушел в гости на целый день. Грибов, по уходе его, запер квартиру на ключ и сам тоже куда–то отправился... Часу во втором ночи Грибоедов воротился домой; звонит, стучит — дверей не отворяют... он еще сильнее — нет ответа. Помучившись напрасно с четверть часа, он отправился ночевать к своему приятелю Андрею Андреевичу Жандру, который жил тогда недалеко от него.

На другой день Грибоедов приходит домой; Грибов встречает его, как ни в чем не бывало.

— Сашка! куда ты вчера уходил? — спрашивает Грибоедов.

— В гости ходил... — отвечает Сашка.

— Но я во втором часу воротился, и тебя здесь не было.

— А почем же я знал, что вы так рано вернетесь? – возражает он таким тоном, как будто вся вина была на стороне барина, а не слуги.

— А ты в котором часу пришел домой?

— Ровно в три часа.

— Да, — сказал Грибоедов, — ты прав, ты точно, в таком случае, не мог мне отворить дверей...

Несколько дней спустя Грибоедов сидел вечером в своем кабинете и что–то писал... Александр пришел к нему и спрашивает его:

— А что, Александр Сергеевич, вы не уйдете сегодня со двора?

— А тебе зачем?

— Да мне бы нужно было сходить часа на два или на три в гости.

— Ну, ступай, я останусь дома.

Грибов расфрантился, надел новый фрак и отправился... Только что он за ворота, Грибоедов снимает халат, оделся, запер квартиру, взял ключ с собою и ушел опять ночевать к Жандру. Время было летнее; Грибов воротился часу в первом... звонит, стучит, двери не отворяются... Грибов видит, что дело плохо, стало быть, барин надул его... Уйти ночевать куда-нибудь нельзя, неравно барин вернется ночью. Нечего было делать; ложится он на полу, около самых дверей, и засыпает богатырским сном. Рано поутру Грибоедов воротился домой и видит, что его тезка, как верный пес, растянулся у дверей своего господина. Он разбудил его и, потирая руки, самодовольно говорит ему: "А? что?., франт–собака, каково я тебя пришколил... славно отомстил тебе! Вот если б у меня не было поблизости знакомого, и мне бы пришлось на прошлой неделе так же ночевать, по твоей милости!" Грибов вскочил, как встрепанный, и, потягиваясь, сказал ему: "Куда как остроумно придумали!.. есть чем хвастать".

Другой раз, при мне, Грибоедов садится за фортепьяно, у которого одна ножка была без колеса и для подпорки под нее обыкновенно подставляли какой-то брусок... на этот раз бруска не оказалось, и фортепьяно шаталось во все стороны... Грибоедов зовет своего Грибова и говорит ему:

— Ты, верно, опять сегодня играл без меня на фортепьяно?

— Играл немножко... – отвечает он фамильярно.

— Ну, так и есть! А куда девался брусок?

— Не знаю.

— А что ты играл?

— "Барыню"!

— Ну-ка, сыграй...

Слуга, без церемонии, садится за фортепьяно и одним пальцем наигрывает известную песню: "Барыня–сударыня, протяните ножку". Грибоедов прослушал его с полминуты, покачал головою и сказал ему:

— Ах, ты дрянь этакая, понятия не имеешь, как надо играть, а портишь мне фортепьяно!.. По–ш–шел! играй лучше в свайку или в бабки!

Эти два анекдота ясно обрисовывают простодушный характер Грибоедова. Впоследствии этот самый Грибов был вместе со своим господином в Тегеране и в 1829 году, во время кровавой катастрофы, как мне рассказывали, был изрублен вместе с ним.

Известно, что Грибоедов в 1826 году был вытребован из

Тифлиса Следственной комиссией по делу 14 декабря; его подозревали также прикосновенным к заговору; он был с фельдъегерем привезен в Петербург и содержался несколько дней под арестом в Главном штабе. Вскоре, однако, он был освобожден, потому что никаких улик против него не оказалось. Я помню его экспромт, сказанный им по поводу этого ареста... вот он:

По духу времени и вкусу,
Он ненавидел слово: раб...
За то посажен в Главный штаб
И там притянут к Иисусу!

В начале весны, в 1828 году, незадолго до своего отъезда в Тегеран, Александр Сергеевич зашел ко мне... Тогда я уже был женат; он желал поздравить меня и жену мою с законным браком... [его не было в Петербурге, когда мы сыграли нашу свадьбу (Первая моя жена была Любовь Осиповна Дюрова (ученица кн. Шаховского), родная сестра известного артиста Николая Осиповича Дюра. Она так же, как и брат ее, была в свое время любимицей публики. Она скончалась в том же 1828 году. (Примеч. П. А. Каратыгина.)]. Мы с женою поздравляли его и с царскою милостью, и с блестящей карьерой (он тогда только что был назначен посланником и полномочным министром при персидском дворе). На наше радушное приветствие он отвечал как-то грустно, точно предчувствие щемило его вещее сердце. "Бог с ними, с этими почестями! — говорил он. — Мне бы только устроить и обеспечить мою старушку–матушку, а так я бы опять вернулся сюда... дайте мне мое свободное время, мое перо и чернильницу, больше мне ничего не надо"! <...> Потом, когда я собирался уходить, жена моя сказала ему: "Неужели, Александр Сергеевич, бог не приведет вам увидеть свою чудную комедию на нашей сцене?" Он грустно улыбнулся, взглянул на нее из-под очков и сказал ей: "А какая бы вы была славная Софья!" Грустно было на этот раз наше прощание с ним... Не прошло и году после нашей разлуки, как его не стало: он погиб в Тегеране 30 января 1829 года.

А.Н. Муравьев. Из "Моих воспоминаний"

Наконец в августе 1825 года исполнилось мое пламенное желание: я увидел Крым и сделался поэтом...

Не хочу представить здесь подробный журнал моего путешествия, не стану описывать местоположений, я уже

изобразил их в моей "Тавриде"; но я передам только сильные впечатления и что побудило меня писать. Многим обязан я Грибоедову; я уже видел часть Южного берега, не находя себе отголоска в равнодушных людях, меня окружавших, когда я познакомился с ним в Симферополе

[1]. Мы поехали вместе на Чатырдаг. Я стоял в облаках и, взглянув на землю, был ближе к небу, нежели к ней; невольный восторг овладел мною, я был вне себя; Грибоедов меня понял, – и мы сошлись.<...>

Я расстался с Грибоедовым и поехал в Феодосию.<...>

В Бахчисарае я опять свиделся с Грибоедовым; после очаровательной прогулки в Чуфут–Кале [2] я долго беседовал с ним ночью; луна делает нас откровенными; я открыл ему мою страсть к поэзии и прочел "Днепр" и "Чатырдаг". Он обрадовался моей склонности: "Продолжайте, — сказал он, — но, ради бога, не переводите, а творите!" Я сказал ему мое намерение написать поэму "Владимир". "Я думал сделать из сего трагедию, когда посетил Корсунь, — отвечал он, — и сия мысль во мне сохранилась". Мы снова расстались<...>

В последний раз я увидел Грибоедова и открылся ему. Он одобрил мой замысел (поэмы "Потоп"), хотя и грозил его огромностью. <...>

В Яссах <...> все мысли и способности мои занимало одно творение — "Михаил Тверской". Трагедия сия, зачатая духом еще под Шумлою, обдумываемая в течение нескольких месяцев, наконец, по получении летописей была начата мною в феврале.

Не знаю, изменится ли в будущем мое мнение насчет сей трагедии, но теперь я доволен ее ходом и характерами; она только требует некоторых перемен в слоге, ибо я часто был прерываем в самые лучшие минуты вдохновений! Сия трагедия есть только половина двулогии: "Тверские в Орде", которой дополнением будет "Георгий Московский", и только первая часть обширной драмы, заключающей в себе все трагические черты летописей наших и составленной из непрерывной цепи многих трагедий; все те из них, которые издали уже представляются моим взорам, – как будто бы сей исполинский и в полном смысле отечественный замысел был уже совершен: "Святополк", "Василько", сцены из столетней вражды Ольговичей с Мономахами, "Андрей Боголюбский", "Сеча на Калке", "Федор Рязанский", если он не кончен бессмертным и несчастным Грибоедовым, он мне рассказал его план в Крыму [3], равно как и другой трагедии, из которой помню лишь сцену между половцами [4], позабыл ее название. О, если б я мог предвидеть, что мне суждено будет впоследствии только одну минуту его видеть,

когда он ехал вестником мира Персии, то с какой бы жадностью удержал я стихи его! Надеюсь, однако, что они собраны!..

Н.В. Шимановский. Арест Грибоедова

В 1825 году, в ноябре, мы возвратились из похода в горы. Отряд был расквартирован по казачьим станицам как для отдыха, так и для того, чтобы исправить амуницию, слишком пострадавшую от довольно продолжительного движения в горах. Главная квартира учреждена была Гребенского полка в станице Червленной.

Вскоре отправились мы в станицу Екатериноградскую. Ермолов, Алексей Петрович [1], назначил тут свидание с начальником своего штаба генерал–майором Алексеем Александровичем Вельяминовым, начальником в Имеретии князем Петром Дмитриевичем Горчаковым и нашим посланником в Персии статским советником Семеном Ивановичем Мазаровичем, жившим тогда уже в Тифлисе, по натянутым отношениям с персиянами. Тут нашли мы Грибоедова, возвратившегося из продолжительного отпуска и по пути из Петербурга обратно на Кавказ побывавшего в Крыму.

Через несколько дней прибыл из Таганрога фельдъегерь Якунин [2] с горестным известием о кончине императора Александра, и засим получен указ о присяге императору Константину Павловичу. В тот же день, в станичной Церкви, мы принесли присягу; на площади были приведены к присяге казаки станицы и рота кабардинского полка, расположенная в станице. В тот же день отправлены были два курьера: один в Тифлис, другой в станицу Червленную для приведения войск к присяге.

Мы собирались всякий день к обеду у Алексея Александровича Вельяминова (прекраснейшего из смертных). После гастрономического обеда Грибоедов читал нам по нескольку явлений из только что конченного "Горя от ума", которое и послужило ему впоследствии к оправданию по делу декабристов [3]. Конец вечера проводили мы за вистом.

Накануне отъезда нашего из Екатериноградской станицы, когда были кончены все дела с начальствующими лицами, вызванными туда Алексеем Петровичем, Грибоедов должен был ехать в Тифлис, но убедительно просил Алексея Петровича взять его в назначенный тогда поход. Алексей Петрович отговаривал его, но, наконец, как–то неохотно согласился.

На другой день [4] мы уехали в Червленную, где Грибоедов, за неимением квартиры, поместился у меня. При нем был молодой мальчик за камердинера, Алексаша. Этому Алексаше

пришлось через несколько дней играть важную роль, вместе с моим человеком Матвеем Алексеевым, в крепости Грозной.

Утром 25 декабря все чиновники и офицеры, находившиеся при главной квартире, собрались, чтобы поздравить Алексея Петровича с праздником. Домик офицерский, занимаемый Алексеем Петровичем, был на площади, на углу улицы, ведущей к станице Наур, то есть к дороге из России. Утро было прекрасное, довольно теплое. Кто сидел на завалинке домика, кто прохаживался поблизости. Толкуя о предстоящем походе в Чечню, мы увидали, что шибко скачет кто–то на тройке прямо к квартире генерала. Это был фельдъегерь Дамиш. Тотчас позвали его к генералу; он подал ему довольно толстый конверт, в котором были: манифест о восшествии на престол императора Николая и все приложения, которые хранились в Москве, в Успенском соборе. Алексей Петрович поздравил нас с новым государем и тут же приказал дежурному по отряду сделать нужные распоряжения относительно присяги. Не медля нимало был отправлен курьер в Тифлис к начальнику штаба, и как мы расположены были по раскольничьим станицам, то пришлось посылать за священником в г. Кизляр (с лишком 200 верст от станицы Червленной), которого и привезли только на третий день; тогда мы все, и 1-й батальон Ширванского полка, и казаки станицы, присягнули. Эта медленность была поставлена потом в вину Алексею Петровичу, между тем как вины тут никакой не было.

Когда Алексей Петрович окончил распоряжения, фельдъегерь Дамиш стал рассказывать о событии 14 декабря. В это время Грибоедов, то сжимая кулаки, то разводя руками, сказал с улыбкою: "Вот теперь в Петербурге идет кутерьма! Чем–то кончится!"

Еще было поставлено в вину Алексею Петровичу, отчего он донес о присяге с тем же фельдъегерем, а не дослал кого-нибудь из адъютантов или офицеров. Это, конечно, было бы приличнее. Не знаю, почему это случилось. Говорили, что будет послан поручик гвардейского генерального штаба Сергей Ермолов, двоюродный брат генерала; но вышло не так.

На 28 декабря велено было отряду собираться в станицу Червленную. Алексей Петрович назначил свой отъезд этого же числа и приказал за собой следовать генерального штаба подполковнику Жихареву. Тут Грибоедов стал просить убедительно, чтобы и ему следовать за генералом. Алексей Петрович согласился, и на другое утро Грибоедов выступил с первым батальоном Ширванского полка, с двумя сотнями казаков, при двух конных казачьих орудиях. Тогда время было опасное: хотя до крепости Грозной только 40 верст, но иначе идти было

нельзя, так как вся Чечня находилась в волнении.

Бей–Булат, первый имам, проповедовал казават, т. е. войну против неверных.

Штаб отряда и тяжести должны были выступить на другой день. Так и исполнили, согласно приказанию. Хотя перевозочные средства могли быть усилены, но Алексей Петрович жалел наших нагайцев, поставлявших провиант, отчего и вышло, что нам дали с Грибоедовым одну арбу, на которую сложили наши вещи. Люди наши следовали на вьючных лошадях.

Станица Червленная расположена близ Терека, но переправа устроена выше станицы, в четырех или пяти верстах, где мы и переправились на правый берег. В десяти верстах от переправы, за небольшим перевалом, находился чеченский аул, при горячем серном источнике, и против аула построено укрепление, названное Горячеводском. В укреплении этом расположена была рота 43-го егерского полка под командою капитана графа Бельфорта, который хотя родом француз, но кроме русского языка не знал никакого, получив воспитание во втором кадетском корпусе.

Все, что мне удалось читать печатного об аресте Грибоедова, все совершенно не так. Видно, что это пересказанные речи. Я буду говорить как очевидный свидетель и ручаюсь за сказанное.

Рано утром мы выступили из Червленной [5] и часу в одиннадцатом подошли к Горячеводскому укреплению, где назначен был привал, с тем чтобы стянуть обоз с тяжестями, который, по случаю переправы, очень растянулся.

Гостеприимный хозяин граф Бельфорт [6], ожидая нас, приготовил целого барана, жарившегося на шашлыке. Мы выпили водки или по-кавказски спирту (когда его разводить!) и принялись за гомерический завтрак на открытом воздухе. День был солнечный и довольно теплый. Исправлявший должность дежурного штаб-офицера гвардии капитан Талызин первый увидал, на перевале от Терека, тройку в санях, окруженную 20 или 30 казаками, и первый сказал: "Господа, ведь это должен быть фельдъегерь!" Так и вышло. Через полчаса подскакали сани, из которых выскочил фельдъегерь, с одной сумкой на груди. Он назвал себя Уклонский. Мы познакомились и предложили ему водки. Он выпил нашего спирту и принялся с нами за шашлык. Талызин, как ловкий человек, предложил другую чарочку. Тот отказался. Успели принести от маркитанта шампанского; фельдъегерь тоже отказался, сказав, что не пьет виноградных вин. Хотели угостить чем бы нибудь еще, но он ото всего отказывался. Лошадь верховая ему была готова.

Ударили подъем, и мы пошли в крепость Грозную. Погода

сделалась сумрачная, да и на душе было невесело; давило какое–то предчувствие.

Подойдя к Шульцову кургану (а теперь называется Ермоловским; это, кажется, в 4-х или в 3-х верстах от крепости), мы согласились поехать вперед отряда. Талызин, Сергей Ермолов и я, пригласивши с собой фельдъегеря, пустились на рысях и прямо к дому коменданта крепости Грозной. Алексей Петрович сидел за большим столом и, как теперь помню, раскладывал пасьянс. Сбоку возле него сидел с трубкою Грибоедов. Когда мы доложили, что прибыли и привезли фельдъегеря, генерал немедленно приказал позвать его к себе. Уклонский вынул из сумки один тонкий конверт от начальника Главного штаба Дибича. Генерал разорвал конверт, бумага заключала в себе несколько строк [7], но когда он читал, Талызин прошел сзади кресел и поймал на глаз фамилию Грибоедова. Алексей Петрович, пробежавши быстро бумагу, положил в боковой карман сюртука и застегнулся. Потом он начал расспрашивать Уклонского о событиях в Петербурге. Очень толково и последовательно рассказывал Уклонский. Я не обратил внимания на Грибоедова, но Талызин мне после сказывал, что он сделался бледен, как полотно [8]. Так как это было зимой, то мы были в черкесках и полушубках. Я вышел, чтобы узнать, где наша квартира, которая была отведена на нас четверых почти что рядом, в офицерском флигеле: мне, подполковнику Жихареву, Сергею Ермолову и Грибоедову. Это была квартира капитана Козловского (после дослужившегося до чина полного генерала, Викентия Михайловича, бывшего председателем кавказских вечеров в Петербурге).

В сенях встретил я Талызина, который отдавал приказание одному из ординарцев генерала, уряднику кавказского казачьего полка Рассветаеву, чтобы он скакал в обоз, отыскал арбу Грибоедова и Шимановского и чтобы гнал в крепость. Я спросил его по-французски: на что это? Талызин отвечал: "После скажу!"

Когда я возвратился к А. П. Ермолову, снявши свой полушубок, то Грибоедова не было в комнате. Он выходил куда-то, но скоро возвратился, был, по-видимому, покоен и слушал рассказы Уклонского, который назвал много арестованных. Приказано было подавать ужин, к которому генерал велел пригласить прибывшего перед тем дежурного по отряду артиллерии полковника Мищенка, приехавшего с донесением, что голова колонны прибыла и расположена бивуаком около крепости, а равно и фельдъегеря Уклонского. Походный ужин не затейлив: два блюда; стало быть, он недолго продолжался, но россказни Уклонского заставили просидеть за столом лишнее

время, а может быть, и нужно было продлить ужин и для других целей. Генерал после ужина сиживал за столом всегда подолгу; тут бывали разные шутки, россказни и анекдоты; но на сей раз ничего подобного не было, и когда мы встали и люди убрали посуду, то генерал, обратившись ко всем, сказал: "Господа, вы с походу, вероятно, спать хотите, то покойной ночи!" Все стали расходиться.

Под квартиру нам отведена была одна большая комната, но без всякой мебели; нам постлано было на полу, и, чтобы удержать подушки, наши переметные чемоданы были приставлены к головам. Так было и у постели Грибоедова.

Мы с Жихаревым разделись и легли. Сергей Ермолов раздевался, но, по обыкновению, спорил с Грибоедовым и защищал Москву, которую Грибоедов, как и всегда, клеймил своими сарказмами. Грибоедов не раздевался. Вдруг отворяются двери, и является дежурный по отряду полковник Мищенко, но уже в сюртуке и шарфе, точно так и дежурный штаб-офицер Талызин, а за ними фельдъегерь Уклонский. Мищенко подошел к Грибоедову и сказал ему: "Александр Сергеевич, воля государя императора, чтобы вас арестовать. Где ваши вещи и бумаги?" Грибоедов весьма покойно показал ему на переметные чемоданы, стоявшие в голове нашей постели. Потащили чемоданы на средину комнаты. Начали перебирать белье и платье и, наконец, в одном чемодане на дне нашли довольно толстую тетрадь. Это было "Горе от ума". Мищенко спросил, нет ли еще каких бумаг. Грибоедов отвечал, что больше у него бумаг нет и что все его имущество заключается в этих чемоданах. Переметные чемоданы перевязали веревками и наложили печати Мищенко, Талызин и Уклонский, у которого оказалась при часах сердоликовая печать. Потом полковник Мищенко сказал Грибоедову, чтобы он пожаловал за ним. Его перевели в другой офицерский домик, где уже были поставлены часовые у каждого окна и у двери.

Как мы ни устали, но провели эту ночь почти что без сна.

Наутро мы проводили Грибоедова до кургана [9]. Прощаясь, он повторял нам: "Пожалуйста, не сокрушайтесь, я скоро с вами увижусь". Так и было: он приехал назад в Тифлис из Петербурга в начале сентября этого же года.

Тут нужно возвратиться к арбе с нашими вещами. Урядник Рассветаев ловко исполнил возложенное на него поручение. Он отыскал арбу, вывел ее из колонны и заставил быков скакать, так что очень скоро прибыли наши люди к назначенному нам флигелю. Тут встретило наших людей приказание елико возможно скорее сжечь все бумаги Грибоедова, оставив лишь толстую тетрадь — "Горе от ума". Камердинер его Алексаша

хорошо знал бумаги своего господина; он этим и руководствовал, и не более как в полчаса времени все сожгли на кухне Козловского, а чемоданы поставили на прежнее место в арбу.

Так совершилось это важное для Грибоедова событие, и потому-то он нам на прощание с такой уверенностью говорил: "Я к вам возвращусь". Сего, конечно, не случилось бы, если бы бумаги его уцелели. Да это дело прошлое; но нужно бы Грибоедову это помнить и быть благодарным. Но не так вышло, а совершенно противное.

В сентябре 1826 года я был командирован по службе на Кавказскую линию. Въезжая на казачий мост в Коби, я встретил Грибоедова на его обратном пути. Из Москвы он ехал вместе с Денисом Васильевичем Давыдовым. Долго я просидел с ними; но этот случай подробно рассказан Денисом Васильевичем в его "Записках", изданных в Лейпциге [10]. Говорено было немало, да ума–разума не стало! Старинная поговорка.

Последнее слово о Грибоедове. Его товарищи не любили; у него был характер непостоянный и самолюбие неограниченное. Вот для образца один случай. Когда, по приезде в станицу Червленную, он еще жил у меня в хате, раз приходит к нам Сергей Ермолов, и, разумеется, разговор перешел на Москву. Ермолов хорошо знал по Москве Степана Никитича Бегичева и спросил Грибоедова, как он мог с этим увальнем и тюфяком так подружиться? Грибоедов с живостью отвечал: "Это потому, что Бегичев первый стал меня уважать". А потом он же вывел этого своего друга на сцену в "Горе от ума" в лице Платона Михайловича [11].

Изо всех действовавших лиц в настоящем событии я один остался в живых и что написал, то написал верно.

П.М. Сахно–Устимович. Из "Описания Чеченского похода. 1826"

<...> В Екатериноградe, куда приехал Ермолов 22 ноября (1825 года), дожидал его начальник корпусного штаба генерал Вельяминов, назначенный начальником Кавказской области князь Горчаков, бывший поверенный в делах Персии Мазарович, Грибоедов и некоторые другие чиновники. На третий или четвертый день после этого приехал фельдъегерь, но не от государя, а прямо из Петербурга, и, по–видимому, не привез ничего важного.

Но со времени приезда этого фельдъегеря стало заметно, как в самом Ермолове, так и в ближайших окружающих его, уныние и таинственный вид, еще более увеличивающие общую грусть

[Фельдъегерь, прибывший из Петербурга, на дороге встретил товарища своего, отправленного из Таганрога в Петербург за траурными вещами, и от него узнал о горестном происшествии, повергшем в невыразимую скорбь всю Россию. Тайну эту выведал прежде всех от фельдъегеря один из адъютантов Ермолова. (Примеч. П. М. Сахно–Устимовича.)]. Наконец все объяснилось: 8 декабря получено официальное известие о кончине императора, и

9 декабря сам Ермолов со всею свитою, все войско и все казаки, находившиеся в Екатериноградe, присягнули на верность Константину Павловичу...

Множество дел, относящихся собственно до управления кавказской линии, задержали генерала в Екатериноградe еще неделю, и мы возвратились в Червленную накануне рождества Христова. Там провели все праздники, но кончина обожаемого монарха поразила нас такою скорбию, что нам было не до веселий и праздник был не в праздник.

В самый Новый год, в часу третьем пополудни, приехал фельдъегерь с манифестом об отречении от престола Константина Павловича и о восшествии на престол государя императора Николая I, и генерал тотчас же приказал мне приготовить все нужные бумаги о приведении всех находившихся в его команде войск и жителей вверенного управлению его края к верноподданнической присяге. <...>

4 же (января 1826 года) поутру совершена верноподданническая присяга.

<...> В Червленной пробыл Ермолов почти целый месяц. Наконец все приготовления к походу были кончены, провиант подвезен, и 19 января генерал выехал с небольшим отрядом и частию своей свиты и с Грибоедовым в Грозную, а 21–го и все остальные войска, и чиновники, бывшие при Ермолове, в том числе и я, двинулись туда же.

При самой переправе через Терек [Переправа через Терек на пароме находится в 7 верстах выше Червленной и довольно удобна. Оба берега плоски и открыты. На левом было тогда небольшое укрепление, прикрывавшее переправу. (Примеч. П. М. Сахно–Устимовича.)] нагнал нас фельдъегерь, приехавший из Петербурга. Все пустились расспрашивать его о тамошних новостях и последних происшествиях, но он был молчалив, как стена, и ловкому адъютанту Ермолова Талызину едва удалось от него выведать, что он привез с собою один только небольшой пакет от графа Дибича на имя генерала. <...>

В половине шестого часа вечера мы были уже в Грозной. Прибывший с нами фельдъегерь привез с собою высочайшее повеление, в котором предписано было немедленно арестовать

Грибоедова, отобрать у него и опечатать все бумаги и отправить как его, так и бумаги с тем же фельдъегерем в Петербург. Все это было исполнено: Грибоедов арестован и бумаги его опечатаны через четверть часа по прибытии нашем, и на другой день рано поутру он уже мчался с фельдъегерем. Доброта сердца Ермолова и благодетельное его расположение ко всем, кто служил при нем, не изменились и при этом неприятном случае. Он написал графу Дибичу о Грибоедове самый одобрительный отзыв, который, как сам Грибоедов сознавался после, много помог ему при его оправдании.

Э.В. Бриммер. *<О Грибоедове>*

24–го (января 1826 года) приехал из Петербурга рыжий фельдъегерь. Мы говорили между собою: от рыжего добра не будет. И точно. Уже до нас дошли слухи, что в Петербурге как–то неладно, что многих забирают, в особенности из 2–й армии; но мы на Кавказе были так спокойны, будто этот ералаш до нас не касался. Приехал рыжий фельдъегерь и увез 25–го числа с собою Грибоедова, состоявшего, кажется, по дипломатической части в канцелярии и бывшего с нами в отряде. Мы шли с Дейтрихом из крепости в лагерь рано утром; слышим, за нами едут; оглядываемся — на тройке Грибоедов и рыжий.

— Прощайте, Александр Сергеевич!

— До свидания, господа!

— Кто это? — спрашивает громко рыжий — и помчались далее с сильным конвоем казаков.

И точно, скоро возвратился Грибоедов чист, как голубь, и более не было подозрений на Кавказский корпус. <...>

Приближаясь к Тавризу [1], мы увидели сплошную массу народа, стоявшего версты на три от города, по обе стороны дороги, по которой медленно подъезжал к нам беглер–бей с огромной свитой. Преклоня голову, он передал ключи города отрядному начальнику князю Эристову. В эту минуту, кажется, старик помирился с дядьками!.. Огромную пеструю свиту беглер–бея трудно было свернуть в сторону. Кавалерийский отряд выехал вперед, князь, указав персиянину ехать подле себя, тронулся вперед – и началось церемониальным маршем торжественное шествие с музыкою и барабанным боем. Народ кланялся до земли, подымал руки то к небу, то к сердцу, кричал что–то про аллаха и справа и слева, при приближении князя Эристова, резал баранов, как жертвоприношение. Чуть ли не до ста штук было зарезано на этих двух верстах. Пройдя мимо дворца Аббас–Мирзы, называемого "Арк" и окруженного каменном стеною, мы

расположились лагерем.

Отдохнув немного, я пошел с товарищем в город, где мы встретили много офицеров и солдат, расхаживающих по лавкам и узким улицам с такою беззаботностью, как будто они были в Калужской губернии. Проходя близ дворца, мы вошли в него и увидели там князя Эристова [2] и много генералов, рассматривавших жилище наследника персидского престола. Тут подошел ко мне Александр Сергеевич Грибоедов и, поздоровавшись, рассказал, что Эристов в восторженном настроении от взятия Тавриза, считает себя чуть ли не выше Цезаря и, разговаривая с ним, вдруг спросил:

— А что, брат, Паскевич будет доволен?

— Не знаю, — отвечал Грибоедов, — это еще посмотрим.

— Ничего, брат! Тавриз взял, шах–зада прогнал! А что, брат, как ты думаешь, что скажет Европа?

— Э, ваше сиятельство! Европа не Катерина Акакиевна [Полковница, вдова, жившая в Тифлисе. . . . . и всегда игравшая с князем Эристовым в бостон; известная говорунья. (Примеч. Э. В. Бриммера)], она мало заботится о Тавризе и кто его взял, — отвечал Грибоедов.

И.П. Липранди. Из "Дневных записок"

<...> Первый комендант Зимнего дворца привозимых к нему отправлял на главную гауптвахту, откуда в 10 или 11 часов вечером привозили к государю (тогда занимавшему Эрмитаж). Первый спрос делал мне г<енерал>а<дъютант> граф Левашов, предваряя, чтобы сознаваться чистосердечно, что в таких случаях государь милостив. На поданном мне для сего листе бумаги я написал в двух строках, что "не участвую в гнусном замысле и требую очных ставок". Г. Левашов тотчас передал государю, который немедля вышел, повторил мне то же, и я повторил желание очных ставок. Фельдъегерю, привезшему меня, дана была записка, и мы молча приехали в Главный штаб к дежурному генералу Потапову, который меня знал с Отечественной войны, и сказанное им слово: "Очень рад", — озадачило меня. Он отдал вполголоса приказание адъютанту своему, Яковлеву, а этот пригласил меня следовать за ним й передал меня другому адъютанту, Жуковскому, который, проходя со мной несколько нескончаемых коридоров и двориков, спускаясь и подымаясь с лестницы на лестницу, между прочим, прервал гробовое молчание: "Слава богу, что вы присланы к нам!" — и объявил, что "тяжких отправляют прямо в крепость"... Невозможно описать впечатления той неожиданности, которою я был поражен:

открывается дверь, в передней два молодые солдата учебного карабинерного полка, без боевой амуниции; из прихожей стеклянная дверь, чрез нее я вижу несколько человек около стола за самоваром; все это во втором часу пополуночи меня поражало. "Вот, господа, еще вам товарищ!" — сказал Жуковский: все глаза обратились на меня. Здесь сидели за чайным столом: бригадный генерал 18-й дивизии Кальм [1], известный Грибоедов; адъютант Ермолова Воейков (оба привезенные с Кавказа); отставной подпоручик генерального штаба А. А. Тучков (старший брат бывшего в Москве генерал–губернатора) и предводитель дворянства Екатеринославской губернии Алексеев, человек около шестидесяти лет и, как оказалось, привезенный по ошибке вместо своего сына, гусара... [2] Поздний чай произошел оттого, что Воейков и Грибоедов были на допросе в Комиссии, находящейся в крепости [3]. Через час мы все были как старые знакомые. Предмет разговора понимается: вопросам, расспросам и взаимно сообщавшимся сведениям не было конца. Содержались мы на свой счет, обед брали из ресторации; позволено было выходить вечером с унтер-офицером для прогулки. Немногие, однако же, желали пользоваться сим; книг, набранных Грибоедовым от Булгарина, было много... Через десять дней я был освобожден, получил свидетельство за № 409 от 25 февраля за подписью всех членов (Следственного комитета), что "к тайному обществу не принадлежал и о существовании его не знал". Тотчас выдано мне, как и другим, годовое жалованье, прогоны и путевые издержки...

Видевши, что некоторые получили дозволение посещать прежних соузников моих, я испросил, чрез Яковлева, позволение делать то же и, получив оное, почти ежедневно бывал у них. Общество таких людей и особенно в тогдашние минуты было для меня большим наслаждением от службы.

Д. И. Завалишин. Воспоминания о Грибоедове

Я никогда не воображал, что мне придется говорить в настоящее время о Грибоедове, хотя и мог сообщить многое о нем. Я полагал, что обнародование того, что мне известно, совершится только в таком случае, когда явятся в свет мои записки, что предполагалось не в близком еще будущем, вероятно не скоро даже и после моей смерти. Но вот, когда по поводу совершившегося пятидесятилетия со времени преждевременной кончины Грибоедова все стали говорить и писать о нем, и я увидел, что и в рассказах, и в напечатанных даже статьях многое совершенно несогласно с тем, что мне достоверно известно, я пожелал прочесть и сверить с моими воспоминаниями все, по

возможности, что до сих пор было известно об этом писателе, не желая наполнять свои записки излишними повторениями того, что было уже известным и без меня. Но, не имея возможности все отыскивать самому, я, естественно, пожелал прочитать такое из последневышедших жизнеописаний Грибоедова, которое составляло как бы свод всего, что сохранилось о нем не только в печати, но и в предании, и мне указано было для этого на собрание сочинений Грибоедова, с предисловием, написанным профессором Веселовским [1].

Прочитавши предисловие, я увидел, что, по недостаточности и ненадежности источников, по сбивчивости и противоречиям в преданиях, многое представлено в ошибочном виде. Это, конечно, вина не профессора. Он мог извлекать сведения только из того материала, который был известен; но, с моей стороны, коль скоро я увидел, что вещи вполне мне известные представлены не так, как происходили они в действительности, я счел уже своей обязанностию безотлагательно сделать замечания на все найденное мною ошибочным и указать на явные противоречия и несообразности в некоторых преданиях, затемненных и искаженных временем, присоединив такие дополнения, которые оказались необходимыми для связи и большей ясности.

Я был знаком с Грибоедовым в продолжение, правда, только очень короткого времени, но зато это время было самое критическое для него, самое важное и самое опасное — время, в которое он подвергался наиболее и искушениям, и испытаниям. Это было именно в исходе 1824–го и в начале 1825 года; и затем я сидел вместе с ним в здании Главного штаба. Таким образом, я был и свидетелем его сношений с членами Тайного общества (мне не раз случалось и обедать, и проводить вечер с ним и с главными членами у Одоевского), и, конечно, единственным лицом, с которым Грибоедов мог, в здании Главного штаба, говорить вполне откровенно и о последних событиях, и о своих отношениях к лицам, принимавшим в них участие, зная, что эти отношения мне и без того коротко известны.

Могу сверх того сказать, что Грибоедов сам искал знакомства со мною, так как и приезд мой из Калифорнии в Петербург, и таинственность, которая его окружала, наделали тогда немало шуму в Петербурге и возбуждали общее любопытство. В особенности же он желал познакомиться со мною еще и потому, что слышал, будто я не похож на тех либералов, которых он преследовал своими сарказмами, которые, повторяя только заученные либеральные фразы, порицали других, а сами относились вполне небрежно и к служебным, и к общественным своим обязанностям. О мне же Грибоедов слышал, как и сам

сказал это мне, рекомендуясь, что, по свидетельству и начальников, и сослуживцев, и товарищей, я всегда был строго исполнителен во всех моих обязанностях, делая даже более того, что имели право и могли от меня требовать, несмотря на то что почти всегда я занимал не одну должность. Исполняя желание Грибоедова, ею познакомил со мною один из его почитателей, Орест Михайлович Сомов [2], у которого он часто бывал, между прочим и потому, что у Сомова жил тогда Александр Бестужев, писавший в то время литературные обозрения, с которым поэтому и Грибоедов был в частых литературных сношениях. Сомов же чрезвычайно уважал также и меня и выразил это при одном случае даже письменно, и притом в таких выражениях, что это подало впоследствии повод к запросу ему из Следственного комитета, так как в захваченных у меня книгах и картинах найден был перевод Сомова "Записок Вутье" (о борьбе греков против турок), с надписью переводчика на адресованном мне экземпляре: "Другу людей и истинно человеку", а между висевшими на стене картинами взят был и подаренный Сомовым же большой гравированный портрет Лафайета. Знакомство же мое с Сомовым произошло вследствие того, что я, принимая тогда большое участие в преобразовании, по моему проекту, управления колониями Российско-Американской компании, почти ежедневно заседал в собрании директоров компании и часто заходил по делам к жившему в доме компании Сомову. <...>

Еще чаще виделся я с Грибоедовым у Александра Ивановича Одоевского, у которого Грибоедов даже жил (оба они, и Грибоедов и Одоевский, были в родстве с супругою И.Ф. Паскевича, урожденною Грибоедовой, и потому отчасти в родстве и между собою), или, по крайней мере, часто просиживал подолгу, потому что мне нередко случалось, заходя по делам к Одоевскому, рано утром, и иногда притом и по два дня сряду, заставать за утренним чаем и Грибоедова вовсе еще не одетого, а в утреннем костюме.

На указанные в жизнеописании Грибоедова отношения его к Одоевскому я и начну именно свои замечания. Мнение, что Одоевский мог "охранять страстного и порывистого Грибоедова от всяких уклонений в сторону", положительно ошибочно.

Такого влияния Одоевский никак не мог иметь по двум весьма важным и очевидным причинам. Во-первых, не много можно найти людей, способных так увлекаться, как увлекался Одоевский. Редко встречаются люди, так легко переходящие от восторженного удивления к самому язвительному порицанию, от дружбы к вражде и обратно, как это случалось с Одоевским, и очень часто без достаточного для того основания. Я полагаю, что

не ошибусь, если скажу, что в целом казематском обществе едва можно насчитать три, четыре человека (могу говорить беспристрастно, потому что был именно в числе их), которых Одоевский не задел бы своими эпиграммами, нередко весьма язвительными, как, например, известная эпиграмма на А. З. М<уравьева> [3]. Даже и те из наших дам казематского общества, которых он же превозносил в восторженных стихотворениях, не избегли его эпиграмм при малейшем на них неудовольствии. Впрочем, слишком известная неустойчивость Одоевского в идеях и в отношениях к людям засвидетельствована им самим в резком противоречии ответа на послание Пушкина и дифирамба на наводнение 1824 года в Петербурге, с одной стороны, с известным стихотворением "К отцу", с другой.

Понятно, думаю, поэтому, что человек, до такой степени способный сам к увлечению, не мог охранять от увлечений других. Сверх того, существовала и другая, самая естественная причина, почему Одоевский никак не мог быть ментором Грибоедова. В первую эпоху пребывания Грибоедова в Петербурге Одоевский был еще дитя: в последний же приезд Грибоедова в северную столицу, в 1824 году, Грибоедов был уже вполне возмужалый человек, лет тридцати, достаточно уже опытный в жизни, тогда как Одоевский был все еще почти юношей, и притом едва только произведенным в корнеты из юнкеров, следовательно, ни в каком отношении не мог иметь опытности, необходимой для руководства других.

Но Одоевский действительно сослужил добрую службу Грибоедову, хотя и по совету других, охранив его в одном, весьма важном для последствий отношении. Дело в том, что в продолжение долгого, восьмилетнего отсутствия Грибоедова из Петербурга, именно сильнее, чем когда–либо до того, развилось в этой столице Тайное общество, и в нем получили значение люди мало известные и даже вовсе не известные Грибоедову. Вследствие этого понятно, что Грибоедов, человек увлекающийся и крайне неосторожный в выражениях, легко мог вдаваться в излишнюю откровенность даже с такими людьми, которые, при случае, могли выдать и Грибоедова, как выдали других. Вот от слишком интимных сношений и политических разговоров с такими людьми, указанными Одоевскому, он и предостерегал Грибоедова, верившего ему, зная его к себе привязанность и не оскорблявшегося поэтому его советами, как легко мог по самолюбию оскорбиться, если бы советы подавал кто другой. Особенно важно было предостеречь Грибоедова от слишком откровенных политических рассуждений с теми из членов Тайного общества, которые не славились ни скромностью, ни

твердостью характера, но с которыми Грибоедову приходилось часто видеться по литературным отношениям, как, например, с А. Б<естужевым> [4]. Это действительно и спасло впоследствии Грибоедова, потому что его близкие сношения были с такими только членами, которые ни одним словом не компрометировали ни его, ни других, даже таких, на кого иные члены делали уже показания, хотя и бездоказательные.

Странно мне также показалось в приложенном к собранию сочинений Грибоедова мнении Белинского, что рукопись "Горя от ума" начала будто бы ходить по рукам только с 1832 года (если это не опечатка — вместо 1823 г.). Отправляясь в отпуск в приволжские губернии с поручением от Общества в начале ноября 1825 года, я сам привез в Москву полный экземпляр, списанный мною еще весною того года, в числе других, на квартире Одоевского, под общую диктовку, с подлинной рукописи Грибоедова, даже с теми изменениями, которые он делал лично сам, когда ему сообщали, по его же собственной просьбе, некоторые замечания, особенно на те выражения, которые все еще отзывались как бы книжным языком. Я имею основание думать, что если и другой кто привозил в Москву рукописи "Горя от ума" [5], то мой экземпляр был из всех привезенных туда и самый полный, и самый исправный.

В Москве остановился я в доме Ивана Николаевича Тютчева, супруга которого была родная сестра моей мачехи. Привезенным мною экземпляром "Горя от ума" немедленно овладели сыновья Ивана Николаевича, Федор Иванович (известный поэт, с которым мы жили вместе в Петербурге у графа Остермана-Толстого) и Николай Иванович, офицер гвардейского генерального штаба, а также и племянник Ивана Николаевича, Алексей Васильевич Шереметев, живший у него же в доме (в Армянском переулке, где ныне заведение Горихвостова). Как скоро убедились, что списанный мною экземпляр есть самый лучший из известных тогда в Москве, из которых многие были наполнены самыми грубыми ошибками и представляли, сверх того, значительные пропуски, то его стали читать публично в разных местах и прочли между прочим у кн. Зинаиды Волконской, за что и чтецам и мне порядочно-таки намылила голову та самая особа, которая в пьесе означена под именем кн. Марьи Алексеевны. Упомянувши же о ней, скажу здесь кстати, что тогда под именем князя Григория все разумели кн. П.А. В<яземского>, слывшего за англомана. Это знал и он сам и смеялся над этим, когда мы, бывало, собирались у Оржицкого, у которого он обедал иногда и где в его присутствии был также прочитан привезенный мною экземпляр "Горя от ума". Что же касается до Татьяны Юрьевны, то тут автор

действительно разумел Прасковью Юрьевну К<ологривову> [6], прославившуюся особенно тем, что муж ее, однажды спрошенный на бале одним высоким лицом, кто он такой, до того растерялся, что сказал, что он муж Прасковьи Юрьевны, полагая, вероятно, что это звание важнее всех его титулов.

Перехожу теперь к описанию нахождения Грибоедова в здании Главного штаба и к следствию над ним но поводу предполагаемого соучастия его в действиях Тайного общества. Во всем этом описании почти все неверно, и одно предание явно несогласию с другим. Полагаю, что всякому должно броситься в глаза резкое противоречие того, что будто бы он "прямо написал в ответе, что знал и о том, что делается; знаком был с тем или другим лицом", с далее сообщаемым рассказом, что он же, по совету, в комитете, какого–то важного лица, во всем заперся и написал: "Знать ничего не знаю и ведать не ведаю!" Правда, в двух этих рассказах, очевидно почерпнутых из двух разных преданий, лежит в основании кое–что и действительно происходившее, и только все отнесено не к тому месту, где происходило, и не к тому лицу, которое старалось подействовать на Грибоедова, чтобы заставить его изменить предполагавшееся было первоначальное показание.

В действительности же вот как происходило все дело: все арестованные позже, как Грибоедов и я (при втором арестовании меня), когда крепость была уже битком набита, помещались предварительно в здании Главного штаба, в котором во время нашего там пребывания с Грибоедовым перебывали, таким образом: генерал Кальм, граф Мошинский, Сенявин (гвардейский полковник, сын адмирала), братья Раевские, князь Баратаев (симбирский губернский предводитель дворянства), полковник Любимов (командир Тарутинского полка), князь Шаховской (сосланный потом на поселение в Сибирь и там помешавшийся) и др. [7]. Затем, смотря по тому, что окажется но исследованию, подтверждались или нет показания, по которым были арестованы привозимые в Главный штаб, их или переводили в крепость, или выпускали на свободу, а в случае наложения дисциплинарного наказания (перевода из гвардии в армию, посылки на Кавказ, временного заключения в какой-либо крепости и т. п.) отправляли туда, куда было назначено.

Для содержавшихся в Главном штабе отведено было помещение в комнатах, предназначенных для тогдашнего начальника штаба первой действующей армии Толя, на случай приезда его в Петербург, что бывало часто. Сначала наше помещение состояло из одной только длинной комнаты, вроде залы (служившей, конечно, Толю приемной), и небольшой

прихожей (в которой стоял часовой); но когда число арестованных умножилось, то к зале прибавили еще очень небольшую комнатку, служившую, судя по мебели, и кабинетом, и спальнею Толя, и в ней-то поместили и меня, и Грибоедова, а иным (как, например, Кальму, Мошинскому и др.) дали потом совсем отдельное помещение.

Надзор за нами был действительно поручен тому лицу, как показано в разбираемом жизнеописании Грибоедова, т. е. армейскому офицеру Ж<уковском>у, но совершенно ошибочно мнение, будто бы источником деланных им послаблений Грибоедову (прибавим: и всем другим в той же мере) было уважение к произведению Грибоедова. Напротив, вначале наш надзиратель очень стеснял всех без различия, и Грибоедова в том числе, и, вероятно, к этому-то времени и относится показание, что Грибоедов ссорился с надсмотрщиком. Перемене же в отношениях надзирателя к нам мы обязаны исключительно полковнику Любимову. Произошло это таким образом, по рассказу мне самого Любимова: почти одновременно привезены были и Любимов, и кн. Баратаев; но между тем как Баратаев, рассчитывая, вероятно, на то, что уж о каждом его действии непременно будут доносить, требовал себе постной пищи (это было великим постом) и твердил надзирателю, что привык соблюдать все посты, полагая, что это будет иметь влияние и на Ж<уковско>го, и на следователей, Любимов, как опытный служака, взялся за дело более "практическим" способом [8]. Сообразив, что Ж<уковский> должен быть не богат и не имеет ходатаев, если, живя в Петербурге, служит не в гвардии, и порасспросив кое о чем, Любимов вдруг озадачил его следующим предложением: "Ты, брат (надо сказать, что Любимов, как и многие другие старые полковые командиры, например, Аврамов, Тизенгаузен и др., находившиеся даже в крепости, чрезвычайно импонировали тем, что ко всем обер-офицерам обращались так, как привыкли обращаться к ним в своем полку, и такова сила общей привычки и влияния названия "полковой командир", что и Ж<уковский> в штабе, и плац-адъютанты в крепости находили это вполне естественным и не думали обижаться), ты, брат, как я вижу, не богат ни средствами, ни протекцией, а можешь иметь и то и другое, если сумеешь воспользоваться случаем, оказывая услуги тем значительным лицам, которых привела судьба под надзор к тебе. Для начала сделай вот, что я тебе скажу: вот тебе записка к графине А. И. К. (зять ее служил у Любимова в полку, в который переведен был из старого Семеновского полка, при раскассировании сего последнего), по этой записке ты получишь десять тысяч рублей. Сколько из этого ты дашь другим, сколько

останется у тебя — мне до этого нет дела! Ты, конечно, знаешь, у кого в Следственной комиссии хранятся заарестованные у нас вещи и бумаги, и должен из моего портфеля вынуть такой-то запечатанный пакет и привезти его мне. Рассмотреть мои бумаги в комитете никоим образом не могли еще успеть: это я вижу из вопросных пунктов, а потому вы мне и не говорите, что будто бы вы не нашли пакета или что истребили его там, он должен быть передан мне в руки". Как было сказано, так было и сделано. Любимов истребил компрометировавшие его бумаги и отделался, кажется, шестимесячным арестом.

Понятно, что после этого наши отношения к Ж<уковском>у должны были перемениться, так как не Любимов уже был от него в зависимости, а наоборот. Но послабление относительно одного лица неизбежно влекло послабления и для других, а отступление от инструкции в одном вело к отступлению и в другом, так что Ж<уковски>й попал, наконец, в полную зависимость от нас во всем. Впрочем, он благодушно подчинился этому, новому своему положению, и тем охотнее, что ему дали честное слово, что заключенные не позволят себе ничего, что в политическом отношении могло бы его компрометировать (как, например, побег, опасные сношения или переписка и т. п.). Мало-помалу Ж<уковски>й сам так втянулся в новое направление, что скорее мы уже должны были напоминать ему о необходимой осторожности, чем он нам. Благо никто его не ревизовал, да никто из комитета к нам и не входил, потому что все бумаги к нам из комитета и от нас туда шли чрез Ж<уковского>, а если кого требовали в комитет, то и об этом извещали его же накануне, то и дошло до того, что даже часовые превратились в нашу прислугу. Мы обыкновенно запирались изнутри на ключ, а часовой ставил ружье в угол, снимал кивер, суму и мундир, надевал шинель и фуражку и отправлялся за покупками, за обедом, за книгами и проч. Наконец, Ж<уковски>й этим не ограничился. Смелость его росла не по дням, а по часам. Не видя никаких дурных для себя последствий от установившегося порядка, он пошел далее, но не для нашего уже облегчения, а чисто для своего удовольствия. Узнавши, что Грибоедов хорошо играет на фортепиано, Ж<уковский>, как любитель музыки, стал водить его и меня в кондитерскую Лоредо, находившуюся на углу Адмиралтейской площади и Невского проспекта. Водил он, впрочем, не в самую кондитерскую, а в небольшую комнатку, примыкавшую к ней, и, вероятно, принадлежавшую к помещению самого хозяина, с которым Ж<уковский> был, по-видимому, коротким приятелем, потому что, заказывая угощение (разумеется, на наш счет), он не пускал к нам никого из прислуги

кондитерской, а что было заказано, приносил или сам, или хозяин. В этой комнате стояло фортепиано; мы приходили обыкновенно часов в 7 вечера и проводили там часа полтора; Грибоедов играл, Ж<уковский> слушал его, а я читал газеты [9].

Об этих наших путешествиях не знал, однако же, никто даже из наших товарищей по заключению, потому что Ж<уковский> боялся, чтоб не стали проситься в кондитерскую и другие; все думали, что он уводит нас играть в шахматы в свою комнату, которая была смежною с нашей и дверь которой он всегда запирал на ключ, даже когда входил к нам. Раз, однако же, случилось, что такое наше путешествие могло кончиться очень неблагополучно, если бы нечаянный свидетель его был менее доброжелателен и скромен. Мы обыкновенно ходили к Лореду не по Адмиралтейской площади, что было бы ближе, а проходили под арку Главного штаба, затем шли по Невскому проспекту и входили в упомянутую выше комнатку чрез внутренний двор, а не с парадного входа в кондитерскую. И вот однажды проходя именно под аркой, по одной стороне, мы встретились с идущим по другой одним самым близким мне знакомым гвардейским офицером. Увидев меня, он остолбенел, но я сделал вид, что не замечаю его, и только выходя уже из-под арки, я оглянулся и увидел, что он поворотил назад и, сделавши несколько шагов за нами, остановился, развел руками и затем, постояв немного, снова поворотил и пошел прежней своей дорогой. Впоследствии я узнал, что этот знакомый, занявший потом одно из самых высших мест в государстве, рассказал, было, близким мне людям, что, должно быть, меня освободили, потому что он меня встретил, но так как мое освобождение не подтвердилось, то говорил, что он, вероятно, опознался и что действительно встретил человека, как две капли воды похожего на меня.

Относительно ответов комитету, совершенно несправедливо, что Грибоедов изменил свое признание на запирательство по совету какого-то важного лица в комитете. Этого не могло быть уже и потому, что бумаги никогда не писались в комитете, что иначе отняло бы у него, разумеется, слишком много времени. Порядок относительно допросов был в комитете таков: запросные пункты посылались в запечатанном пакете туда, где содержался обвиняемый, будь это в здании Главного штаба, в крепости или даже в Алексеевской равелине; ответы шли также в запечатанном пакете, который вскрывали в полном заседании комитета; и тогда, если не находили их удовлетворительными, то призывали обвиняемого в комитет, для очных ставок, для указания противоречий в показаниях или недостаточных пояснений, и в таком случае все, что говорилось в комитете, тут же и

записывалось в протокол, и разумеется, не самим уже обвиняемым. Таким образом, никто в комитете не мог ни видеть, ни знать, что пишет обвиняемый, до вскрытия его пакета и прочтения его ответов в полном присутствии комитета, и, следовательно, никто не мог ни предупредить, ни остановить Грибоедова.

Дело было гораздо проще и естественнее. Грибоедову помог в этом случае тот же полковник Любимов, который и многим давал полезные советы, охотно выслушиваемые, как идущие от весьма опытного и доброжелательного человека. Поводом же к вмешательству Любимова было следующее обстоятельство: братья Р<аевские> сбили с толку многих своими рассказами, что, для того чтоб скорей и лучше отделаться, чтоб избежать неприятности проволочки следствия и риска предания суду, надобно, главное, доказать свою откровенность, и основывали это на собственном будто бы примере и на примере других очень известных лиц (кн. С, кн. Л. и др.), которые, как говорили тогда, за полное признание получили полное прощение. Но братья Р<аевские> не сообразили, что во всех приводимых ими примерах решительное влияние на прощение имели совсем иные причины. Как бы то ни было, но только вследствие этих рассказов братьев Р<аевских> некоторые лица (как, например, Ф..., Т..., Г...) наговорили сами на себя всякой небылицы в доказательство откровенности, что, конечно, не послужило им в пользу. Между тем Любимов заметил, что и на Грибоедова вышеупомянутые рассказы братьев Р<аевских> произвели большое впечатление, а потому, когда Грибоедову принесли вопросные пункты и он стал писать черновой на них ответ, то Любимов, подойдя к нему, сказал: "Вы знаете, что все, что вы ни напишете, до меня нисколько не касается, потому что у нас с вами не было по Обществу никаких сношений. Поэтому я и могу давать вам советы совершенно беспристрастные. Я только желаю предостеречь вас, потому что заметил, из ваших же рассуждений, что рассказы братьев Р<аевских> не остались без влияния и на вас, и кроме того, вы готовы на все, лишь бы как–нибудь избавиться от томительной скуки, которая предстоит вам в нашем положении. Я знаю из всех наших здешних разговоров, что действия относительно комитета предполагаются различные, смотря по разным у всякого соображениям, и личным, и политическим. Не знаю, какой системы намерены держаться вы, но ум хорошо, а два лучше. Не по любопытству, а для вашей же пользы я желал бы знать, на какой система вы остановились? Помните, что первые показания особенно важны..." В ответ на это Грибоедов прочитал ему то, что успел уже написать. Прослушав написанное, Любимов

с живостию сказал ему: "Что вы это! Вы так запутаете и себя, и других. По-нашему, по-военному, не следует сдаваться при первой же атаке, которая, пожалуй, окажется еще и фальшивою; да если поведут и настоящую атаку, то все-таки надо уступать только то, чего удержать уж никак нельзя. Поэтому и тут гораздо вернее обычный русский ответ: "Знать не знаю и ведать не ведаю!" Он выработан вековою практикою. Ну что же? Положим, что вам докажут противное; да разве и для судей не натурально, что человек ищет спастись каким бы то ни было образом? Хуже от этого не будет, поверьте! А не найдут доказательств, — вот вам и всем хлопотам конец. Вот вам и мой собственный пример, хорош бы я был, если бы сначала так–таки и бухнул признание, а у меня еще были захвачены и опасные бумаги. И на кой черт берег я письма П<естеля>! Но я из вопросных пунктов увидел, что до моих бумаг еще не добрались; доберутся – знаю, что будет плохо, но все же от отсрочки хуже не будет; и потому на первый случай лучше сказать: знать не знаю! А там, на счастье, попытаться выручить опасные бумаги. Ну, и вышло отлично; а теперь пусть и обвиняют в том только, что был знаком с П<естелем>. Ну что ж? Да, был знаком! да как и не стараться быть знакомым со всеми полковыми командирами!.. Сношения по службе беспрестанные, часто щекотливые, а при знакомстве все идет гораздо легче, как спишешься частным путем". Не знаю, насколько подействовали подобные убеждения на Грибоедова и вследствие ли их, как думал Любимов, или по каким–либо другим соображениям, но только, по словам Любимова, Грибоедов после разговора с ним изорвал написанную было черновую [10].

Говорят также, что Грибоедова "выгораживал" будто бы Ивановский [11]. Никак не могу понять, каким образом это могло быть! Ивановский и Бруевич были чиновниками канцелярии Следственной комиссии, но и за ними самими строго наблюдал обер–аудитор (по фамилии, кажется, Попов). По крайней мере, я знаю случай, что когда Ивановский, оставшись с одним обвиняемым, приведенным на очную ставку и дожидавшимся в канцелярии, пока члены комитета пошли закусывать (закуска была от двора), выдумал было вступить в разговор с этим обвиняемым, то обер-аудитор немедленно и резко сказал ему, что он не имеет права разговаривать с находящимся под следствием, и пошел в ту же минуту доложить о том членам комиссии. Тот же час пришел Чернышев, произошла весьма бурная сцена, и Ивановскому пришлось оправдываться.

Показаний других против Грибоедова, если они были, Ивановский также не имел возможности скрыть, так как пакеты распечатывались в заседании комитета, и следовательно — все

показания становились известными членам комитета или комиссии, прежде чем отдавали их в канцелярию.

Другое дело сами члены комитета; они действительно могли оказывать содействие кому хотели; выгораживать кого нужно или приказано было. Я знаю от своих товарищей, что когда в показаниях, необходимых даже по ходу дела, касались некоторых лиц, близких членам комитета или таких, которых нужно или приказано было по какому-либо расчету щадить, то делавшему показание обыкновенно говорили: "Вас об этом не спрашивают", и этих показаний не записывали в протокол, как бы важны они ни были даже для разъяснения всего дела. Кроме того, когда я находился уже в крепости и до перевода в Алексеевский равелин был помещен в одном отделении с М. Ф. О<рловым>, то брат его, бывший в дружбе с членами комитета и занявший впоследствии один из важнейших постов в государстве, всякий раз, когда арестованному следовало получить вопросные пункты или быть призываемому в комитет, приезжал к нему и говорил, о чем будут спрашивать и что следует отвечать. И нет сомнения, что на окончательное решение и о Грибоедове имело сильное влияние и у членов комитета, и даже выше заступление, хотя и тайное, Паскевича, получившего уже в то время большое значение.

Что же касается до роли, какую играла в следственном деле комедия Грибоедова, то действительно, возвратись однажды от допроса в комитете, Грибоедов сказал нам, что его "мучили", доказывая ему, на основании комедии, что он был также членом Тайного общества и что он, на том же основании, доказывал противное; но как он у допроса провел в тот раз очень короткое время, и притом допрашивали его сверх того и о более важных вещах, то, очевидно, Грибоедов выражение "мучили" употребил только в шутку и что о комедии речь шла только мимоходом, как бы вводным только эпизодом. К тому же осмеяние Репетилова не могло иметь тогда в глазах следователей такого значения, какое ему приписывают, по той причине, что комитету очень хорошо было уже известно, что именно-то самые серьезные члены Общества и восставали сильнее против всех Репетиловых.

В заключение должно заметить, что совершенно ошибочно также и то мнение, будто и товарищи, и высшие лица искали спасти Грибоедова как гениального писателя, как "будущую надежду России" [12]. Ничего подобного в ту эпоху не было. Для современников молодости Грибоедова и Пушкина они были совсем иные люди, чем для следующих поколений, которые смотрят на них сквозь призму последующих разъяснений из произведений и действий и еще чаще судят на основании позднейшей уже их деятельности. Как смотрели на Грибоедова в то время высшие лица, выразил и сам Грибоедов впоследствии, в письмах с Кавказа, хотя значение его как писателя и как полезного служащего (если еще и не государственного деятеля) выразилось уже в то время гораздо более, нежели в 1824-м и 1825 годах... Что же касается до людей обычного его круга, равного с ним общественного положения, то в этих годах Грибоедов был для них все еще человек, принесший из военной жизни репутацию отчаянного повесы, дурачества которого были темою множества анекдотов, а из петербургской жизни — славу отъявленного и счастливого волокиты, наполнявшего столицу рассказами о своих любовных похождениях, гонявшегося даже и за чужими женами, за что его с такою горечью и настойчивостью упрекал в глаза покойный Каховский. Известно, что даже "Горе от ума" было тогда принято не в том значении, какое придают этому произведению в настоящее время. Оно сделалось популярно, как было популярно тогда всякое осмеяние чего бы то ни было в тогдашнем порядке вещей (свидетельством служат множество пародий на известные произведения, сделавшиеся даже более любимыми и известными, чем самые произведения), что было очень на руку всеобщему либеральному направлению и как богатое собрание сатир и эпиграмм, дававшее всем возможность задевать разных лиц безответственно, высказывая чужими словами то, чего не решился бы никто высказать как собственное суждение, не рискуя поплатиться за то ответственностию; и надо признаться, что число людей, и притом вовсе не либеральных, радовавшихся появлению комедии для употребления ее в смысле возможности приложения сатиры к известным лицам, было несравненно больше, чем видевших в ней какой–либо гражданский подвиг, да едва ли такие и были.

В старании товарищей не компрометировать Грибоедова не было также ничего особенного, исключительного. Это было лишь следствием наперед условленного, общепринятого правила стараться не запутывать никого, кто не был еще запутан, а если сам Грибоедов не говорил о сношениях с членами, имевшими особенное значение, то говорить об этих сношениях значило бы

добровольно и без нужды выдать самого себя. Кроме того, как объяснено выше, он, к счастию его, был вовремя огражден от сношений с нескромными членами. В силу подобных же условий спасены были и многие другие члены, даже такие, которые были замешаны и посильнее, чем Грибоедов. Наконец, кроме несомненного заступничества Паскевича, Грибоедову благоприятствовали еще и следующие два обстоятельства: он не был в Петербурге в конце 1825 года; а в тех близких отношениях, в каких он находился к Одоевскому и другим членам Общества, никто с уверенностью не мог сказать о себе, на что бы он решился, если бы присутствовал в Петербурге, как о том откровенно сознался пред высшим лицом и Пушкин, даром что Пушкин даже не был членом Общества, хотя и желал им быть, но его не принимали, зная его неустойчивость (versotilite).

Другое важное обстоятельство заключается в том, что, как это сообщено уже в разбираемом жизнеописании Грибоедова, Ермолов, предупредив его об аресте, дал ему возможность истребить компрометирующие его бумаги, в которых, несомненно, было немало опасного для Грибоедова, в том числе кое–что из собственных его произведений, судя по тому, что многие не раз слышали от него. Некоторые из его напечатанных 13 стихотворений не уступали, например, в резкости пушкинским стихотворениям известного направления. Здесь кстати сказать, что, впрочем, и не один Ермолов так поступал. Лица, поставленные и выше Ермолова, делали для других то же самое, что сделал он для Грибоедова <…>

Мнение, будто бы известный Ф<аддей> Б<улгарин> не считался тогда еще таким, каким считали его впоследствии, приводимое в жизнеописании Грибоедова для оправдания его относительно сношений его с Б<улгариным>, никак нельзя признать справедливым. Не входя здесь в разбирательство, насколько основательна было вообще мнение о Б<улгарине>, и когда он был лучше, когда хуже, я могу сказать только одно, что ни за что так не упрекали Грибоедова люди, даже близкие ему, как за сношения его с Б<улгариным> и это всегда задевало заживо Грибоедова. Относительно других предметов Грибоедов хотя вообще и рассуждал часто горячо, но не доходил никогда до раздражения; только когда осуждали его связь с Б<улгариным> или когда Каховский доказывал ему, что, осуждая у ложных либералов противоречие их действий с провозглашаемыми принципами, Грибоедов и сам не свободен от подобного противоречия, можно было видеть, что Грибоедов чувствовал, что его кольнули в самое больное место. Трудно также понять, к какому времени может относиться, разрыв его с Б<улгариным>

за излишнюю похвалу, о котором говорится в жизнеописании. Помнится, что и после вторичного отъезда своего в Грузию он все еще посылал письма в "Северную пчелу" и что даже писал комплименты Б<улгарину>, относительно его "Выжигина" [14]. Одоевскому присылали все, что печатал Грибоедов впоследствии, и мне помнится, что об этом был у нас и разговор с Одоевским.

Остается пояснить еще два факта: наблюдения в Киеве и в Крыму, относящиеся к русской истории, были деланы Грибоедовым по просьбе Петра Александровича Муханова [15], постоянно и специально занимавшегося (даже и впоследствии в каземате) исследованиями относительно древней русской истории; это сказывал мне сам Муханов, а что касается до курса математики "Франкера", о присылке которого просил Грибоедов во время заключения его в штабе, то это потому, что, сознавшись мне, что он не очень силен в математике, и зная, что я был преподавателем высшей математики и астрономии в морском корпусе, Грибоедов просил меня, чтоб я "от скуки" занялся с ним математикою [16].

Я мог бы сообщить еще многое о Грибоедове, как потому, что немало сам был свидетелем, так и потому, что немало слышал от Одоевского, который беседовал о нем со мною чаще, чем с другими, зная, что мне многое и без того уже известно; но я положил себе ограничиться здесь замечаниями только на то, что изложено уже в разбираемом мною жизнеописании Грибоедова...

В заключение скажу, что из всех портретов Грибоедова я не видел до сих пор ни одного, который напомнил бы мне остроумную физиономию автора "Горя от ума"; по крайней мере, того Грибоедова, каким я знал его в 1824-м и 1825 годах.

Д.В. Давыдов.

Из "Записок во время поездки в 1826 году из Москвы в Грузию"

<...> 28 августа <1826 г.>, рано поутру, оставил пехоту и, под прикрытием 30 казаков, поехал рысью вперед. Правду сказать, я много и очень много рисковал, но сопровождавшие меня казаки были известные молодцы линейные. Мне хотелось догнать почту и большой караван, впереди нас шедший и ночевавший на Урухском редуте, но, приехав туда, я не нашел уже этого каравана и отправился тотчас далее, наконец догнал его в привальном редуте, называемом Мечетской; тут нашел я, между прочими знакомыми моими, и Грибоедова, выехавшего гораздо прежде меня из Москвы [1].

От Мечетского редута до Белой речки (8 или 9 верст) идет

самая опаснейшая из всего края дорога; она вьется в ущелине между Тереком, весьма быстро текущим, и цепью довольно высоких гор, сверх того, дорога прерывается глубокими оврагами. Такая местность дает все удобство чеченцам, живущим не в дальнем расстоянии за Тереком, укрываться и делать внезапные нападения. Однако ж мы проехали благополучно и ночевали в Арадонском редуте.

29 августа, рано утром, приехали мы в Владикавказ. До сих пор дорога паша простиралась большею частию по необозримой плоскости, с которою граничит гигантская стена заоблачного Кавказа; иногда дорога пресекалась лощинами, но весьма пологими. Был прежде в одном месте на этой дороге лес, но теперь вырублен, затем чтобы лишить чеченских хищников убежища и сохранить проезжающих от внезапных нападений. <…>

В Владикавказе отвели мне квартиру в крепости и отдали все установленные почести. Был выставлен караул, который я тот же час отпустил; являлся ко мне с рапортом комендант и плац–майор; я расспрашивал у них о делах в Грузии, но и они ничего верного не знали, а обещали прислать ко мне приехавшего недавно из Тифлиса полковника путей сообщения, командированного оттуда для поправления дороги и мостов при Дарьяльском ущелье, заваленных обрушением части горы Казбека, ночью с 15 на 16 число августа, то есть в тот самый день, как я выехал из Москвы. Какое предсказание для меня, ежели б я был суеверен!

От полковника, прибывшего из Тифлиса, узнал я, что войска поспешают к пунктам назначенного им соединения, что Аббас–Мирза с сильною армиею (которую полагали тогда до 100 тысяч) в Елисаветполе, а авангард его в Шамахе, что Шуша блокирована, но полковник Реут с полком своим крепко в ней держатся, что Сардарь Ериванский занял Бомбахскую и Шурагельскую провинции и простирает набеги свои до Ковша, в 50 верстах от Тифлиса, что против Аббаса–Мирзы князь Мадатов с тремя тысячами, а против Сардаря полковник князь Севирзимидзев с тифлисским пехотным полком, на Каменной речке в урочище Джелал–Оглу, что возле Лори; что в Тифлисе покойно и нимало не опасаются неприятеля, полагаясь во всем на Ермолова, а Ермолов, зная трусость персиян, покойнее всех и занимается сосредоточиванием войск, чтобы одним разом все кончить и уничтожить.

В Владикавказе я писал письма домой. День был прелестный, я гулял и любовался Кавказом, который, как казалось, совсем почти навис на город, хотя он находится в расстоянии 7 верст от

подошвы гор на ровной плоскости. Из окна моего виден был Казбек, возвышающийся, как двухглавая сахарная голова над всем снеговым хребтом и тогда, как я смотрел, будто выпечатанный на темно–голубом безоблачном небе. Ночью Казбек был еще величественнее, когда полная луна осыпала снеговые темя его бледными своими лучами.

Я оставил в Владикавказе свою коляску и 30 числа выехал вместе с Грибоедовым в двуместных дрожках, которыми одолжил нас до первой станции майор Н. Г. О<гарев> [2]. Вещи наши были навьючены на казачьих лошадях, а конвой убавлен, потому что в горах гораздо менее опасности, чем на том пространстве, которое мы проехали. Осетины мирнее чеченцев, однако ж и они не упускают случая против неосторожных. Конвой наш отсюда состоял всего из 10 человек пехоты и двух казаков, сверх того, четыре казака вели наших вьючных лошадей, и люди наши также ехали на казачьих лошадях.

От Владикавказа до въезда в ущелье, из коего вытекает Терек, всего верст 7; местоположение так же плоско, как то, которое мы проехали; но, проехав 7 верст, вдруг погружаешься в горы, и, по мере езды вперед, ущелья становятся теснее и теснее. Наконец в Ларсе, в 25 верстах от Владикавказа, верхи гор, по обеим сторонам дороги, кажутся готовыми упасть на голову. Воздух, от возвышенности местоположения, гораздо холоднее. В Ларсе порядочной домик для проезжающих, здесь квартирует рота пехоты и команда казаков; строения, для помещения военных, находятся у берега Терека, а на нижнем уступе горы стоят развалины древнего замка.

31 августа отправились мы далее. Я думал сначала, что мы просто упремся в горы и не найдем отверстия для проезда: так издали теснина кажется спертою. Этим путем ехали версты четыре и, не доезжая до Дарияла, расстоянием версты за три, встретили мы рабочих, занимавшихся исправлением дороги и мостов, заваленных обрушением части горы Казбека. Этот обвал произошел на самом тесном месте, покрыл целыми громадами каменьев мосты и дорогу и до того загородил течение Терека, что река должна была прорыть себе другое отверстие, и теперь сделалось то, что где был прежде Терек, там сделалась дорога, а где была дорога, там Терек. Причиною обвала, как предполагают, был чрезмерный жар нынешнего лета, отчего снега на Казбеке растаяли, подмыли громады мелких каменьев и снесли их с собою вниз. Свидетели обвала в Дарияле (небольшом редуте, в трех верстах от обвала) сказывали нам, что треск начался в полночь и обвал продолжался четыре часа сряду, гром от падения каменьев так был ужасен, что они полагали разрушение всего Кавказа и,

как говорится, настоящее светопреставление. Три реки каменьев потекли с самого хребта гор, и от взаимного трения камней брызгали искры, так что в мрачную ночь тройной обвал представлял как будто три шумные, огненные реки, ниспадающие с необъятной, почти заоблачной вышины на единственный путь с кавказской линии в Грузию. Во время проезда нашего работы подвинулись уже так много вперед, что можно было проезжать по дороге не только верхом, но и в повозках. Чем далее мы подвигались от Ларса к Дариялу и до села Казбека (в 9 верстах впереди от Дарияла), тем природа становилась угрюмее; слои известковые тенились слоями гранита и аспида, растительность становилась более и более скуднее, кое-где видны были, не более аршина высоты, горбатые ели, а траву заступал мох, проглядывающий из трещин скал черных и серых, взгроможденных одна на другую до небес. Дефилеи становились час от часу теснее, Терек ревел громче, крутил грязные волны свои, дробился об огромные камни, которые иногда сдвигал с места и тащил несколько сажен вперед по течению своему. Дорога наша подымалась на косогор, примыкающий, с одной стороны, к беспрерывной стене, возвышающейся до облаков, а с другой – к пропасти, в которой кипел Терек. Иногда дорога проходила сквозь выдолбленные потоком в скале галереи, а иногда шла у самого берега Терека, так что брызги покрывали нас и лошадей наших. У Дарияла дефилея самая тесная, скалы и горы, кажется, хотят пасть на голову и неба видно не более как часа на два солнечного ежедневного перехода, отчего в этой дефилее почти беспрерывный сумрак и свет, как я уже сказал, виден не более двух часов, в самую летнюю пору. Все это, совокупно с бесплодием и угрюмостию местного положения гигантских гор, вселяет в душу какой–то неизъяснимый ужас. Уже около Дарияла замечательно холоднее, потому что, хотя не чувствительно, но от самого въезда в горы дорога подымается все выше и выше, вдоль по течению Терека.

В редуте прекрасный домик для проезжающих, а напротив видна огромная скала, на которой развалины замка, также огромного; у этих развалин более всего замечательна лестница, выдолбленная в скале, длиною на несколько десятков сажен и чрезвычайно крутая. Вообще на пути встречаешь огромные камни в 50 и более сажен в диаметре, скатившиеся, как полагают, с верха гор. Проехав версты 4 от Дарияла, сверх черных, каменистых и безлесных гор и сквозь тонкие облака проглянуло двуглавое темя Казбека и окружные снеговые верхи низших его гор: это новое явление было очаровательно! Казалось, что Казбек в расстоянии не более трех верст, но до подошвы ее было верст

12.

В селе Казбеке мы переменили лошадей и поехали тотчас далее, и гора Казбек представилась нам прямо перед глазами. На этом месте, сказывали мне, мы были 600 сажен выше морского уровня. По мере езды нашей вперед Дефилоя становилась шире, но природа более и более мертвела; здесь не видно даже ни одной ели. Я забыл сказать, что на пути нашем видны были, по обеим сторонам дороги, на неприступных вершинах, осетинские деревни, которые, по местности своей и по образу строения, необыкновенно как живописны; таких поселений попадалось нам более от села Казбека к Коби, по причине широты дефилеи. Замечательны также осетинские водяные мельницы, коих более от Владикавказа или, лучше сказать, от Балты до Дарияла. Эта мельница не более как сажени в полторы в диаметре, с колесом горизонтальным, приложенным в средине каждой из них; они становятся на одном из берегов Терека или между двумя каменьями, или на каком–либо узком рукаве этой реки. Такими необыкновенными мельницами усеян почти весь берег.

Около Коби, куда мы приехали к вечеру, отверстие весьма расширяется и Терек бежит плавнее; впрочем, недалеко от этого места начинается источник этой реки, и она еще довольно узка и мелка; местоположение совершенно мертвое и пустынное.

В Коби встретился я с одним старым знакомым моим [3], ехавшим из Тифлиса в отпуск в Москву. Он рассказывал мне тифлисские новости; беседа наша продолясалась довольно долго, я удерживал его ночевать, а он заупрямился и пустился в путь, но вскоре после его отъезда началась гроза ужасная, дождь ливмя лил, гром и молния раздирали небо. Надобно быть свидетелем грозы в горах, чтоб вполне наслаждаться всею красотою этого величественного небесного явления. Один удар производил десятки других ударов от отголосков в горах; не прошло часа, как упрямый мой знакомый возвратился назад, потому что ночь была темная и лошадь его несколько раз падала от грома.

1 сентября мы дерзнули на последнее усилие, на перевал через горы. От Коби дорога вьется по косогору над речкою, впадающей в Терек. Чем далее подвигаешься, тем дорога становится круче, наконец между 6-й и 7-й верстою въехали мы на Крестовую гору. Окрестности здесь совершенно безжизненные, нет ни одного дерева, ни одного жилища, трава, однако ж, в долинах есть, потому что видны пасущиеся на них горские лошади и кой-где скирды сена, скошенного казаками, находящимися на посту в Коби.

Крестовая гора есть самая возвышенная точка высот, по коим

едешь от Балты до Тифлиса. Здесь настоящий перевал через Кавказ. Не надобно, однако, полагать, чтоб эта гора была выше Казбека или высшая из окрестных ей гор; напротив, она самое нижайшее звено цепи гор, разделяющих противоположные течения рек Терека и Враглы, и потому именно избрана как удобнейшая для проезда.

Крестовая гора получила название от креста, водруженного на ней первыми русскими, перешедшими за Кавказ, в Грузию, во время Екатерины, но крест был деревянный и уже обветшал; теперь генерал Ермолов соорудил огромный, высеченный из гранита крест, с таким же подножием.

Спуск с горы, около полторы версты, кончается на косогоре Гут–горы. Косогор этот продолжается версты на две, так что можно сказать, плечом касаешься Гут–горы, а ступень лошади становится на край пропасти, версты две глубиною. На дне пропасти видишь скалу, покрытую лесом и отделяющуюся, подобно острову, от всех высот.

С вершины горы осетинские деревни кажутся не более чернильницы, а скот, пасущийся по лугам, не более мухи. Из ущелья вытекает река Арагва, которая уже принадлежит к системе рек грузинских, так как Терек, вытекающий за этим же хребтом, но только с другой стороны Крестовой горы, принадлежит системе рек кавказской линии. Мы ехали среди облаков, некоторые ходили гораздо ниже пас, а иногда попадали мы в влажные облака или тучи, и крупный дождь осыпал нас; иногда тучи, пробежав, давали место солнечным лучам, от которых местоположение принимало особую прелесть. От Гут–горы дорога вдруг приметно круто опускается, однако ж некоторыми уступами; она покрыта каменьями и промоинами от частой слякоти, дождей и весенних вод.

От Гут–горы за 7 верст станция Кашауры, и на 5 верст от этой станции открывается известная Кашаурская долина. Нет выражения для описания прелестей этой долины, особенно же в то время года и прекрасную погоду, в которые мы ехали. Она есть продолжение той пропасти, об которой я говорил, описывая проезд наш через Гут–гору; по этой долине доехали мы на ночлег в Пасанаур; здесь совершенно прекратились горы, мы спустились с последней, ужасно крутой и каменистойдороги, лежащей по косогору продолжения Гут–горы, и приехали в деревеньку, где живет правитель горскими народами.

Путь наш от последнего ночлега в Пасанауре лежал по плоским берегам Арагвы, текущей по широкой долине, окруженной живописными лесами, предгорием Кавказа, довольно, однако, еще возвышенным. Арагва течет хотя весьма

быстро, потому что покатость русла ее еще довольно значительна, но вода ее не так мутна, как в Тереке, напротив, на пей видны волны, отражающиеся южным небом. Берега Арагвы прелестны; широкая и гладкая дорога, осененная каштановыми деревьями, грецким орешником и вязами, идет у самого берега, кой-где попадаются миндальные деревья, барбарисовые кустарники и шиповник, и сверх того, виды разнообразятся предгорием Кавказа, нигде Арагву не покидающего. Мы приехали на ночлег наш в Пасанаур чрезвычайно усталые, потому что хотя переезд от Коби не более 32 верст, но гористая дорога совершенно утомила и изнурила нас. В Пасанауре караул уже от войск, находящихся в Грузии.

2 сентября, рано утром, отправились мы в дальнейший наш путь. Дорога весьма сходна с тою, по которой мы ехали, от спуска с Кашаурской горы; так же живописна и приятна для езды, словом, настоящий английский парк, в большем размере. В Анануре мы переменили лошадей и, при самом выезде со станции, оставили Арагву влеве, потому что тут крутая, каменистая и лесная цепь гор так близко прилегает к реке, что нет никакого проезда; одни пешеходы, и то с трудом, пробираются по тропинке, вьющейся на боку утеса над самою Арагвою.

В 3 верстах от Ананура карантин, отсюда решились мы с Грибоедовым отправить вьючных лошадей наших обыкновенною дорогою, которая обходит, как я прежде сказал, цепь гор, а самим ехать прямо через эту цепь, через что мы сокращали путь, по крайней мере, тремя верстами. Нам казалось, что мы не встретим на избранном нами прямом пути больших затруднений, потому что глазами видели, где кончается высота, но когда въехали на нее, тогда уверились, что это еще только первый уступ и что надобно было карабкаться на другой, поднявшись же на другой, увидели еще третий, круче и выше, наконец, когда кое–как мы и туда добрались, то выиграли только то, что на лошадей наших напали особого рода слепни или мухи, величиною с серебряный пятикопеешник и совсем плоские. Вот все, что мы нашли замечательного на этой горе. С высоты ее начали мы спускаться почти такими же уступами и наконец выехали на настоящую дорогу, по которой обыкновенно все ездят, и догнали наших вьючных лошадей.

В 3–х верстах от Душета въехали мы в низкой лес, растущий по обеим сторонам дороги. Весь этот лес состоит большею частию из шиповника, бывшего тогда в полном цвете.

Вся страна от Ананура до половины дороги, то есть от того места, где мы оставили Арагву, и до того, где опять к ней

подъехали, весьма гориста и лощиниста. В Душете есть купцы и ремесленники, лавки и порядочные строения, чего мы уже давно не видали.

Верст 10 от Душета дорога идет через высоты и лощины, пока соединится с Арагвою; тут начинается плоскость, продолжающаяся до небольшой деревни Гаринскал, где казачий пост и почтовый двор. Тут мы ночевали и 3 сентября пустились прямо в Тифлис, я в почтовой тележке, а Грибоедов верхом. Отсюда идет дорога верст 10 косогором, вдоль берега Арагвы, но у Муаета пересекает дорогу река Кура (древний Кир, Gyrus). Тут поворотили мы вправо, против течения Куры, и, проехав около полторы версты, переправились чрез древний так называемый мост Помпея; потом поворотили палево вдоль течения Куры и, проехав правым берегом этой реки также около 2 верст, у самого впадения Арагвы в Куру поворотили еще вправо, и этою дорогою приехали прямо в Тифлис. <...>

Из "Записок, в России цензурой не пропущенных"

А. С. Грибоедов, знаменитый автор комедии "Горе от ума", служил в продолжение довольно долгого времени при А. П. Ермолове, который любил его, как сына. Оценяя литературные дарования Грибоедова, но находя в нем недостаток способностей для служебной деятельности или, вернее, слишком малое усердие и нелюбовь к служебным делам, Ермолов давал ему продолжительные отпуска, что, как известно, он не любил делать относительно чиновников, не лишенных дарования и рвения. Вскоре после события 14 декабря Ермолов получил высочайшее повеление арестовать Грибоедова и, захватив все его бумаги, доставить с курьером в Петербург; это повеление настигло Ермолова во время следования его с отрядом из Червленной в Грозную. Ермолов, желая спасти Грибоедова, дал ему время и возможность уничтожить многое, что могло более или менее подвергнуть его беде. Ермолов, Вельяминов, Грибоедов и известный шелковод А. Ф. Ребров находились в средине декабря 1825 года в Екатеринодаре; [1] отобедав у Ермолова, для которого, равно как и для Вельяминова, была отведена квартира в доме казачьего полковника, они сели за карточный стол. Грибоедов, идя рядом с Ребровым к столу, сказал ему: "В настоящую минуту идет в Петербурге страшная поножовщина"; это крайне встревожило Реброва, который рассказал это Ермолову лишь два года спустя. Ермолов, отправляя обвиненного с преданным ему фельдъегерем в Петербург, простер свою заботливость о Грибоедове до того, что приказал фельдъегерю

остановиться на некоторое время в Владикавказе, где надлежало захватить два чемодана, принадлежавшие автору "Горя от ума". Фельдъегерь получил строгое приказание дать Грибоедову возможность и время, разобрав заключавшиеся в них бумаги, уничтожить все то, что могло послужить к его обвинению. Это приказание было в точности исполнено, и Грибоедов подвергся в Петербурге лишь непродолжительному заключению. Все подробности были мне сообщены Талызиным, Митенкой, самим фельдъегерем и некоторыми другими лицами. Грибоедов, предупрежденный обо всем адъютантом Ермолова Талызиным, сжег все бумаги подозрительного содержания. Спустя несколько часов послан был в его квартиру подполковник Мищенко для произведения обыска и арестования Грибоедова, но он, исполняя второе, нашел лишь груду золы, свидетельствующую о том, что Грибоедов принял все необходимые для своего спасения меры. Ермолов простер свою, можно сказать отеческую, заботливость о Грибоедове до того, что ходатайствовал о нем у военного министра Татищева. После непродолжительного содержания в Петербурге, в Главном штабе, Грибоедов был выпущен, награжден чином и вновь прислан на Кавказ. С этого времени в Грибоедове, которого мы до того времени любили как острого, благородного и талантливого товарища, совершилась неимоверная перемена. Заглушив в своем сердце чувство признательности к своему благодетелю Ермолову, он, казалось, дал в Петербурге обет содействовать правительству к отысканию средств для обвинения сего достойного мужа, навлекшего на себя ненависть нового государя. Не довольствуясь сочинением приказов и частных писем для Паскевича (в чем я имею самые неопровержимые доказательства), он слишком коротко сблизился с Ванькой–Каином [2], т. е. Каргановым, который сочинял самые подлые доносы на Ермолова. Паскевич, в глазах которого Грибоедов обнаруживал много столь недостохвального усердия, ходатайствовал о нем у государя. Грустно было нам всем разочароваться на счет этого даровитого писателя и отлично острого человека, который, вскоре после приезда Паскевича в Грузию, сказал мне и Шимановскому следующие слова: "Как вы хотите, чтоб этот дурак, которого я коротко знаю, торжествовал бы над одним из умнейших и благонамереннейших людей в России; верьте, что наш его проведет, и Паскевич, приехавший еще впопыхах, уедет отсюда со срамом". Вскоре после того он говорил многим из нас: "Паскевич несносный дурак, одаренный лишь хитростью, свойственною хохлам; он не имеет ни сведений, ни сочувствия ко всему прекрасному и возвышенному, но вследствие успехов, на которые он не имел никакого права

рассчитывать, будучи обязан ими превосходным ермоловским войскам и искусным и отважным Вельяминову и Мадатову, он скоро лишится и малого рассудка своего". Но в то же самое время Грибоедов, терзаемый, по–видимому, бесом честолюбия, изощрял ум и способности свои для того, чтобы более и более заслужить расположение Паскевича, который был ему двоюродным братом по жене. Дружба его с презренным Ванькою–Каином, который убедил Паскевича, что Ермолов хочет отравить его, подавала повод к большим подозрениям. В справедливом внимании за все достохвальные труды, подъятые на пользу и славу Паскевича, Грибоедову было поручено доставить государю Туркманчайский договор. Проезжая чрез Москву, он сказал приятелю своему Степану Никитичу Бегичеву: "Я вечный злодей Ермолову" [Я это знаю от зятя моего Дмитрия Никитича Бегичева. (Примеч. Д. В. Давыдова.)]. По ходатайству Паскевича Грибоедов был, согласно его желанию, назначен посланником в Тегеран, где он погиб жертвою своей неосторожности...

Предместник Грибоедова в качестве посланника в Персии, Мазарович, был человек отлично способный и умный; будучи медиком, он, вследствие ходатайства Ермолова, был назначен первым постоянным посланником при персидском шахе. Грибоедов, состоявший некоторое время при нем в качестве советника, был человеком блестящего ума, превосходных способностей, но бесполезный для службы. Не зная никаких форм, он во время отсутствия Мазаровича писал бумаги в Тифлис, где ими возбуждал лишь смех в канцелярии Ермолова. Однажды явился к Мазаровичу армянин, некогда захваченный персиянами в плен, бывший помощником Манучар–хана, хранителя сокровищ и любимца шаха, с просьбой исходатайствовать ему позволение возвратиться к нам в Грузию. Так как это могло дать повод к различным обвинениям, потому что в случае пропажи чего–либо наше посольство и армянин были бы подозреваемы в похищении шаховских сокровищ, Ермолов советовал Мазаровичу убедить армянина отказаться от своего намерения. Грибоедов, отправленный к государю с Туркманчайским договором, говорил, не стесняясь, мне, Шимановскому и весьма многим: "Паскевич так невыносим, что я не иначе вернусь в Грузию, как в качестве посланника при персидском дворе". Это желание Грибоедова, благодаря покровительству его нового благодетеля, исполнилось, но на его пагубу... Действия этого пылкого и неосмотрительного посланника возбудили негодование шаха и персиян. Он в лице шахского зятя Аллаяр–хана нанес глубокое оскорбление особе самого шаха. Грибоедов, вопреки советам и предостережениям

одного умного и весьма способного армянина, служившего при нем в качестве переводчика, потребовал выдачи нескольких русских подданных – женщин, находившихся в гареме Аллаяр–хана в должности прислужниц. Это требование Грибоедова было, вероятно, предъявлено им вследствие ложного понимания вещей и с явным намерением доказать свое влияние и могущество у персидского двора. Хотя шах не мог не видеть в этом нарушение персидских обычаев, но, не желая отвечать на требование Грибоедова положительным отказом, он дозволил ему взять их самому; посланные в гарем конвойные привели пленниц в посольский дом. Персияне, видевшие в этом явное неуважение русских к особе шахского зятя, к самому шаху и к существующим народным обычаям, взволновались. Вскоре вспыхнуло возмущение, вероятно, не без одобрения шаха; около сорока человек наших было убито, в том числе весьма много полезных лиц; спасся один бесполезный Иван Сергеевич Мальцов и с ним двое людей, вследствие особенного к нему расположения каких–то персиян, которые спрятали его в сундук на чердаке. Так как я в то время не находился уже более в Грузии, то я привожу здесь подробности, которые мне были сообщены многими лицами, заслуживающими доверия. Причину этих действий Грибоедова должно, сколько мне известно, искать в следующем: Грибоедов, невзирая на блистательные дарования свои, никогда не принадлежал к числу так называемых деловых людей; он провел довольно долгое время в Персии, где убедился лишь в том, что слабость и уступчивость с нашей стороны могли внушить персиянам много смелости и дерзости, а потому он хотел озадачить их, так сказать, с первого раза. К сожалению, далеко было от уступчивости до настоятельных требований относительно гаремных прислужниц, некогда взятых в плен во время вторжения персиян в Грузию, что заключало в себе много оскорбительного для самолюбия этого народа. Настойчивость Грибоедова была необходимою во всех тех случаях, где надлежало ему наблюдать за точным исполнением важнейших пунктов Туркманчайского трактата; в прочих случаях надо было обнаружить много ловкости, проницательности и осторожности, дабы не оскорбить понапрасну народной гордости. Грибоедову, назначенному посланником в Персию, после наших счастливых военных действий, было легче приобресть влияние, чем Ермолову, отправленному туда в 1817 году. Невзирая на то что этот последний прибыл в Тегеран после обещания, данного государем персидским послам возвратить некоторые присоединенные уже к нам области, он выказал при этом случае так много искусства и энергии, что шах отказался от своих требований. В случае

несогласия шаха Ермолов, не могший поддержать своих представлений войском, которого в то время не было под рукой, нашелся бы вынужденным уступить, что было небезызвестно персиянам. Невзирая на то, что сам принц Аббас–Мирза явно уже выказывал нам свои неприязненные чувства, Ермолов успел склонить шаха к уступкам. Ермолов, всегда умевший выказывать большое уважение к обычаям народов, с коими ему приходилось действовать, внушил персиянам высокое к русским уважение, каким мы даже не пользовались после наших успехов над ними. Мне говорил один важный персидский чиновник, что своевременная присылка войск в Грузию предупредила бы войну с персиянами, коих самонадеянность возросла лишь вследствие убеждения, что мы к ней не готовы и что мы можем противуставить их полчищам лишь ничтожные силы. Наконец, самые действия умного и энергичного Мазаровича, никогда не раздражавшего народной гордости персиян, были весьма поучительны для Грибоедова, который пренебрег, к сожалению, уроками своих предместников. Я полагаю, что, вероятно, существовала возможность выручить пленниц без предъявления несвоевременных и оскорбительных для персиян требований; во всяком случае надо было приискать средства к их выдаче, не жертвуя для того столь многими людьми. Если бы, по причине существующих обычаев, невозможно было этого сделать тотчас, то не следовало явно нарушать обычаев, освященных веками, и тем возбуждать противу себя жителей, но следовало выждать удобное к тому время [3].

В.А. Андреев. Из "Воспоминаний из кавказской старины"

<…> Несправедливо бросает он <Д. В. Давыдов> тень на имя знаменитого Грибоедова в двоедушии и неблагодарности к Ермолову. Что Грибоедов был человек желчный, неуживчивый — это правда, что он худо ладил с тогдашним строем жизни и относился к нему саркастически – в этом свидетельствует "Горе от ума", но нет поводов сомневаться в благородстве и прямоте Грибоедова потому только, что он разошелся с Ермоловым или был к нему неприязнен при падении, сделавшись близким человеком Паскевичу. Во-первых, он был с последним в родстве, пользовался полным его доверием и ему обязан последующей карьерой; тогда как у Ермолова Грибоедов составлял только роскошную обстановку его штаба, был умным и едким собеседником, что Ермолов любил, но никогда не был к нему близким человеком, как к Паскевичу. Что касается об услуге, какую будто бы вправе был ожидать Грибоедов лишь от родного

отца, как говорит Давыдов, то едва ли это так [Мы сомневаемся, чтобы Ермолов имел возможность дать Грибоедову час времени на истребление бумаг; [1] когда приехавший фельдъегерь застал Грибоедова за ужином у Ермолова, то, Конечно, он следил каждый его шаг. (Примеч. В. А. Андреева.)]. Известно, что Грибоедов был привезен из Грузии по подозрению в деле 14–го декабря и содержался некоторое время под арестом в Главном штабе, но после оправдан более потому, что был всегда врагом Якубовича и стрелялся с ним на дуэли. Тут заступничество Ермолова могло только повредить поэту, ибо и Якубович пользовался тоже расположением Ермолова и бывал его собеседником. Второе, — Грибоедов, чувствуя превосходство своего ума, не мог втайне не оскорбляться, что он составляет только штат Ермолова по дипломатической части, но не имеет от него серьезных поручений и предпочитается ему какой-то авантюрист Мазарович — пришлый доктор из Сербии или Далмации, рекомендованный Капо д'Истриа и к которому он послан был в тавризскую миссию советником; но с ним он, разумеется, не ужился и возвратился в Тифлис после исправления его должности во время отпуска. Тогда как Грибоедов изучил персидский язык, следил за его литературой и нравами персиян, мог ли он, при своих прекрасных дарованиях, писать бумаги в Тифлис, которые возбуждали в канцелярии Ермолова лишь смех, как говорил Давыдов? Вероятнее — каким саркастическим смехом разразился Грибоедов над тупоумием и оплошностью Мазаровича, не видавшим и не угадавшим сборов персиян к открытию военных действий и не предупредившим вовремя Ермолова. А сборы, как говорит сам Ермолов, по персидским порядкам были продолжительные <…> Как смеялся, надобно полагать, Грибоедов над доверчивостью Ермолова, когда тот принимал за чистую монету донесения нашего посланника Мазаровича, что персидские регулярные войска ни в чем не уступят нашим кавказским солдатам и могут помериться с ними в силах в равном числе и что теперь не те персияне, которых огромные полчища громили с горстью солдат Котляревский и другие его современники. Эти бестолковые донесения не понимавшего военного дела Мазаровича, которому так много веровал Ермолов, и ввели его в заблуждение, заставив действовать осторожно и медленно и мало надеяться на имевшиеся у него под рукою силы, с которыми — как доказал под Елисаветполем Паскевич — легко можно было управиться с персиянами. <…>

Ермолов, когда у него было меньше дел, изредка навещал штаб-квартиры полков, близких к Тифлису, где он дней семь

отдыхал от жары в более прохладном климате. Вот раз он приехал к нам в город Гори с большою свитою [2] — в ней находились из дипломатической канцелярии Грибоедов и Тимковский. Грибоедов был хорошего роста, довольно интересной наружности, брюнет с живым румянцем и выразительной физиономией, с твердой речью. Я был тогда полковым адъютантом, канцелярия и вместе моя квартира помещались против дома полковника, где расположился Алексей Петрович с приехавшими гостями у тороватого амфитриона. Раз поутру, часу в 10-м, входит ко мне в канцелярию Грибоедов и просит позволения пробыть в моей квартире до обеда [3], я отвечал готовностью услужить, так как все это время должен был заняться в канцелярии делом и ему никто не помешает. "Да, не помешает, — нет, уж одолжите, если будет спрашивать меня Тимковский, так скажите, что не знаете, где я". Я сказал, что поставлю к дверям своей квартиры вестового с приказанием говорить, что никого нет. "И прекрасно!" — ответил Грибоедов. Такое отношение Грибоедова к Тимковскому меня удивило. Еще он не был известен (в 1822 г.) как даровитый писатель. Между тем Тимковский имел у нас какую-то авторитетность умного человека, много видевшего и, кажется, кое-что пописывавшего, хотя бонвивана, но хорошего рассказчика...

К.А. Полевой. Из статьи "О жизни и сочинениях А.С. Грибоедова"

<...> Я имел большое наслаждение знать и видеть Грибоедова довольно часто, именно в то время его жизни (по приезде Грибоедова в марте 1828 года в Петербург). Где же взять мне свидетельств вернее собственного наблюдения! Опишу свое знакомство с Грибоедовым, которое было непродолжительно, однако ж довольно замечательно для человека, тогда еще юноши по летам и по чувствам; тем живее были мои впечатления, и я мог заметить много любопытных черт его характера и ума, черт, которые, может быть, ускользали от самых искренних его друзей единственно потому, что уже не были для них новостью, не поражали их, казались им слишком обыкновенными.

Я жил в Петербурге несколько месяцев, точно как заезжий путешественник: был знаком со многими литераторами, осматривал музеи, библиотеки, наблюдал нравы города, обычаи общества, состояние искусств — словом, посвящал все свое время знакомству с Петербургом. Как обрадовался я, когда П. П. Свиньин, приглашая меня к себе на обед, сказал, что у него будет Грибоедов, только что приехавший из Грузии. Буду, буду

непременно! В назначенный день (помню, что было на пасхе) я нашел у гостеприимного Павла Петровича много людей замечательных [1]. Кроме нескольких знатных особ, приятелей его, тут был, можно сказать, цвет нашей литературы: И. А. Крылов, Пушкин, Грибоедов... и другие. Грибоедов явился вместе с Пушкиным [2], который уважал его как нельзя больше и за несколько дней сказал мне о нем: "Это один из самых умных людей в России. Любопытно послушать его". Можно судить, с каким напряженным вниманием наблюдал я Грибоедова! Но, на первый раз, он обманул мои ожидания. Он был в каком-то недовольстве, в каком-то раздражении (казалось мне) и посреди общих разговоров отпускал только острые слова. За столом разговор завязался о персиянах, что было очень естественно в обществе Грибоедова, который знал персиян во всех отношениях, еще недавно расстался с ними и готовился опять к ним ехать. Он так живо и ловко описывал некоторые их обычаи, что Н.И. Греч очень кстати сказал при том, указывая на него: "Monsieur est trop percant (persan)" [Господин слишком проницателен (слишком персиянин) (фр.).]. Признаюсь, молодой ум мой ожидал от Грибоедова чего-то другого. "Где же скрывается глубина этого человека?" — думал я, не зная, что в большом обществе он был всегда таков, да и кто же не будет таков, особенно подозревая, что на него смотрят как на что-то особенное и ожидают чего-нибудь необыкновенною? Ривароль находился однажды в таком положении и начал, как говорится, рубить сплеча все, что попадалось в разговоре. Собеседники его изумились. Грибоедов сделал почти то же, потому что в одинаковом случае положение человека, известного умом, всегда одинаково. Вечером, когда кружок друзей стал теснее, Грибоедов был гораздо мягче и с самою доброю готовностью читал наизусть отрывок из своей трагедии "Грузинская ночь", которую сочинял тогда.

Через несколько дней мне опять случилось обедать с ним у Н. И. Греча. Входя в комнату, я увидел Грибоедова за фортепиано: он аккомпанировал известному Този [3] (у которого тогда еще был голос) и какому-то другому итальянцу. Дуэт кончился, и Грибоедов был окружен многими из своих знакомых, которые вошли во время его игры и не хотели прерывать музыки приветствиями к нему. С какою добротою, с какою искренностью обходился он со старыми знакомыми! Тут почувствовал я, как мог быть пленителен этот человек. Некоторые поздравляли его с успехами по службе и почестями, о чем ярко напоминали бриллианты, украшавшие грудь поэта. Другие желали знать, как он провел время в Персии. "Я там состарился, – отвечал Грибоедов, – не только загорел, почернел, почти лишился волосов

на голове, но и в душе не чувствую прежней молодости!" В словах его точно виден был какой–то грустный отзыв. За столом Грибоедов почти не вмешивался в литературные суждения, какие излагали двое или трое из собеседников, теперь уже покойных — мир памяти их! Он чувствовал себя нездоровым и уехал вскоре после обеда.

Второе свидание с Грибоедовым оставило во мне впечатление более приятное, хотя я слышал тут меньше. Видно, сам поэт был расположен теплее и потому казался сообщительнее. Его обращение всегда отличалось редким свойством: какою-то искренностью, которая, однако ж, не переходила светских форм. Слушая Грибоедова, можно было верить каждому слову его, потому что он не терпел преувеличений и будто мыслил вслух, не скрывая своих чувств, но образованность и светскость придавали ему характер обворожительный. Еще больше увидел я справедливость своих замечаний, встретившись с Грибоедовым — думаю, в третий раз — у князя В. Ф. Одоевского. Тут разговоры и суждения Грибоедова были чрезвычайно замечательны, и верно оттого, что нас было только трое. Между прочим, речь зашла о власти человека над самим собою. Грибоедов утверждал, что власть его ограничена только физическою невозможностью, но что во всем другом человек может повелевать собою совершенно и даже сделать из себя все. "Разумеется, — говорил он, — если бы я захотел, чтобы у меня был нос короче или длиннее (собственное его сравнение), это было бы глупо, потому что невозможно. Но в нравственном отношении, которое бывает иногда обманчиво-физическим для чувств, можно сделать из себя все. Говорю так потому, что многое испытал над самим собою. Например, в последнюю персидскую кампанию, во время одного сражения, мне случилось быть вместе с князем Суворовым. Ядро с неприятельской батареи ударилось подле князя, осыпало его землей, и в первый миг я подумал, что он убит. Это разлило во мне такое содрогание, что я задрожал. Князя только оконтузило, но я чувствовал невольный трепет и не мог прогнать гадкого чувства робости. Это ужасно оскорбило меня самого. Стало быть, я трус в душе? Мысль нестерпимая для порядочного человека, и я решился, чего бы то ни стоило, вылечить себя от робости, которую, пожалуй, припишете физическому составу, организму, врожденному чувству. Но я хотел не дрожать перед ядрами, в виду смерти, и при случае стал в таком месте, куда доставали выстрелы с неприятельской батареи. Там сосчитал я назначенное мною самим число выстрелов и потом тихо поворотил лошадь и спокойно отъехал прочь. Знаете ли, что это прогнало мою робость? После я не робел ни от какой военной опасности. Но

поддайся чувству страха – оно усилится и утвердится".

Такое оригинальное суждение осталось в моей памяти: я пересказал его здесь почти словами самого Грибоедова. Когда мы вместе выходили от милого нашего хозяина, Грибоедов сказал: "Поедемте со мной". — "Куда?" — спросил я. "Да все равно: в карете будем говорить". Он сам рассмеялся, сблизив слова свои с известным выражением Репетилова. Не знаю почему, я не мог воспользоваться приятным его предложением, но не замедлил явиться к нему на другой или на третий день. Он жил тогда в доме Косиковского, в самом верхнем этаже, и занимал немного комнат. Я удивился походной простоте жизни нашего персидского министра. Самым дорогим украшением его комнаток был богатый рояль; он составлял для него необходимую принадлежность!.. Потом, приходя почти каждый день к Грибоедову, я всегда видел его любезным, радушным, всегда слышал от него что-нибудь умное, оригинальное. Особенно достопамятно для меня одно утро, когда особенно влюбился я в милое его добродушие и был пленен разнообразием его сведений. Был какой-то большой праздник [6]. Прелестное утро мая, который иногда так хорош в Петербурге, вызывало на свежий воздух. Идя по Невскому проспекту, я завернул к Грибоедову и нашел у него несколько человек гостей; разговор вязался из учтивостей, из пересказов о повышениях и суждений о способностях некоторых известных лиц. Чуждый такой сферы, несколько времени перебирал я ноты, лежавшие на рояле, и, наконец, хотел уйти. Грибоедов сказал мне: "Останьтесь". Гости его вскоре раскланялись с ним. "Боже мой! — сказал он тогда, — чего эти господа хотят от меня? Целое утро они сменяли у меня один другого. А нам, право, не о чем говорить; у нас нет ничего общего. Пойдемте скорее гулять, чтобы опять не блокировали меня... Да можно ли идти таким варваром? — прибавил Грибоедов, глядясь в зеркало. — Они не дали мне и выбриться". — "Кто же станет замечать это?" — сказал я. "Все равно: приличия надобно наблюдать для самого себя, но я нарушу их на этот раз". Мы отправились в Летний сад, и разговор продолжался об утренних посещениях. Грибоедов так остроумно рассуждал о людях, которые вдруг, неожиданно делаются вежливы, внимательны к человеку, прежде совершенно чуждому для них, что я, смеясь, сказал ему: "Тем лучше: это предмет для другого "Горя от ума"!" — "О, если на такие предметы писать комедии, то всякий день являлось бы новое "Горе от ума"!" — "В самом деле: как не находят предметов для комедий? Они всякий день вокруг нас. Остается только труд писать". — "В том–то и дело. Надобно уметь писать". Разговор обратился к искусству, и Грибоедов

сказал: "Многие слитком долго приготовляются, сбираясь написать что–нибудь, и часто все оканчивается у них сборами. Надобно так, чтобы вздумал и написал". — "Не все могут так сделать. Только Шекспир писал наверное". — "Шекспир писал очень просто: немного думал о завязке, об интриге и брал первый сюжет, но обработывал его по-своему. В этой работе он был велик. А что думать о предметах! Их тысячи, и все они хороши: только умейте пользоваться". Продолжая разговор о Шекспире, Грибоедов спросил у меня: на каком языке я читаю его? Я читал его тогда во французских и немецких переводах и сказал это. "А для чего же не в подлиннике? Выучиться языку, особенно европейскому, почти нет труда: надобно только несколько времени прилежания. Совестно читать Шекспира в переводе, если кто хочет вполне понимать его, потому что, как все великие поэты, он непереводим, и непереводим оттого, что национален. Вы непременно должны выучиться по-английски". Помню еще, что в то утро он особенно хвалил Шекспирову "Бурю" и находил в ней красоты первоклассные. В первый раз при мне Грибоедов рассуждал о литературных предметах, и с особенным любопытством слушал я его мысли о Шекспире. Он сказал много оригинального и блестящего: видно было, что художник говорил о величайшем из своих собратов.

В другой раз, в театре, на представлении Моцартовой "Волшебной флейты" [7], Грибоедов разговорился о музыке. Надобно прибавить, что бедного Моцарта терзали ужасно! В 1828 году на петербургской сцене не было ни одного певца и ни одной певицы. Самойлов жил еще старою своею славою, но и он почти не мог петь. Первою певицею была Иванова. Особенно смешил нас своим неискусством Папаген, которого играл, если не ошибаюсь, Рамазанов. Грибоедов сидел в ложе, с одним знакомым ему семейством, но в каждый антракт приходил в кресла побранить певцов. "Я ничего не понимаю: так поют они!" — говорил он не раз. "И зачем браться за Моцарта? С них было бы и Буальдье!" — прибавил кто-то. "А что вы думаете: Буальдье достоин этих певцов? — сказал Грибоедов. — Он не гениальный, но милый и умный композитор; не отличается большими мыслями, но каждую свою мысль обработывает с необыкновенным искусством. У нас испортили его "Калифа Багдадского", а это настоящий брильянтик (именно так выразился Грибоедов). Музыка Моцарта требует особенной публики и отличных певцов, даже потому, что механическая часть ее не богата средствами. Но выполните хорошо музыку Буальдье — все поймут ее. А теперь посмотрите, как восхищаются многие, хоть ничего не понимают! Это больше портит, нежели образует вкус

публики".

Знакомство с Грибоедовым оставило неизгладимый след в душе моей, и я, может быть, распространился в моем рассказе, потому что мне всегда усладительно вспомнить о минутах, проведенных в его обществе. Я видел в нем человека необыкновенного во всех отношениях, и это было тем драгоценней, что он никогда не думал блистать; напротив, он будто скрывал себя от многолюдства и высказывался только в искренней беседе или в небольшом кругу знакомых, когда видел, что его понимают. Радушие Грибоедова ко мне объясняю я только добрым расположением его ко всем молодым людям, в которых видел он любовь к труду и просвещению. Может быть, оттого говорил он со мной обо многом пространнее, нежели с равными себе или с старыми своими знакомыми, что хотел, как видно, передать юноше верные понятия, к каким привели его необыкновенный ум и опытность. Зная, что я принимал деятельное участие в одном из тогдашних журналов, любимом публикою, он удивлял меня иногда своею внимательностью ко многим статьям потому, что читал их все, искренно желая успехов литературе во всех отраслях ее.

Главными отличительными его свойствами были, сколько я мог заметить, большая сила воли и независимость в суждениях и образе жизни. Читатели видели, что он не находил ничего невозможного для ума и воли: не хотел, чтобы человек робел перед неприятельскою батареею или, потворствуя лени, читал в переводе то, что может читать в подлиннике. Блестящие обстоятельства не переменили его образа жизни. В нем также не было ни малейшего признака несносного, притворного желания играть роль светского человека и поэта, которое прививается к многим отличным людям. А между тем он был и поэт, и светский человек самой высшей степени. Искренность, простота и благородство его характера привязывали к нему неразрывною цепью уважения, и я уверен, что всякий, кто был к нему близок, любил его искренно.

Грибоедов уехал из С.-Петербурга в июне месяце [8]. Несмотря на блестящие ожидания впереди, он неохотно, даже с грустью оставлял Россию, и однажды, когда я говорил ему о любопытном его будущем положении в Персии, он сказал: "Я уж столько знаю персиян, что для меня они потеряли свою поэтическую сторону. Вижу только важность и трудность своего положения среди них, и главное, не знаю сам отчего, мне удивительно грустно ехать туда! Не желал бы я увидеть этих старых своих знакомых".

Во время проезда своего через Тифлис Грибоедов женился и

соединил свою судьбу с существом давно милым ему; то была княжна Чевчевадзева, дочь заслуженного генерала [9]. Чего, казалось бы, недоставало для счастья поэта? Слава, значительность положения, радость семейной жизни — все соединил для него 1828 год! Но в письмах к друзьям своим, описывая им свое счастье, он не скрывал и мрачных своих предвидений. Какие заключения можно вывести из такого постоянного предчувствия, которого не могли разогнать ни самые блестящие события, ни радость сердца, пи все виды счастливой будущности? Но если душа поэтическая сильнее чувствует ежедневные встречи в жизни, то она должна быть доступнее и для впечатлений необыкновенных, для предвидений души и сердца. По крайней мере, так было с Грибоедовым. Он недаром тревожился будущностью, не без основания повторял не раз своим друзьям и знакомым, что не надеется воротиться из Персии. В то время, когда все русские с удовольствием воображали своего знаменитого соотечественника в самом блестящем положении, в Петербурге было получено ужасное известие об его смерти...

Так внезапно и рановременно кончил жизнь свою незабвенный автор "Горя от ума". Для нас остались его подвиги, замечательные во многих отношениях, и его сочинения, составляющие красу нашей литературы <...>

Желая всеми зависящими от нас средствами познакомить соотечественников наших с незабвенным Грибоедовым, мы прилагаем к изданию нашему портрет его, гравированный на стали в Англии. Надобно заметить, что оригинал нашего портрета был написан за несколько лет до смерти Грибоедова [10]. В 1828 году совсем не был он так полон, и оттого черты лица его казались гораздо выразительнее. Прибавим еще, что он был среднего роста, довольно тонок, и труды последних годов очень состарили его. Необыкновенная ловкость и приятность обращения отличали его всегда. Говорят, что в ранней молодости он не удерживал своей чрезвычайной резвости и даже шаловливости, но в 1828 году все видели в нем степенного, задумчивого человека. Особенную приятность разговору его придавала тихая речь, которую почти всегда начинал он улыбаясь скромно и приятно. Все такие замечания любопытны для потомства.

П.А. Бестужев. Из "Памятных записок"

<...> Запертый в г. Хос, долго скитаясь по Персии, брат мой Павел соединился со мною под Харсом. До Ахалцыха совершили мы поход неразлучно, теперь опять он далеко... Сближенные

летами, одинакими наклонностями и понятиями, выростя вместе — изо всех братьев более других любил я его. Мы берегли сего невинного, благородного юношу, чтоб хоть он один мог быть опорою семейства в случае ожидаемого поражения нас четверых. Выезжая из крепости, я поручил его провидению, заступнику гонимых, в полной надежде на обещание власти, давшей священное слово сохранить его для матери, и кто изобразит мое удивление, когда, прибывши в Тифлис, случайно встретил я его у Грибоедова. Первое чувство было радость; первое движение броситься расцеловать его. Милый друг мой возвращен мне! Еще не навсегда исчезли для нас минуты утех; возврат брата мирит меня с судьбою... думал я... <...>

А. С. Грибоедов. До рокового происшествия я знал в нем только творца чудной картины современных нравов, уважал чувство патриотизма и талант поэтический. Узнавши, что я приехал в Тифлис, он с видом братского участия старался сблизиться со мною. Слезы негодования и сожаления дрожали в глазах благородного; сердце его обливалось кровию при воспоминании о поражении и муках близких ему по душе, и, как патриот и отец, сострадал о положении нашем. Невзирая на опасность знакомства с гонимыми, он явно и тайно старался быть полезным. Благородство и возвышенность характера обнаружились вполне, когда он дерзнул говорить государю в пользу людей, при одном имени коих бледнел оскорбленный властелин!.. [1]

Единственный человек сей кажется выше всякой критики, и жало клеветы притупляется на нем. Ум от природы обильный, обогащенный глубокими познаниями, жажда к коим и теперь не оставляет его, душа, чувствительная ко всему высокому, благородному, геройскому. Правила чести, коими б гордились оба Катона; характер живой, уклончивый, кроткий, неподражаемая манера приятного, заманчивого обращения, без примеси надменности; дар слова в высокой степени; приятный талант в музыке; наконец,; познание людей делает его кумиром и украшением лучших обществ. Одним словом, Грибоедов — один из тех людей, на кого бестрепетно указал бы я, ежели б из урны жребия народов какое-нибудь благодетельное существо выдернуло билет, не увенчанный короною, для начертания необходимых преобразований... Разбирая его политически, строгий стоицизм и найдет, может быть, многое, достойное укоризны; многое, на что решился он с пожертвованием: чести; но да знают строгие моралисты, современные и будущие, что в нынешнем шатком веке в сей бесконечной трагедии первую ролю играют обстоятельства и что умные люди, чувствуя себя не в

силах пренебречь или сломить оные, по необходимости несут их иго. От сего-то, думаю, происходит в нем болезнь, весьма на сплин похожая... Имея тонкие нежные чувства и крайне раздраженную чувствительность при рассматривании своего политического поведения, он, гнушаясь самим собою, боясь самого себя, помышлял, что когда он (по оценке беспристрастия), лучший из людей, сделав поползновение, дал право на укоризны потомства, то что должны быть все его окружающие? — в сии минуты благородная душа его терпит ужасные мучения. Чтоб не быть бременем для других, — запирается он дома. Вид человека терзает его сердце; природа, к которой он столь неравнодушен в другое время, делается ему чуждою, постылою; он хотел бы лететь от сего мира, где все, кажется, заражено предательством, и злобою, и несправедливостию!!

К.Ф. Аделунг. <Письма к отцу. 1828 г.>

Москва, 10 июня 1828 г.

Я только что возвратился с очень большой экскурсии, я разыскивал дом Грибоедова, в котором живет его мать, и ради этого сделал большой крюк. Я очень обрадовался, найдя там его самого; он только что приехал и завтра уезжает опять; [1] так как Мальцева нет дома, я окончу письмо, когда все будет решено.

11 июня. Утро.

Наш маршрут изменен; мы едем через Харьков и Новочеркасск в Ставрополь, где мы встретимся с Грибоедовым и откуда дальше поедем вместе с ним. Мальцев проведет полдня в имении своего дяди; где буду я в это время, я еще не знаю; вероятно, я буду ждать его в ближайшем городе; у меня нет охоты ехать вместе с ним, в особенности на такое короткое время. <...> Я должен сократить мое письмо, так как хочу написать еще Александрине, потом надо идти на почту, к Грибоедову, а к часу дня на обед к Гарткнохе. Я мог бы написать еще о многом, если бы было больше времени, но, к сожалению, я должен очень торопиться. Только что выяснилось, что я расстаюсь с Мальцевым в Калуге и встречусь с ним в Орше.

Калуга, 12 июня 1828.

Вечер, 9 часов.

Вчера, в 8 часов вечера, мы выехали из Москвы, где мы задержались у Грибоедова; в Ставрополе мы опять встретимся с ним; не могу передать, как я этому рад; чем ближе я его узнаю,

тем больше я его ценю и люблю. Я встретил у него Петрозилиуса, который просил меня передать тебе его почтение, хотя он и не знаком с тобой лично; он и Грибоедов не находили слов для похвал тебе; дело дошло до того, что Петрозилиус воскликнул: "Все, что зовется Аделунг, велико и станет знаменитым".

Орел, 15 июня 1828.

10 часов утра.

Я ожидаю Мальцева здесь, в Орле, около 4 часов дня; мы едем вместе без остановок до Ставрополя, откуда отправляемся дальше с Грибоедовым. Я оканчиваю мое письмо, так как мы уже собираемся выезжать.

Станция Кагальницкая (вторая после города Аксай на Дону), в 200 верстах от Ставрополя.

Утро 1/2 8.

Я очень боюсь, что вы беспокоитесь обо мне, так как я очень долго не писал; но после Орла мы проезжали через немногие города и все время ночью; к тому же мы боялись, что Грибоедов уже ожидает нас в Ставрополе, и поэтому скакали во всю мочь. Я хотел написать вам из Ставрополя, где мы будем, по всей вероятности, завтра вечером, но тифлисская почта уходит в Петербург рано утром, и притом один раз в неделю. Здешний почтмейстер обещает мне передать это письмо первому почтальону; посмотрим, выйдет ли из этого что-нибудь. Кагальницкая — первая станция после скрещения большого Харьковского и Воронежского трактов; мы узнали здесь, что Грибоедов еще не проехал, очень обрадовались этому, так как нам не надо будет спешить.

Ставрополь, 24 июня 1828. Утро.

В воскресенье, 17-го, около 5 часов утра, прибыли мы в Харьков; осмотрев слегка город, мы побрились, вымылись и напились чаю; я очень хотел навестить мать Кеппена, но было слишком рано, а мы должны были спешить, чтобы не заставить Грибоедова ожидать нас в Ставрополе. <...>

Вчера, около 5 часов утра, приехали мы, наконец, в Ставрополь и узнали, что Грибоедов еще не приезжал. <...>

Сегодня уже третий день, как мы ждем Грибоедова; кто знает, сколько это еще продлится. Хотя Ставрополь а губернский город, но это совсем пустыня; нет никакого общественного сада, нет ни одного деревца; только вдали Кавказ, который скоро встанет между нами!

Тифлис, 7 июля 1828.

С позавчерашнего вечера я здесь и, наконец, нахожу, за несколько часов до ухода экстренной почты, несколько минут, чтобы подумать о моей счастливой будущности. Мне до сих пор еще негде жить, и я два раза ночевал у ген. Ховена. Вчерашний день прошел очень быстро — представление Сипягину, обед у Грибоедова и вечер у Ховена.

Тифлис, 14 июля 1828.

26 июня в 7 часов приехал, наконец, Грибоедов в Ставрополь. Я не смогу описать мою радость по этому поводу. Я чувствую истинную привязанность и любовь к этому превосходному человеку. Мы были в саду, когда он за нами прислал; он занял комнату рядом с нами. Несмотря на усталость, он, как всегда, был очень любезен и рассказал нам много интересного; мы пили у него чай, ужинали и не заметили, как настало 11 часов, когда мы и расстались. Ужин был такой превосходный, какого можно только пожелать. Хороший повар, которого держит Грибоедов, заставил нас забыть, что мы находимся в пути. В среду, 27-го, в 10 часов утра, уселись мы с Мальцевым на дрожки и отправились в путь. Грибоедов уехал вечером, так как нам надо было 7 лошадей, а он боялся не получить ни одной. <...>

В полдень мы приехали в Екатериноград; по названию это город, на самом же деле это большая деревня с крепостью; все же здесь есть базар, куда я и пошел за мятой, но вернулся с пустыми руками.

Вечером Грибоедов [Он догнал нас на последней станции перед городом, отсюда мы поехали вместе. (Примеч. К. Ф. Аделунга.)] пригласил меня на прогулку: он хотел показать мне горную цепь с одной возвышенности. Эльбрус и правая сторона гор были закрыты облаками, но остальные вершины и между ними Казбек стояли в полном блеске. Снежные вершины были озарены золотым светом, и вся эта картина была так великолепна, что мы оторвались от нее только тогда, когда темнота скрыла ее от нас. Грибоедов каждую минуту восклицал: "Не правда ли это прекрасно! Как это великолепно!" Я же совсем не мог говорить, — он был слишком велик.

Обогнув Мальту, быструю речку, мы возвратились домой пить чай. С этого вечера я полюбил Грибоедова еще сильнее: как наслаждался он природой и как он был отзывчив и добр! В Екатериограде нельзя получить почтовых лошадей, надо нанимать вольных до Владикавказа. Чтобы достать лошадей, Грибоедов попросил меня пойти к коменданту города.

Я явился к нему впервые в роли секретаря миссии и все

хорошо устроил.

30-го мы выехали с конвоем в 20 казаков, так как дорога опасна.

Так как мы получили своих прежних лошадей, мы должны были сделать два привала — первый в укрепленной станции с двумя пушками, где мы обедали, а второй — на подобной же станции, где мы ночевали. Вечером выехали мы из крепости, чтобы вновь восхищаться Кавказом.

13 июля.

От этой станции до одного минарета, уцелевшего от разрушенной деревни и отстоящего на 7 верст от станции, мы ехали, ввиду опасной дороги, под усиленным конвоем.

1-го июля, в час ночи, выступил наш отряд в таком порядке: впереди ехали 3 казака, за ними шли 10 пехотных солдат, с барабанщиком; затем ехали пушки с артиллеристами и 4 экипажа; за ними опять 10 пехотных солдат и 3 казака. Командовал этим отрядом гарнизонный офицер–артиллерист. Барабан дал сигнал к выступлению, и в полной темноте мы выехали. Так как нас сопровождала пехота, мы плелись шагом. К минарету мы подошли в 6 часов утра; после часового отдыха мы отправились дальше и вечером благополучно прибыли во Владикавказ. Мы остановились у одной старой знакомой Грибоедова, полковницы Огаревой, у которой мы остались и на ночь. Ее муж держал наблюдение над дорогой и был в отсутствии. Добрая женщина не знала, что и сделать, чтоб Грибоедову предоставить все возможные удобства, но, как все русские, она не дала этого никому почувствовать. Чай, компот, ужин быстро следовали один за другим. Нас, обоих секретарей, она устроила на ночь в кабинете своего мужа.

Во Владикавказе нанимают лошадей до Тифлиса; мы должны заплатить за пару 90 руб., что, как нам сказали, было недорого, так как накануне платили до 125 руб. Мы долго обсуждали, отпустить ли нам экипажи и ехать дальше верхом или же удержать их, так как в этом месте дорога через горы хорошая.

Наконец решили задержать коляску, и 2–го июля, в 10 часов утра, мы выехали. Один офицер, Захаревич, который незадолго был назначен главным приставом над калмыками, присоединился к нам со своей кибиткой.

Так как первая станция, Ватта, находится всего в 17 верстах от Владикавказа, мы на ней не остановились, но продолжали наш путь до Ларса. После обеда мы покинули Ларе. По совету Грибоедова мы поехали верхом на казацких лошадях, чтоб чувствовать себя свободней. Несмотря на опасность, нас

сопровождали от Владикавказа до Ананура всего 7 пехотных солдат и столько же казаков. Вечером прибыли мы в форт Дариель. Здесь мы должны были ночевать. Во вторник, 3–го июля, в 3 часа утра, согревшись стаканом чая, отправились мы снова в путь; на этот раз мы не получили верховых лошадей, и я прошел 20 верст пешком, так как ехать в экипаже по этим тропам неудобно. Дальнейший путь до Тифлиса и мое пребывание там следует с ближайшей почтой. <…>

Грибоедов уехал сегодня утром с Мальцевым в главную квартиру и возвратится через 4–5 недель. Я буду ожидать его здесь.

Тифлис, 25 июля 1828.

3–го июля в 10 часов утра дошли мы до Казбека… Местность была необычайно прекрасна; перед нами были очень высокие горы, над которыми поднимал свои снежные вершины великолепный Казбек (он получил свое имя от одного князя). Грибоедову пришлось несколько раз напоминать мне об обеде – так долго любовался я этой единственной местностью. В прежнее время каждые семь лет с вершины той горы срывались снежные глыбы, которые, как громадные лавины, скатывались вниз и заполняли долины, так что дорога на две педели бывала засыпана и всякое сообщение прекращалось.

…Дорога от Казбека до Коби, так же как и прежние, шла вдоль свирепого Терека. Мы проехали с версту, когда нам подошел офицер водных путей сообщения и сказал, что образовавшаяся от таяния снега вода сделала дорогу непроходимой.

По некотором размышлении Грибоедов решил ехать дальше. Мы подъехали, наконец, к месту прорыва и увидели, что перейти дорогу будет очень трудно; к счастью, над исправлением ее трудилось много рабочих.

Наши экипажи были отложены, осторожно опущены в провал и вытащены с другой стороны солдатами и осетинами. Несмотря на тяжкую работу, через 40 минут мы смогли сесть в экипаж и ехать дальше.

За несколько верст до ближайшей станции, по названию Коби, нас встретил майор Челяев со свитой примерно в 10 человек казаков и грузин; он был знаком с Грибоедовым раньше; узнав об его приезде, вышел его приветствовать. Коби представляет собою редут, состоящий из 34-х строений, расположенных в прелестной долине. Нам подали здесь обед, который заставил нас позабыть, что мы находимся в пути; нас было семеро за столом: Грибоедов, два грузинские офицера,

Челяев, командир редута и два секретаря. За столом было очень весело.

После обеда, простившись с обоими офицерами, мы поехали дальше, майор нас провожал. После того как мы прошли верст 5 по очень трудной дороге, встретились нам несколько осетин, которые отозвали Челяева в сторону и что–то сказали ему на ухо. Мы узнали, что в трех верстах отсюда собрались

300 осетин, чтоб напасть на проезжающих; люди, которые нам сообщили это известие, были разведчиками. Несмотря на это предупреждение, Грибоедов решил ехать дальше, но, уступив в конце концов просьбам и мольбам Челяева, вернулся, с тем чтоб продолжать путь на другой день.

Мы ехали верхом, поэтому обратный путь не был для нас труден; но с экипажами люди измучились; было очень трудно повернуть их на узкой дороге. Вечер мы провели в разговорах с Грибоедовым.

26 июля.

5 июля на рассвете выехали мы в путь. Мы ехали по прекрасной местности до маленького городка Душет, где мы остановились у начальника водных сообщений, чтобы напиться чаю; когда мы пили, явились чиновники в парадной форме засвидетельствовать почтение проезжавшему министру; не могу тебе передать, что это была за картина; мы от всего сердца хохотали, когда эти провинциалы ушли. Когда мы собирались в путь, один грузинский князь поднес Грибоедову корзину с цветами и огурцами; эти последние, несмотря на то, что их очень много здесь, считаются фруктами и всегда подносятся в торжественных случаях. В Гартискаре, последней станции перед Тифлисом, мы обедали под дубом на разостланном ковре. Здесь нас ожидали чиновники, выехавшие навстречу Грибоедову, – два его курьера, тифлисский исправник и некоторые другие; другие чиновники подъезжали к Гартискару, кто верхом, кто в дрожках; между ними был и Шаумбург. Дорога прекрасна до самого Мцхета, древней резиденции здешних царей, насчитывающей 3000 лет; но мы не могли остановиться у этих развалин, так как Грибоедов спешил скорее прибыть в Тифлис.

В 9 часов приехали мы, наконец, в Тифлис после целого месяца путешествия. Для Грибоедова были приготовлены комнаты в доме графа Паскевича, нас отвели в один частный дом, где мы нашли 3 комнаты без мебели и без оконных рам. На другой день нам отвели помещение также в доме Паскевича, так как ничего другого не было.

Надев парадную форму, отправился я с Мальцевым

представляться Сипягину. В этот день, так же как и все время, когда Грибоедов тут жил, обедали мы у него. Он держал уже стол a la Ministre: шампанское, ананасы, мороженое и прочее подавалось постоянно; но обедающих было мало, один или двое посторонних, не больше. 7–го июля я провел день у Мальцева, с которым мы отправились обедать к Грибоедову; вечер провел я очень приятно у Ховенов, где были гвардейские офицеры. 8–го выступили отсюда с персидским золотом два гвардейских батальона; в декабре они будут в Петербурге.

11–го июля управление Сипягина давало завтрак по случаю освящения своего нового помещения; я также был приглашен. Самого Сипягина не было, так как он был в отъезде. Все было очень прилично и окончилось шампанским. В то время как Грибоедов обедал, я работал по его поручению в комнате Мальцева, так как уже закусил хорошо. Вечером я был дома, т. е. у Ховенов, куда пришел и Грибоедов.

12–го, в 5 часов утра, я был с Коцебу [2] в монастырской церкви... Весь день пробыл я у Грибоедова за работой, было много дела, так как он на другой день должен был рыехать в главную квартиру. Вечером, получив от него инструкции, я с ним простился. Утром 13–го он уехал с Мальцевым. Хотя мне было интересно повидать лагерь и особенно войну, с другой стороны, я был рад, что он оставил меня здесь. Таким образом, я живу здесь спокойно и приятно и только желаю, чтоб так продолжалось подольше.

Тифлис, 3–го августа 1828.

Около 9 часов вечера поехал я из города прямо на квартиру Грибоедова, чтобы сдать лошадь слугам. Когда я въехал во двор, я увидел большое количество поклажи; когда я спросил, чьи это вещи, мне ответили: "Грибоедова". Я подумал, что он распорядился их послать вслед за ним в главную квартиру. Но как же я был удивлен, когда услышал у Ховенов, что он возвратился еще 14–го, так как лошади, отъехав 50 верст, не захотели идти дальше. Утром на другой день я снова пошел к нему, чтобы с ним поговорить; к сожалению, я уже не застал его, так как незадолго до моего приезда он уехал опять. Возвратился ли он в Тифлис и когда — пока неизвестно; до сих пор от него нет известий; доставивший из Ахалкалаки знамена офицер встретил его в этой крепости; он ехал тогда из Карса, где он думал найти Паскевича, в Ахалцик, который окружен и перед которым находится главная квартира. Очень меня ошеломило также известие о том, что Грибоедов женится. Его будущая жена — молодая шестнадцатилетняя княжна Нина Чавчавадзе; она очень

любезна, очень красива и прекрасно образованна. Эта женитьба, естественно, придает совсем иной характер нашему обществу в Персии, и я думаю, что я буду рад этой перемене. О свадьбе я ничего не узнал; говорят, что если он сейчас не вернется в Тифлис, то свадьба состоится в декабре. Несомненно, известия о нем придут на днях, и тогда все разъяснится. Так как я увидел, что мне нечего больше делать в Тифлисе, а Мензенкампф звал меня ехать с ним вместе, решился я на это. <...>

В Катериненфельде я до позднего вечера беседовал с колонистами об их несчастии, происшедшем в 1826 году. На эту деревню 14 августа напало около 600 курдов, турок и персов; их привели татары из соседних деревень; большая часть домов была разрушена; около 50 колонистов были искалечены; многие увезены в плен, остальные разбежались и только в минувшем октябре возвратились домой. Узнав, что я еду с Грибоедовым в Персию, они настоятельно просили меня позаботиться об их родственниках. Они мне дадут сведения о находящихся в плену колонистах, и я, конечно, сделаю все возможное, чтоб помочь этим несчастным; Грибоедов также сделает для них, несомненно, все, что будет в его силах. <...>

Позавчера, 1–го августа, после обеда вернулись мы в Елизаветполь, откуда я один поехал в Тифлис.

Тифлис, 16–го августа 1828.

Я все еще пишу Вам из Тифлиса, и, по всей вероятности, не в последний раз. Срок нашего отъезда еще до сих пор не назначен; хотя Грибоедов и говорит, что мы поедем через 5 или 6 дней, но я этому поверю только тогда, когда день будет точно определен. Он женится не в январе, а теперь, на этих днях, и возьмет с собой жену. Так как день свадьбы еще неизвестен, то я уверен, что мы еще не скоро отсюда уедем. Однако все возможно, так как все готово к отъезду; поэтому, если с будущей почтой от меня не будет известий, это будет означать, что мы покинули Тифлис. Тогда я уже не смогу давать о себе вести так регулярно, как сейчас, так как почта из Персии идет раз в 2 недели. Необходимо будет письма для меня направлять в адрес Грибоедова. К моему имени надо прибавить: "Г–ну секретарю Российской Имп. миссии в Персии", без указаний места, в таком случае они прямо поступят ко мне. Мы поедем большой кавалькадой; кроме 50 всадников, пойдут 50 вьючных лошадей и несколько экипажей для будущей госпожи министерши: эти последние, естественно; не ускорят нашего путешествия, так как доставить их из Тавриза в Тегеран будет крайне трудно.

До конца октября мы не сможем быть на месте назначения,

так как мы будем останавливаться на день или на два в городах и по крайней мере две недели пробудем в Тавризе. Грибоедов старается нам облегчить все, что можно; поэтому мы совсем не будем заботиться о наших вьючных лошадях, так как позаботится обо всем он сам; даже о фураже для моей лошади и обо всем, чем я должен обеспечить моего слугу (Семена).

4–го, в субботу, я имел намерение отправиться с Мензенкампфом опять в колонию. Семен уже подал мне после обеда лошадь и мы собирались выехать, когда я узнал от кого–то из посетителей Ховена, что он встретил одного из наших курьеров и от него узнал, что Грибоедов следует за ним. Я отложил свою поездку, отпустил Мензенкампфа одного и поехал к Паскевичу ожидать там Грибоедова. В шесть часов он действительно приехал – я был очень рад увидеть его опять; казалось, что и он мне обрадовался (по крайней мере, он так сказал). Он нашел, что в течение нашей трехнедельной разлуки я очень поправился; по его словам, ему было вдвойне приятно видеть меня здоровым, так как он был уверен, что я болен; он не мог думать, что я смогу хорошо переносить здешний климат, так как все бывшие здесь петербуржцы всегда переносили вначале легкую лихорадку... 5–го я совсем не видал Грибоедова; я весь день оставался дома.

В четверг, 7–го, я нашел Мальцева больным, в постели; он схватил на обратном пути из лагеря гастрическую лихорадку, которая была, однако, неопасна. Я обедал сегодня у Сипягина по его приглашению. Он принял маленького секретаря очень любезно и, усадив меня на софу, в разговоре часто обращался ко мне...

Мальцев не мог быть по болезни, Грибоедов был у невесты, так что из нашей миссии был я один... К, чаю к Ховеыам пришел Грибоедов со своей невестой, и я имел случай ее хорошо разглядеть; она необычайно хороша, ее можно назвать красавицей, хотя красота ее грузинская. Она, как и ее мать, одета по–европейски; очень хорошо воспитана, говорит по–русски и по–французски и занимается музыкой; ее отец — генерал–майор и правитель Эривана, где мы его собираемся посетить; он, кажется, очень любезный и образованный человек. Я попросил в этот вечер Грибоедова отпустить меня на несколько дней в колонию... Он тотчас мне это разрешил и прибавил, что я могу оставаться там до тех пор, пока он за мной не пришлет.

10 августа был день рождения Коцебу. Мы ожидали к обеду много гостей; однако, за исключением полковника Ренненкампфа [3], который пришел, когда мы пили шампанское, никто не явился. Насколько мне был приятен Ренненкампф, с которым я

познакомился раньше, настолько мне было неприятно известие, которое он мне сообщил; Грибоедов просил меня возвратиться в Тифлис...

Я нашел Грибоедова больным, он боролся с болями в желудке и кишечнике и не знал, куда деваться от жара; но когда ему становилось лучше, он садился за фортепиано и так прекрасно фантазировал, как я редко слышал. 12–го августа я работал целый день с Мальцевым, с которым я потом обедал у Грибоедова; я нашел его сегодня в лучшем состоянии, но есть он не мог. Вечером я гулял в саду Паскевича и по городу при великолепном лунном сиянии, в прекраснейшую ночь.

Утро 14–го прошло, как и предыдущее. Я обедал у Грибоедова, который поправляется.

Тифлис, 31 августа 1828.

Я все еще пишу из Тифлиса и не знаю, что дальше будет: отъезд был назначен на этой неделе, но у Грибоедова опять повторились припадки лихорадки, и вчера он был совсем болен. При этом положении вещей совершенно неизвестно, когда мы выедем отсюда. Лошади наняты 19–го и вот уже скоро две недели, как за них платят. Наше путешествие будет продолжительным, так как с нами едет жена Грибоедова, а до Эривана нас будет сопровождать его теща. Я очень хочу скорее отсюда уехать, мне здесь уже надоело; подумай, ведь мы уже 8 недель живем в Тифлисе. Я тоже плачу дань здешнему климату; на прошлой неделе я сильно простудился...

22–го, в среду, Сипягин давал большой обед, на который я был приглашен, но быть не мог. Вечером, наконец, была свадьба Грибоедова. Гости, только родственники и близкие знакомые, их не более 50 человек, собрались в Сионском соборе, где и состоялось венчание.

Из церкви поехали на его новую квартиру; там был подан ужин. Мне было очень жаль, что я не мог принять участия в этом торжестве, мне очень хотелось быть; но моя болезнь не позволила мне этого, и я должен был остаться дома.

Весь Тифлис проявляет живейшее сочувствие к этому союзу; он любим и уважаем всеми без исключения; она же очень милое, доброе создание, почти ребенок, так как ей только что исполнилось 16 лет. Во вторник утром я отправился к Грибоедову с поздравлением; боли мои прошли, но образовалась сильная опухоль.

24–го, в пятницу, Грибоедов давал обед более чем на 100 персон; все было, как мне передавали, блестяще; сейчас же после обеда часов в 6 начались танцы; веселились до 11 часов. К

сожалению, я не мог быть, мое распухшее лицо не позволяло мне показаться в обществе.

В воскресенье я поехал в ближайшую колонию, которая называется Тифлисом... Возвратившись, я нашел приглашение на бал к Сипягину; в этот вечер он давал бал в честь молодоженов.

Когда около 8 часов все собрались, перед домом зажгли чудный фейерверк, который был бы еще лучше, если б он не отсырел от выпавшего перед тем дождя; одна ракета упала среди дам, которые ушли в дом и должны были смотреть на это зрелище из окон. Сейчас же после фейерверка Сипягин с мадам Грибоедовой открыл бал полонезом. Она в этот вечер была восхитительна и могла бы быть признана красавицей даже и в Петербурге.

Она несколько похожа на мадам Поггенполь, но гораздо красивей. После нескольких танцев был исполнен квартет, который едва не провалился. Сипягин только что накануне пригласил музыкантов, и у них не было времени, как следует подготовиться.

Танцевали до часу ночи; мне особенно понравился грузинский танец. <...> Ужин был блестящий; Сипягин не садился, чтоб лучше за всем смотреть; окончился ужин шампанским. Среди гостей был также муштеид или персидский муфти, который перешел к нам в Тавризе и назначен муштеидом [4] всех живущих в России шиитов. В нем не было ничего, что указывало бы на его сан; одет он был как все персы и даже носил богато украшенную саблю. На шее он носит золотой с бриллиантами портрет императора на Андреевской ленте. Он пил вина сколько только мог, называя его шербетом. О следующих днях нечего сказать; утро я провел за работой с Мальцевым, а вечер дома. К сожалению, бедный Грибоедов это время опять страдал лихорадкой; особенно позавчера, когда он целый день провел в постели. Естественно, это нас задерживает, и отъезд не может быть назначен. Сегодня, когда должен был опять быть припадок, он был здоров; дай бог, чтобы так было всегда. <...>

С окончанием установления границ выполнение трактата завершено; но оно вызовет большие затруднения. Грибоедов будет стараться представить нас к награде за это дело; но это должно остаться пока между нами.

Тифлис, 7–го сентября 1828.

Я все еще пишу из Тифлиса и думаю, что на этот раз это уже последнее датированное отсюда письмо; однако вопрос об отъезде опять осложняется; до вчерашнего вечера считалось, что мы выедем завтра. Лихорадка оставила Грибоедова, но вчера и

позавчера ему было опять очень нехорошо; у него никогда не было полного лица, но трудно даже представить себе, как он сильно переменился; он не только похудел, но у него цвет лица стал землистым, что придает ему совершенно больной вид. Дай бог, чтоб он скорее поправился! Если сегодня или завтра ему не будет лучше, мы, конечно, задержимся здесь опять. Во всяком случае, я окончу и отошлю это письмо тогда, когда смогу дать Вам точные сведения об отъезде.

4–го, во вторник, я хотел пораньше поехать в город, но попал я туда в час, так как не мог найти лошади. Сегодня вечером ненужные нам в пути вьючные лошади должны были отправляться; однако наши вещи не навьючены и, видимо, не уйдут. Приведя себя в порядок, я пошел к Грибоедову, но его не видал, так как он был занят; я побеседовал с его женой и с Мальцевым и пошел домой. В среду, после работы, я пошел обедать к Грибоедову; там подавали шампанское, которое подают теперь почти каждый день. Я пил за здоровье петербуржцев и ревельцев. После обеда я был занят с Мальцевым до вечера.

<…>

Я очень бегло набросал эти строчки, так как очень спешу; если мы в самом деле едем завтра, я сегодня должен укладываться и обедать у Грибоедова, где я узнаю что–нибудь новое.

Позднее.

До сих пор (3 часа пополудни) говорится, что мы выезжаем завтра, после обеда.

Эрисан, 18 сентября 1828.

Мы выехали из Тифлиса в воскресенье около часа пополудни, ежедневно делали по 25–40 верст и на 9–й день приехали сюда. Грибоедов сейчас в Эчмиадзине и сегодня приезжает.

Вторник, 18 сентября. В 10 часов утра мы, сотрудники миссии, собрались и поехали встречать Грибоедова, чтобы с ним вместе войти в Эриван. По дороге, в расстоянии и пол–агача от города (агач, или фарсанг, — 7 русских верст), увидели мы старую башню и маленькое сводчатое здание… Едва мы покинули это интересное строение, как увидали всадников и экипажи; они мчались навстречу нам. Когда мы узнали персидских ханов, Грибоедов сел на свою лошадь; наши экипажи несколько отстали, а мы поскакали навстречу жителям Эривана. Самыми знаменитыми из них были вышеупомянутый Сертип Мохамед–хан, Ахмет–хан и Паша–хан, прежний любимец Аббас–Мирзы; кроме названных, здесь было еще около 500 всадников, частью свита трех названных выше, частью свита бека, остальные —

жители Эривана.

Обменявшись приветствиями с Грибоедовым, вся кавалькада присоединилась к нам. Когда Эриванский плацадъютант (армянин) представлял Грибоедову ханов, он хотел как можно лучше выразиться по-русски и сказал следующее: "Ериванское ханье поздравляет Ваше превосходительство и т. д."; вероятно, он слово "ханье" производил от слова "бабье" и был очень доволен, что так выразился.

Все то время, пока мы были вне города, около 100 всадников, разделившись на две партии по обеим сторонам дороги, вели воинственные игры... Внезапно я попал в сильнейшую перепалку: сражающиеся партии сшиблись на дороге; с обеих сторон они кричали мне свое "кабарда, кабарда" (прочь с дороги), но я не смог свернуть так скоро... Раздался выстрел за выстрелом, пороховой дым обдал нас; я спокойно ожидал конца, который, однако, не последовал. Грибоедов был немало удивлен, когда увидел меня под грудой этих тел.

При продолжающейся стрельбе приблизились мы к городу; мы должны были переходить через широкие каналы; так как с нами было, по крайней, мере 500 всадников; не обошлось без того, что мы были совершенно забрызганы водой; покрывавшая наши мундиры пыль, смешавшись с водой, образовала тесто и зеленый цвет наших мундиров переменила в серый с крапинками.

Когда мы проехали старый каменный мост через Зангу, нас встретило армянское и русское духовенство с хоругвями, свечами, иконами, кадильницами и другими подобными вещами. Министр сошел с лошади, приложился к протянутому ему архиереем кресту и поехал дальше.

Помещение ему было приготовлено в доме сартипа Мохамед–хана; перед домом была выстроена стража с офицером стоящего в Эриване полка; при приближении Грибоедова стал бить барабан.

Когда мы въехали во двор или, вернее, в нечто вроде сада, нас встретил музыкой военный оркестр, который и играл весь день.

После того как Грибоедов и его жена все осмотрели, мы пошли на свою квартиру, чтобы устроиться и вычиститься. Прежде чем мы ушли обедать, мы посетили Мохамедхана, который нас очень приветливо принял и угостил фруктами. <...>

Среда, 19–го. Мы только что напились чаю, как за нами прислал Ахмет–хан, приглашая нас к обеду. Я хотел до обеда немного поработать, но персы сочли это неслыханным и этого не допустили. Так и прошло время до обеда. Около двух часов мы пошли к Грибоедову, в парадной форме, сели на лошадей и поехали к Ахмет–хану. Мы нашли здесь накрытый стол и стулья,

на европейский лад. Обменявшись официальными приветствиями, все сели за стол. Министр сидел во главе стола, по обе стороны от него сидели персы и мы, а в конце стола разместились офицеры гарнизона. Обед состоял по меньшей мере из 30 блюд. Каждый раз вносили двухаршинную доску, на которой стояли блюда с пловом, дольмой и т. д.; второе блюдо дольма подавалось в 20 видах; конечно, я почти ни к чему не притронулся, так как от этого грязного персидского стола пройдет всякий аппетит. Всё плавало в бараньем жиру; тарелки с кушаньем отставлялись тотчас, чтобы дать опять место бесконечной дольме; запах остывшего сала и неприятный вид этой кислятины были мне противны. В промежутках между блюдами персы хватали стоявшие на столе фрукты и сладости, и все это после того, как они опускали в жир свои грязные, с окрашенными в красный цвет ногтями, пальцы.

Все время, кроме того, пили за здоровье всех кахетинское вино и шампанское. Наконец этот отвратительный обед окончился, все встали из-за стола, и, после короткой беседы, мы откланялись.

Ахмет–хан подал каждому руку и сказал по-русски: "Прощайте, до свиданья". Только что мы приехали домой, как хан опять прислал за нами, прося нас тотчас прийти к нему. Насколько фатальным был для меня обед, настолько приятен или, скорее, интересен, был вечер, я увидел здесь впервые персидские танцы...

Через несколько часов, которые для нас прошли очень быстро, за нами прислал Грибоедов: к Паскевичу отправлялся курьер, и мы до поздней ночи писали донесения.

Четверг, 20–го. Сегодня, как и все дни нашего пребывания в Эриване, обедали у Грибоедова эриванские чиновники; ни один день не обходился без музыки за обедом.

Пятница, 21–го. Рано утром, когда все еще спали, приехал из Баязеда князь Чавчавадзе, отец мадам Грибоедовой, чтоб увидеть молодоженов до их отъезда в Персию: он начальник армянской провинции и поэтому не живет в Тифлисе; таким образом, он видел Грибоедова в качестве своего зятя в первый раз. Это очень красивый мужчина за 30 лет, и в нем нет ничего грузинского.

Перед обедом мы, сотрудники миссии, поехали на базар не столько из любопытства, сколько для моциона. Сегодня, по обыкновению, во время обеда играла музыка; в честь князя Чавчавадзе музыканты оставались во дворе у Грибоедова до темноты. Вечер мы провели в беседе.

Воскресенье, 23–го. Сегодня Грибоедов пригласил к обеду трех эриванских ханов, а также несколько знатнейших персов.

Конечно, обед подавался европейский, за исключением восточного шербета. Все шло прилично до тех пор, пока не подали два блюда с пловом; когда одно из них дошло до одного старого перса, он счел целесообразным взять себе его целиком: слуга сначала ждал, но под конец должен был сдаться, так как перс не переставал повторять "давай, давай!" Во все время обеда блюдо оставалось у него и он беспрестанно запускал в него пальцы. Музыка их совершенно не интересовала, они попеременно то ели, то болтали. Наш отъезд в Тавриз назначен на ближайший четверг, 25–го.

Эриван, 22 сентября 1828.

Пятница, 7–го. Утро прошло в хлопотах перед отъездом; проведя несколько часов в лавках, я пошел обедать к Грибоедову. Это был их последний обед в Тифлисе, и никого из чужих не было, обедали только родственники его жены.

Было заметно, как ей, бедняжке, трудно; она в первый раз в жизни покидает родительский дом и Тифлис и идет навстречу, несомненно, нелегкой жизни: у нее не будет никакого женского общества в Тегеране, так как жена тамошнего доктора Макниля недавно уехала в Англию. В Тавризе она найдет нескольких англичанок, и я желаю ей и всем нам провести зиму там. Зима подходит, и вам предстоит очень трудное путешествие, если мы поедем в Тегеран, но это совершенно невероятно; у Грибоедова очень много дела в Тавризе, и мы не надеемся выехать в Тегеран раньше марта.

Наш отъезд из Тифлиса сегодня назначен твердо на воскресенье.

Суббота, 8–го. Рано утром пришел мой Семен, чтоб уложить мои вещи.

<…>

В 12 часов за мной прислал Грибоедов, так как до отъезда оставалось еще много дела. Он сам сегодня не обедал дома, а к Ховенам я опоздал, поэтому я должен был обедать в ресторане.

Воскресенье, 9–го. Рано утром ко мне пришли пять имеретин, чтобы отнести мон вещи к Грибоедову. Я застал у него много людей, пришедших с нами проститься. Так как экипажи должны были ехать по другой дороге, чем мы (дорога для верховых лошадей до Коди на 15 верст короче), мы выехали на час раньше. Наше общество состояло из Мальцева, Мирзы–Нарримана (штабс–капитан и переводчик) и Ваценко, также переводчика; за нами следовали наши слуги. Когда экипажи Грибоедова подъехали к шлагбауму, заиграл в честь его отъезда полковой оркестр. Кроме двух колясок Грибоедова, было еще две, из которых одна принадлежала его теще, кн. Чавчавадзе, которая провожает нас до Эривана, другая же была нанята провожавшими нас до Коди. Длинный поезд замыкался значительным количеством всадников. После нашего ожидания в течение нескольких часов в винограднике Коди к нам присоединились, наконец, наши начальники.

Множество экипажей и всадников сообщали поезду очень красивый вид. Так как мы с самого утра не ели ничего, кроме винограда, нас стал слегка мучить голод: к тому же, выехав из Тифлиса раньше, мы не успели пообедать у Грибоедова. Около 8 часов вечера прибыли наконец наши вьючные лошади с вьюками; нам поставили раскладные кровати под навесом, и, напившись чаю и насытившись превосходным пловом, приготовленным моим Семеном, мы легли спать. Грибоедовы заняли целую так называемую саклю; это было почти подземное жилище; снаружи, за исключением передней стены, не видно от этого дома ничего, так как все остальное покрыто землей. <…>

Понедельник, 10–го. В пять часов утра мы встали. Пока упаковывали наши вещи, мы напились чаю, после чего отправились в путь. Около 2–х часов мы прибыли в деревню Шуливеры, которая находится в 25 верстах от Коди; вскоре сюда приехали и Грибоедовы с княгиней, остальные расстались с Грибоедовым в Коди. После того как пришел наш багаж и были разбиты палатки, мы сели за работу. Мы готовили почту в Тифлис и Тавриз. Только в 0 часов вечера был готов обед. Мы обедали в палатке, на земле, не исключая и обеих дам. Я познакомился здесь с молодым врачом – Омисса, которого Сипягин до приезда в Эриван прикомандировал к Грибоедову. Мы целый вечер беседовали с ним о Петербурге, где он прожил несколько лет. Ночевали мы в палатках; их было четыре; в одной спали Грибоедовы, в другой княгиня, в третьей Мальцев и я, в четвертой Мирза–Нарриман и Ваценко.

Вторник, 11–го. Напившись чаю и запаковав вещи, мы поехали дальше. Грибоедов проехал с нами 15 верст верхом. Около одного ручья в кустарниках мы сделали привал и позавтракали; завтрак наш, как и всегда, состоял из шашлыка. Нам предстояло сегодня проехать 40 верст, поэтому на полдороге мы остановились на Сомийском посту, который состоит всего из нескольких комнат. Грибоедовы остались в коляске; мы расположились на траве. Около 3–х часов рассвело, и мы поехали дальше.

Среда, 12–го. Утром мы увидели, что все покрыто инеем, так как ночью был сильный мороз. Нам предстояло в этот день проехать до Джелал–Оглу 20 верст; как всегда, мы в пути сделали привал... едва мы сошли с лошадей, как несколько священников пригласили нас к себе, чтобы нас угостить. Когда Грибоедов подъехал, они вышли ему навстречу со свечами, в облачении; Грибоедов дал им дукат, и поехали дальше. Джелал–Оглу – незначительная крепость с госпиталем на 400 коек... Мы пообедали здесь на европейский лад, но без дам, так как они обе чувствовали себя нехорошо, у мадам Грибоедовой болели зубы. После обеда я долго разговаривал с Грибоедовым, он многое рассказал мне о положении в Грузии. Я слушал его с удивлением и огорчением. К сожалению, я не могу с тобой этим поделиться, так как должен быть как можно осторожнее. <...> Остальной день мы провели в палатках за беседой и очень рано улеглись спать.

Четверг, 13–го. В три часа приехали мы в деревню Кошлак, где был назначен ночлег. Вскоре после нас прибыли и Грибоедовы. Они впрягли в коляски 5 пар быков и буйволов и были очень счастливы, что добрались до Безобдала. Обедали мы опять по–азиатски, в палатках. <...>

Воскресенье, 16–го. Мы проезжали сегодня те места где в прошлом году было пролито много крови. Объехав одну гору, увидали мы старый Арарат во всей красе... Мы разделились здесь на три партии: Грибоедов поехал через деревню Ачтарак, от которой до Эривана две станции, так как эта дорога удобней для колясок. Мальцев и Мирза–Нарриман поехали прямо на Эчмиадзин, который на 15 верст дальше; мы с Ваценко поехали через деревню Тугварт, которая отстоит от Эривана на 15 верст, туда же был направлен и наш багаж.

Вторник, 25–го. Мы встали с постелей рано, чтобы все уложить и навьючить на лошадей... Так как буфетчик Грибоедова перебил почти весь фаянс и стекло, а новую посуду придется долго ждать, Грибоедов просил меня уступить ему моего Семена, что я сделал охотно, хотя и знал, что такого слугу найти будет очень трудно. Вместо него я нанял одного грузина. К 10 часам мы были приглашены к кн. Чавчавадзе на прощальный завтрак. Он был персидско–грузино–русским и длился почти 2 часа; мадам Грибоедова видалась в последний раз с родителями; она была заметно огорчена: в первый раз расстается она с матерью и покидает ее для того, чтобы следовать за мужем в страну, которая не обещает ей общества и развлечений. В 12 часов расстались мы с Чавчавадзе и Грибоедовыми, чтобы раньше выехать в дорогу. В пять часов вечера достигли мы Камарту, наполовину армянской, наполовину татарской деревни, которая находится на расстоянии 4–х верст от Эривани. В южной части деревни находились два довольно приличных дома, из которых один был предназначен для Грибоедовых, другой для нас; в обоих не было окон; а так как в нашем не было и передней стены, то мы и были как будто под открытым небом... Коляски прибыли вслед за нами. Чавчавадзе провожали дочь до первой, не доезжая одной версты до Эривана, армянской деревни; в деревенской церкви они выслушали обедню и простились. Перед нашей квартирой росло несколько тополей и верб, которые делали вид очень приятным. Вечером мы поужинали с Грибоедовым, который пришел к нам, а потом легли спать. <...>

26–го, среда. От Камарту до Цадарака 5 агачей. В 4 часа утра мы должны были покинуть наш лагерь, чтобы приготовить вьючных лошадей... При выезде из станции мы все собрались ненадолго. Здесь мы увидели курдов, которые ожидали Грибоедова, чтоб его приветствовать. Их вождь был весь в шелку и к тому же очень красив. Для Грибоедова была разбита палатка где–то вроде сада (если так можно назвать зеленую площадку с несколькими фруктовыми деревьями). Мы выбрали себе комнату, которая была попросторнее и почище.

Четверг, 27–го. От Цадарака до Курачина 4 агача. Пока упаковывали наши вещи, я пошел с Ренненкампфом пройтись по деревне. Сегодня мы были все вместе, с Грибоедовыми. Едва мы выехали из деревни, как курды и персы, которых Ахмет–хан взял с собой из Эривана, начали различные игры... Мы с доктором Мальмбергом выехали раньше, так как оба не были голодны. Проехав около агача, мы встретили до 100 человек курдов и

персов, которые как представители магала (магал – округ, включающий около 50 деревень и обычно имеющий свое собственное имя), называемого Шаруром, изъявили желание принять Грибоедова.

При въезде в деревню Нурамин нас догнали остальные в сопровождении по крайней мере 500 человек; так вошли мы в деревню. Грибоедов с женой заняли две комнаты в разрушенном караван–сарае; нам отвели помещение в самой деревне. Мадам Грибоедова сегодня нездорова и не обедала с нами; однако это не помешало нам веселиться. После обеда мы немного отдохнули от путешествия, а потом пошли к Грибоедову в палатку, которая была разбита во дворе караван–сарая; мы встретили здесь Ахметхана; нам подавали чай с соком гранат и ромом; последний особенно понравился хану; он отпивал немного чаю, беспрестанно доливая стакан ромом. После его ухода мы посидели еще часок у Грибоедова, который нам рассказал много интересного.

Тавриз, 15–го октября 1828.

С воскресенья 7–го мы находимся здесь, в столице Азербайджана; путешествие из Тифлиса сюда берет 6 или 8 дней, иной раз даже 4, нам же потребовалось на него 4 недели, в чем виноваты болезнь добрейшего Грибоедова, его жены и две коляски. Я не пишу о поездке из Эривана сюда, о жизни в Эриване и в Тавризе, о двух аудиенциях у Аббаса–Мирзы и т. д. Обо всем этом расскажет мой дневник в (если я посмею так его назвать). Я пользуюсь командировкой в Тифлис одного офицера, которому я передам эти строки. Не рассчитывайте на регулярное получение от меня известий; я смогу использовать только курьеров и случайные возможности, которые я, конечно не упущу, это я могу обещать с уверенностью. Я в Персии, и мое трехлетнее желание наконец исполнилось. Не знаю почему, но все, что я до сих пор увидел и узнал в этой стране, говорит мне многое; но самое замечательное из того, что я здесь видел, это, без сомнения, сам Аббас–Мирза; трудно себе представить, в каком угодно другом лице, что–либо более захватывающее. Но обо всем этом подробней сообщит в ближайшее время мой дневник.

Тавриз, 30 октября 1828.

Теперь о нашем дальнейшем персидском путешествии. Через 4 или 5 дней мы едем в Тегеран. Мадам Грибоедова остается до нашего возвращения здесь, так как путешествие в это время года было бы для нее слишком тяжело, нашей же резиденцией остается, к счастью, Тавриз. Шах ожидает только приезда в

Тегеран министра, после чего уезжает на некоторое время в Исфагань. Подумай о моей' радости; наше посольство, по всей вероятности, будет его сопровождать, и я увижу этот знаменитый город. Кроме этой поездки, предвижу в будущем еще одну: Грибоедов и Завилейский (тифлисский вице–губернатор) передали императору план Закавказской экономической и торговой компании 7, которая, вероятно, будет основана, так как и Паскевич написал об этом императору; если это произойдет – Грибоедов пошлет меня в будущем году в Кашмир, чтобы там закупить шерсть и пригнать овец... По прибытии в Тегеран Грибоедов немедленно представит нас в кавалеры персидских орденов, о чем он нам уже объявил. Как это будет прекрасно, когда персидский кавалер будет рассказывать в Петербурге о своем путешествии в Тавриз, Тегеран, Исфагань, Шираз, Персеполис, Хомазан, Кашмир и т. д.

Дяде Гарри я, конечно, напишу из Тегерана; так как Грибоедов состоит с ним в официальной переписке, как с начальником пограничной стражи [8], я смогу воспользоваться этим обстоятельством.

Тавриз, 3–го ноября 1828.

Теперь о купленной мяте. На каждом пакете указана цена вложенной мяты: я их не сортировал, но так завернул, как их покупал; мне было трудно достать денег на эту покупку, я просил у Грибоедова 100 р., чтобы заплатить за мяту; но хотя он сам сейчас стеснен в деньгах, однако все же обещает достать мне денег сегодня. Мне нужна эта сумма на многие расходы.

Д.Ф. Харламова. Еще несколько слов о Грибоедове

Часто помещаемые в литературе воспоминания об Александре Сергеевиче Грибоедове побудили и меня, 84–летнюю старуху, воскресить в своей памяти все, что только об нем помню, а помнить есть что, так как в доме моей матери в Тифлисе он был ежедневным гостем. У нас зародилась и развивалась его любовь к княжне Нине Чавчавадзе, и в нашем же доме сделался он счастливым женихом, позабыв на время свою ипохондрию. К сожалению, во время всех этих событий я была совершенно маленькая девочка; мне было около 12 лет, когда его убили; вот почему воспоминания мои ограниченны.

Родилась я в Тифлисе в 1817 году, где мой отец командовал артиллерией (Отдельного Кавказского корпуса), после его смерти, в 1820 году, мать осталась жить в Тифлисе, где у нас на склоне горы, близ потока Салылак (Сололаки), был дом и чудный,

волшебный сад [Дом после нашего отъезда был приобретен казной для Института благородных девиц, а теперь в нем живут таможенные чиновники. (Примеч. Д. Ф. Харламовой.)].

Мать моя была та самая Прасковья Николаевна Ахвердова, об которой всегда упоминается во всех биографиях А. С. Грибоедова. Она была необыкновенно гостеприимная, любезная, образованная и талантливая женщина, и дом ее был средоточием всего культурного общества Тифлиса в продолжение 10 лет. Мода и жажда почестей и наград манила много военной золотой молодежи на Кавказ, перебывали там и князь Ал. Ар. Суворов [Который полвека спустя, когда я уже была совершенно старая, называл меня не иначе, как уменьшительным именем. (Примеч. Д. Ф. Харламовой.)], (помню) и графа Самойлова, и Бутурлина, и Веригиных, и Арсеньева, и Симборского, и много других, одним словом, по 2 или по 3 офицера из каждого гвардейского полка. Каждый из них делал визит моей матери и затем и бывал почти ежедневно. И либеральная статская молодежь из будущих декабристов тоже наведывалась на Кавказ и бывала у матери, особенно часто, кажется, В. К. Кюхельбекер – давнишний друг нашей семьи; я, впрочем, его не помню, знаю это только по рассказам. После 25 года были отправлены проветриться многие слегка замешанные декабристы: из них помню двух — Рынкевича и Искрицкого. Около 1829 года посетил и обедал у нас и Александр Сергеевич Пушкин, я его превосходно помню, хотя это было в смутное для нас время, после смерти Грибоедова. По рассказам, Грибоедов, приехав в Тифлис около 22 года [1], сейчас же сделался героем, дрался на дуэли с Якубовичем (будущим декабристом) и, по всей вероятности, уже тогда познакомился с моей матерью. Сохранилось письмо от 1827 года, где он извиняется пред ней в неисполненном, из-за нервного припадка, поручении. Я лично начала его помнить лет 9-ти, когда он вернулся после долгого отсутствия из Тифлиса, почти ежедневно обедал у нас, а после обеда играл нам, детям, танцы. А детей нас было много, чуть не маленький пансион двух возрастов. К старшему принадлежали: дочь от первого брака моего отца Софья Федоровна, впоследствии замужем за Н. Н. Муравьевым-Карским, и брат Егор Федорович, бедная племянница моего отца Анна Андреевна Ахвердова, и приходили для совместного ученья знаменитая княжна Нина Чавчавадзе и княжна Мария Ивановна (Манко) Орбелиани.

Княжна Екатерина Александровна Чавчавадзе, впоследствии княгиня Дадиан-Мингрельская, княжна Софья Ивановна (Сопико) Орбелиани, Варенька Туманова и я составляли младший возраст.

Князь Александр Гарсеванович Чавчавадзе, соопекун моей

матери над сестрой Софи и братом Егорушкой, нанимал небольшой наш флигель, рядом с нашим большим Домом; в нем жила его мать, жена — княгиня Саломе и дети — Нина, Катепька и Давид. Целый день находились у нас девочки, а Катенька даже и жила у нас в одной комнате со мной и гувернанткой нашей Надеждой Афанасьевной, той, которой А. С. Грибоедов в одном из писем к матери шлет целый акафист приветствий [2]. Летом ездили мы часто гостить в чудное имение Чавчавадзе — Цинац, дали в Кахетии, совершали путешествие всегда под конвоем не менее 20 солдат, из опасения нападения горцев Князя я менее других помню, он часто отлучался, а впоследствии, после взятия Эривани, был там губернатором [3].

Но семья его осталась в Тифлисе. Нам-то, младшему возрасту, и играл танцы Грибоедов. Расположение духа у него было необыкновенно изменчивое, иные дни проходили в полном молчании с его стороны, но без видимой причины чело его прояснялось, он делался весел, разговорчив (говорил всегда по-французски) и, если не было малознакомых гостей, шел в зал после обеда, говоря: "Enfants, venez danser" [Дети, идите танцевать (фр.).], — садился так, чтобы видеть наши неуклюжие танцы. Играл он всегда танцы своего сочинения, мелодию которых еще ясно помню, но очень красивые и сложные, потом переходил к другим импровизациям и проводил за роялем иногда весь вечер. Сонико Орбелиани имела обыкновение подходить вплотную к клавишам, это его раздражало, и он, после финального аккорда, ударял ее по выставленному животу указательным пальцем, что ее огорчало и приводило в бегство. К сожалению, я принадлежала к младшему возрасту, поэтому помню только то, что относилось к нашему детскому миру, и ничего из разговоров со старшими передать не могу. Младшего брата княжны Нины он всегда вместо приветствия гладил по курчавым волосам и в одном письме к матери пишет: "Давыдочку по головке" [4]. Но общее впечатление, которое производил на меня ласковый, но почти всегда серьезный средних лет статский господин в очках, внушающий мне глубокое почтение, граничащее с робостью, хорошо помню, а также удивление, что Нина настолько мало боялась его, что даже вышла за него замуж. Конечно, главное внимание Александра Сергеевича с того времени, как я стала его помнить, было обращено на княжну Нину Чавчавадзе, которой было лет 14 тогда, хотя она, как все южанки, была уже вполне сложившаяся женщина в эти годы. Он занимался с нею музыкой, заставлял говорить по-французски, и даже когда он, впоследствии, взял ее за руку и повел в наш сад делать предложение, она думала, что он засадит ее за рояль.

Не скажу, чтобы мать моя имела возможность воспитывать и обучать особенно блестяще своих питомцев: во-первых, кроме сестры Софи, все поголовно были ленивы и, кроме того, учителя были не из первоклассных. Не знаю, где они были преподавателями, и фамилий не полню, знаю, что их называли Акакий Кондратьевнч, Аксентий Трифонович и Афанасий Иванович Гиацинтов. Музыке нас учил капельмейстер Соколовский, только Нине Александровне давал сам советы Грибоедов, когда она подросла и он был в Тифлисе. Живописи учила сама мать, отменная художница миниатюрой и портретистка. Но что более всего процветало у нас – это французский язык. У маленького Чавчавадзе Давида был гувернер m–r Ravergi (Равержи), но за малостью флигеля, занимаемого Чавчавадзе, он и дочь его Josephine (Жозефина) жили у нас и занимались с нами теоретически и практически. Кроме того, около 1826 года наехало в Тифлис целое общество французов, которые основали шелковичную фабрику на паях, один из главных компаньонов Duello (Дюелио) жил в нашем доме, часто нас посещал и способствовал успешному французскому разговору. Танцам из любезности нас учила прелестная m–me Castello, жена одного из крупных пайщиков. Верхом ездил весь старший возраст; если ехала Нина Александровна и Грибоедов был в Тифлисе, то сопровождал ее; мы же, младший возраст, пользовались лошадьми только по возвращении кавалькады, немного по двору. Сестра моя Софи тоже была красавица, в другом роде, чем Нина Александровна, но почти не хуже ее. Мать ее, урожденная княжна Юстиниани, одарила ее этой красотой и такой величавостью, что ее прозвали Порфирородною. Они с Ниной Александровной составляли картинную пару, и все, что было молодежи в Тифлисе, увивались около них. Еще врезался мне в память маленький костюмированный бал у нас, где Нина Александровна появилась в старинном грузинском костюме, сохранившемся у бабушки ее Марии Ивановны. Костюм этот много живописнее новейшего, и красота ее в нем была неописанная. Но был ли Грибоедов на этом бале, не помню.

Хотя это и не касается Грибоедова, но не могу не упомянуть, насколько Тифлис того времени был еще пуст, даже не было хорошего дамского башмачника и его emploi (амплуа) исполнял лакей матери Егор Титов.

Когда предвиделся бал или свадьба, то понятно, что обшивал всех домочадцев, включая княжон Чавчавадзе и Орбелиани, но и посторонние княгини являлись к матери с рамбави (сплетнями) и между прочим просили заказать башмаки своим дочерям Егору Титову. Отказывать она не умела, и выходило, что у нее лакей –

башмачник на весь Тифлис и она почти постоянно лишена его услуг.

Как сейчас помню красные атласные башмаки, которые он сшил мне и Катеньке к свадьбе Грибоедова. Нас с ней очень плохо одевали и обращали внимание на туалеты Нины Александровны и Софи, которую мать любила не менее, если не более меня, поэтому красные башмаки составляли событие в нашей жизни. Сестра Софи была двумя или тремя годами старше Нины Александровны и вышла замуж немного ранее. Муж ее, Н. Н. Муравьев-Карский, который почему-то не ладил с Грибоедовым и не желал женитьбы его на приятельнице своей жены, хлопотал, чтобы она дала согласие на замужество с другом его, Сергеем Николаевичем Ермоловым; но она обладала всегда очень стойким характером, не поддалась и сохранила себя для того, кого любила сильно. После того как Грибоедов сделался женихом княжны Нины, он должен был присоединиться к армии Паскевича немедленно, он пишет 14 июля [5] из Карабаха матери, описывает военные действия и прибавляет: "Говорите с Ниной обо мне побольше, всякий раз, как нечего будет делать лучшего. Помните, что мы оба Вас любим как нежную мать; она и я..." Подписывается он так в этом письме: "Ваша приемная чета, Ваши дети". Он был тогда уже не прикомандирован к Паскевичу, а посланником, поэтому, вероятно, и не остался долго при армии; возвратившись в Тифлис, захворал лихорадкой...

Лихорадка не покинула его до свадьбы, даже под венцом она трепала его, так что он даже обронил обручальное кольцо и сказал потом: "C'est de mauvaise augure" [Это дурное предзнаменование (фр.).].

Когда после свадьбы они уезжали в Персию, все, у кого только были экипажи и верховые лошади, выехали их провожать, не помню только, до какого места, так как меня не взяли. В последнем своем письме из Тавриза, где он жил некоторое время с женой пред вечной разлукой и отъездом его одного в Тегеран, он пишет матери: "Дашеньке нежнейший поцелуй. Как мы ее с женой любим, пари держу, она и не подозревает о наших разговорах в Тавризе, все про нее и про Катеньку, как-то найдем их, когда воротимся, за кого их выдадут? Маленькие их кокетства в клубе, и т. д. и т. д." [6].

Три месяца после этого письма он был убит. Про то, как привезли останки Грибоедова в Тифлис, как его хоронили, я имею очень смутные воспоминания. Я была больна в то время, но все же видела похоронную процессию издали, с балкона нашего дома. Говорили тогда, что гроб его держали долго в карантине. По приезде из Таврнза Нина Александровна поселилась со своими

родными уже не в каменном флигеле, а в городе. После того как нечаянно ей открыли правду, она долго хворала. И на нашем доме до самого отъезда в мае 1830 года все как будто тяготел траур. Приезжала раз Нина Александровна в Москву с сестрой своей княгиней Е. А. Дадиан-Мингрельской на коронацию императора Александра II [7], но нам не суждено было свидеться, вскоре после этого она скончалась. С княгиней же Екатериной Александровной Дадиани мы часто виделись впоследствии в Петербурге, после того как она должна была уступить свои владения России, были с ней в самых дружеских отношениях и в переписке до самой ее смерти, последовавшей в Мингрельском замке Зукзыдак.

Мать моя сохранила 9 писем А. С. Грибоедова, которые я, кажется, в 1888 году отдала в Публичную библиотеку. Одно из этих писем 1824 года совершенно незначительное, четыре 1827 года, когда он состоял при князе Паскевиче, описывает военные действия, рвется на свободу и недоволен всем. Три письма 1828 года, когда он был уже назначен послом, но все же был при армии князя Паскевича, тоже описывает военные действия и пишет много про свою невесту, последнее из Тавриза, уже женатый, до смерти за три месяца.

Воспоминания эти я должна диктовать, так как зрение мое ослабло и почерк неразборчив.

Удельная, 11 ноября 1901 г.

Г.А. Рассказ Амбарцума

Наш вазир–мухтар (полномочный посол) был очень добродушный и милостивый человек, — сказал старец-рассказчик, — хотя господин в высшей степени раздражительного характера. В числе лиц, желающих вернуться на родину, были и такие, которые сделались евнухами при дворе Фет–Али–шаха, и такие женщины, которые поступили в шахский гарем. В числе этих последних была одна очень красивая женщина, которая иногда, ночью, тайком приходила к вазир–мухтару в дом, находящийся в квартале Дараваза–Шах–Абдул–Азим (этот дом и до сих пор существует), и умоляла посла выслать ее на родину, в Тифлис. Ее принимали за мусульманку (она была грузинка). Когда узнали об этом, то как шах, так и народ страшно возмутились; подумали, что эта грузинка находится в любовных отношениях с вазир–мухтаром; в глазах же мусульман такой поступок может быть смыт только убийством нарушителя закона.

По шариату, и женщина, и вазир–мухтар должны были быть избиты камнями.

Шах считал себя обесчещенным, а духовенство считало святую религию поруганною. Каждый день на базаре мы слышали, как муллы в мечетях и на рынках возбуждали фанатический народ, убеждая его отомстить, защитить ислам от осквернения "кяфиром". Мы приходили и рассказывали вазир–мухтару, но он только смеялся и не верил тому, чтобы они осмелились что–нибудь подобное сделать. По настоянию наших казаков и телохранителей он только один раз обратился к шаху и заявил о возбуждении народа.

Шах просил быть покойным, говоря, что никто не осмелится ничего сделать.

В 1829 году, в последних числах января, волнение и возбуждение в городе постепенно увеличивались; шах со твоими приближенными и своим гаремом выехал из города поехал в одну из близлежащих деревень.

Мы – курьеры и казаки – постоянно держали наготове наши ружья и пистолеты, но посол считал невозможным какое бы то ни было нападение на посольский дом, над крышей которого развевался русский флаг.

30 января едва забрезжилось, как вдруг послышался глухой рев; постепенно слышались традиционные возгласы: "Эа Али, салават!" (С богом!), исходящие из уст тысячной толпы. Несколько служащих бегом пришли известить о том, что многочисленная толпа, вооруженная камнями, кинжалами и палками, приближается к посольскому дому, предшествуемая муллами и сеидами. Возглас "смерть кяфирам" был слышен очень хорошо. Посол теперь понял опасность: он приказал запереть ворота, всем казакам и курьерам числом около 40 велел стоять позади ворот и охранять дом, а сам вместе с двумя казаками, имея в руках ружье и пистолет, стал перед дверью комнаты. При криках "Эа Али, салават!" и страшном грохоте обрушилась дверь под ударами топоров. Толпа завопила: "Где неверующий вазир–мухтар?" Несколько десятков персидских солдат, пришедших для вида из соседних казарм, моментально скрылись. Казаки героически дрались, постепенно отодвигаясь к комнатам. Когда почти все были избиты и толпа приблизилась к комнатам, посол со мною и вместе с двумя казаками лицом к лицу стали навстречу толпе.

Видя, что наступила последняя минута, я подошел к послу и попросил, чтобы он вошел в комнату, влез в печную трубу и через нее поднялся на крышу дома. Оказалось, что он с места ранил нескольких и из ружья убил несколько десятков персов. Я остановился перед дверью и своим корпусом помешал толпе войти; сильные удары посыпались на мою голову, я упал, но все–

таки произнес: "Вазир–мухтар уже убит, чего вы еще хотите?"

Не найдя никого в комнате, толпа поверила и вышла вон возвестить слух и отыскать труп. В это время кто–то заметил на крыше двух скрывающихся казаков; толпа тотчас взобралась на крышу и убила их камнями; один из мятежников заглянул в дымовую трубу и крикнул: "Вон один кяфир спрятался а печке". В одно мгновение разрушили печку и, извлекши оттуда уже избитое тело (это было тело Грибоедова), подвергли его тысяче ударов. Лежа на месте, я слышал эти удары; меня считали уже умершим, или, быть может, меня спасло от смерти то, что я был одет в платье персидского курьера.

Изуродованный и избитый труп посла вытащили во двор, и быстро все успокоилось...

Когда я очнулся через несколько часов, кругом себя увидел одни развалины, трупы, человеческое мясо и кровь...

Скрылся в доме одного милосердного персиянина, узнал, что целых два дня таскали по улицам трупы посла н казаков вместе с трупами дохлых собак.

Спустя два дня наконец пришел сам шах; сердился, горевал и приказал подобрать трупы.

Я спросил старца Амбарцума:

— По неужели не нашли труп вазир–мухтара?

— Нашли один труп и говорили, что это труп Грибоедова, но бог знает, тот был или нет...

К.К. Боде. Смерть Грибоедова

Постараюсь в этих немногих строках передать те сведения, насколько они сохранились в моей памяти, которые я почерпнул из личных расспросов во время моего пребывания в Персии о смерти Грибоедова в Тегеране 30 января 1829 года.

Не стану здесь разбирать всех причин непопулярности Грибоедова как русского посланника при шахском дворе, приведшей к роковой катастрофе; ограничусь тем, что главная причина состояла в неудовольствии шаха и его сановников против Александра Сергеевича за настойчивость, с которой он требовал выдачи наших русских пленных, укрываемых в гаремах персидских вельмож и во дворце самого шаха, равно как и за открытое покровительство, которое он оказывал тем русским подданным, которые прибегали к его защите.

Наконец враждебно расположенные к Грибоедову люди подстрекнули народ осадить дом посольства и силою вырвать из наших рук укрывающихся в стенах его русских пришельцев. Когда

толпа теснилась около ворот, дерзко требуя выдачи дезертиров своих, как она выражалась, один из конвойных казаков, защищая вход во двор, выстрелом из пистолета убил, как говорят, персиянина. Ожесточенный народ поднял и отнес бездыханный труп на шахский майдан (или дворцовую площадь), куда собралось многочисленное духовенство, разжигая страсти черни на мщение за пролитую мусульманскую кровь. От слов перешло скоро к делу. Народ снова явился еще в большем количестве к дому посланника. Тогда Грибоедов и остальные чины миссии, видя, что дело плохо, приготовились к осаде и заделали все окна и двери; вооруженные и в полной форме, они решились защищаться до последней капли крови. Должно заметить, что близ самого дома русского посольства помещались заложники персидского правительства, бахтиарцы, племени лур, одного из самых буйных и диких племен, населяющих горные местности к югу и западу от Исфагана. Для них этот случай представлял завидную поживу. Как кошки, они перелезли через стены и забрались на плоскую (как всегда в Персии) крышу, просверлили широкие отверстия в потолке и начали стрелять в наших сверху вниз. Между тем толпа ворвалась в ворота и, положив наповал всех казаков, вломилась в дверь. Говорят, что Грибоедов одним из первых был убит пулей из ружья бахтиарца; второй секретарь миссии Аделунг и, в особенности, молодой доктор (имя которого, к сожалению, ускользает из моей памяти) [1] дрались как львы; но бой был слишком неравен, и вскоре все пространство представило взору одну массу убитых, изрубленных, обезглавленных трупов. Александра Сергеевича, вероятно, отличили но его мундиру и внешним украшениям, потому что разъяренная толпа, упившись кровью несчастных русских, повлекла труп нашего посланника по улицам и базарам города, с дикими криками торжества [В мое время еще красовался один персидский серхепг (полковник) в воротнике и обшлагах, черных бархатных с густым серебряным шитьем, снятых, должно быть, с мундира Грибоедова. (Примеч. К. К. Боде.)].

Когда все было кончено и наступила мертвая тишина, явилась на сцену городская стража и военный отряд, присланные будто бы по повелению шаха, для усмирения народа. Это была горькая ирония вслед за ужасной трагедией. Узнав, что труп находится в руках черни, шах приказал отобрать его и уведомить первого секретаря Мальцева, который один из русских спасся каким–то чудом, потому что жил не в посольском доме, а на квартире мехмандаря (т. е. персидского сановника, прикомандированного к миссии), что блюстители порядка успели вырвать тело российского посланника из рук разъяренной черни

и шах желает знать, какое распоряжение сделает Мальцев по этому случаю. Мальцев просил препроводить бренные останки посланника в Тавриз, куда и сам отправился.

Пока эти печальные события происходили в Тегеране, молодая супруга Грибоедова, Нина Александровна, урожденная княжна Чавчавадзе, осталась в Тавризе в полном неведении, ожидая с нетерпением возвращения мужа. Даже когда тревожные известия проникли до Тавриза, никто не решался сообщить о них несчастной женщине, еще в то время беременной. Наконец было поручено одной француженке при дворе Наиб–султана, г–же де ла Мариньер (бывшей лектрисе неаполитанской королевы, младшей сестры Наполеона I), сообщить со всевозможною осторожностию г–же Грибоедовой, что будто бы супруг ее, озабоченный важными делами, не может писать ей; но просит ее выехать в Тифлис, куда и сам за нею немедленно последует. Г–жа Мариньер, исполнив поручение, вызвалась в то же время сопутствовать несчастной. Нина Александровна смиренно покорилась мнимой воле мужа и с стесненным сердцем выехала из Тавриза, но во время пути сердце предвещало ей нечто недоброе, ее смущало странное и таинственное обращение с нею окружающей прислуги. Добравшись до Эривани, она приступила к своей спутнице, умоляя со слезами вывести ее из тяжкого положения и не скрывать от нее всей правды, присовокупляя, что самое тяжелое горе было бы для нее легче переносить, чем мучительную неизвестность [2]. Однако ж весть об ужасной смерти мужа так сильно потрясла ее, что несчастная, одним ударом лишившись обожаемого друга, потеряла и драгоценный залог их любви. Безутешная вдова вернулась обратно под кров своих родителей.

Приведенные здесь сведения были мне переданы самой г–жой Мариньер. Я же имел счастье познакомиться впервые с Ниной Александровной в конце 1837 года в доме графини Симонич, супруги бывшего посланника нашего в Персии, а в 1838 году на обратном пути из России в Персию я опять посетил Тифлис, где имел случай короче оценить всю прелесть души этой редкой женщины. Узнав о желании моем взглянуть на могилу покойного ее супруга, Нина Александровна сама вызвалась быть моим путеводителем. По крутым тропинкам вместе мы добрались пешком до вершины горы, на которой стоит обитель св. Давида. Тут, в пещере, высеченной в дикой скале, поставлен ее заботливой рукой памятник, под которым покоится прах высокоталантливого человека. Мы преклонили колена в безмолвии.

Грибоедов при жизни трудился для славы и вполне достиг ее. Но что в моих глазах ставит Грибоедова даже выше всех его

литературных заслуг, как велики они ни были, это та настойчивость и неустрашимость, с которою он умел поддерживать достоинство русского имени на Востоке. Эти качества повсюду уместны в государственном человеке; но на Западе они могут проявляться без особого опасения, совсем иное на Востоке. Там проявление их часто сопряжено с опасностью для жизни и требует особенного мужества и нравственной силы. Таково было положение нашего посланника в Персии. Имея перед собою для руководства статьи Туркманчайского трактата, в силу которых персидское правительство обязывалось выдавать нам беспрекословно, по востребованию нашему, всех русских подданных, взятых в плен не только в продолжение последней войны, но и прежде, когда персияне делали набеги в наши пределы и уводили в рабство наших кавказских жителей, – Александр Сергеевич не давал потачки ни сановникам персидского двора, ни мусульманским духовным лицам, ни самому шаху, когда одни или другие старались укрывать и разными уловками не выдавать требуемых нашею миссиею русских невольников. Таким образом, он восстановил против себя почти всех влиятельных лиц, окружающих двор "Центра мира" — Кебле–элем, как величают падишаха Ирана, и только нужна была одна искра, чтобы воспламенить все те горючие вещества, которые окружали нашего посланника.

Из приведенного нами рассказа видно, что выстрел казака, защищавшего доступ в жилище посланника, был той искрой, которую так жадно ожидали убийцы Грибоедова.

Отказать в убежище бедным русским подданным на чужбине, искавшим пашей защиты, было бы крайне неполитично, не говоря уже о беззаконности и бесчеловечии такого поступка, следовательно, это было и невозможно для русского представителя в Персии; выдать же их обратно персиянам, когда они поступили уже под наше покровительство, значило обречь их на верную смерть и в то же время покрыть себя вечным позором. Грибоедову не оставалось иного исхода, как отразить силу силою и лечь на месте, защищая святое дело права и человечества. Разбирая роковое событие с этой точки зрения, — а нельзя смотреть на него иначе, — мы приходим к заключению, что заслуги Грибоедова перед лицом всей России истинно велики и достойны всякого уважения; жаль только, что они не были достаточно признаны его современниками. Пусть же беспристрастное, но вместе с тем признательное потомство оценит их как следует.

Нельзя окончить повествование о смерти Грибоедова, не упомянув также об участи его товарищей, которые вместе с ним

пали жертвой злобы персидской черни. Я упомянул выше, что тело Александра Сергеевича было вывезено в Тавриз и оттуда на родину; но остальные убитые, члены миссии и служители, были, по распоряжению персидского начальства, отнесены армянскими жителями Тегерана за город, на гласисе коего за контрэскарпом была вырыта глубокая канава, куда тела их были брошены и потом зарыты землею. В таком положении оставались они, когда несколько лет спустя посольство графа Симонича явилось ко двору Фетх–Али–шаха; но так как посещение наше в Тегеране было только временное, то невозможно было предпринять ничего серьезного для перенесения тел наших погибших соотечественников в более приличное место; так дело оставалось до кончины старого шаха. Когда же Могамед–шах принял бразды правления и русская миссия из Тавриза была переведена в Тегеран, в нас возникла задушевная мысль воздать злополучным товарищам последнюю честь и доставить христианское погребение. Исполнение этого желания последовало, однако ж, не ранее 1836 года, в то время, когда шах выехал со своим двором на летнее кочевье в Эльбурских горах, а миссия наша в урочище Аргованье, у подножия тех же гор. На мою долю выпало завидное, но вместе с тем печальное поручение заняться перенесением бренных останков наших соотечественников в приготовленную для них общую могилу в ограде армянской церкви, внутри города, в шах–абдул–азимском квартале.

Д.А. Смирнов.

Рассказы об А.С. Грибоедове, записанные со слов его друзей

Рассказы С. Н. Бегичева и Б. И. Иона. — Арест Грибоедова по делу 14 декабря. — Дорога с фельдъегерем Уклонским до Петербурга через Москву и Тверь. — Четверостишие Грибоедова о своем заключении. — Искусство Грибоедова очаровывать окружающих. — Прогулки Грибоедова к Жандру из–под ареста по ночам. — Случай с надсмотрщиком. — Оправдание. — Слова императора Николая, сказанные Грибоедову при аудиенции. — Возвращение на Кавказ. — Паскевич ждет Грибоедова в Воронеже. — Предположения Грибоедова о женитьбе на дочери частного пристава. — Деятельное участие Грибоедова в персидской кампании 1827–1328 гг. — Отношения к Аббасу–Мирзе. — Личная храбрость на войне.

I

Любят старики Грибоедова! Очень любят! Целые часы

проходят иногда в толках о нем, в припоминаниях, самых наивных, самых добродушных, согретых искреннею любовью к предмету речи — к Грибоедову. И проходят незаметно. Один — вероятно, в сотый раз — рассказывает другому какой–нибудь случай из жизни покойного Грибоедова, а другой — тоже в сотый раз — слушает с полным вниманием, с любопытством... И вдруг что–нибудь покажется слушателю не так, и он перебивает рассказчика: "Нет, нет, постойте! Вы перепутали". И рассказчик останавливается. И вот начинается спор: "Это было тогда-то" или "это было так-то"... А я, питомец новых идей, гражданин новых поколений, слушаю эти рассказы и споры с голодным вниманием, но — сохрани боже — не с голодным вниманием какого-нибудь беллетриста или фельетонного нравописателя, нет. Я сознаю сам в себе искреннее глубокое чувство любви к Грибоедову, да, во мне это чувство сознательное, могу сказать, искушенное. И слушая то, что через... написать страшно. Неужели перо мое осмелится определить ту меру дней, которая отпущена на земле этим двум благородным созданиям, этим двум старикам. Нет, дай бог им еще счастливых много дней, как сказал наш Пушкин. Да, дай бог.

У Бегичева семейство: только 13 лет старшему сыну, а там все мал мала меньше, как говорит русская поговорка. И надо видеть, какой отец, какой умный, добрый и попечительный отец этот почтенный старик Бегичев. А старик Ион, доктор прав, воспитатель Грибоедова. Этот старик, ученый доктор, немец, теплая и сама в себе замкнутая душа, оплакал как-то, с год, что ли, тому назад, смерть своего попугая. В этой почти детской привязанности не видна ли самая гуманическая природа. И старик Ион написал стихи на смерть своего попугая. Надо видеть их, особенно слышать их говорящими о Грибоедове, чтобы их полюбить. Их позы и фигуры стоят иногда кисти ВанДейка.

1842 года, февраля 27, часов в 10 вечера отправился я к Бегичеву. Я застал его и старика Иона беседующими в кабинете. Приняли меня, как и всегда, ласково. Слово за слово речь зашла о Грибоедове, и я услышал следующее. 14 декабря 1825 года наделало, как известно, много суматохи в России. На Грибоедова, между прочим, тоже пало подозрение правительства. В феврале 1826 года прискакал в Грузию к А. П. Ермолову курьер с повелением арестовать Грибоедова и отправить немедленно в Петербург. Ермолов и Грибоедов, несмотря на различие лет и поста, были связаны тесными отношениями: с глазу на глаз они говорили друг другу "ты". Прискакавший курьер нашел за ужином Ермолова с гостями, в числе которых был и Грибоедов. Они

ужинали запросто, весело и беспечно. Когда доложили Ермолову о приезде курьера, он вышел из–за стола и, прочитавши депешу в другой комнате, возвратился бледный и встревоженный и вызвал к себе Грибоедова. Грибоедов принял полученную Ермоловым весть очень равнодушно. "Ступай домой, — сказал ему Ермолов, — я могу дать тебе только 2 часа свободного времени, сожги все, что можешь". Грибоедов отказался упрямо и решительно, он не сделал ни шагу из квартиры Ермолова и велел принести себе туда из своей квартиры нужные вещи, платье, белье, деньги и прямо из квартиры Ермолова поскакал с курьером в Петербург [1]. Видно, совесть была чиста. И в самом деле совесть его была чиста в этом деле. "Я говорил им, что они дураки" — вот слова Грибоедова, которые всегда повторял Степан Никитич, говоря об отношениях его к заговорщикам [2]. Грибоедов имел удивительную способность влюблять в себя все, его окружающее. Можно сказать смело, что все, что только было около него, любило его. И немудрено: это был такой высокий, чистый, человечественный характер. Еще прежде слыхал я от Бегичева, что товарищи Грибоедова по службе или, может быть, просто люди знакомые, находившиеся так же, как и он, при особе Ермолова, отпуская Грибоедова в Петербург с прискакавшим за ним курьером, крепко–накрепко наказывали этому курьеру [3] довезти Грибоедова цела и сохранна или никогда уже к ним не показываться: этот курьер имел частые поручения в Грузию. Грибоедов, как видно, не очень беспокоился о том, что его ждет в Петербурге, и хотел ехать не иначе, как a son aise [с удобствами (фр.).]. А можно ли было так ехать с курьером, присланным взять его и доставить в Петербург, по подозрению правительства? Однако так было, и Грибоедов ехал a son aise. Он ночевал в Новочеркасске, а какую штуку отшил в Москве, так это, действительно, можно только с грибоедовским характером. Вот она, по рассказу Бегичева. Приехавши в Москву

[4], Грибоедов проехал прямо в дом Дмитрия Никитича в Старой Конюшенной, в приходе Пятницы Божедомской. Он не въехал к Степану Никитичу, вероятно, для того, чтобы не испугать его. Дельно! "В этот самый день, — рассказывал Бегичев, — как Грибоедов приехал в Москву, у меня был обед: съехались родные. Брат Дмитрий Никитич должен был, разумеется, обедать у меня же в обществе родных. Ждали мы его, ждали — нет! Сели за стол. Во время самого обеда мне вдруг подают от брата записку следующего содержания: "Если хочешь видеть Грибоедова, приезжай, он у меня". На радостях, ничего не подозревая, я бухнул эту весть за столом, во всеуслышание. Зная мои отношения к Грибоедову, родные сами стали посылать меня

на это так неожиданно приспевшее свидание. Я отправился. Вхожу в кабинет к брату. Накрыт стол, сидит и обедает Грибоедов, брат и еще безволосая фигурка в курьерском мундире. Увидел я эту фигурку, и меня обдало холодным потом. Грибоедов смекнул делом и сей же час нашелся. "Что ты смотришь на него? — сказал мне Грибоедов, указывая на курьера. — Или ты думаешь, что это так просто курьер? Нет, братец, ты не смотри, что он курьер, он знатною происхождения: испанский гранд Дон–Лыско–Плешивос–ди–Париченца". Этот фарс рассмешил меня своею неожиданностью и показал, в каких отношениях находится Грибоедов к своему телохранителю. Мне стало легче. Отобедали, говорили. Грибоедов был весел и покоен, как нельзя больше. "Ну, что, братец, — сказал он наконец своему телохранителю, — ведь у тебя здесь есть родные, ты бы съездил повидаться с ними". Телохранитель был очень рад, что Грибоедов его отпускает, и сейчас же уехал. Мы остались одни. Первым моим вопросом Грибоедову было удивление, какими судьбами и по какому праву распоряжается он так своевольно и временем, которое уже не принадлежало ему, и особою своего телохранителя. "Да что, — отвечал мне Грибоедов, — я сказал этому господину, что если он хочет довезти меня живого, так пусть делает то, что мне угодно. Не радость же мне в тюрьму ехать". Грибоедов приехал в Москву в 4 часа, около обеда, а выехал в 2 часа ночи. "На третий день, — прибавляет Бегичев, — после проезда Грибоедова через Москву я был у его матери, Настасьи Федоровны, и она с обычной своей заносчивостью ругала Грибоедова: "карбонарий", и то, и се, и десятое. Проездом через Тверь, как я от него узнал после, он опять остановился: у телохранителя была в Твери сестра, и они въехали к ней. К счастью и несчастью Грибоедова, он, войдя в комнату, увидел фортепиано, и, глубокий музыкант в душе, ученый теоретик, он не мог вытерпеть и сел за фортепиано. Девять битых часов его не могли оторвать от инструмента.

В Петербурге Грибоедова засадили в Главный штаб [5]. Скучно стало там сидеть Грибоедову. Может быть, сознание правоты своего дела еще усилило эту томительную однообразную скуку и придало тот резкий и желчный характер, которым так обличается всякое выражение Грибоедова. Вот четверостишие, сказанное им в этом грустном заключении:

По духу времени и вкусу
Я ненавидел слово "раб",
Меня порвали в Главный штаб
И потянули к Иисусу.

Но и тут очарование личного характера Грибоедова не исчезло. Может бить, тут–то оно и проявилось в высшей степени. Прав или нет был Грибоедов, но он все–таки содержался но подозрению, все–таки был арестантом, и боже мой, какое было дело надсмотрщику, этой ходячей машине, едва–едва разумеющей приказания начальства и только разумеющей одно исполнение, — какое ему было дело до личных интересов арестанта. Как мог он почувствовать какое–нибудь участие к одному из многого множества своих клиентов? Вот что об этом времени жизни Грибоедова рассказывал Бегичев: "Я сказал уже, что Грибоедов был глубокий музыкант и, сидя в Главном штабе, он так очаровал своего надсмотрщика, что тот выпускал его всякую ночь подышать северным воздухом, и Грибоедов всякую ночь ходил в дом Жандра ужинать и играть на фортепиано". Бегичев через Жандра послал Грибоедову 1000 рублей. Да, вот до какой степени простиралась привязанность этого надсмотрщика к Грибоедову и до чего доводила Грибоедова томительная скука заключения. Вот еще факт, и пресмешной. Я слышал это от Степана Никитича Бегичева. Грибоедов сидел в одной и той же комнате вместе с тремя, кажется, другими лицами не из сильно заподозренных. Раз Грибоедов так сильно озлобился на свое положение, что громко разругал все и всех, кого только было можно, и выгнал своего надсмотрщика, пустив в него чубуком с трубкой. Товарищи заключенного так и думали, что Грибоедов после этой отчаянной вспышки погиб. И ничего не было вероятнее. Однако что же вышло? До какой степени привязался к нему надсмотрщик? Через полчаса или менее после того, как Грибоедов пустил в него чубуком, дверь полурастворилась, и надсмотрщик спрашивает: "Александр Сергеевич, что, вы еще сердиты или нет?" Это рассмешило Грибоедова.

— Нет, братец, нет, — закричал он ему.

— К вам можно войти?

— Можно.

— И чубуком пускаться не будете?

— Нет, не буду.

Вот что делал и что делалось с Грибоедовым во время его невольного затворничества. Оно продолжалось довольно долго. Грибоедов высидел 4 месяца, пока тянулось следствие. Он был оправдан, и государь призвал его к себе [6] и сказал ему: "Я был уверен, Грибоедов, что ты не замешан в этом деле. Но если тебя взяли наравне с другими, это была необходимая мера. Отправляйся к месту своей службы. Жалую тебя надворным советником [7] и даю для проезда двойные прогоны". Милость государя была чувствительна для Грибоедова. Он попросил у царя

лист о пожаловании его чином [8] и выдаче двойных прогонов

[9]. Государь не отказал в этой просьбе. Где этот лист, куда он девался, неизвестно. Грибоедов отправился к своему посту вместе с Паскевичем, который был послан наблюдать, а впоследствии и сменить знаменитого Ермолова. Обстоятельства случайно поставили Грибоедова между ними. Связанный с Паскевичем узами родства, он был связан с Ермоловым узами дружбы [10]. Зная скрытую цель поездки Паскевича, Грибоедов по врожденному чувству деликатности не желал, по крайней мере, приехать к Ермолову вместе с Паскевичем. Для этого он отправился в деревню к Бегичеву, предварительно сказавши Паскевичу, что догонит его в Воронеже. Грибоедов был твердо уверен, что Паскевич не дождется его, однако тот дождался.

Не знаю, именно сколько времени пробыл Грибоедов в этот проезд у Бегичева. Но, кажется, сюда следует отнести следующий факт. "Я было чуть–чуть не женился в Москве", — сказал Грибоедов Бегичеву. Это немножко удивило Бегичева. И вот Грибоедов рассказывает ему, что встретил в Москве дочь какого–то частного пристава, которая похожа лицом на жену его Анну Ивановну, и даже задумал, было, жениться. Грибоедов очень уважал Анну Ивановну.

Как велико было участие Грибоедова в последней персидской войне (1826–1828 гг.), об этом мы говорить не станем. Жаль, а так всегда делается, что слава принадлежит не главному, а старшему. Впрочем, так и быть должно. Превосходно знавший персидский быт и самый дух народа и даже самую местность, друг Аббас–Мирзы, Грибоедов был правою рукою Паскевича: и не будь этой руки, мы, может быть, увидали бы, что Паскевич не... Все движения к Аббас–Абаду, Эчмиадзину и даже к самой Эривани были подвигнуты решительностью Грибоедова, который беспрестанно, так сказать, толкал вперед Паскевича, не знавшего ни персиян, ни местности. Вот пример. Когда Аббас–Мирза затворился в Эривани, Паскевич, зная личные отношения Грибоедова к персидскому наследнику послал Грибоедова к Аббас–Мирзе с такого рода мирными предложениями, на которые последний не согласился Что же вышло? Грибоедов увидел, в каком положении находилась Эривань; возвратись, настоял на том, чтобы двинуться к ней, обещая успех верный. Эривань была взята и Паскевич получил титло Эриванского [11].

Об отношениях Грибоедова к Аббас–Мирзе должно сказать, что наследник до такой степени привязался к Грибоедову, что мешал даже ему заниматься делами, или беспрестанно требуя его к себе, или сам приходя к нему. "Мне нет другого средства, как сказаться больным, чтобы заниматься", — говорил Грибоедов

Иону.

Многие ли также знают о хладнокровной храбрости Грибоедова. Доктор Ион мне сказывал, что Паскевич в письмах своих в Москву жаловался, что "слепой (Грибоедов был очень близорук), не внимая никаким убеждениям, разъезжает себе в первых рядах под пулями".

II

2 марта 1842 г.

Свидание с доктором прав Б. И. Ионом. — Дуэль из–за танцовщицы Истоминой Шереметева с гр. Завадсвским. — Причина дуэли. — Ночной визит Истоминой к Завадовскому и Грибоедову при содействии последнего. — Вмешательство Якубовича. — Описание дуэли на Белковом поле. — Смертельная рана Шереметева. — Слова Каверина. — Угроза Якубовича. — Встреча Грибоедова с Якубовичем в Тифлисе. — Дуэль. — Грибоедов и Якубович ранены. — Причины катастрофы 30 января 1829 г. — Укрывательство в посольском доме русской подданной. — Лакеи Грибоедова и персидские женщины. — Самозащита Грибоедова перед смертью. — Встреча с Булгариным.

Это было в 1817 году. Истомина была известная танцовщица на петербургской сцене. Как все театральные героини, а тем более балетные божества, Истомина имела поклонников и обожателей. Счастливейшим из них был Вася Шереметев (не граф). Этому Васе, traditur [Говорят (лат.).], досталась она intacta [нетронутая (лат.).]: пусть так, но дело вот в чем. Грибоедов и Ион жили вместе. Ион в это время сделался директором немецкого театра в Петербурге и переселился куда–то поближе к театру. Грибоедов переехал к Завадовкому. Истомина бывала часто в квартире Грибоедова вместе со своим обожателем, и все трое обходились en ami [по–дружески (фр.).]. Грибоедов и не думал ухаживать за Истоминой и метить на ее благосклонность, а обходился с нею запросто, по–приятельски и короткому знакомству. Переехавши к Завадовскому, Грибоедов после представления взял по старой памяти Истомину в свою карету и увез к себе в дом Завадовского. Как в этот же самый вечер пронюхал некто Якубович, храброе и буйное животное, этого не знают. Только Якубович толкнулся сейчас же к Васе Шереметеву и донес ему о случившемся, прибавляя, что Грибоедов привез Истомину к Завадовскому и, стало быть, для него хлопочет. Пьяные, прикатили в дом к Завадовскому Якубович с Шереметевым, завязалась ссора, и дело дошло до картели. Завадовский и Шереметев должны были стреляться. На место дуэли вместе с Завадовским поехали

Грибоедов, Ион и еще кое–кто. Барьер был на 12 шагах. Первый стрелял Шереметев и слегка оцарапал Завадовского: пуля пробила борт сюртука около мышки. По вечным правилам дуэли Шереметеву должно было приблизиться к дулу противника еще на пять шагов. Он подошел. Тогда многие стали довольно громко просить Завадовского, чтобы он пощадил жизнь Шереметеву. "Я буду стрелять в ногу", — сказал Завадовский. "Ты должен убить меня, или я рано или поздно убью тебя", – сказал ему Шереметев, слышавший эти переговоры. "Chargez mes pistolels" [Зарядите мои пистолеты (фр.).], — прибавил он, обращаясь к своему секунданту. Завадовскому оставалось только честно стрелять по Шереметеву. Он выстрелил, пуля пробила бок и прошла через живот, только не навылет, а остановилась в другом боку. Шереметев навзничь упал на снег и стал нырять по снегу, как рыба. Видеть его было жалко. Но к этой печальной сцене примешалась черта самая комическая. Из числа присутствовавших при дуэли был Каверин, красавец, пьяница, шалун и такой сорвиголова и бретер, каких мало. Он служил когда–то адъютантом у Бенигсена и проказил в Гамбурге до того, что был целом городу и околотку известен под именем "красного гусара". Бенигсен должен был после спровадить эту удалую голову, потому что от нее никому житья не было. Когда Шереметев упал и стал в конвульсиях нырять по снегу Каверин подошел и сказал ему прехладнокровно: "Вот те, Васька, и редька!" Пуля легко была вынута тут же припасенным медиком. Якубович взял эту пулю и, положив ее в карман, сказал Завадовскому: "Это тебе". Шереметев прожил после дуэли немного более суток. Он непременно хотел видеть Грибоедова, и когда тот приехал к нему, То Шереметев просил у него прощения и помирился с ним. Отец Шереметева, зная распутную жизнь сына, объяснил государю, что ожидал своему сыну подобного конца, и просил простить всех участвовавших в этом деле. Государь простил всех, но поджога Якубович был сослан на Кавказ. Еще до отъезда он в разговорах с другими грозил, что Грибоедову эта шутка не пройдет даром. Судьба велела Грибоедову встретиться с Якубовичем на самом, так сказать, нервом шагу в Тифлисе, потому что очень скоро после этого дела Грибоедов был там, отправясь на службу. Только что он приехал в Тифлис и вошел в какую–то ресторацию, как чуть ли не на лестнице встретился с Якубовичем. Грибоедов сказал ему, что слышал об его угрозах, и просил разделки. Они стрелялись. Якубович был легко ранен. Грибоедову пуля пробила ладонь левой руки близ мизинца. После, чтобы играть на фортепиано, он должен был заказать себе особую аппликатуру.

Причина ужасной, мученической смерти Грибоедова все еще остается непроницаемой тайной. Убили русского посланника – и пусть его убила азиатская чернь, все-таки это факт небывалый. Между условиями мира, заключенного Россией с Персией, было следующее: всем русским, желающим возвратиться в отечество, персидское правительство должно было давать свободный пропуск без малейшей задержки и насилия. В числе жен одного персиянина была русская, которая пожелала возвратиться на родину. Персиянин не пускал ее. Она ушла от него, и Грибоедов принял ее в посольский дом. В народе диком это возбудило негодование, которое, однако, держалось скрытно, в состоянии глухого возмущения, до следующего случая. Раз в базарный день лакеи Грибоедова затронули что–то персидских женщин. Искра попала в порох. Пошла резня. Приступили к дому Грибоедова. Он, видя опасность кинулся навстречу бунтующей черни с пистолетом и ятаганом, но, увидевши превосходство целой массы, скрылся и заперся в какой–то беседке вместе с несколькими русскими. Беседку подожгли. Разломали ли у этой беседки двери, растворил ли их сам Грибоедов — неизвестно. Известно только, что когда приспел отряд шаховой гвардии под начальством капитана для усмирения черни, Грибоедов и все русские, в том числе 150 человек казаков, оставлявших почетный караул Грибоедова, погибли. Щах наложил на двор трехдневный траур. Хозрев–Мирза, как известно, был в России для личного объяснения с государем, но Грибоедова уже не стало... [12]

———

Через год после приезда в Петербург я встретился (19 ноября 1842 года) с Булгариным у Межевича, к которому приехал обедать. Булгарин тут не обедал, он пробыл какой–нибудь час и уехал. Но в продолжение этого часа мы говорили о Грибоедове. Мы сидели в кабинете Межевича. Свеча стояла недалеко от стены, где висел портрет Грибоедова. Булгарин, ходя по комнате, взял свечу и поднес ее к портрету. "Вам это лицо должно быть хорошо знакомо", – сказал я ему. Он, разумеется, отвечал утвердительно. Цельного не было ничего. Обращу внимание на главное в разговоре моем с Булгариным, который вскоре после смерти Грибоедова назвал себя его другом. Доселе я думал, что существует только один автограф "Горя от ума" у Бегичева. Теперь нашелся еще другой — у Булгарина. Межевич, передавая мне это известие, сказал, что на этом автографе рукою Грибоедова написано: "Тебе, мой Фаддей, отдаю мое Горе"[13].

Существование этого автографа у Булгарина подтверждено мне им самим при этой нашей встрече. Кроме автографа "Горя от ума", по словам Булгарина, у него находится множество разных бумаг, сооственноручных Грибоедова бумаг, которые напечатать невозможно. Булгарин очень верно выразился, сказав, что Грибоедов родился с характером Мирабо. Рассмотрите глубже эти слова, и в основании их вы откроете истину. Булгарин не читал, как мне сказывал, биографии Полевого. Он презирает Полевых, как это можно видеть из слов его, и отрицает их знакомство с Грибоедовым, "человек прошелся как-то с ним (Кс. Полевым) по саду... а они уж и пишут", — сказал он насмешливо. Портрет, приложенный при издании Полевого, списан, по словам Булгарина, с портрета, находящегося у Марии Сергеевны Дурново, а этот последний с портрета, находящегося у Булгарина [14]

III

28 апреля 1858 г.

Первое знакомство с Жандром. – Внешний вид сенатора. — "Притворная неверность". — Впечатление на публику от ареста Грибоедова. — Жандр о ночных визитах к нему арестованного Грибоедова. — Новые подробности ареста. — Участие А. П. Ермолова. — Похищение пакета с бумагами Грибоедова через М. С. Алексеева. — Участие караульного офицера. — Содержание бумаг. — Прогулки днем по Петербургу арестованного Грибоедова. — Участие Ивановского. — Обход заключенных в Главном штабе генералом Потаповым. — Грибоедов со штыком часового у Жандра. — Объяснение дружбы Грибоедова с Булгариным. — Новые подробности смерти Грибоедова. — Слова Грибоедова при назначении посланником. — Последние проводы его из Петербурга. — Эпиграмма на М. Дмитриева. — Совет Жандра познакомиться с И. И. Сосницким, и П. А. Каратыгиным. — Об увлечении Грибоедова Телешевой. — Покупка автором "Русской Талии" и "Сына отечества" за 1825 год. — Болезнь Смирнова.

28 апреля, часов около 10 утра, я в первый раз позвонил у двери сенатора Андрея Андреевича Жандра, вслед за тем отдал отворившему мне человеку, для передачи сенатору, рекомендательное о мне письмо Степана Никитича Бегичева и не более полуторы минут ждал приема: боковая из швейцарской дверь отворилась... "Пожалуйте". Я вошел в кабинет. Очень понятно, почему я был принят так скоро: в письме Степана Никитича, которое было доставлено мне стариком несколько

месяцев тому назад незапечатанное, находилось благодетельное для меня выражение, отворявшее мне все двери: "Родственник Грибоедова", и, кроме того, следующие, очень мне памятные строки: "Я знаю Смирнова давно и даже позволил ему снять копии со всей переписки со мной Грибоедова. Сообщишь ли ты ему что–нибудь или нет — твоя воля, но за честность его побуждений и характера я вполне ручаюсь". Бегичев подобных слов не напишет даром.

У самых дверей кабинета меня встретил высокий, очень высокий, сухой, как скелет, старик, одетый в узенькое темно–коричневого цвета пальто, которое только увеличивало или, по крайней мере, выказывало всю его худобу. Голова у этого старика редькой, корнем вверх, лицо все в морщинах, маленькие серые глаза смотрят умно и серьезно, и вся фигура была бы строгая и серьезная, если бы ее не смягчала ласковая, добрая улыбка.

Я отрекомендовался. Жандр дружески протянул мне руку, усадил меня в громадные, старофасонные, может быть, настоящие "вольтеровские" кресла и начал читать письмо.

— Давно ли видели вы Степана Никитича? — обратился он ко мне с вопросом, окончивши чтение.

— Прошлой осенью. Я прожил у него более недели в его тульской деревне Екатерининском.

— Здоров он?

— По крайней мере, при мне был здоров.

— По–нашему... — старик улыбался. — Мы с ним недалеко друг от друга ушли: ему должно быть...

— 72 года, — докончил я.

— А мне скоро 70. Мы перед вами, людьми нового поколения, похвастать можем. Я, например, несмотря на мои годы, никак не могу пожаловаться на здоровье: я человек сухой, легкий, воздержный, редко бываю болен. Всякий божий день я иду из Сената пешком; разумеется, за мной едет карета... на всякий случай; оно лучше, знаете. Давно вы приехали?

— Вчера утром.

— Надолго?

— Как бог даст. Цель моей поездки уже известна вашему превосходительству из письма Степана Никитича. Если позволите, я расскажу вам ее коротко, но несколько подробней.

Я сказал все, что мне было нужно, и кончил словами: "Многое зависит от вашего превосходительства. Я не скрываю от вас, что вы были одной, и, может быть, даже главной, целью моей поездки. Позвольте мне надеяться, что вы не откажете мне в содействии..."

— Не думаю, чтобы мое содействие принесло вам большую

пользу... Меня слегка покоробило.

— У меня нет ни одной строки Грибоедова... Было одно письмецо, да и то выпросил Булгарин. Но я очень рад с вами познакомиться, надеюсь, что мы будем видаться с вами часто...

Я поклонился.

— И я охотно буду вам рассказывать о Грибоедове все, что знаю, и все, что помню.

"Это едва ли еще не лучше", – подумал я.

— Я всякий вечер, начиная с 8 часов, дома. Когда хотите, милости просим, всегда вам рад.

И после этой речи, которую я мог принять за вежливым образом сказанное "теперь прощайте", старик, вспомнивши о Грибоедове по поводу общей их комедии "Притворная неверность", разговорился и проговорил более получаса.

— Не можете ли по крайней мере вы, ваше превосходительство, оказать не только мне, но и всей русской публике следующую важную услугу – отметить в "Притворной неверности" то, что принадлежит собственно Грибоедову?

— Нет, не могу... Давно было, много с тех пор воды утекло... [15]

И тут, яснее обыкновенного, показалась на губах старика добрая улыбка.

Это был мгновенный, но ясный луч, осветивший мне личность этого человека. Я понял, с кем имею дело.

Все, что рассказывал мне тут, утром, Андрей Андреевич, я совокупляю с рассказами его в вечернее мое посещение того же дня. Да, я был у него в тот же день вечером, потому что по тону и общему характеру приема, мне сделанного Жандром, я почел себя вправе в тот же день воспользоваться данным мне позволением — посещать его, когда мне угодно, после восьми часов вечера. Искушенье было слишком велико: друг Грибоедова, много о нем знающий, да к тому же от угла Торговой и Мастеровой [16], где моя квартира, — рукой подать до угла Грязной и Садовой, где он живет, стоит только переехать на лодке Фонтанку.

Может быть, я не запишу обоих наших разговоров, и утреннего, и вечернего, в порядке и последовательности, но уверен, что не упущу из них ничего главного.

— Вы были в Петербурге, ваше превосходительство, когда привезли сюда Грибоедова как декабриста?

— Да, в Петербурге.

— Степан Никитич, и не один раз, говорил мне... Но позвольте прежде этого другой и очень важный для меня, да и не для одного меня, вопрос; скажите, какое впечатление произвел на публику арест Грибоедова? Это обстоятельство гораздо важнее,

нежели кажется с первого поверхностного взгляда, и ваше на этот раз показание вполне драгоценно.

"Угол падения, — подумал я в эту минуту геометрической истиной, — не в одном вещественном, но и в нравственном мире равен углу отражения".

— Огромное, — ответил мне Жандр, смотря на меня прямо, как бы желая "вразумить" меня. — Огромное, — повторил он. — По городу пошла молва, толки: "Грибоедова взяли, Грибоедова взяли".

— А, — сказал я, не скрывая того отрадного чувства, которое овладело мной в эту минуту, чувства, в котором была смесь и радости, и какой–то гордости за человека, которому чужда теперь всякая гордость, но память которого люблю я так сильно. — Стало быть, имя было слишком громко, слишком народно.

— Еще бы! Такие ли я вам еще на этот раз чудеса расскажу. Однако вы начали и не кончили: что же вам говорил Степан Никитич?

— Он говорил мне, и, повторяю и вместе прошу вас заметить, не один раз, что Грибоедов, которого засадили в Главный штаб, всякую ночь приходил оттуда к вам.

— Совершенная правда. Всякую ночь приходил, ужинал или пил чай и играл на фортепиано. Последнее–то и было его отрадой: вы, конечно, знаете, что он был замечательный музыкант – музыкант не только ученый, но страстный. Он возвращался от меня в свою конуру или поздно ночью, или на рассвете.

— Да как же, боже мой, все это делалось? Слышишь и ушам не веришь. Между тем слышишь все это от людей, в словах которых нет никакой возможности сомневаться.

— Делалось, а потому и делалось, что Грибоедов имел удивительную, необыкновенную, почти невероятную способность привлекать к себе людей, заставлять их любить себя, именно "очаровывать". Я не знаю, как Степан Никитич рассказывал вам историю его ареста, но расскажу ее вам в свою очередь и в доказательство всей справедливости слов, сейчас мной сказанных. Вы знаете, что тогда он служил при Ермолове и взят он был во время какой–то экспедиции, в каком–то местечке, имени которого не вспомню.

— Я вам помогу, ваше превосходительство: он был взят в Екатериноградской станице.

— Кажется, что так. Подробности его ареста очень любопытны и характеристичны именно как доказательство той привязанности, которую умел внушать к себе Грибоедов. Когда к Ермолову прискакал курьер с приказанием арестовать его,

Ермолов, — заметьте, Ермолов, человек вовсе не мягкий, — призвал к себе Грибоедова, объявил ему полученную новость и сказал, что дает ему час времени для того, чтобы истребить все бумаги, которые могли бы его скомпрометировать, после чего придет арестовать его со всей помпой — с начальником штаба и адъютантами. Все так и сделалось, комедия была разыграна превосходно. Ничего не нашли, курьер взял Грибоедова и поскакал.

— Извините, Андрей Андреевич, что я перебью вашу речь рассказом об одной подробности, которая относится именно к этой минуте и которую я слышал от Степана Никитича. Она только прибавляет к доказательствам того, что и вы хотите доказать, то есть как все любили Грибоедова. Когда Ермолов сдал его с рук на руки курьеру, то сослуживцы Грибоедова обратились к этому курьеру со следующим, как говорится, "наказом", что если он не довезет Грибоедова до Петербурга цела и сохранна, то пусть уж никогда ни с одним из них не встречается, ибо сие может быть ему вредно.

— Это очень вероятно. Продолжаю мой рассказ. С Грибоедовым были не все его бумаги, но значительная часть их находилась в крепости Грозной. Ермолов должен был дать предписание коменданту захватить эти бумаги, запечатать и передать пакет курьеру. Все было исполнено. Курьер, Грибоедов и пакет благополучно прибыли в Петербург в Главный штаб [17]. Слух об аресте Грибоедова распространился... Через несколько дней после этого ко мне является один, вовсе мне до того времени не знакомый человек, некто Михаил Семенович Алексеев [18], черниговский дворянин, приносит мне поклон от Грибоедова, с которым сидел вместе в Главном штабе, и пакет бумаг, приехавших из Грозной. Как же все это случилось? Грибоедов, когда его привезли, успел какими–то судьбами сейчас же познакомиться с Алексеевым, который сказал ему, что его в самом скором времени выпустят, потому что он взят по ошибке, вместо родного брата своего, екатеринославльского губернского предводителя. Грибоедов воспользовался этим обстоятельством отлично: в пять минут очаровал Алексеева совершенно, передал ему пакет, сказал мой адпес и просил доставить этот пакет ко мне. Алексеев все исполнил свято.

— Еще раз виноват, Андрей Андреевич. Вы мне позволите пополнить ваш рассказ?

— Сделайте милость. Иное я мог забыть, а другое могу и не знать.

— Вот, со слов Степана Никитича, обстоятельство, которое вполне поясняет, каким образом пакет, бывший у курьера и уже

составлявший, таким образом, казенную собственность, мог вдруг очутиться в руках самого Грибоедова. Курьер сдал и самого Грибоедова, и пакет караульному офицеру. Этот офицер был некто Сенявин [19] — сын знаменитого адмирала, — честный, благородный, славный малый. Принявши пакет, он положил его на стол, вероятно, в караульной комнате, в которой на ту пору мог находиться и Алексеев, как человек, уже свободный от всякого подозрения. Сенявин не мог не видеть, как Грибоедов подошел к столу, преспокойно взял пакет, как будто дело сделал, и отошел прочь. Он не сказал ни слова: так сильно было имя Грибоедова и участие к нему.

— И должно быть так. Повторяю вам, что я мог кое–что и забыть, но если вам рассказывал Степан Никитич, так сомнения никакого быть не может. Далее. Этот добрый и славный человек Алексеев бывал у меня и после несколько раз; передавая же мне пакет, он вместе с тем передал мне приказание Грибоедова — сжечь бумаги. Однако же я на это не решился, а только постарался запрятать этот пакет так, чтобы до него добраться было невозможно, — я зашил его в перину. Когда Грибоедова выпустили, мы пакет достали и рассмотрели бумаги; в них не оказалось ничего важного, кроме нескольких писем Кюхельбекера. Но история грибоедовского сидения этим далеко не кончается. Я вам говорил уже, что слух об его аресте распространился быстро. Вдруг доходят до меня такие слова: "Помилуйте, — говорит один, — что это за вздор в городе болтают, будто бы Грибоедов взят: я его сейчас видел на Невском проспекте". — "И я тоже", — говорит другой. "А я видел в Летнем саду", — говорит третий. Что же вышло? Содержавшихся в Главном штабе возили допрашивать из штаба в Петропавловскую крепость. Одним из помощников главного правителя дел военно–судной комиссии был некто Ивановский.

— Так, так, — невольно перебил я сенатора. — Я это все знаю, но позвольте просить ваше превосходительство продолжать.

— Этот Ивановский так полюбил Грибоедова...

— Что даже, может быть, спас его, — опять, и что совсем не было слишком вежливо, перебил я сенатора.

— Спас — это слишком много, потому что с тех пор, как бумаги Грибоедова, которые могли бы его компрометировать, пропали если не с лица земли, так, по крайней мере, из глаз правительства, так что и концы в воду, наш молодец выходил из воды сух и из огня невредим...

— То–то что не совсем, ваше превосходительство. Точно, что едва ли на этот раз удалось кому такое счастье, как Грибоедову, но он сам чуть–чуть не испортил всех выгод своего положения.

— Как же это? Расскажите, пожалуйста.

— Рассказываю, ваше превосходительство, не я, а Степан Никитич. Вот как было дело. На первом же допросе Грибоедов начал было писать: "В заговоре я не участвовал, по заговорщиков всех знал, и умысел их был мне известен"... и проч. в таком роде. Ивановский, видя, что Грибоедов сам роет себе яму, подошел к столу, на котором он писал, и, перебирая какие–то бумаги, как будто что–то отыскивая, наклонился к нему и сказал ему тихо и отрывисто: "Александр Сергеевич, что вы такое пишете... Пишите "знать не знаю и ведать не ведаю" [20]. Грибоедов послушался.

— Непременно должно быть так, – отвечал Жандр, – и мало того, что послушался, но еще принял в своем отзыве тон обиженного: "Я ничего не знаю. За что меня взяли? У меня старуха мать, которую это убьет, а может быть, уже и убило", и проч. Тон этого отзыва подействовал совершенно в пользу Грибоедова: судьи заключили, что если человек за всю эту проделку чуть–чуть не ругается, так, стало быть, он не виноват.

— Однако, Андрей Андреевич, как же это его видели на Невском и в Летнем саду?

— Все по милости того же Ивановского. Я уже говорил вам, что их возили из штаба допрашивать в крепость; там, по окончании допроса, Ивановский всегда говорил курьеру: "Я сам отведу Александра Сергеевича", и они возвращались в штаб через Неву, Летний сад и Невский проспект — это, вот видите, для прогулки. Да это ли одно было. Раз дежурный генерал Потапов обходит ночью комнаты заключенных; к Грибоедову стучались, стучались, — нет ответа. "Не прикажете ли выломать дверь?" — спрашивает адъютант. "Нет, — отвечает Потапов, — не надо, верно, он крепко заснул!" Он очень хорошо знал, что Грибоедова не было. А то раз является ко мне со штыком в руке. "Откуда ты это взял?" — спрашиваю я с изумлением. "Да у своего часового". — "Как у часового?" — "Так, у часового". — "По крайней мере, зачем?" — "Да вот пойду от тебя ужо ночью, так оно, знаешь, лучше, безопасней". — "Да как же тебе часовой–то дал?" — "Вот еще. Да если бы я им велел бежать с собой, так они бежали бы... Все меня любят", — добавил он. Но в начале его заключения было одно прекомическое происшествие: пишет он из своего заключения Булгарину.

— Ваше превосходительство.

— Что прикажете?

— Сделайте божескую милость!

— Какую угодно.

— Объясните мне, пожалуйста, связь такого благороднейшего, идеально благороднейшего человека, как мой

покойный дядя, с таким страшным подлецом, как Булгарии. Я никогда не мог достаточно разъяснить этого загадочного пункта в биографии Грибоедова.

— У Булгарина, — отвечал мне Жандр очень положительно, — была к Грибоедову привязанность собаки к хозяину. Вы это сейчас увидите. Грибоедов пишет ему из штаба: "Любезная Пчела. Я в тюрьме. Принеси мне таких–то и таких–то книг". Кто не знает, что Булгарин трус страшный, однако ведь не осмелился ослушаться приказа Грибоедова, пришел к штаб, принес книги, дрожит со страху, его оттуда чуть не в шею гонят, он стоит, нейдет прочь, просит, молит, и добился–таки того, что передал книги [21].

— Для первого свидания, в которое мне хотелось бы разрешить самые темные для меня и интересные вопросы, я приготовил вам, Андрей Андреевич, еще один.

— Например.

— Как вам известны подробности смерти дяди?

— Расскажите сперва вы мне, как они вам известны. Я рассказал, что было мне на этот раз известно, что к Грибоедову, как посланнику, явилось несколько христианок, армянок или грузинок, которые объявили, что их против воли удерживают мужья их в Персии, что они отдаются под его покровительство. Грибоедов их принял, из этого возродилось народное неудовольствие и, наконец, бунт, жертвой которого он и сделался.

— Тут есть частица правды, но еще не вся правда. Если хотите прочесть полное и подробное описание и причин, и происшествий всей этой печальной катастрофы, то ищите его в "Annales des voyages" в 1829 году или в 1830 году [22]. На эту статью указал мне Ермолов.

— Позвольте записать: со мной нет ни карандаша, ни бумаги.

Жандр подал мне и то, и другое. Я положил бумагу, чтобы было повыше, на порядочную груду книг, правильно, симметрически положенных одна на другую, которые, с разными другими столь же правильно расположенными вещами, находились на маленьком столике, стоявшем близ софы, на которой сидел сенатор. Записывая, я очень немного, но все–таки несколько нарушил строгость и стройность симметрического порядка небольшой книжкой груды. Сенатор, не давая мне этого заметить, оправил все по прежнему порядку. Я едва удержал улыбку, увидевши в старике моего собрата — педанта в деле кабинетного порядка.

— Не одни женщины, отдавшиеся под покровительство его как посланника, – продолжал Жандр, — были причиною его

смерти, — искра его погибели тлелась уже в Персии прежде, нежели он туда приехал. Разговаривая с графом Каподистриа [23], который заведовал всеми восточными нашими делами, хотя министром иностранных дел и был граф Нессельроде, Грибоедов сказал, что нам в Персии нужны не charge d'affaires [поверенный в делах (фр.).], а лицо, равное английскому представителю, то есть полномочного министра, envoye extraordinaire et ministre plenipotentiaire. Это одной степенью ниже главной степени дипломатического агента, посла, ambassadeur. Может быть, это и действительно было так нужно, а главное, что мне очень хорошо известно, Грибоедов думал, высказавши такое мнение, отклонить всякую возможность назначения его самого на это место, думал, что и чин его для того еще мал. Чин ему дали и на место назначили. "Нас там непременно всех перережут, – сказал он мне, приехавши ко мне прямо после этого назначения. — Аллаяр–хан мне личный враг. Не подарит он мне Туркманчайского трактата".

— Те же самые слова, — сказал я, — приводит Степан Никитич в своей биографической записке.

— Грустно провожали мы Грибоедова, — продолжал Жандр, как бы не слыхавши моего замечания. — До Царского Села провожали его только двое: Александр Всеволодович Всеволожский [21] и я. Вот в каком мы были тогда настроении духа: у меня был прощальный завтрак, накурили, надымили страшно, наконец толпа схлынула, мы остались одни. Поехали. День был пасмурный и дождливый. Мы проехали до Царского Села, и пи один из нас не сказал ни слова. В Царском Селе Грибоедов велел, так как дело было уже к вечеру, подать бутылку бургонского, которое он очень любил, бутылку шампанского и закусить. Никто ни до чего не дотронулся. Наконец простились. Грибоедов сел в коляску, мы видели, как она завернула за угол улицы, возвратились с Всеволожским в Петербург и во всю дорогу не сказали друг с другом ни одного слова — решительно ни одного.

И у нас с Жандром вышло тут довольно продолжительное молчание.

— Скажите, пожалуйста, — начал я, чтобы прервать его, — кому принадлежат эти две замечательные эпиграммы, современные появлению "Горя от ума"?

— Какие? Я их не знаю или забыл.

— Вот они:

Собрались школьники, и вскоре Михаил Дмитриев рецензию скропал, В которой ясно доказал, что "Горе от ума" не Дмитриева горе.

Жандр засмеялся.

— Я этого не знал... Зло, очень зло и умно.

— А вот другая, на того же злосчастного Дмитриева.

Михаил Дмитриев умре.
Считался он в 9–м классе,
Был камер–юнкер при дворе
И камердинер на Парнасе [25].

— Ну, эта мне нравится меньше, уже потому что в ней есть неправильности языка: говорится умре, а не умре. Ведь я пурист...

Старик улыбался.

"Знаем мы это про вас и без вас, pater conscripte [отец сенатор (лат.).]", — подумал я.

— Как бы то ни было, они любопытны, как и все, относящееся к Грибоедову, как все живые и мертвые о нем материалы.

— Кстати, о живых материалах, — начал Жандр. — Вам надо познакомиться здесь с несколькими лицами, которые могут порассказать вам кое–что о Грибоедове, например, с Иваном Ивановичем Сосницким. Это прелюбопытный человек, — он много на своем веку народу перевидал, и, как человек умный, перевидал не без толку. Я знаю, что они были знакомы с Грибоедовым.

— Я имел это намерение.

— Да еще познакомьтесь с Петром Андреевичем Каратыгиным. Этот человек будет вам полезен в другом отношении: отец его, Андрей Васильевич, был более 30 лет режиссером при театре, собирал и хранил афиши всех спектаклей, – это вам для истории представлений грибоедовской комедии.

— Благодарю вас, Андрей Андреевич, за эти указания. Вы, в свою очередь, вероятно, поинтересуетесь видеть один из принадлежащих мне портретов дяди и его "Черновую тетрадь".

— Об этом нечего и спрашивать.

— Эта "Черновая" — сущий клад: чего и чего в ней нет! И путешествия, и мелкие стихотворения, и проекты; два отрывка из "Грузинской ночи", ученые заметки, частные случаи петербургского наводнения.

— А, — сказал Жандр при последнем моем слове, — это любопытно: я знаю, что Грибоедов ездил осматривать Петербург после наводнения с тогдашним генерал-губернатором Милорадовичем.

— Как, с Милорадовичем? — спросил я с видимым удивлением и нисколько не думая скрывать невольную улыбку.

— А... вы смеетесь, — заметил мне Жандр, тоже улыбаясь.

— Да и вы смеетесь, ваше превосходительство.

— Стало быть, вам многое на этот раз известно?

— Не только многое, но все, да еще с такой подробностью, какой вы не ожидаете.

— Я предполагал, что Грибоедов с Милорадовичем были враги из–за Телешевой.

— Нет, они были только соперники [26].

— Впрочем, счастливым был дядя: он об этом, совсем не церемонясь, говорит довольно подробно в своих письмах к Степану Никитичу. Некоторые строки заставили меня препорядочно хохотать. А хорошенькая была эта Телешева. Знаете ли, Андрей Андреевич, что она представляется мне каким–то скоро пронесшимся, но блестящим метеором в судьбе моего дяди, чем–то чрезвычайно поэтическим и невыразимо грациозным.

Тут Жандр посмотрел на меня не без удивления: я говорил очень серьезно.

—Да откуда, – начал он, наконец, — знаете вы, что Телешева была хорошенькая?

—Прехорошенькая, хоть она и насолила мне.

—Это еще что такое?

—У меня есть ее портрет в "Русской Талии", драматическом альманахе Булгарина [27]. Это библиографическая редкость. Теперь нужно вам сказать, как насолила мне Телешева. Я собирал, всеми правдами и неправдами, с большими расходами, все сочинения дяди, рассеянные там и сям по разным альманахам и журналам. Все это было, разумеется, до полного, то есть неполного собрания его сочинений Смирдина. Прихожу я раз – это было в Москве, летом 1852 года, — на знаменитый Толкучий рынок к какому-то букинисту. "Нет ли у вас, батюшка, какого-нибудь старья; я человек заезжий... скучно, читать нечего. Не задорожитесь, — куплю охотно. Нет ли у вас, например, альманахов? Прежде они на русскую землю дождем сыпались". — "Есть", — говорит и выкинул их мне целый ворох. Перебираю... "Русская Талия". Этого-то нам и нужно. Я отобрал штуки три-четыре да и купил по 25 коп. сер. за штуку. Тут, как изволите видеть, я надул букиниста, но зато после букинист гораздо жесточе надул меня. Я хотел поддеть его точно на такой же крючок с "Сыном отечества" за 1825 год, в котором, как вам известно, помещены стихи Грибоедова — Телешевой. Рыбак рыбака видит в плесе издалека: букинист, должно быть, заметил мою физиономию и не без основания заключил, что я, должно быть, из книжных авантюристов. Спрашиваю "Сын отечества" за 1825 год. "Здесь, — говорит, — нет, а надо порыться в палатке".

Мы пошли в палатку. Я не знаю, знаете ли вы, ваше превосходительство, что такое книжные палатки в Москве на Толкучем рынке? Они над самыми рядами толкуна, наверху, под самой, заметьте, железной крышей, под которой ничего не подложено, что хотя бы несколько умеряло невыносимый зной от нее в летний день, — ни дранки, ни тесу, — а день, в который я попал под эту крышу, в Душную палатку, в которой злодей букинист, перебрасывая связки книг, поднял еще пыль страшную, был светлый июльский и время только что за полдень. Что вам сказать? пробыл в этой палатке битых 2 часа и решительно начинал думать, что обратился в Сильвио Пеллико. "Нашел", — раздался, наконец, голос букиниста. Ну, думаю, — слава богу. Смотрю, – точно 1825 год; вот стихи Телешевой. "Что вам, любезнейший, за это?". — "Десять целковых". — "Вы шутите?" — "Нисколько". Я туда и сюда, хотел, было, его "душеспасительным словом", как говорит Плюшкин, пронять... Куда тебе! сладу никакого: уперся, злодей, да и только. Подумал–подумал, вынул деньги и отдал. Таким–то образом я заплатил четвертак за первые печатные отрывки комедии Грибоедова и 10 рублей серебром за одну страничку его стихов к мимолетному, но все-таки, скажу, милому предмету его страсти. Право, смотря на портрет Телешевой, их не жалею и вполне понимаю эти строки, написанные дядей в одном из писем его Степану Никитичу: "В три–четыре вечера (у Шаховского) Телешева меня совсем с ума свела".

Проговоривши еще кое о чем постороннем, мы простились с Жандром — до свидания...

1 июня 1858 г.

Не скоро, однако, было это свиданье. "Человек предполагает, а бог располагает" – истина, как и все под луной, старая. Я схватил в Петербурге жестокую холеру и был болен при смерти. Вопреки и ожиданий, и желаний моих, я, с лишком через месяц после первого моего свидания с Жандром, позвонил у его двери.

На этот раз отворил мне сам сенатор.

— Боже мой, это вы, мы думали, что вы уехали.

— Да, ваше превосходительство, я, было, действительно уехал – на тот свет.

Старик посмотрел на меня пристально.

— Да вы в самом деле как будто из гроба встали.

— И это в самом деле почти что так.

— Что с вами было?

— Холера, и притом жестокая.

Я рассказал причины и все подробности моей болезни.

— Да вы сами сделали все, чтобы произвести себе холеру. Однако как же это вы не уведомили меня о вашей болезни?

— Сто раз порывался я это сделать, но не смел вас беспокоить.

— Стыдно вам. Мы, кажется, не так вас приняли, что" бы вы могли сомневаться в нашем участии.

Надо пояснить это слово "мы": в первый раз, когда я был у Жандра, он познакомил меня с своей женой.

За это доброе слово я с искренним чувством пожал руку почтенного старика.

В это свиданье мы ничего не говорили о Грибоедове: свиданье было коротенькое, потому что я скоро ослаб до дурноты и едва мог дотащиться до квартиры. Все, что я успел сказать в этот раз Жандру, было то, что я и в продолжение моей болезни, когда чувствовал хоть малейшее облегчение, старался, сколько позволяли силы, работать по Грибоедову и таким образом успел прочесть довольно книг, нужных для составления комментариев для "Черновой".

— Где вы их брали?

— У Крашенинникова [28]. Как не сказать "спасибо" Петербургу: все, что хочешь, даже холера.

IV

2 июня 1858 г.

Визит Жандра к Смирнову. — Разговор о Герцене и освящении Исаакиевского собора. — "Лубочный театр" Грибоедова. — Отзыв о нем Жандра. — О трудных театральных временах в царствие Александра I. — Арест Сушкова. — Высылка П. А. Катенина. — Реквизитор. — Любовь Грибоедова к театру и кулисам. — Воспоминания о кн. А. И. Одоевском. – "Горе от ума" — светское евангелие. — Суеверность Грибоедова. — Сверхъестественные встречи знакомых на улицах Тифлиса и Петербурга. – Аналогичные случаи с В. С. Миклашевичевой. — Портрет А. С. Грибоедова. — Отзывы о нем сестры Грибоедова, П. А. Каратыгина, кн. В. Ф. Одоевского и А. А. Жандра.

Ночь я провел довольно мучительную и почти без сна, но к утру задремал и проснулся несколько освеженный и с обновившимися силами. Часов около 9 я уехал из дому на Невский — мне хотелось пройтись, потом просидеть часика 3–4 в Публичной библиотеке, потом опять пройтись и попугатить малую толику казны по разным лавкам и магазинам. Исполнивши все пожеланию, я часу уже в третьем возвратился домой и только что — признаюсь, не без удовольствия — надел халат, как ко мне

совершенно неожиданно входит Жандр.

Он возвращался из Сената и был в мундире, на котором звезд и других штук довольно.

— Хотел вас навестить. Как вы чувствуете себя после вчерашнего?

— Благодарю вас, ваше превосходительство.

— Пожалуйста, оставьте это... Кажется, между нами можно без титулов. Жандр сидел у меня довольно долго. Мы говорили о разных предметах, посторонних Грибоедову, всего более о Герцене, которого, несмотря ни на какие таможни, жадно читают в России.

— Герцен, — сказал я Жандру, — доставил мне, несмотря на его избыток желчи, не совсем приятно действующей на хладнокровного и благоразумного читателя, много отрадных минут в продолжение моей болезни. Я не помню, когда и что читал я с таким наслаждением, как его превосходную статью "Екатерина Романовна Дашкова".

— Я не читал ее.

— Стало быть, вы и не видали этого номера "Полярной звезды"?

— Должно быть.

— Посмотрите, — продолжал я, — какой у него оригинальный самостоятельный язык, точно литой из бронзы.

Я достал из моего портфеля небольшой лист выписок и прочел: "Недавно один из них (славянофилов) пустил в меня под охраной самодержавной полиции комом отечественной грязи с таким народным запахом передней, с такой постной отрыжкой православной семинарии и с таким нахальством холопа, защищенного от налки недосягаемостью запяток, что я на несколько минут живо перенесся на Плющиху или на Козье Болото..."

Мы прочли еще несколько выписок. Потом речь перешла к недавнему освящению Исаакия и к небывалому доселе хору 2000 певчих. "Слушая этот хор, — сказал мне Жандр, — я, право, не знаю, где я был — на земле или в небе".

По уходе сенатора я выпил стакан чаю с хлебом (это был мой обед) и заснул. Просыпаюсь — на столике подле моей постели письмо по городской почте. Рука незнакомая. Распечатываю — от Сосницкого. О, радость! Он уведомляет меня, что величайшая редкость — "Лубочный театр" Грибоедова, который бог Знает где–то валялся в его бумагах, им найден, списан для меня и что я могу его получить, когда или сам приду на квартиру Сосницкого (он же теперь живет на даче в Павловске), или кого–нибудь за ним пришлю... Думать было нечего; я сейчас же послал на

квартиру Сосницкого (тоже вблизи от меня), там сейчас же получил драгоценный листок и с ним, как с находкой, к Жандру — сейчас же.

Многие не только из молодого поколения, но даже из старожилов вовсе не знают, что такое "Лубочный театр" Грибоедова. Происхождение этого пасквиля (для чего же не назвать вещь ее именем?), имеющего теперь для нас неоспоримое историческое значение, тесно связано с малоизвестной у нас, некогда очень шумной и теперь нам интересной историей "Липецких вод", комедией князя Шаховского. Если нам вообще в высокой степени любопытны литературные отношения и литературные движения наших прошлых поколений, то, конечно, шум, брань и литературная драка, поднявшаяся из–за "Урока кокеткам, или Липецких вод" Шаховского, заслуживают в истории этих движений не последнее место. Здесь нельзя вполне рассказывать историю "Липецких вод", еще требующую подробного и обстоятельного исследования. Скажу, что при разделе литературных мнений, за и против "Вод", Загоскин, тогда еще малоизвестный, а впоследствии очень известный "сочинитель", если не писатель, стал в ряды поклонников Шаховского и даже превзошел своих собратий в усердии к общему патрону, сделавшись его почти что низкопоклонником. За таковое рабское усердие был он награжден покровительством Шаховского, который и дал ему какое–то местечко при театре.

Надо заметить, что в это время Загоскин издавал недолговечный журнал "Северный наблюдатель", в котором, между прочим, помещалась и театральная хроника. На этот довольно жалкий журнал постоянно, и иногда довольно удачно и ловко, нападал "Сын отечества", издававшийся Гречем. Вздумалось Загоскину задеть Грибоедова (по силам нашел себе соперника!), указавши как на образец безвкусия и неправильности на два стиха из комедии "Своя семья" [29], прибавивши словами Крюковского (автора трагедии "Пожарский"), что ...подобные стихи против поэзии суть тяжкие грехи.

Искра попала в порох: Грибоедов не любил, чтобы его затрагивали.

Он собрал, так сказать, совокупил все те литературные глупости и тупости, которыми отличался бездарный Загоскин, и представил, что публику зазывают в лубочный театр или в балаган, которые, замечу, кстати, тогда было в моде посещать по утрам, смотреть все эти глупости. Я не привожу здесь всего "Лубочного театра", составляющего ныне, как я уже сказал,

величайшую редкость, а только, например, следующие стихи:

Вот вам Загоскин – наблюдатель,
Вот "Сын отечества" – с ним вечный состязатель,
Один напишет вздор,
Другой на то разбор,
А разобрать труднее,
Кто из двоих глупее.

Написавши сгоряча "Лубочный театр" (это было в 1817 году, Грибоедов тогда был молод), он бросился с ним к одному, к другому, к третьему издателю, чтобы напечатать. "Помилуйте, Александр Сергеевич, – отвечали ему всюду, — разве подобные вещи печатаются: это чистые личности". Еще более раздосадованный такими отказами, Грибоедов нанял писцов, и в несколько дней, через знакомых и знакомых знакомых, по Петербургу разошлось до тысячи рукописных экземпляров "Лубочного театра". Загоскин все-таки был одурачен.

Вот с этой–то редкостью, спеша елико возможно, пришел я к Жандру вечером 2–го июня.

Жандр прочел и говорит мне:

— Конечно, это не апокрифическое: об этом и речи быть не может, но то, что я знал из "Лубочного театра", то, — что мне читал сам Грибоедов, было гораздо короче, сжатей и живее. Не было, например, указания на "Проказника", комедию Загоскина, и некоторых других мест. Он читал эту пьеску и Гречу...

— Что ж, – спрашиваю я, — Греч? Не рассердился?

— О нет, только посмеялся.

От "Лубочного театра" речь невольно склонилась к старым театральным временам, и тут–то наслушался я много любопытного, о чем прочесть негде, да скоро и услыхать будет не от кого.

— Вы не можете себе представить теперь, в настоящее, в ваше время, — говорил Жандр, – какая это была трудная, особенно для всех любителей театра, для всех "театралов" пора — конец царствования Александра I. Тяжела она была и для актеров. Театром управлял главный директор. Должность эту сперва занимал Нарышкин, а потом Аполлон Александрович Майков, дед нынешнего поэта. Кроме главного директора, при театре состоял особый комитет из 4–х членов под главным начальством самого генерал-губернатора Милорадовича. Шаховской был одним из членов этого комитета и назывался "членом по репертуарной части", не мешался ни в какие другие, например в хозяйственную, для которой был особый член, но управлял, всем театром

ворочал. Тогда боже избави позволить себе какую-нибудь вольность в театре, а особенно в отношении к актрисам, которые все имели "покровителей". Раз Каратыгин за грубость будто бы против Майкова сидел в крепости.

— Как в крепости? Каратыгин? Василий? Трагик?

— Да, да, он, и сидел целую неделю. Он не встал перед Майковым, когда тот проходил мимо, и хоть уверял, что его просто не видал, не заметил, его посадили в крепость, да мало того: целую неделю подсылали к нему разных лиц узнавать и выведывать, кто его подучил на это вольнодумство, не принадлежит ли он к "Союзу благоденствия".

— Это что такое?

— А вы и не знаете. Да это зародыш, зерно, из которого и развилось 14 декабря. Это был большой союз, к нему многие принадлежали.

— У них был какой-нибудь центр?

— Не один, а три: один в Кишиневе, другой в Киеве, а третий в Петербурге, то есть один в армии Витгенштейна, другой в армии Сакена, а третий здесь. Главой этого союза был Никита Муравьев, с которым вот что в Москве сделали... [30]

— Да ведь правительство знало об этом союзе?

— Знало, по крайней мере до некоторой степени.

— Что же оно его не уничтожило, прямо и ясно?

— Вот подите, прямо и ясно не уничтожало, а лиц, которых подозревало как участвующих в нем, преследовало. Всех понемножку выгоняли или из службы, или из столицы. Слушайте. Сушков... не помню его имени, но родной брат писателя, Николая Васильевича Сушкова, шикал в театре одной актрисе, его взяли и посадили в крепость. Пробыл он там недолго, всего три дня, а все-таки посадили в крепость.

Я сделал какой–то знак удивления.

— Вы удивляетесь? А с Катениным, если хотите, поступили еще лучше. Он тоже шикал в театре, – его преспокойно взяли и выслали вон из Петербурга, с тем, чтобы более не въезжать, и сделал это Милорадович без всякого высочайшего повеления [31].

— Да разве Милорадович был такой дурной человек?

— Нет, но безалаберный, взбалмошный. Он, уже выславши Катенина, подал доклад государю, что выслал и не велел въезжать. Что ж государь? Написал на докладе: "Хотя за такую вину и не следовало бы высылать из столицы, но, судя по образу увольнения полковника Катенина из службы, утверждаю". А какой же, спросите, это образ увольнения? Да никакого. Катенин уволен был по прошению, чисто, без всяких запинок, а знали, что он

принадлежит к Тайному обществу, и рады были к чему-нибудь придраться, чтобы выбросить человека вон из столицы или из службы. В Москве, в 1818 году, в самое то время, когда там родился нынешний государь, был собран гвардейский полк из взводов всех гвардейских полков. Никита Муравьев был обер-квартирмейстером этого отряда, и его, за какую-то самую пустую ошибку в линии войска на параде, посадили под арест, и высидел он три недели. Разумеется, он сейчас же подал в отставку. А Катенин высидел у себя в деревне довольно долго, пока наконец случайно государь не проехал через эту деревню и не простил его, то есть не разрешил ему въезда в столицу. Все, говорю вам, что в то время ни касалось театра, было чрезвычайно трудно, за всем этим наблюдали, подглядывали, подслушивали... При театре даже был явный, официальный, публичный фискал, шпион...

— Как так?

— Да так. Он назывался реквизитор, и должность его, которая состояла в том, чтобы подслушивать, что говорилось между актерами и даже между писателями, пьесы которых ставились на сцену, и доносить, была определена прямо по штату. Эту "честную" должность занимал в то время какой–то итальянец, промотавший очень большое, по-тогдашнему, состояние — тысяч 200 капитала. Фамилию его я теперь не могу припомнить. Мы же принимали в театре самое горячее участие, мнение наше имело вес, и мы любили поставить на своем, но времена были такие, что я перестал ходить в театр вовсе, я был молод, горяч и, разумеется, не стерпел бы, если бы дирекция стала выставлять какую–нибудь бездарность на счет человека даровитого: вступился бы непременно и нажил бы себе хлопот. Грибоедову же было горя мало: пошмыгать между актрисами, присутствовать при высаживании их из карет (тут-то всего легче и можно было нажить себе хлопот), пробраться за кулисы — это было первым его наслаждением. И он непременно втесался бы в какую-нибудь историю и непременно сидел бы в крепости, если бы не его ангел-хранитель, который так и блюл его, так и ходил за ним, — это был князь Александр Одоевский, погибший впоследствии по 14-му декабря... Боже мой! Отрадно вспомнить, что за славный, что за единственный человек был этот князь Александр Одоевский. 21-го года, мужчина молодец, красавец, нравственный, как самая целомудренная девушка, прекраснейшего, мягкого характера!.. Он никогда не оставлял Грибоедова одного в театре, просто не отходил от него, как нянька, и часто утаскивал его от заманчивого подъезда силой, за руку. Почти всегда, прямо из театра, они приезжали прямо к нам, — я жил тогда с родственницей моей, Варварой Семеновной Миклашевичевой,

которая любила обоих — и Одоевского, и Грибоедова, — как родных сыновей, — и всегда Грибоедов, смеясь, говорил Одоевскому: "Ну, развязывай мешок, рассказывай", потому что непременно было что-нибудь забавное. <...>

После нескольких перемен разговора речь коснулась прямо "Горя от ума".

— Знаете ли, Андрей Андреевич, — начал я, — я так много в жизнь свою с ним возился и прежде, когда был помоложе, так часто вставлял в разговор стихи из него, что раз одна очень умная дама сказала мне такое слово, которого я никогда не забуду: "Il parait que c'est votre Evangile" [Кажется, что это ваше Евангелие (фр.).].

— Вы думаете, что я этому удивляюсь, — отвечал Жандр. — Нисколько. А я так вот вас собираюсь удивить вещью точно в таком же роде. Знаете ли, что сказал о "Горе от ума", не самому, правда, Грибоедову, а Булгарину, один купец, с бородой, но человек, который любил читать, вообще любил просвещение. "Ведь это, Фаддей Венедиктович, наше —светское евангелие". Каково вам это покажется?

— Что же он хотел этим выразить?

— А то, что если в Евангелии настоящем правила нравственности чисто духовной, так в "Горе от ума" — правила общественной, житейской нравственности...

Потом разговорились мы к чему–то, что Грибоедов был лично храбр.

— А знаете ли, — сказал Жандр, — что он был порядочно суеверен, и это объясняется, если хотите, его живой поэтической натурой. Он верил существованию какого–то высшего мира и всему чудесному. Раз приходит ко мне весь бледный и расстроенный. "Что с тобой?" — "Чудеса, да и только, только чудеса скверные". — "Да говори, пожалуйста". – "Вы с Варварой Семеновной все утро были дома?" — "Все утро". — "И никуда не выходили?" — "Никуда". — "Ну, так я вас обоих сейчас видел на Синем мосту". Я ничему сверхъестественному не верю и рассмеялся над его словами и тревогой. "Смейся, — говорит, — пожалуй, а знаешь ли, что со мной было в Тифлисе?" — "Говори". — "Иду я по улице и вижу, что в самом конце ее один из тамошних моих знакомых ее перешел. Тут, конечно, нет ничего удивительного, а удивительно то, что этот же самый господин нагоняет меня на улице и начинает со мной говорить. Как тебе покажется?.. Через три дня он умер". — "Стало быть, и мы с Варварой Семеновной умрем?" — "Ничего не знаю, а только ты ей не сказывай". — "Пустяки, братец..." И в самом деле вышли

пустяки: видел он нас на Синем мосту в 1824 году, Варвара Семеновна умерла в 1846 году, а я, как видите, до сих пор жив. Но он всему этому верил. "Знаешь ли ты историю одного немецкого студента? Она записана в актах". — "Расскажи". — "В Германии был один молодой человек, который ни во что не верил... Раз ночью является к нему какая–то женщина, говорит ему, чтобы он покаялся, потому что через три дня умрет, и умрет ровно в полночь, когда она снова явится. Он рассказал об этом происшествии своим товарищам, и те, чтобы избавить его от страха, придумали вот что: один из них согласился нарядиться в женское платье и стал похожим на женщину–привидение, как описывал ее студент. В назначенный этой женщиной вечер товарищи собрались к студенту, и минут за пять до полуночи явился наряженный. "Да куда же твоя женщина пропала? Ба! Да вот она", — сказали они, указывая на вошедшего в это время переодетого товарища. "Нет, — отвечал студент, — это товарищ, а не она, а вот она..." — и он указал в другую сторону, где стояло настоящее привидение. В это самое время часы на городской башне пробили полночь — и студент тут же и умер" [32].

— Однако как же вы, Андрей Андреевич, объясняете то, что Грибоедов видел вас с Варварой Семеновной на Синем мосту или своего знакомого в Тифлисе?

— Очень просто. Галлюцинацией. Конечно, есть вещи очень странные, и одну из этих странных вещей я вам сейчас расскажу. Тут дело было уже не с одним человеком, не с Грибоедовым на Синем мосту или в Тифлисе, а с двумя совершенно разно поставленными лицами. В подлинности этого факта сомневаться невозможно, потому что я сам не только исследовал, но должен был его исследовать. Дело было с той же самой Варварой Семеновной Миклашевичевой, о которой сейчас шла речь. У нее был одни сын, Николай, которого она очень любила и который умер восьми лет от роду. Она его горько оплакивала и всегда по ночам очень долго о нем молилась. Раз ночью — это было летом — она стоит перед иконами, молится о нем и вдруг слышит, что у будочника (против самой ее квартиры была будка) голос ее сына очень громко спрашивает: "Который час?" Малютка несколько пришепетывал, и по этому одному и, наконец, по самым звукам голоса она не могла ошибиться. Она бросается к окну, отворяет его, слышит, как будочник отвечает: "Третий; да что ты, этакой маленький, по ночам шатаешься?", видит, очень ясно видит своего сына, видит, как он перешел от будки улицу к ее воротам и у самых ворот пропал. Боясь, не ошиблась ли она, не было ли у ней все это действием слишком сильно настроенного воображения, она разбудила людей, послала к будочнику

спросить: видел ли он мальчика, говорил ли с ним? Оказалось, что видел и говорил. Когда я приехал (меня в то время не было в Петербурге), она мне все рассказывает и для того, чтобы удостоверить меня в подлинности факта, просит, чтобы я сам спросил будочника. Будочник этот был в то время переведен куда-то к Александро–Невской лавре. Я поехал, отыскал его, при ней расспрашивал: все оказалось верно и точно: видел и говорил.

— Странно. Впрочем, мне Степан Никитич рассказал о Варваре Семеновне еще одну странность, заставляющую Думать, что эта женщина отличалась даром какого–то провидения, предвидения, ясновидения или какого хотите видения, в котором, однако, не было ничего общего с нашими какими бы то ни было видениями, принимаемыми хоть в смысле предчувствий. Она не то что предузнала, а просто, без всяких оснований, без всяких данных узнала о приезде Степана Никитича в Петербург.

— Сущая правда. Вот как было дело. Не только я не ждал в Петербург Степана Никитича, с которым мы, по общей нам лености, и переписывались редко, но и сам он после говорил, что собрался в Петербург вдруг и приехал в него как бы случайно. В одно прекрасное утро сижу я у себя в кабинете и занимаюсь делами до отправления на службу, как вдруг входит Варвара Семеновна и говорит мне: "Знаешь ли, Андрей Андреевич? Ведь Степан Никитич в Петербург приехал". — "От кого вы это знаете?" — "Да ни от кого, а говорю тебе, что приехал". — "Может быть, вам это только так кажется?" — "Нет, я тебе это наверное говорю..." Отправляюсь на службу, проходит час–другой времени, входит ко мне Степан Никитич. "Здравствуй, — говорю, — друг любезный, добро пожаловать. Я о твоем приезде знал сегодня утром". Тот на меня глаза уставил... "Не от кого, — говорит, — тебе было знать: я только что приехал и ни с кем не видался, прямо к тебе". — "А я тебе говорю, что знал". — "Да от кого же?" — "От Варвары Семеновны". — "А она от кого знала?" — "А ни от кого..."

— Точно так рассказывал мне этот факт и Степан Никитич.

— А вот еще с Варварой Семеновной случай, по характеру подходящий к последнему, но еще, если хотите, замысловатее. Я вам уже говорил, что она очень любила Александра Одоевского. 4 декабря 1825 года, в день ее ангела, Одоевский приезжает ее поздравить прямо с караула, – в мундире, в шарфе, одним словом, во всем том, в чем следует офицеру быть на карауле. Пробывши с полчаса, он уехал. "Что это за странность, — говорит мне Варвара Семеновна, только что тот скрылся за дверь, — в каком это чудном костюме приезжал князь Александр?" — "В каком же чудном? Он с караула, поспешил к вам, и приехал во

всей форме". — "Помилуй, в какой форме: я бы не удивилась, если бы он и во всей форме приехал, а то он удивил меня, что надел вовсе не мундир; на нем был какой–то серый армяк, казакин или зипун"... Через несколько дней, по милости происшествий декабря 14–го, князь Александр Одоевский был действительно в армяке...

—Вам более не нужны, Андрей Андреевич, – сказал я, вставая, — "Черновая" Грибоедова и портрет его? [33]

— Нет, не нужны.

— Похож портрет?

— Не очень.

— Как же это? Марья Сергеевна сказала мне, что похож; я показывал его Петру Каратыгину, тот говорит: "Похож", но, главное, когда я привез этот портрет князю В. Ф. Одоевскому, он долго держал его в руках и несколько раз повторил: "Очень похож, очень похож".

— Пусть все это так, но только вы всему этому не вполне доверяйте. Я не скажу, чтобы в этом портрете не было решительно никакого сходства, — оно, конечно, есть, но сходство это не выражает вам вполне, не передает вам Грибоедова. Я сейчас объясню вам это примером. С меня нынешний год списал масляными красками портрет один молодой человек, бедняк, ученик Бруни, и просил у меня позволения выставить этот портрет на выставке академии; я согласился. Там, на выставке, многие не только меня узнавали, но находили, что в этом портрете большое со мной сходство, между тем этим портретом недовольны ни я, ни жена моя, ни все мое семейство: мы все находим, что он непохож. Так и с портретом Грибоедова: сходство, конечно, есть, но не слишком близкое, не художественное... Прежде всего, замечу, что Грибоедов в то время, к которому относится этот портрет, был гораздо худее в лице, и, наконец, глаза... Разве этот портрет передает выражение его глаз? Нисколько. Вот беда, — я рисовать не умею, а то бы я нарисовал Грибоедова, как живого, потому что вижу его перед собой – вот как вас вижу...

V

3 июня 1858 г.

Рассказы Жандра о подробностях дуэли Шереметева с Завадовским. — Роль Истоминой, Грибоедова и Якубовича в столкновении Шереметева с графом Завадовским. — Разъяснение слов Каверина, сказанных после дуэли. — Дуэль Грибоедова с Якубовичем на Кавказе. — Рана Грибоедова. — Свидетельства

Жандра о полном участии Грибоедова в заговоре 14 декабря. — Разъяснение выражения Грибоедова "о ста человеках прапорщиков". — Порядок приема в члены Тайного общества. — Пользование казенными печатями для сношений между думами. — "Зеленая книга". — "Желтая книга". — Благоприятные для Грибоедова показания главарей декабристского движения.

Сегодня вечером, после бесполезной и бестолковой моей поездки в Павловск к Сосницкому, я отправился опять к Жандру. Он говорит, что вся литературно–общественная история из–за "Липецких вод" князя Шаховского, которую так хорошо знает Сосницкий, ему вовсе незнакома. Странно, взамен этого он мне рассказал сегодня много любопытного о Грибоедове и, главное, вообще о заговоре 14 декабря.

— Как вам известны подробности грибоедовской дуэли? – спросил он меня. Я рассказал, прибавя, что слышал все это от С. Н. Бегичева и от доктора Иона.

— Так, но не совсем так. Степана Никитича в это время в Петербурге не было, а я был, и Грибоедов прямо с дуэли приехал ко мне. Василий Шереметев жил с Истоминой совершенно по–супружески, вместе, в одном доме. Они иногда вместе и выезжали, например к князю Шаховскому, у которого была обязанность — приискивать всем хорошеньким, выходящим из театральной школы, достаточных и приличных "покровителей". Это была милая и совсем не бездоходная обязанность, — за свои хлопоты Шаховской брал порядочные деньги. Одним словом, эта обязанность была надежный капитал, всегда дающий верный и прибыльный процент. Все им покровительствуемые красавицы и их счастливые обожатели уже и смотрели на Шаховского как на своего патрона, обращались к нему во всех своих ссорах, неприятностях и проч. Он мирил, ладил, устраивал, все обходилось ладно и келейно, по-домашнему. Шереметев, шалун, повеса, но человек с отлично–добрым и благородным сердцем, любил Истомину со всем безумием страсти, а стало быть, и с ревностью. И в самом деле она была хорошенькая, а в театре, на сцене, в танцах, с грациозными и сладострастными движениями — просто прелесть!.. Шереметев с ней ссорился часто и, поссорившись и перед роковой для него дуэлью, уехал от нее. Надо заметить, что скорей он жил у нее, чем она у него. Истомина, как первая танцовщица, получала большие деньги и жила хорошо... Грибоедов, который в то время жил вместе с графом Завадовским, бывал у них очень часто как друг, как близкий знакомый. Завадовский имел, кажется, прежде виды на Истомину, но должен был уступить счастливому сопернику... Тем

на этот раз дело и ограничилось. Поссорившись, Шереметев, как человек страшно влюбленный, следил, наблюдал за Истоминой: она это очень хорошо знала. Не знаю уже почему, во время этой ссоры Грибоедову вздумалось пригласить к себе Истомину после театра пить чай. Та согласилась, но, зная, что Шереметев за ней подсматривает, и, не желая вводить его в искушение и лишний гнев, сказала Грибоедову, что не поедет с ним вместе из театра прямо, а назначила ему место, где с ней сейчас же после спектакля встретиться, – первую, так называемую Суконную линию Гостиного двора, на этот раз, разумеется, совершенно пустынную, потому что дело было ночью. Так все и сделалось: она вышла из театральной кареты против самого Гостиного двора, встретилась с Грибоедовым и уехала к нему. Шереметев, наблюдавший издалека, все это видел. Следуя за санями Грибоедова, он вполне убедился, что Истомина приехала с кем–то в квартиру Завадовского. После он очень просто, через людей, мог узнать, что этот кто–то был Грибоедов. Понятно, что все это происшествие взбесило Шереметева, он бросился к своему приятелю Якубовичу с вопросом: что тут делать?

"Что делать, — ответил тот, — очень понятно: драться, разумеется, надо, но теперь главный вопрос состоит в том: как и с кем? Истомина твоя была у Завадовского – это раз, но привез ее туда Грибоедов — это два, стало быть, тут два лица, требующих пули, а из этого выходит, что для того, чтобы никому не было обидно, мы, при сей верной оказии, составим une partie carree [Здесь: дуэль четверых (фр.).] — ты стреляйся с Грибоедовым, а я на себя возьму Завадовского".

— Да помилуйте, — прервал я Жандра, — ведь Якубович не имел по этому делу решительно никаких отношений к Завадовскому. За что же ему было с ним стреляться?..

— Никаких. Да уж таков человек был. Поэтому-то я вам и сказал и употребил это выражение: "при сей верной оказии". По его понятиям, с его точки зрения на вещи, тут было два лица, которых следовало наградить пулей,

— как же ему было не вступиться? Поехали они к Грибоедову и к Завадовскому объясняться. Шереметев Грибоедова вызвал. "Нет, братец, — отвечал Грибоедов, — я с тобой стреляться не буду, потому что, право, не за что, а вот если угодно Александру Ивановичу (т. е. Якубовичу), то я к его услугам".

Partie carree устроилось. Шереметев должен был стреляться с Завадовским, а Грибоедов с Якубовичем. Барьер был назначен на 18 шагов, с тем, чтобы противникам пройти по 6 и тогда стрелять. Первая очередь была первых лиц, то есть Шереметева и Завадовского. Я забыл сказать, что в течение всего этого времени

Шереметев успел помириться с Истоминой и как остался с ней с глазу на глаз, то вдруг вынул из кармана пистолет и, приставивши его прямо ко лбу, говорит: "Говори правду, или не встанешь с места, — даю тебе на этот раз слово. Ты будешь на кладбище, а я в Сибири, — очень хорошо знаю, да что же... Имел тебя Завадовский или нет?" Та, со страху ли или в самом деле правду, но, кажется, сказала, что имел. После этого понятно, что вся злоба Шереметева обратилась уже не на Грибоедова, а на Завадовского, и это–то его и погубило... Когда они с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Завадовский, который был отличный стрелок, шел тихо и совершенно покойно. Хладнокровие ли Завадовского взбесило Шереметева или просто чувство злобы пересилило в нем рассудок, но только он, что называется, не выдержал и выстрелил в Завадовского, еще не дошедши до барьера. Пуля пролетела около Завадовского близко, потому что оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи... Тогда уже, и это очень понятно, разозлился Завадовский. "Ah, — сказал он, — il en voulait a ma vie. A la barriere!" [Ах, он посягал на мою жизнь. К барьеру! (фр.).] Делать было нечего, – Шереметев подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный, — он ранил Шереметева в живот. Шереметев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу. Тогда-то Каверин и сказал ему, но совсем не так, как вам говорил Ион: "Вот тебе, Васька, и редька!" — это не имеет никакого смысла, а довольно известное выраженье русского простолюдья: "Что, Вася, репка?" Репа ведь лакомство у народа, и это выражение употребляется им иронически в смысле: "Что же? вкусно ли? хороша ли закуска?" Якубович, указывая на Шереметева, обратился к Грибоедову с изъяснением того, что в эту минуту им, конечно, невозможно стреляться, потому что он должен отвезти Шереметева домой... Они отложили свою дуэль до первой возможности, но в Петербурге они стреляться не могли, потому что Якубовича сейчас же арестовали и прямо из-под ареста послали на Кавказ. Они действительно встретились с Грибоедовым на первых же порах его приезда в Тифлис и стрелялись. Ермолов несколькими минутами не успел предупредить дуэли, пославши арестовать обоих. Грибоедов, как и Шереметев же, не выдержал и выстрелил, не дошедши до барьера. Якубович стрелял отлично и после говорил, что на жизнь Грибоедова не имел ни малейших покушений, а хотел, в знак памяти, лишить его только руки. Пуля попала Грибоедову в ладонь левой руки около большого пальца, но, по связи жил, ему свело мизинец, и это мешало ему, музыканту, впоследствии играть на фортепиано. Ему нужна была особая аппликатура.

Шереметев жил после дуэли три дня.

— Очень любопытно, Андрей Андреевич, — начал я, — знать настоящую, действительную степень участия Грибоедова в заговоре 14 декабря.

— Да какая степень? Полная.

— Полная? — произнес я не без удивления, зная, что Грибоедов сам же смеялся над заговором, говоря, что 100 человек прапорщиков хотят изменить весь правительственный быт России.

— Разумеется, полная. Если он и говорил о 100 человеках прапорщиков, то это только в отношении к исполнению дела, а в необходимость и справедливость дела он верил вполне [34]. На этом-то основании вскоре после дуэли своей с Якубовичем он с ним был "как ни в чем не бывало", как с единомышленником. А выгородился он из этого дела действительно оригинальным и очень замечательным образом, который показывает, как его любили и уважали. Историю его ареста Ермоловым вы уже знаете; о бумагах из крепости Грозной и судьбе их — тоже. Но вы, верно, не знаете вот чего. Начальники заговора или начальники центров, которые назывались думами, а дум этих было три — в Кишиневе, которой заведовал Пестель, в Киеве — Сергей Муравьев–Апостол и в Петербурге — Рылеев, поступали в отношении своих собратьев–заговорщиков очень благородно и осмотрительно: человек вступал в заговор, подписывал и думал, что уже связан одной своей подписью; но на деле это было совсем не так: он мог это думать, потому что ничего не знал, подпись его сейчас же истреблялась, так что в действительности был он связан одним только словом.

Надо вам сказать, что в первом своем зародыше, вначале, это был заговор чисто военный, то есть между одними только военными. Сноситься заговорщикам было очень удобно, несмотря на дальность расстояний: Александр Бестужев был старшим адъютантом Главного штаба, имевшего сношения с штабами армий [35]. Там, в одном месте, был Сергей Муравьев–Апостол, в другом — Пестель, да и вообще адъютанты штабов все были в заговоре Они преспокойно пользовались казенными печатями, делая какой–то условный знак чернилами у самой печати на конвертах. Все прочие конверты адъютантами распечатывались, а эти, конечно, прятались. У заговорщиков военных была "Зеленая книга", в которую и вносились имена. Этот, сперва чисто военный, заговор впоследствии расширился, в него вступило много отставных, даже купцов. "Зеленая книга" – это было в 1818 году во время сборного в Москве полка — была уничтожена и заменена "Желтой книгой". В это время многие от заговора отстали, даже сам Никита Муравьев. Отстал в это же время и наш

С. Н. Бегичев. Когда 14 декабря бунт вспыхнул, заговорщики были взяты, между ними, по непонятным причинам, Бестужев–Рюмин стал прямо указывать на Грибоедова, упирая все более на то, что Грибоедов с Сергеем Муравьевым–Апостолом жил сыздетства душа в душу... [36] По этому только случаю Грибоедова и взяли...

— Что же за выгода была в этом Бестужеву–Рюмину? — спросил я. — Что за цель, что за отрада?

— Не понимаю. Но мало того, что против Грибоедова не нашлось, как вы уже знаете, никаких доказательств, – в пользу его (вот что замечательно!) были свидетельства самих заговорщиков, потому что и Сергей Муравьев, и Рылеев, и Александр Бестужев (Марлинский), которые не могли уже в то время в чем–нибудь сговариваться, сталкиваться, сказали одно и то же, что "Грибоедов в заговоре не участвовал и что они не старались привлекать его к заговору, который мог иметь исход скорее дурной, чем хороший, потому что берегли человека, который своим талантом мог прославить Россию". Таким–то образом Грибоедов выгородился совершенно... Разумеется, много помогли ему и Ермолов, и, уже здесь, в Следственной комиссии, Ивановский.

VI

5 июня 1858 г., 1 час ночи.

Любовь Жандра к семейной жизни. — Баловство детей. — Жандр – пурист в русской речи. — Как записывал автор рассказы Жандра. — Сравнение с С. Н. Бегичевым.

Мне остается для полноты картины сказать несколько слов о Жандре как человеке.

Человек, который был другом Грибоедова – настоящим, а не двусмысленным, как Булгарин, не может быть дурным человеком. Это надо принять за аксиому. Жандру около 70 лет, женился он поздно, и теперь "весь", по выражению его же жены, "живет в своем семействе". Дети гораздо более вьются, трутся и вертятся около него, нежели около матери. Старца (и это совершенно в духе всякого старца), кажется, приводит в решительное восхищение то, что у него 2–3 месяца тому назад родился ребенок. Наш брат от такой благодати чуть не заплачет, а старческому самолюбию это льстит. Детей он балует страшно, они делают из него что хотят. По зову ребенка старик встает и идет в другую комнату, — разумеется, за пустяками. Tout ce qui est trop [все хорошо б меру (фр.).], — говорит пословица. Дочка его, лет 9–ти, что ли, ловкая, по такая подвижная и манерная, что хоть вот сию минуту прямо в любую труппу эквилибристов на

канат. Я таких детей не люблю, а их хоть и детской, но все–таки несколько нахальной развязности не люблю еще больше. Актриса, теперь уж актриса. Что толку? Жандр сам признавался мне, что почти ничего не читает, кроме сенаторских записок да des choses prohibees [запрещенных изданий (фр.).], как, например все герценовское, интересующее теперь всякого. В отношении к языку он, как сам признавался, пурист. Например, я спрашиваю о Завадовском:

— Скажите, пожалуйста, что это была за личность?

— Ради бога, не убивайте меня. Я вытаращил глаза.

— Не говорите "личность", у нас под этим словом разумеется совершенно другое понятие.

— Да ведь это прямой перевод слова personnalite.

— То–то, что не прямой: personnalite — особа. Старик, видимо, ошибается.

— Особа l'individu, – замечаю я.

— И personnalite. Ну, бог с ним.

Вообще он человек благородный и добрый, — по крайней мере, ко мне был он чрезвычайно добр: дружески пенял мне, что я не уведомил его о моей болезни, сам навестил меня, спрашивал, не растрясла ли у меня, заезжего, моя болезнь казны... Вхожу к нему во второй раз после моей болезни — и он отменяет только что отданное человеку приказание идти справиться о моем здоровье. А это: старик сидит на какой–то и не очень удобной кушетке, а я подле него в больших вольтеровских креслах, существовавших еще при Грибоедове спрятавшись раз за которые Жандр напугал Грибоедова, за что тот и назвал его школьником... Старик рассказывает, и притом такие вещи, которых, верно, другому не стал бы говорить, а у мепя, без всякого зазрения совести, на коленях портфель с бумагой, а в руке карандаш; я, решительно без всякого приличия, записываю бегло перечнем все, что он говорит. Прощаясь, мы дружески обнялись и расцеловались Последнее его слово было — поклон моей жене.

В Степане Никитиче до сих пор больше огня и душевной силы, хотя, вероятно, меньше физической, хотя он глух и руки у него сильно трясутся. В Степане Никитиче есть то, что

Мхом покрытая бутылка вековая
Хранит струю кипучего вина... [37]

VII

Письмо Жандра к Смирнову от 25 сентября 1858 года. — Свидание с Жандром в конце февраля 1859 года. — Воспоминания о недавно умершем С. Н. Бегичеве и его дружбе с Грибоедовым. — Рассказ Смирнова, со слов Бегичева, о случае в

католическом монастыре в 1814 году. — Свидетельство Жандра, в каком виде был автограф "Горя от ума", привезенный Грибоедовым в Петербург в 1824 году. — Многочисленные списки "Горя от ума". — Главный список А. А. Жандра, исправленный автором собственноручно. — Допрос Жандра государем. – О портфелях для бумаг. — О причине дуэли, Чернова и Новосильцева и обстановка похорон того и другого. — Общие надежды на помилование декабристов. — Где похоронены тела повешенных.

В конце февраля 1859 года я снова приехал в Петербург. Само собой разумеется, что один из первых моих визитов был сенатору Жандру, который писал ко мне только одно письмо, но самое обязательное. В письме этом, которое я прилагаю в подлиннике, были мне особенно дороги следующие строки: "Не удивляйтесь и не сердитесь на меня, любезнейший, почтенный Дмитрий Александрович, что на три письма ваши, которые доставили мне истинное удовольствие, убеждая, что на свете есть еще люди, согретые человеческим сердцем, — я отвечаю так поздно. Для таких старых людей, как я, самое трудное дело писать, что бы то ни было... А я все лето писал, писал и писал..." Далее следовало исчисление его настоящих служебных трудов и следующее слишком важное для меня известие: "Перебравшись на новую квартиру и перебирая мои бумаги, я нашел два письма незабвенного моего друга. Если удосужусь, то пришлю вам копии с них. Одно менее интересно, другое несравненно более. Оно писано к Варваре Семеновне, общему нашему другу, из Табриса незадолго до последнего отъезда Александра в Тегеран, следовательно, незадолго до его смерти".

Нас как-то невидимо, но как-то чувствуемо соединяла мысль, что его уже нет, нашего общего друга, нашего дорогого Степана Никитича.

— Он умер, — сказал я.

Сенатор промолчал, но ему, видимо, было грустно.

— Он обещал мне, при последнем свидании, все письма Грибоедова к нему в мою собственность, — продолжал я.

— Не знаю, — отвечал Жандр, — но я душевно сохраняю память об этом человеке, — недаром его так любил Грибоедов. Они много дурости наделали в молодости: во второй этаж дома в Брест–Литовске верхом на лошадях въехали бал… Это были кутилы, но из них вышли замечательные люди. Степан Никитич был рыцарь благородства, и вы должны почитать себя совершенно счастливым, если сохранили несколько его писем.

— Вы рассказываете, Андрей Андреевич, как они в Брест–

Литовске верхом во второй этаж на лошадях приехали. Да мало ли они там чудили. Я вам расскажу одну продел очку моего дядюшки: вы, вероятно, знаете, что в Брест–Литовске был какой–то католический монастырь, чуть ли не иезуитский; вот и забрались раз в церковь этого монастыря Грибоедов с своим любезным Степаном Никитичем, когда служба еще не начиналась. Степан Никитич остался внизу, а Грибоедов, не будь глуп, отправился наверх, на хоры, где орган. Ноты были раскрыты. Собрались монахи, началась служба. Где уж в это время находился органист или не посмел он согнать с хор и остановить русского офицера, да который еще состоял при таком важном в том крае лице, каким был Андрей Семенович Кологривов, — уж я вам передать этого не могу, потому что не догадался об этом спросить Степана Никитича, от которого слышал о всей этой проделке. Вы лучше моего знаете, что Грибоедов был великий музыкант. Когда по порядку службы потребовалась музыка, Грибоедов заиграл и играл довольно долго и отлично. Вдруг священнодейческие звуки умолкли, и с хор раздался наш кровный, наш родной "Камаринский"... Можете судить, какой это произвело эффект и какой гвалт произошел между святыми отцами...

С Жандром мы видались часто. Раз он говорит мне: "Когда Грибоедов приехал в Петербург и в уме своем переделал свою комедию, он написал такие ужасные брульены, что разобрать было невозможно. Видя, что гениальнейшее создание чуть не гибнет, я у него выпросил его полулисты. Он их отдал с совершенной беспечностью. У меня была под руками целая канцелярия: она списала "Горе от ума" и обогатилась, потому что требовали множество списков. Главный список, поправленный рукою самого Грибоедова, находится у меня. Вы почерк его знаете, – сомнения не может быть никакого. Барон Корф просил у меня мой экземпляр для императорской Публичной библиотеки, но я не дал, потому что хочу, чтобы этот экземпляр сохранился в моем семействе".

Несколько раз говорили мы о князе Александре Одоевском. "Князь Александр, — сказал мне Жандр, — после происшествия 14 декабря бежал, за ним был послан Василий Перовский, человек чрезвычайно благородный; он видел в Ораниенбауме следы его по снегу, когда тот побежал из дому в лес, но не решился его преследовать. Впрочем, его схватили. И я был схвачен в пальто, бобровой шапке (как давший свое платье князю Одоевскому); в таком виде я был представлен императору, в пальто и в бобровой шапке. Государь спросил меня:

— Ты дал князю Одоевскому одежду?

— Я.

— Ты участвуешь в заговоре?

— Нет. Но я всех их знаю.

— Ступай.

После государь меня жаловал, и лент, и звезд было дано много, и нередко я имел так называемое счастье представляться Николаю Павловичу и обедать у него, особенно же часто в Петергофе, где я почти всегда живу летом, но никогда государь не сказал со мной ни одного слова; я видел милости, но видел и немилости, впрочем, мне все равно. Хоть мне дадут пятую, хоть шестую звезду, все это вздор. Я служил честно — и умру честно".

Раз я сидел у Жандра особенно долго; старик разговорился.

— Я помню те времена, когда без портфелей ходили... старые времена, вы их помнить не можете.

— Да в чем же бумаги–то носили? — спросил я.

— Да в бумагах же.

— А дождь, снег, ветер?

— Ну, так в платок завяжут или в салфетку завернут, а о таких премудростях, как портфели, и слухом не слыхали, и видом не видали.

Я промолчал, потому что боялся, что отпущу глупость, вроде следующей: "Да, подлинно доисторические времена", и тем напомню старику его действительно преклонные лета, что не всегда бывает приятно. Жандр особенно любил говорить о всем, что относится к 14 декабря. Видимо, что он всем этим происшествиям сочувствует и судит о них, зная всю подноготную, как человек умный и благородный, то есть осуждает их.

— А вот я вам расскажу, как развивались перед 14 декабря партия аристократическая и партия либеральная. Всем известна история дуэли между Черновым и Новосильцевым. До такой степени общество было настроено в смысле идей демократических и революционных, что все было против аристократии, которая, как плющ какой–нибудь около дерева, всегда и всюду вилась около престолов. Отец Чернова был генерал-майор; у него было семь сыновей и одна дочь. Я знавал ее, она была очень хороша, можно сказать, красавица. Новосильцев влюбился и, уже сосватавшись и бывши женихом девушки, так что он ездил с ней вдвоем по городу, должен был изменить по воле строгой и безумной матери своему слову; она не позволила сыну жениться, потому что у Черновой имя было нехорошо — Нимфодора, Акулина или что–то вроде этого. Из–за этого вышла дуэль. Старик генерал Чернов сказал, что все его семь сыновей станут поочередно за сестру и будут с Новосильцевым стреляться и что если бы все семь сыновей были

убиты, то будет стреляться он, старик. Дело совершилось так; Новосильцев стрелялся с старшим Черновым. Оба были ранены насмерть. Новосильцев умер прежде Похоронный поезд его, как аристократа, сопровождало великое множество карет, — поверить трудно; это взбудоражило все либеральные умы; решено было, когда Чернов умер, чтобы за его гробом не смело следовать ни одного экипажа, а все, кому угодно быть при похоронах, шли бы пешком, — и действительно страшная толпа шла за этим хоть и дворянским, но все–таки не аристократическим гробом — человек 400. Я сам шел тут. Это было что–то грандиозное.

Однажды Жандр спросил меня:

— Читали вы когда–нибудь донесение Следственной комиссии?

— Никогда его даже и не видывал.

— Как жаль! Оно у меня было и куда–то запропастилось: ведь у меня такое множество всяких бумаг. Эта вещь, кажется, была писана для надувательства почтеннейшей публики, как будто публика — дитя. Однако знаете ли, что в обществе была некоторая надежда, что Николай простит или хоть не так тяжко накажет главных лиц заговора. Я в это не верил, – Николай никогда не прощал, и он их преспокойно повесил. В тот самый день, когда их повесили, некоторые из близких мне людей видели отца Рылеева. Он был весел. Вот, стало быть, как сильна была надежда... За верность этого факта я вполне ручаюсь.

— Где их вешали?

— В Петропавловской крепости.

— Вы были на этой человечественной церемонии, Андрей Андреевич?

— Нет, не был. Греч был. Церемония эта началась в 5 часов утра, и к 6–ти все было уже кончено. Потом этих несчастных положили в лодку, прикрыли чем–то, отвезли на один пустынный остров Невы — Голодай, где хоронятся самоубийцы, и там похоронили. Мы на этот островок ездили...

— Что же вы там нашли?

— Ничего, кроме кустов, — никаких следов могил, только тут какой–то солдатик шатался... Мы его расспрашивать не стали.

— Да, — повершил я нага разговор, — и бысть тогда же речено про царя Николая:

Недолго царствовал, да много куролесил,

Сто семь в Сибирь сослал да пятерых повесил.

VIII

Первое знакомство с Сосницким. — Воспоминание о помощи Грибоедова Сосницкому лекарствами и его визитах в 1815 году.

— Случай при чтении у Н. И. Хмельницкого "Горя от ума" ее автором. — "Липецкие воды". — Гостеприимство и товарищество Сосницкого.

Утром 3 мая (1858), часов около девяти, отправился я к Сосницкому, живущему неподалеку от меня – около Большого театра, на Екатерининском канале.

Через служанку подаю хозяину следующую записку: "Д. А. Смирнов, владимирский дворянин, племянник знаменитого Грибоедова, желает иметь честь познакомиться с И. И. Сосницким".

— Пожалуйте.

Почти у самых дверей передней встречает меня старик довольно высокого роста, седой, с живыми глазами и очень подвижными чертами лица.

Я рекомендуюсь. Он говорит обычное: "Очень рад с вами познакомиться", но говорит это как–то непринужденно и особенно свободно. Я сразу вижу, что с этим человеком тоже как–то свободно... Но, боже мой, что это за любопытный человек! Это — живой архив и русского театра, и даже, частью, русского общества.

— Вы знали, Иван Иванович, дядю моего лично?

— Грибоедова–то? Еще бы... Я вам скажу, что я был ему одно время очень обязан. Когда он вышел в отставку из военной службы (это было в 1815, кажется, году)[38], я был тогда молодым человеком, жил в казенном доме и заболел. Грибоедов посещал меня очень часто, привозил мне лекарства, и все на свой счет.

— Грибоедов был вообще очень доброго характера.

— Да, но он бывал иногда строптив и вообще резок. Хотите, я вам расскажу один случай, бывший у меня именно перед глазами?

— Сделайте милость.

— Это было в 1824 году. Грибоедов приехал в Петербург с первыми актами своей комедии, слух о которой уже ходил в народе. Раз встречается он у меня с известным комиком Хмельницким. Тот говорит: "Александр Сергеевич, познакомьте меня с вашей комедией, о ней говорят". Грибоедов согласился. "Приезжайте ко мне обедать, тогда и почитаем. Я соберу несколько человек общих добрых приятелей". Назначили день и час, и несколько человек собралось у Хмельницкого. Там были: Василий Каратыгин, Соц, я, другие, и в том числе некто Василий Михайлович Федоров, человек очень умный образованный, автор нескольких слезных и чувствительных драм, которые были когда–

то во вкусе и духе своего времени и над которыми Федоров сам же смеялся первый, от души и очень остроумно. Грибоедов приехал, привез с собой свою рукопись, и так как ее переписывал какой–то канцелярский чиновник, почерком казенным, крупным, то рукопись была довольно толста. Грибоедов положил ее на стол в гостиной. Федоров подошел, взял в руки тетрадь да и говорит:

— Эге! Таки увесисто. Стоит моих драм.

—Я глупостей не пишу, — резко и с сердцем отвечал Грибоедов, видимо обидевшийся.

—Александр Сергеевич, я тут больше подшутил над собой, чем над вами, стало быть, больше обидел себя, а не вас.

—Да вы и не можете меня обидеть.

Резкость этого тона на всех нас, а особенно на хозяина, подействовала как–то неприятно. Мы старались, что называется, "сгладить" все это происшествие, — но не тут-то было: Грибоедов уперся, и в нем, видимо, оставалось неприязненное чувство к Федорову.

Когда мы отобедали, подали кофе, Хмельницкий обратился к Грибоедову со словами:

— Теперь, Александр Сергеевич, можно бы, кажется, начать чтение?

— Я не буду читать, пока этот господин будет здесь, — отвечал Грибоедов, указывая на Федорова.

Федоров, видимо, переконфузился.

— Александр Сергеевич, — сказал он, — я, ей–ей, не думал вас обидеть.

— Да и не можете, я вам это уже говорил.

— Но видимо, что слова мои вам неприятны.

— Приятного в них, точно, ничего нет.

— Если вам неприятно, то я прямо прошу у вас извинения.

— Не нужно. А читать при вас я не буду.

— Так, стало быть, мне остается только уйти, чтобы не лишать других удовольствия слышать ваше сочинение.

— И благоразумно сделаете.

Федоров ушел. Через час времени Грибоедов начал чтение. <...>

Сосницкий принял меня так просто, прямо и радушно, как я и выразить не могу.

— Пожалуйста, приходите ко мне запросто обедать; у меня простой русский стол, милости просим.

Разумеется, что я не отказался.

Я забыл вот что. Когда я проходил с хозяином ряд комнат (Сосницкий живет по-барски, как немногие в Петербурге), мне в одной комнате бросился прямо в глаза портрет М. С. Щепкина. "А,

— подумал я, — это отлично хорошо рекомендует хозяина, как человека: стало быть, тут нет соперничества, а товарищество".

В среду — это будет 7 мая — пойду обедать к Сосницкому.

IX

Мнение автора о ценности записок по театру И. И. Сосницкого и М. С. Щепкина. — "Липецкие воды". — Печатная война из–за них. — Стихи Грибоедова по этому поводу. — Нападки М. Н. Загоскина на Грибоедова в "Северном наблюдателе". — "Лубочный театр". — Отказ печатать эти стихи и 1000 списков их. — Поездка автора к Сосницкому в Павловск 3 июня 1858 года. — Хлебосольство Сосницкого. – <...>

Несчастная и продолжительная болезнь моя мне, по всему, очень много напортила и напутала. Не успел я прочесть всего по Публичной библиотеке, хотя это все было бы, может быть, просто уже роскошью. Но главное — напортила и напутала она мне именно в отношении к Сосницкому, потому что мне удалось видеть этого чрезвычайно замечательного человека только два раза – при приезде да при отъезде моем. Сосницкий, как я очень справедливо написал как-то жене, живая летопись не только русского театра, но в некоторой, разумеется, степени и русского общества. Сколько поколений, сколько идей, стремлений, верований, наклонностей общественных, сколько замечательных людей прошло перед его глазами! Он и Щепкин — да это два сущие клада. Говорят, что Щепкин написал записки, но хочет, чтобы они были изданы после его смерти, а Сосницкий, верно, ничего не написал, потому что сам мне признавался, что ленив до крайности... Притом же жизнь артиста, даже в нашей смиренной верноподданнической России — жизнь по преимуществу свободная, веселая, живая, решительно антипатичная всему, что отзывается пером, терпеньем, кабинетным трудом. Когда этим господам писать? Им надо или играть, или гулять... Напиши и издай свои записки Сосницкий — он бы решительно обогатился: эту любопытную книгу, которая как бы ни была плохо написана, но по своему общественному социальному характеру была бы гораздо любопытнее "Семейной хроники" иди "Первых годов Багрова-внука" Аксакова, раскупили бы нарасхват.

Сосницкий в молодости своей принадлежал не к сценической, а к балетной труппе, – он танцевал. На драматическую сцену выступил он в первый раз в "Липецких водах" князя Шаховского. Я где-то записал, что в наше время трудно и поверить тому огромному успеху или уяснить себе разумно причину такого успеха, который имела в свое время эта из рук вон плохая

комедия Шаховского. Это совершенно справедливо. Сосницкий объясняет причину ее успеха тем, что тут Шаховской подобрал все молодых, новых и свежих артистов и что при представлении ее в первый раз была оставлена натянутая, декламаторская дикция, которой придерживались даже и в комедии. Нет, этого мало. Видно (т. е. не видно, а надо думать), что комедия затронула какие-нибудь общественные интересы или интересные общественные личности (как при этом слове не вспомнить Жандра), потому что произвела такой фурор, такие горячие партии pro и contra, такую забавную печатную и письменную войну, поконченную стихами Грибоедова, которые хоть и не вполне, но прочел мне С. Н. Бегичев. Они называются "Приказ Феба". Феб, которому из-за "Липецких вод" порядочно надоели, объявляет,

Что споры все о "Липецких водах"
(В хулу и похвалу, и в прозе и в стихах)
Написаны и преданы тисненью
Не по его веленью.

Вот как далеко зашло общественное движение и журнальная драка. Это у нас бывает редко, и подобными фактами мы никак пренебрегать не смеем, да и не такое теперь время. Теперь очень дорого ценят всякий, хоть сколько-нибудь живой отголосок прошлого. Самые ясные следы этой журнальной драки можно найти в "Северном наблюдателе" за 1817 год, журнале Загоскина, страшного и не совсем, кажется, честного поклонника Шаховского, журналиста и писателя жалкого, над которым довольно остроумно и резко смеялись в "Сыне отечества" того же времени, а особенно один господин, какая–то "буква ъ" [39] (о, блаженные старые времена, времена Лужницких старцев, Ювеналов Правосудовых и Юстов Вередниковых!..), преследовавший Загоскина без пощады. Загоскин, как известно, никогда не отличался слишком большими умственными способностями, а это для всякого антагониста подобного человека — некий клад, потому что стоит только задеть за живое подобного господина, и он сейчас же, к всеобщему удовольствию, примется бодаться приставленными ему рогами и никак не угомонится сразу, а все будет продолжать, — и, разумеется, что ни шаг, то как черт в лужу... что ни шаг, то все больше и больше затесывается в болото. Случается иногда, что и эти господа сами задевают, затрагивают других и, конечно, расплачиваются очень горьким для себя образом. Так случилось с Загоскиным. <...>

После тяжкой трудной моей болезни первый мой выход был к

Сосницкому. Воздух, на который я не выходил так долго, произвел на меня сначала, как какое–нибудь наркотическое, одуряющее, опьяняющее действие... Сосницкий живет на даче в Павловске: что будешь делать? Я оставил у него письмо, о содержании которого нетрудно догадаться. Через несколько дней получаю ответ, который здесь прилагаю. Разумеется, я пошел за "Лубочным театром" сейчас же и с этой драгоценностью к Жандру. То, что сказал о "Лубочном театре" Жандр, записано у меня в другом месте.

Июня 3, по совету Иакинфа, я, собравши, кое–как мои плохие силишки, сам отправился в Павловск... Неудачнее этой поездки редко даже и со мною, неудачным человеком, бывало. Начать с того, что я встретил самого Сосницкого на петербургском дебаркадере Царскосельской дороги, и это еще очень хорошо, потому что избавило меня от крайне горькой и редко кому известной необходимости отыскивать дачу. Если и в городе бывает подчас трудно отыскать иной дом, то едва ли что может сравниться с горем отыскивать дачи — и это всюду так, и около Москвы, и около Петербурга. Я все надеялся, что проведу с Сосницким целый вечер, и, пожалуй, многого наслушаюсь. Не тут–то было. Приезжаем — у него толпа гостей, его давно ожидающих и уже во всех отношениях порядочно закусивших и "пропустивших"... Eine lustige Gesellschaft [Веселое общество (нем.)]. Подали запросто такой славный обед, что, судя по петербургским ценам... видно, что Сосницкий живет хорошо, если может подавать такие обеды на неожиданное и довольно большое для холостяка число гостей — запросто. Я ничего не ел, ибо закусил прежде, по-своему, по-больному. Съел, правда, кусок жаркого, и таки влили в меня стакан красного вина. Шампанского, которого было много, я не пил: не люблю и боялся. Говорить о чем-нибудь, разумеется, никакой возможности. Сосницкий успел только мне подтвердить свои прежние слова о том, как Загоскин задел Грибоедова. Это подтверждение было мне тем особенно важно, что как ни внимательно просматривал я "Северный наблюдатель" — не мог найти того, о чем два раза говорил мне Сосницкий... Надо хоть после, а добраться непременно, потому что это хороший факт в материалах для биографии Грибоедова; кроме того, Сосницкий вполне подтвердил мне справедливость слов Жандра о прежних трудных театральных временах, о том, как Сушков и Каратыгин высидели в крепости, и проч. Но все это было при самом прощании. Мы расцеловались и обнялись. <...> [40]

В. К. Кюхельбекер. Из "Дневника"

3 января <1832 г.>

Прочел 30 первых глав пророка Исайи. Нет сомнения, что ни один из пророков не может с ним сравниться силою, выспренностию и пламенем; начальные пять глав книги его вдохновений составляют такую оду, какой подобной нет ни на каком языке, ни у одного народа (они были любимые моего покойного друга Грибоедова, и в первый раз я познакомился с ними, когда он мне их прочел 1824–го <г.>, в Тифлисе). Удивительно начало пятой: "Воспою ныне возлюбленному песнь" и проч. Шестая по таинственности, восторгу и чудесному, которое в ней господствует, почти еще выше. <...>

30 января.

Получил письмо от матушки (ответ от 31–го декабря), сто рублей денег и колпак ее собственной работы. Добрая моя старушка! Каждое слово письма ее дышит нежнейшею материнскою любовию! Бесценно для меня то, что она тотчас посетила друга моего — Прасковью Николаевну Ахвердову [1], как только узнала, что Ахвердова в Петербурге; могу вообразить их разговор! Не раз они тут поминали и моего Грибоедова, в этом нет сомнения. Десять лет прошло с тех пор, как я с ним жил в Тифлисе, — сколько перемен!

22 апреля.

Кончил Вальяна [2]. Неприятное чувство, с которым Вальян впервые снова увидел жилища голландцев, живо напомнило мне моего Грибоедова: и он в Москве и Петербурге часто тосковал о кочевьях в горах кавказских и равнинах Ирана, — где, посреди людей, более близких к природе, чуждых европейского жеманства, чувствовал себя счастливым.

28 июля.

В замечаниях у Скотта пропасть такого, чем можно бы воспользоваться. Любопытно одно из этих замечаний о симпатических средствах лечения: "...в наш магнетический век, – говорит автор, – странно было бы все эти средства считать вздором".

Грибоедов был того же мнения, именно касательно заговаривания крови.

14 августа.

На днях я припомнил стихи, которые написал еще в 1815 году в Лицее. Вношу их в дневник для того, чтобы не пропали,

если и изгладятся из памяти; мой покойный друг их любил [3].

НАДГРОБИЕ
Сажень земли мое стяжанье,
Мне отведен смиренный дом:
Здесь спят надежда и желанье,
Окован страх железным сном,
Заснули горесть и веселье –
Безмолвно все в подземной келье <...>
17 января <1833 г.>

Перечитывая сегодня поутру начало третьей песни своей поэмы [4], – я заметил в механизме стихов и в слоге что–то пушкинское. Люблю и уважаю прекрасный талант Пушкина, но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его подражателей. Впрочем, никак не могу понять, отчего это сходство могло произойти: мы, кажется, шли с 1820 года совершенно различными дорогами, он всегда выдавал себя (искренно ли или нет – это иное дело!) за приверженца школы так называемых очистителей языка, – а я вот уж 12 лет служу в дружине славян под знаменем Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шахматова. Чуть ли не стихи четырехстопные сбили меня! их столько на пушкинскую стать, что невольно заговоришь языком, который он и легион его последователей присвоили этому размеру.

7 февраля.

Нападки М. Дмитриева и его клевретов на "Горе от ума" совершенно показывают степень их просвещения, познаний и понятий [5]. Степень эта истинно незавидная. Но пусть они в этом не виноваты: есть, однако же, в их статьях такие вещи, за которые их можно бы обвинить перед таким судом, которого никакой писатель, с талантом ли или без таланта, с обширными сведениями или нет, не должен терять из виду, — говорю о суде чести. Предательские похвалы удачным портретам в комедии Грибоедова — грех гораздо тягчайший, чем их придирки и умничания. Очень понимаю, что они хотели сказать, но знаю (и знать это я очень могу, потому что Грибоедов писал "Горе от ума" почти при мне, по крайней мере, мне первому читал каждое отдельное явление непосредственно после того, как оно было написано), знаю, что поэт никогда не был намерен писать подобные портреты: его прекрасная душа была выше таких мелочей. Впрочем, qui se sent galeux, qu'il se gratte! [у кого зудит, пусть чешется (фр.)] Завтра напишу несколько замечаний об этой комедии: она, конечно, имеет недостатки (все человеческое

подвержено этому жребию), однако же вовсе не те, какие г. Дмитриев изволит в ней видеть, и вопреки своим недостаткам, она чуть ли не останется лучшим цветком нашей поэзии от Ломоносова до известного мне времени.

8 февраля.

"Нет действия в "Горе от ума"! — говорят г.г. Дмитриев, Белугин и братия. Не стану утверждать, что это несправедливо, хотя и не трудно было бы доказать, что в этой комедии гораздо более действия или движения, чем в большей части тех комедий, которых вся занимательность основана на завязке. В "Горе от ума", точно, вся завязка состоит в противоположности Чацкого прочим лицам; тут, точно, нет никаких намерений, которых одни желают достигнуть, которым другие противятся, нет борьбы выгод, нет того, что в драматургии называется интригою. Дан Чацкий, даны прочие характеры, они сведены вместе, и показано, какова непременно должна быть встреча этих антиподов, — и только. Это очень просто, но в сей-то именно простоте — новость, смелость, величие того поэтического соображения, которого не поняли ни противники Грибоедова, ни его неловкие защитники. Другой упрек касается неправильностей, небрежностей слога Грибоедова, и он столь же мало основателен. Ни слова уж о том, что не гг. Писаревым, Дмитриевым и подобным молодцам было говорить о неправильностях, потому что у них едва ли где найдется и 20 стихов сряду без самых грубых ошибок грамматических, логических, рифмических, словом, каких угодно. Но что такое неправильности слога Грибоедова (кроме некоторых и то очень редких исключений)? С одной стороны, опущения союзов, сокращения, подразумевания, с другой — плеоназмы, — словом, именно то, чем разговорный язык отличается от книжного. Ни Дмитриеву, ни Писареву, но Шаховскому и Хмельницкому (за их хорошо написанные сцены), но автору 1-й главы Онегина [Впоследствии Пушкин очень хорошо понял тайну языка Грибоедова и ею воспользовался. (Примеч. В. К. Кюхельбекера.)], Грибоедов мог бы сказать тоже, что какому–то философу, давнему переселенцу, но все же не афинянину, — сказала афинская торговка: "Вы иностранцы". — "А почему?" — "Вы говорите слитком правильно; у вас нет тех мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без которых живой разговорный язык не может обойтись, но о которых молчат ваши грамматики и риторики".

24 июля.

<...> О разборе Катенина "Ольги" не пишу ни слова по двум

причинам: этот разбор сделан Гнедичем и возражал на оный Грибоедов; в – первый в последнее время моей светской жизни был со мною в ссоре, а второй мне более чем друг.

<...> О спорах <...> Загоскина и Измайлова покойный Грибоедов очень хорошо сказал:

Один напишет вздор,
Другой на вздор разбор:
А разобрать всего труднее,
Кто из обоих их глупее? [7]

Впрочем, это относится к Загоскину Наблюдателю и автору "Богатонова"; но автору "Юрия Милославского" Грибоедов, который так живо чувствовал все прекрасное, конечно, отдал бы полную справедливость.

9 августа.

<...> С наслаждением прочел я несколько явлений из комедии "Своя семья" [8], написанных Грибоедовым: в этом отрывке виден будущий творец "Горя от ума".

4 января <1834 г.>

Комедия: "Смешны мне люди" [9] должна быть не дурна; в двух сценах, напечатанных в "Сыне отечества" на 1829 год, много хороших стихов, но довольно натяжек и пустословия. Подражание слогу Грибоедова очень заметно. <...>

31 января.

Итак, и 1834–го года первый месяц канул в вечность! Январь был для меня уже три раза месяцем скорбных утрат: в 1829 году лишился я в январе, и чуть ли ив 31-го числа, друга моего Александра; в 1831 году умер, в январе же, товарищ мой по Лицею и приятель барон Дельвиг; а в прошлом году, 31-го января, скончалась княгиня Варвара Сергеевна, которую я мало знал, но почитал и любил, раз, потому, что она того стоила, а во-вторых, что она была искренним другом сестры моей Юлии. Что скажет нынешний год? <...>

17 июня.

<...> Кроме Марлинского не могу не упомянуть о почтенной, умной <...> Варваре Семеновне Миклашевичевой, с которою во время оно познакомил меня Грибоедов; отрывок ее романа [10] напечатан в 19-м и 20-м номерах того же журнала. Этот отрывок истинно прелестен и показывает талант высокий,

мужественный...

26 мая <1840 г.>

Сегодня день рождения покойного Пушкина. Сколько тех, которых я любил, теперь покойны!

В душе моей всплывает образ тех,
Которых я любил, к которым ныне
Уж не дойдет ни скорбь моя, ни смех.

Пережить всех — не слишком отрадный жребий! Высчитать ли мои утраты? Гениальный, набожный, благородный, единственный мой Грибоедов [11], Дельвиг, умный, веселый, рожденный, кажется, для счастия, а между тем несчастливый; бедный мой Пушкин, страдалец среди всех обольщений славы и лести, которою упояли и отравляли его сердце; прекрасный мой юноша, Николай Глинка, который бы был великим человеком, если бы не роковая пуля, он, в котором было более глубины, чем в Дельвиге и Пушкине и даже Грибоедове, хотя имя его и останется неизвестным! И почти все они погибли насильственною смертью, а смерть Дельвига, смерть от тоски и грусти, чуть ли еще не хуже!..

6 ноября.

<...> "Баязет" — одна из любимых пьес Грибоедова [12] — Барон Брамбеус, верно, ее не любит за несоблюдение восточных нравов. — Я уж где–то в дневнике высказал свое мнение об этих смешных и ребяческих требованиях наших недавно оперившихся ученых, ориенталистов, индологов etc. — Характерами "Баязет" несколько слабее "Гафолии"; по Акомат и Роксана бесподобны. <...>

5 марта <1841 г.>

<...> критика комедии Грибоедова: эта критика толкует, что в "Горе от ума" есть обмолвки и противоречия — оно так, но потому-то творение Грибоедова и есть природа, а не математическая или философская теорема, и в природе такие же противоречия, хотя только для близоруких.

16 января <1843 г.>

Сегодня я видел во сне Грибоедова. В последний раз, кажется, я его видел (также во сне) в конце 1831 г. Этот раз я с ним и еще двумя мне близкими людьми пировал, как бывало в Москве. Между прочим, помню его пронзительный взгляд и очки и что я

пел какую–то французскую песню. Не зовет ли он меня? Давно не расстается со мною мысль, что и я отправлюсь в январе месяце, когда умерли мои друзья, он, и Дельвиг, и Пушкин. <...>

25 мая <1845 г.>

Третьего дня я совершенно случайно вспомнил несколько стихов пьесы, которую я написал 24 года тому назад в Грузии — на взятие греками Триполиццы [13]. Я тогда только что начал знакомиться с книгами Ветхого завета, которые покойный Грибоедов заставил меня прочесть.

27 мая.

Сегодня ночью я видел во сне Крылова и Пушкина. Крылову я говорил, что он первый поэт России и никак этого не понимает. Потом я доказывал преважно ту же тему Пушкину. Грибоедова, самого Пушкина, себя я называл учениками Крылова; Пушкин тут несколько в насмешку назвал и Баратынского. Я на это не согласился; однако оставался при прежнем мнении. Теперь не во сне скажу, что мы, т. е. Грибоедов и я, и даже Пушкин, точно, обязаны своим слогом Крылову, но слог только форма, роды же, в которых мы писали, все же гораздо выше басни, а это не безделица.

А. С. Пушкин. Из "Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года"

Человек мой со вьючными лошадьми от меня отстал. Я ехал один в цветущей пустыне, окруженной издали горами. В рассеянности проехал я мимо поста, где должен был переменить лошадей. Прошло более шести часов, и я начал удивляться пространству перехода. Я увидел в стороне груды камней, похожие на сакли, и отправился к ним. В самом деле я приехал в армянскую деревню. Несколько женщин в пестрых лохмотьях сидели на плоской кровле подземной сакли. Я изъяснился кое-как. Одна из них сошла в саклю и вынесла мне сыру и молока. Отдохнув несколько минут, я пустился далее и на высоком берегу реки увидел против себя крепость Гергеры. Три потока с шумом и пеной низвергались с высокого берега. Я переехал через реку. Два вола, впряженные в арбу, подымались по крутой дороге. Несколько грузин сопровождали арбу. "Откуда вы?" — спросил я их. "Из Тегерана". — "Что вы везете?" — "Грибоеда". Это было тело убитого Грибоедова, которое препровождали в Тифлис [1].

Не думал я встретить уже когда-нибудь нашего Грибоедова! Я расстался с ним в прошлом году в Петербурге перед отъездом его в Персию. Он был печален и имел странные предчувствия. Я было

хотел его успокоить: он мне сказал: "Vous ne contiaissez pas ces gensla: vous verrez qn'il faudra jouer des couteaux" [Вы еще не знаете этих людей: вы увидите, что дело дойдет до ножей (фр.)]. Он полагал, что причиною кровопролития будет смерть шаха и междуусобица его семидесяти сыновей. Но престарелый шах еще жив, а пророческие слова Грибоедова сбылись. Он погиб под кинжалами персиян, жертвой невежества и вероломства. Обезображенный труп его, бывший три дня игралищем тегеранской черни, узнан был только по руке, некогда простреленной пистолетною пулею [2].

Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году [3]. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества, — все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго был он опутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления; талант поэта был не признан; даже его холодная и блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. Несколько друзей знали ему цену и видели улыбку недоверчивости, эту глупую, несносную улыбку, когда случалось им говорить о нем, как о человеке необыкновенном. Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой–нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одною егерскою ротою, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в "Московском телеграфе". Впрочем, уважение наше к славе происходит, может быть, от самолюбия: в состав славы входит и наш голос.

Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками: следствие пылких страстей и могучих обстоятельств [4]. Он почувствовал необходимость расчесться единожды навсегда с своею молодостию и круто поворотить свою жизнь. Он простился с Петербургом и с праздной рассеянностию, уехал в Грузию, где пробыл осемь лет в уединенных, неусыпных занятиях. Возвращение его в Москву в 1824 году было переворотом в его судьбе и началом беспрерывных успехов. Его рукописная комедия "Горе от ума" произвела неописанное действие и вдруг поставила его наряду с первыми нашими поэтами. Несколько времени потом совершенное знание того края, где начиналась война, открыло ему новое поприще; он назначен был посланником. Приехав в Грузию, женился он на той, которую любил... Не знаю ничего завиднее последних годов бурной его жизни. Самая смерть, постигшая его посреди смелого, неровного боя, не имела для Грибоедова ничего ужасного, ничего томительного. Она была мгновенна и прекрасна.

Как жаль, что Грибоедов не оставил своих записок! Написать его биографию было бы делом его друзей; но замечательные люди исчезают у нас, не оставляя по себе следов. Мы ленивы и нелюбопытны... [5]

ПРИЛОЖЕНИЕ
Послужной список Грибоедова за 1829 год

Статский советник Александр Сергеевич сын Грибоедов от роду имеет 39 лет [1]. Полномочный министр при персидском дворе. Из дворян. За матерью его состоит в разных губерниях 1000 душ [2]. По выпуске из императорского Московского университета кандидатом прав 12 класса 3 вступил в службу в формированный графом Салтыковым Московский гусарский полк корнетом 1812 г. июля 26. По расформировании оного поступил в Иркутский гусарский полк тем же чином, того же года, декабря 7. Из оного полка, вследствие прошения его, высочайшим приказом уволен от военной службы для определения к статским делам с прежним статским чином 1816 г. марта 25. Определен в ведомство Коллегии иностранных дел губернским секретарем 1817 г. июля 9. Произведен в переводчики того же года, декабря 31. Определен секретарем к Персидской миссии 1818 г. [Вместо месяца и числа поставлена черта.]. Пожалован в титулярные советники того же года, июля 17. Произведен в коллежские асессоры высочайшим указом 1822 г. января 3. Получил дозволение носить орден Льва и Солнца 2–й степени, марта 10. Выбыл из миссии Персидской и по высочайшему повелению определен по дипломатической части к г. Главноуправляющему в Грузии, февраля 19. Уволен по дипломатическим делам в Москву и Петербург на 4 месяца — 1823 г. марта 5. С высочайшего соизволения по представлению генерала Ермолова отпущен за границу к минеральным водам для излечения — 1824 г. мая 1 [4]. По высочайшему повелению, объявленному начальником Главного штаба, произведен в надворные советники 1826 г. июня 8. По представлению генерала Паскевича всемилостивейше произведен в коллежские советники — 1827 г. декабря б. Награжден чином статского советника, орденом св. Анны 2–й степени с алмазными знаками и 4000 р. 5, 1828 г. марта 14. Назначен полномочным министром при дворе персидском — 1828 г. апреля 25 [Потом добавлено: "Во время смятения, происшедшего в Тегеране, лишился жизни 1829 г. января 30"].

В. Шереметевский. <О В.В. Шереметеве>

Василий Васильевич Шереметев 2-й, 1794–1817, брат Сергея Васильевича, родился 1 марта 1794 года. И я эстандарт–юнкеров кавалергардского полка 21 октября 1812 г. был произведен в корнеты, 23 сентября 1813 г. — в поручики, а 15 октября 1817 г. — в шт. — ротмистры. В том же 1817 г. Шереметев был убит на дуэли камер-юнкером гр. А. П. Завадовским. Обстоятельства, вызвавшие эту дуэль, были следующие: Шереметев увлекся известной тогда балериной Истоминой, которая около двух лет была у него на содержании и жила с ним на одной квартире. В ноябре 1817 г. между ним и Истоминой произошел разрыв. Истомина уверяла, что она "давно намеревалась, по беспокойному его характеру и жестоким с нею поступкам, отойти от него"; некоторые лица из высшего петербургского общества предполагали наоборот, что Шереметев, "по юным летам своим, вероятно, ничем другим перед нею не провинился, как тем, что обмелел его карман". Как бы то ни было, Истомина 3 ноября переехала от Шереметева на отдельную квартиру, а 5 ноября из театра отправилась к гр. Завадовскому вместе с А. С. Грибоедовым, квартировавшим тогда "у Завадовского. Об обстоятельствах этого визита Истомина на следствии показала, что "когда она была 5 числа, в понедельник, в танцах на театре, то знакомый как ей, так и Шереметеву, ведомства Госуд. Коллегии Ин. дел губ. секр. Грибоедов, часто бывший у них по дружбе с Шереметевым и знавший о ссоре ее с ним, позвал ее с собою ехать к служащему при театральной дирекции д. ст. сов. кн. Шаховскому, к коему по благосклонности его нередко езжала, но, вместо того, завез ее на квартиру Завадовского, но не сказывая, что его квартира, куда вскоре приехал и Завадовский, где он, по прошествия некоторого времени, предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает, но согласия ему на то объявлено не было, с коими посидевши несколько времени, была отвезена Грибоедовым на свою квартиру. По этому поводу Грибоедов показал, что он Истомину "пригласил ехать единственно для того только, чтоб узнать подробнее, как и за что она поссорилась с Шереметевым, и как он жил до сего времени за педелю на квартире гр. Завадовского, то и завез на оную, куда приехал и Завадовский, но объяснялся ль он ей в любви, не помнит, но после отвез в ее квартиру" [1]. Завадовский сначала утверждал, что он "ее в театре, на лестнице лично приглашал к себе, когда она оставит Шереметева, побывать в гостях у него, но с кем она приехала к нему, не знает и о любви, может быть, в шутках говорил и делал разные предложения", но на очной ставке с Грибоедовым он взял назад свое показание и заявил, что он "ошибся, принявши визит Истоминой на свой счет" [2].

Рассказывали, что Истомина, опасаясь Шереметева, просила Грибоедова ждать ее с санями у Гостиного двора, куда балерина приехала в театральной карете. На третий день после этого приключения Шереметев просил прощения у Истоминой и звал ее к себе, а когда она стала выражать свое прежнее желание "ехать к кн. Шаховскому", то Шереметев, подобно Грибоедову, под этим самым предлогом завез ее к себе и грозил застрелиться, если она не останется у него. Видя Шереметева "в таком чистосердечном раскаянии и не желая довести до отчаяния", Истомина согласилась на это предложение. В течение двух следующих дней Шереметев замучил Истомину расспросами о том, не была ли она у кого-нибудь во время их ссоры, причем грозил застрелить уже ее. Вынудив у Истоминой признание о ее визите Завадовскому, Шереметев вызвал его на Дуэль. Правда, секундант и друг Шереметева, лб.–гв. уланского полка корнет Якубович утверждал, что причиной дуэли был какой-то "поступок Завадовского, не делавший чести благородному человеку", но разъяснить эти слова отказался, ссылаясь на обещание хранить тайну, данную им умиравшему Шереметеву, а от очной ставки с Завадовским уклонился, прося "пощадить его, не дав случая видеть убийцу друга его и виновника всех его несчастий". Вообще подробности поединка не были вполне выяснены, потому что оба — Завадовский и Якубович — старались всячески выгородить прочих участников дуэли. В Петербурге носились слухи, что Дуэль была предположена двойная и что Якубович посоветовал Шереметеву вызвать Грибоедова, а сам обещал стреляться с Заводовским; Грибоедов будто бы, наоборот, предложил Шереметеву стреляться с Завадовским, а сам сделал вызов Якубовичу. Дуэль между Грибоедовым и Якубовичем, состоявшаяся в Тифлисе осенью 1818 г., как бы подтверждает эти слухи. Официальное следствие, производившееся Кавалергардского полка полковником Ланским 3-м совместно с полицеймейстером полковником Ковалевым, выяснило только, что 9 ноября, в 4 часа дня, Шереметев с Якубовичем приехал к Завадовскому и потребовал от него "тот же час драться насмерть". Завадовский просил дать два часа срока для того, чтобы пообедать, и тогда Якубович решил отложить дуэль до 10 ноября. На другой день, в 9-м часу утра, Шереметев и Якубович приехали снова к Завадовскому для переговоров о дуэли, причем Шереметев, как и накануне, говорил, что он "ничем не обижен", но что поединок должен быть смертельным, потому что он "клятву дал". Якубович, правда, опровергал показания Завадовского о суровых условиях дуэли и о клятве Шереметева, но эти показания были подтверждены гвардейской артиллерии

подпоручиком бар. Строгановым, бывшим в то время у Завадовского. Завадовский тщетно старался успокоить Шереметева и отклонить его от дуэли, просил между прочим у него письменного вызова. Барон Строганов также пе мог убедить Шереметева в бесцельности поединка. 10 ноября дуэль не могла состояться потому, что для нее не выбрали еще места, а 11-го — вследствие снежной погоды. Только в понедельник, 12 ноября, в два часа доя, противники съехались на Волновом поле. Барьер был сделан на 18 шагах, и было условлено, что кто первый выстрелит, тот должен подойти к барьеру. Завадовский и Якубович отрицали присутствие секундантов; но молва называла свидетелями дуэли Грибоедова, лейб-гусара Каверина и доктора Иона. Шереметев выстрелил первый, выведенный, по словам Якубовича, из терпения медленностью Завадовского, и оторвал пулею край воротника у сюртука противника. При этом Шереметев, по словам Завадовского, повторил, что если этот последний не попадет, то он по нем стреляет вновь. Тогда Завадовский, ради самообороны, вынужден был стрелять в Шереметева. Согласно с не совсем достоверным рассказом Завадовского о дуэли, находящимся в "Воспоминаниях" Пржецлавского [3], Завадовский стрелял сначала нарочно мимо и предлагал примирение, от которого Шереметев, одно время колебавшийся, отказался, по настоянию Грибоедова. По данным, добытым следствием, Завадовский, бывший отличным стрелком, целился очень долго, сделал два раза вспышку на полке и один раз осечку и только после этого выстрелил в Шереметева. Пуля попала в бок, а по другим сведениям — прошла через живот и засела в левом боку. Шереметев тотчас упал, но потом поднялся на ноги и стоял до тех пор, пока его не положили для перевязки, которую, как утверждал Якубович, желая, вероятно, выгородить присутствовавшего на дуэли врача, оп сделал раненому сам. По совершенно неправдивому известию "Записок" Н. Н. Муравьева, Якубович после окончания поединка между Шереметевым и Завадовским "с досады" выстрелил в последнего и прострелил ему шляпу [4]. Якубович отвез Шереметева на его квартиру, где этот последний и умер 13 ноября, в 5 3/4 часа пополудни. Он был погребен на Лазаревском кладбище Александро–Невской лавры. Говорили, что отец Шереметева просил государя не подвергать Завадовского наказанию, и император Александр Павлович, выслушав объяснения Завадовского, признал, что убийство Шереметева было совершено "в необходимости законной обороны". Завадовский был отправлен за границу, а Якубович переведен на Кавказ [5].

Следственное дело А.С. Грибоедова

№ 1.
<О ГРИБОЕДОВЕ>

Полковник Артамон Муравьев

Он с Грибоедовым приехал к Бестужеву–Рюмину с намерением познакомить его, Грибоедова, с Сергеем Муравьевым, как с человеком умным, зная, что Грибоедов предполагал остаться в Киеве. Сергей Муравьев приехал к ним в полдень и уехал на другое утро рано. При нем разговор был общий, не касающийся до Общества [1].

Оболенский (в письме к государю)

Что Грибоедов был принят в члены Общества месяца два или три пред 14–м декабря, а вскоре потом уехал; почему действий его в Обществе совершенно не было.

Трубецкой (во 2–м показании) [2].

Слышал от Рылеева, что он принял Грибоедова в члены Тайного общества

№ 13.
<ДОПРОС, ОТОБРАННЫЙ ОТ ГРИБОЕДОВА ГЕНЕРАЛ–АДЪЮТ. ЛЕВАШЕВЫМ>

№ 224. Коллежский асессор Грибоедов.

Я Тайному обществу не принадлежал и не подозревал о его существовании. По возвращении моему из Персии в Петербург в 1825 году я познакомился посредством литературы с Бестужевым, Рылеевым и Абаленским. Жил вместе с Адуевским и по Грузии был связан с Кюхельбекером. От всех сих лиц ничего не слыхал, могущего мне дать малейшую мысль о Тайном обществе. В разговорах их видел часто смелые суждения насчет правительства, в коих сам я брал участие: осуждал, что казалось вредным, и желал лучшего. Более никаких действий моих не было, могущих на меня навлечь подозрение, и почему оное на меня пало, истолковать не могу. (Подпись.) Коллежский асессор Александр Грибоедов.

Генерал–адъютант Левашев [3].

№3.
<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 14–ГО ФЕВРАЛЯ КОРНЕТУ КНЯЗЮ ОДОЕВСКОМУ>

1826 года 14-го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. корнета копной гвардии князя Одоевского показания:

Коллежский асессор Грибоедов когда и кем был принят в Тайное общество? с кем из членов состоял в особенных сношениях? что известно ему было о намерениях и действиях Общества и какого рода вы имели с ним рассуждения о том? [4]

Так как я коротко знаю г-на Грибоедова, то об нем честь имею донести совершенно положительно, что он ни к какому не принадлежит обществу.

Корнет князь Одоевский.

№ 4.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 14–ГО ФЕВРАЛЯ ПОДПОРУЧИКУ РЫЛЕЕВУ>

1826 года 14–го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. подпоручика Рылеева показания:

Когда и где был принят вами в члены Тайного общества коллежский асессор Грибоедов? что именно было открыто ему о намерениях, видах и средствах Общества? Не было ли сделано ему поручения о свидании с кем–либо из членов Южного общества, а также о распространении членов оного в корпусе генерала Ермолова и не имели ли вы от него уведомления о успехах его действий?

С Грибоедовым я имел несколько общих разговоров о положении России и делал ему намеки о существовании Общества, имеющего целью переменить образ правления в России и ввести конституционную монархию, но как он полагал Россию к тому еще не готовою и к тому ж неохотно входил в суждения о сем предмете, то я и оставил его. Поручений ему никаких не было делано, ибо хотя он из намеков моих мог знать о существовании Общества, но, не будучи принят мною, совершенно не имел права на доверенность Думы. Слышал я от Трубецкого, что во время бытности Грибоедова в прошлом году в Киеве некоторые члены Южного общества также старались о принятии его в оное, но не успели в том по тем же причинам, по каким и я принужден был оставить его [5].

Подпоручик Кондратий Рылеев.

№ 5.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 14-ГО ФЕВРАЛЯ ПОЛКОВНИКУ КНЯЗЮ ТРУБЕЦКОМУ>

1826 года 14-го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. полковника князя Трубецкого показания:

В начальных ответах ваших между прочим сказано о слышанном вами от Рылеева, что он принял в Тайное общество Грибоедова. Рылеев, с своей стороны, говорит, что он намекал ему о существовании Общества, но видя, что он неохотно входил в суждения о перемене образа правления в России, то не открывал ему намерений своих и не принимал его в члены. К сему Рылеев присовокупляет, что слышал от вас, что во время бытности Грибоедова в прошлом году в Киеве некоторые члены Южного общества также старались о принятии его в оное, но не успели в том. Объясните: точно ли Рылеев говорил вам, что он принял Грибоедова, и точно ли сообщили вы Рылееву вышесказанное и от кого именно сие известно вам было?

Разговаривая с Рылеевым о предположении, не существует ли какое общество в Грузии, я также сообщил ему предположение, не принадлежит ли к оному Грибоедов? Рылеев отвечал мне на это, что нет, что он с Грибоедовым говорил; и сколько помню, то прибавил сии слова: "он наш", из коих я и заключил, что Грибоедов был принят Рылеевым. И тогда рассказал ему, что Грибоедов был в Киеве и что его там пробовали члены Южного общества, но он не поддался; это слышал я от Полтавского пехотного полка поручика Бестужева, который, кажется, с Артамоном Муравьевым имели намерение открыть Грибоедову существование их общества и принять его, но отложили оное, потому что не нашли в нем того образа мыслей, какого желали. На это мне Рылеев ничего не отвечал; и я остался при мнении моем, что он принял Грибоедова.

Полковник князь Трубецкой.

№ 6.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 14-ГО ФЕВРАЛЯ ШТАБС-КАПИТАНУ БЕСТУЖЕВУ>

1826 года 14-го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. штабс–капитана лб.-гв. драгунского полка Бестужева показания:

Когда и кем был принят в члены Тайного общества кол. асессор Грибоедов? что известно ему было о намерениях, видах и средствах Общества? не было ли сделано ему поручения о свидании с членами Южного общества и о распространении оных в корпусе генерала Ермолова?

Ответ. С Грибоедовым, как с человеком свободомыслящим, я

нередко мечтал о желании преобразования России. Говорил даже, что есть люди, которые стремятся к этому – но прямо об Обществе и его средствах никак не припомню, чтобы упоминал. Да и он, как поэт, желал этого для свободы книгопечатания и русского платья. В члены же его не принимал я, во-первых, потому, что он меня и старее, и умнее, а во-вторых, потому, что жалел подвергнуть опасности такой талант, в чем и Рылеев был согласен. Притом же прошедшего 1825 года зимою, в которое время я был знаком с ним, ничего положительного и у нас не было. Уехал он в мою бытность в Москве, в начале мая, и Рылеев, говоря о нем, ни о каких поручениях не упоминал. Что же касается до распространения членов в корпусе Ермолова, я весьма в том сомневаюсь, ибо оный, находясь вне круга действия, ни к чему бы нам служить не мог.

Штабс–капитан Алекс. Бестужев.

№ 2.

<ПИСЬМО ГРИБОЕДОВА К ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ>

Всемилостивейший государь!

По неосновательному, подозрению, силою величайшей несправедливости, я был вырван от друзей, от начальника, мною любимого, из крепости Грозной на Сундже, чрез три тысячи верст в самую суровую стужу притащен сюда на перекладных, здесь посажен под крепкий караул, потом был позван к генералу Левашеву. Он обошелся со мною вежливо, я с ним совершенно откровенно, от него отправлен с обещанием скорого освобождения. Между тем дни проходят, а я заперт. Государь! Я не знаю за собою никакой вины. В проезд мой из Кавказа сюда я тщательно скрывал мое имя, чтобы слух о печальной моей участи не достиг до моей матери, которая могла бы от того ума лишиться. Но ежели продлится мое заточение, то, конечно, и от нее не укроется. Ваше императорское величество сами питаете благоговейнейшее чувство к вашей августейшей родительнице...

Благоволите даровать мне свободу, которой лишиться я моим поведением никогда не заслуживал, или послать меня пред Тайный Комитет лицом к лицу с моими обвинителями, чтобы я мог обличить их во лжи и клевете.

Всемилостивейший государь! Вашего императорского величества верноподданный Александр Грибоедов [6].

15–го февраля 1826.

№ 7.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 19–ГО

ФЕВРАЛЯ ПОДПОРУЧИКУ БЕСТУЖЕВУ–РЮМИНУ >

1826 года 19–го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. подпоручика Бестужева–Рюмина сведения:

Точно ли вами или кем другим был принят в члены Общества кол. асессор Грибоедов и когда именно? При том объясните, по какому поводу он был у вас и виделся с Сергеем Муравьевым? что тогда сообщено ему было о намерениях Общества, какого он был о сем мнения и какое дал обещание насчет содействия видам Общества и распространения членов оного в Грузинском корпусе?

Грибоедов в Общество принят не был по двум причинам, мною тогда Матвею Муравьеву изложенным. 1) Что, служа при Ермолове, он нашему Обществу полезен быть не мог. 2) Не зная ни истинного образа мыслей, ни характера Грибоедова, опасно было принять его в наше Общество, дабы в оном не сделал он партии для Ермолова, в коем Общество наше доверенности не имело. На мое мнение согласились и предложения Грибоедову не делали. Был же он не у меня; а проезжал через Киев вместе с Артамоном Муравьевым. И видел я его только два раза у Трубецкого. С. Муравьева тогда я просил приехать в Киев, дабы ему вышесказанное мнение сообщить. Он его опробовал.

Подпоручик Бестужев–Рюмин.

№ 8.

< ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 19-ГО ФЕВРАЛЯ ПОДПОЛКОВНИКУ МУРАВЬЕВУ-АПОСТОЛУ >

1826 года 19–го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. подполковника Сергея Муравьева–Апостола показания:

Точно ли вами принят в члены Общества кол. асессор Грибоедов и когда именно? Объясните при том, что было предметом свидания вашего с ним у Бестужева–Рюмина и что вы тогда сообщили ему, Грибоедову, о намерениях Общества? Какого он был мнения и какое дал обещание насчет содействия видам Общества и распространения членов оного в Грузинском корпусе?

Я уже показал и теперь вторично подтверждаю мое показание, что я с кол. асессором Грибоедовым не имел никаких сношений по Обществу, что не принимал его никогда в члены оного, что никогда не имел с ним свидания у Бестужева, у коего он, Грибоедов, кажется, и не был ногой. Что видел его в Киеве, когда приезжал я к Ар. Муравьеву, ибо он, Грибоедов, стоял с Муравьевым в одном трактире и заходил к нему при мне; и наконец, что Грибоедов не был принят в члены Общества нашего.

Подполковник Муравьев–Апостол.

№ 9.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 19–ГО ФЕВРАЛЯ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРУ КН. ВОЛКОНСКОМУ>

1826 года 19–го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. генерал-майора князя Волконского сведения:

Не известно ли вам, когда и кем был принят в члены Тайного общества коллежский асессор Грибоедов? и не было ли ему сделано поручения насчет распространения членов в Грузинском корпусе?

Честь имею почтеннейше донесть, что не могу дать никакого сведения по вышеозначенному по неизвестности мне сих обстоятельств. С господином Грибоедовым я лично весьма мало знаком и лишь по одним встречам в светских собраниях в Москве – при временных моих проездах чрез сей город.

19 февраля.

Генерал–майор князь Волконский.

№ 10.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 19–ГО ФЕВРАЛЯ ШТАБ–РОТМИСТРУ КН. БАРЯТИНСКОМУ>

1826 года 19–го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. штаб–ротмистра князя Барятинского сведения:

Не известно ли вам, когда и кем был принят в члены Тайного общества коллежский асессор Грибоедов и не было ли ему сделано поручение насчет распространения членов в Грузинском корпусе?

Ежели это Грибоедов сочинитель, то я его лично не знаю, а слыхал о нем как об авторе. Неизвестно также мне, член ли он Тайного общества и был ли он в Грузии. О другом Грибоедове никогда не слыхал.

Лб.–гв. гусарского полка штаб–ротмистр князь Барятинский.

№ 11.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 19–ГО ФЕВРАЛЯ ПОЛКОВНИКУ ДАВЫДОВУ>

1826 года 19–го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. полковника Давыдова показания:

Не известно ли вам, когда и кем был принят в члены Тайного общества коллежский асессор Грибоедов и не было ли ему

сделано поручение насчет распространения членов в Грузинском корпусе?

Честь имею донести высочайше учрежденному Комитету, что я никогда не слыхал, чтобы господин Грибоедов принадлежал к Обществу или даже чтобы предлагали ему войти в оное. Я раз с ним виделся в Москве на большом обеде, где, кроме литературы, ни о чем не говорили.

Отставной полковник Давыдов.

№ 12.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ КОМИТЕТА С ОТВЕТАМИ 19–ГО ФЕВРАЛЯ ПОЛКОВНИКУ ПЕСТЕЛЮ>

1826 года 19–го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. полковника Пестеля сведения:

Не известно ли вам, когда и кем был принят в члены Тайного общества коллежский асессор Грибоедов? и не было ли ему сделано поручение насчет распространения членов в Грузинском корпусе?

О принадлежности коллежского асессора Грибоедова к Тайному обществу не слыхал я никогда ни от кого и сам вовсе его не знаю.

Полковник Пестель.

№ 14.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ ГРИБОЕДОВУ 24–ГО ФЕВРАЛЯ> [7]

1826 года 24–го февраля в присутствии высочайше учрежденного Комитета коллежский асессор Грибоедов спрашивай и показал:

1

Как ваше имя, отечество и фамилия, какого вы исповедания, сколько вам от роду лет, ежегодно ли бываете на исповеди и у святого причастия, где служите, не были ль под судом, в штрафах и подозрениях и за что именно?

2

Где воспитывались, каким наукам учились и кто преподавал вам оные?

3

В начале первого показания своего вы, отрицаясь от принадлежности к числу членов злоумышленного Тайного

общества, изъяснились далее так, что, будучи знакомы с Бестужевым, Рылеевым, Оболенским, Одоевским и Кюхельбекером, часто слышали смелые суждения их насчет правительства, в коих сами вы брали участие, осуждали, что казалось вредным, и желали лучшего?

4

В том же смысле, но с большею важностию и решительностию Комитету известны мнения ваши, изъявленные означенным лицам.

Не только они, но князь Трубецкой и другие, по словам первых, равно считали вас разделявшим их образ мыслей и намерений, а следственно (по их правилам приема в члены), принадлежащим к их Обществу и действующим в их духе.

Убеждение сие основано было на собственных словах ваших, особенно после того:

а) что Рылеев и Александр Бестужев прямо открыли вам, что есть Общество людей, стремящихся к преобразованию России и введению нового порядка вещей; говорили вам о многочисленности сих людей, о именах некоторых из них, о целях, видах и средствах общества, и

б) что ответом вашим на все то было изъявление одобрения, желаний и пр. В такой степени прикосновенности вашей к злоумышленному обществу Комитет требует показаний ваших в том:

а) в чем именно состояли те смелые насчет правительства означенных вами лиц суждения, в коих сами вы брали участие?

б) что именно находили вы при том достойным осуждения и вредным в правительстве и в чем заключались желания ваши лучшего?

в) когда и что именно узнали вы особенно от Рылеева, Бестужева и Одоевского о существовании общества людей, стремящегося к преобразованию России?

г) с тем вместе, что узнали вы о многочисленности сих людей и кто из них был вам назван?

д) сказано ли вам было, где находились центры и отделения членов Тайного общества?

е) что именно сказано нам о цели, видах и средствах действий оного?

ж) объясните, в чем именно состояли ваши во всем том мнения и одобрения?

з) в каком смысле и с какою целию вы, между прочим, в беседах с Бестужевым, неравнодушно желали русского платья и свободы книгопечатания?

и) по показанию князя Оболенского, вы наконец дня за три до отъезда вашего из Петербурга решительно были приняты в члены Тайного общества. Объясните, какого рода дали вы обещание неутомимо действовать в духе сего Общества; и какое дано вам поручение насчет приготовления умов к революционным правилам, в кругу вашего пребывания и распространения членов Общества?

к) по какому случаю вы, проезжая Киев, имели свидание с Бестужевым–Рюминым и Муравьевыми, Артамоном и Сергеем, из коих за последним нарочито было посылаемо? Что было предметом вашего совещания и что открыто вам было о приготовлениях Южного общества к началу открытых возмутительных действий?

В заключение вы по совести должны показать все то, что известно вам о составе тайных обществ, их цели и образа действий.

Вы ли писали письмо, которое перед собою видите, Кюхельбекеру?

Надворный советник А. Ивановский.

№ 15.

<ОТВЕТЫ ГРИБОЕДОВА>

На данные мне вопросные пункты от высочайше учрежденного Комитета имею честь ответствовать:

1

Имя мое: Грибоедов Александр Сергеев. Греко–католического исповедания, родился в 1790 [8] году.

Обязанности мои как сын церкви исполняю ревностно. Если бывали годы, что я не исповедовался и не приобщался святых тайн, то оно случалось непроизвольно.

Служу секретарем по дипломатической части при Главноуправляющем в Грузии.

Под судом, в штрафах и подозрении не бывал [9].

2

Воспитывался частию дома, частию в Московском университете, под надзором профессора Буле, учился правам, наукам математическим и языкам [10].

3 и 4

И теперь имею честь подтвердить первое мое показание.

Кн. Трубецкой и другие его единомышленники напрасно

полагали меня разделявшим их образ мыслей. Если соглашался я с ними в суждениях о нравах, новостях, литературе, это еще не доказательство, что и в политических моих мнениях я с ними был согласен. Смело могу сказать, что, по ныне открывшимся важным обстоятельствам заговора, мои правила с правилами кн. Трубецкого ничего не имеют общего. Притом же я его почти не знал.

а

Рылеев и Бестужев никогда мне о тайных политических замыслах ничего не открывали.

в

И потому ответом моим на сокровенность их предприятий, вовсе мне неизвестных, не могло быть ни одобрение, ни порицание.

а, б

Суждения мои касались до частных случаев, до злоупотреблений некоторых местных начальств, до вещей всем известных, о которых всегда в России говорится довольно гласно. Я же не только не способен быть оратором возмущения, много если предаюсь избытку искренности в тесном кругу людей кротких и благомыслящих, терпеливо ожидая времени, когда моя служба или имя писателя обратят на меня внимание Вышнего Правительства, перед которым я был бы еще откровеннее.

в, г, д, е, ж [11]

Ничего мне подобного не открывали. Я повторяю, что, ничего не зная о тайных обществах, я никакого собственного мнения об них не мог иметь.

3

Русского платья желал я, потому что оно красивее и покойнее фраков и мундиров, а вместе с этим полагал, что оно бы снова сблизило нас с простотою отечественных нравов, сердцу моему чрезвычайно любезных.

Я говорил не о безусловной свободе книгопечатания, желал только, чтобы она не стеснялась своенравием иных цензоров.

и

Показание кн. Оболенского совершенно несправедливо. Не могу постигнуть, на каких ложных слухах он это основывал, не на том ли, что меня именно за три дня до моего отъезда приняли в Общество любителей русской словесности, общество, которое под высочайшим покровительством издает всем известный журнал: "Соревнователь" и от вступления в которое я долго отговаривался,

ибо поэзию почитал истинным услаждением моей жизни, а не ремеслом [12].

к

Пребывание мое в Киеве было самое непродолжительное проездом в Крым и на Кубань: чрез эти места я возвращался к моей должности в Грузию. Где Муравьевых и Бестужева–Рюмина видел мельком; разговоров не только вредных правительству, но в которых требуется хотя несколько доверенности, я с ними не имел, потому что, не успев еще порядочно познакомиться, я не простясь уехал. Обстоятельство, что за одним из них был послан нарочный, для меня вовсе неизвестно; из сделанного мне теперь вопроса узнаю об этом в первый раз.

Письмо, которое мне здесь показано, моей руки и писано к Кюхельбекеру.

Коллежский асессор Александр Грибоедов.

№ 16.

<ВОПРОСНЫЙ ПУНКТ КНЯЗЮ ОБОЛЕНСКОМУ С ОТВЕТОМ 25–ГО ФЕВРАЛЯ>

1826 года 25-го февраля высочайше учрежденный Комитет требует от г. поручика лб.-гв. Финляндского полка князя Оболенского показания:

Противу показания вашего о том, что кол. асессор Грибоедов был принят в члены Тайного общества месяца за два или за три до 14-го декабря, он, Грибоедов, отвечает, что дня за три до отъезда его из Петербурга он точно был принят в общество, но только в высочайше учрежденное, издающее журнал "Соревнователь", а не в тайное. Объясните: ежели действительно он был принят в члены Тайного общества, то когда и кем именно и не было ли при том свидетелей?

О принятии Грибоедова в члены Общества я слышал от принявшего его Рылеева и более совершенно никаких подробностей принятия его не слыхал и не могу сказать, кто был свидетелем при приеме его; о времени же принятия его я поистине показать не могу с точностию; но сколько помню, сие было за месяц или за два до отъезда его отсюда; вот все, что могу сказать о принятии Грибоедова в подтверждение прежнего показания моего; никакие, впрочем, подробности принятия его мне не известны; сам же лично, после принятия Грибоедова, сколько сие помню, с ним не встречался.

Князь Евгений Оболенский.

№17.

<ВОПРОСНЫЕ ПУНКТЫ ГРИБОЕДОВУ С ОТВЕТАМИ 15–ГО МАРТА>

<Вопросы> [13]

1826 года 15-го марта в присутствии высочайше учрежденного Комитета коллежский асессор Грибоедов спрашивая и показал:

В дополнение сделанных вами ответов поясните откровенно следующее:

1) при отъезде вашем из Петербурга не предлагал ли вам Рылеев или кто другой писем для доставления к Муравьеву-Апостолу и Бестужеву-Рюмину и не сказано ли вам было о содержании оных?

2) равным образом не поручал ли вам Рылеев или Александр Бестужев каких–либо стихов и прозаической статьи под названием "Катехизис" для доставления на юг?

3) по какому именно случаю вы имели свидание в Киеве с Артамоном и Сергеем Муравьевыми и Бестужевым-Рюминым? где и когда вы познакомились с ними? не имели ли вы с ними переписки из Грузии?

4) что говорили они вам о Пестеле и кто из них предлагал вам познакомиться с ним?

5) в бытность вашу в Киеве виделись ли вы с штабс-капитаном Корниловичем и что рассказывал он вам или писал о сделанном им на юге открытии?

7) [*] при возвращении вашем в Грузию, где вы виделись с Сухачевым (служившим в Грузии)?

[* Так в документе.]

а) давно ли вы с нем знакомы и у кого бывали вместе?

б) что вам известно от него или по слухам о предложении, какое он делал некоторым из своих знакомых, о основании Тайного общества в Отдельном Грузинском корпусе и какие представлял он доказательства о возможности распространить там членов сего Общества?

в) что известно вам о намерении Сухачева поселиться в Ростове и о предприятии его ехать в Таганрог? от кого и когда вы слышали или знали о сем?

2) <Ответы>

На заданные мне вопросы высочайше учрежденным Комитетом честь имею ответствовать:

1), 2)

При отъезде моем из Петербурга, сколько мне помнится, Бестужева вовсе не было в городе, по крайней мере, то верно, что я с ним тогда не виделся; ни он, ни Рылеев и никто не делал мне никаких поручений в Киев, ни писем, ни книг никто мне не давал, ни на имя Муравьева, о котором я даже не знал, что он там пребывает, ни на чье-либо другое.

3)

Во время самого короткого моего пребывания в Киеве один Муравьев туда приехал на встречу к жене, с которою пни два, три или менее пробыл в одном трактире со мною; потом они уехали. Другого я видел у Трубецкого, все это было в присутствии дам, и мы, можно сказать, расстались едва знакомыми. Переписки я с ним никогда не имел.

4)

О Пестеле ничего говорено не было.

5)

С штабс–капитаном Корниловичем я в Киеве не виделся.

6)

Я не знаком с Сухачевым и никогда не слыхал о его существовании [14].

Коллежский асессор Грибоедов.

№ 18 [15].

О КОЛЛЕЖСКОМ АСЕССОРЕ ГРИБОЕДОВЕ.

На докладной записке собственною его императорского величества рукою написано: "Выпустить с очистительным аттестатом".

Рукою барона Дибича присовокуплено: "Высочайше повелено произвесть в следующий чин и выдать не в зачет годовое жалованье".

Коллежский асессор Грибоедов не принадлежал к Обществу и о существовании оного не знал. Показание о нем сделано князем Евгением Оболенским 1–м со слов Рылеева; Рылеев же ответил, что имел намерение принять Грибоедова; но, не видя его

наклонным ко вступлению в Общество, оставил свое намерение. Все прочие его членом не почитают [16].

Верно. Надворный советник
А. Ивановский.

Из донесений М. Я. фон Фока

О Ермолове и Грибоедове

24 октября 1826 г.

Вот что узнать можно было от веры достойного человека, насчет пребывания здесь Талызина, который уже десять дней, как уехал обратно.

Списываются собственные слова рассказа:

"Я изучал характер Ермолова как лица исторического и нахожусь в приятельских связях с весьма близкими к нему особами. На Ермолова никто не имеет влияния, кроме его собственного самолюбия. Он некоторым своим любимцам позволяет говорить себе иногда правду и даже требует этого — но никогда не следует их советам. Чем умнее человек, находящийся при нем, тем он менее следует ею влиянию, чтобы не сказали, что им управляют. Таким образом сбыл он с рук нынешнего бессарабского губернатора Тимковского, который утруждал его своими планами и советами. Более всех Ермолов любит Грибоедова за его необыкновенный ум, фанатическую честность, разнообразность познаний и любезность в обращении. Но сам Грибоедов признавался мне, что

Сардарь-Ермулу, как азиатцы называют Ермолова, упрям, как камень, и что ему невозможно вложить какую-нибудь идею. Он хочет, чтобы все происходило от него и чтобы окружающие его повиновались ему безусловно. Отчасти Ермолов и прав, ибо в отдаленном крае, который всегда на неприятельской ноге, будучи всегда окружен шпионами горных народов и владетелей азиатских областей, малейший вид, что кто-нибудь действует умом на Сардаря-Ермулу, унизит его в глазах азиатцев. Ермолов имеет необыкновенный дар привязывать к себе близких к нему людей, и привязывать безусловно, как рабов. Они знают слабости его и недостатки, но любят его. В шутку Ермолов разделяет своих приближенных на две части: одних называет моя собственность, а других — моя личная безопасность. Первые суть те, которым он делает поручения, а иногда доверенности; вторые — удальцы и наездники, вроде Якубовича. Он так величает их и в письмах. Офицеры и солдаты весьма любят Ермолова за весьма малые вещи: он позволяет солдатам на переходах и вне службы ходить в

шароварах и широком платье, офицерам — в фуражках и кое-как; мало учит и восхищает своими bons–mots [остротами (фр.).]. В нужде делится последним. Важная добродетель Ермолова, что он не корыстолюбив и не любит денег. Оттого статские чиновники не любят его и, хотя он не весьма бдительно истребляет лихоимство и злоупотребления, но зато если откроет — беда! и его боятся, как огня. Талызин, по своему положению при Ермолове и по сведениям, не мог иметь других поручений, как поразнюхать, что говорят о нем здесь и как судят. Кажется, он поехал отсюда не с весьма благоприятными известиями. Известно, что Ермолова публика обвиняет в одном: зачем не зная о нападении персов, другие обвиняют в многом, но каждый человек имеет своих друзей и врагов; первые смотрят на ошибки в уменьшительное, другие — в увеличительное стекло. Средина есть истина".

О деятельности Грибоедова в Персии

Возвышение Грибоедова на степень посланника произвело такой шум в городе, какого не было ни при одном назначении. Все молодое, новое поколение в восторге. Грибоедовым куплено тысячи голосов в пользу правительства. Литераторы, молодые способные чиновники и все умные люди торжествуют. Это победа над предрассудками и рутиною. "Так Петр Великий, так Екатерина создавали людей для себя и отечества", — говорят в обществах. Возвышение Дашкова и Грибоедова (при сем вспоминают о Меншикове, Сухтелене и других способных людях, заброшенных в прежнее время) почитают залогом награды дарованиям, уму и усердию к службе. Должно прибавить, что Грибоедов имеет особенный дар привязывать к себе людей своим умом, откровенным, "благородным обращением и ясною душою, в которой пылает энтузиазм ко всему великому и благородному. Он имеет толпы обожателей везде, где только жил, и Грибоедовым связаны многие люди между собою. Приобретение сего человека для правительства весьма важно в политическом отношении. Натурально, что при сем случае появилось много завистников, но это — глас, вопиющий в пустыне. Вообще теперь раскрыта важная истина, что человек с дарованием может всего надеяться от престола, без покровительства баб и не ожидая, пока преклонность лет сделает его неспособным к службе, когда длинный ряд годов выведет его в министры. Везде кричат? "Времена Петра!"

Разные рассуждения и толки между короткими друзьями

Грибоедова

В последнем письме несчастного Грибоедова из Тавриса в Петербург к друзьям [1] находятся следующие строки! "Наблюдаю, чтоб отсюда не произошла какая-нибудь предательская мерзость во время натдей схватки с турками. Взимаю контрибуцию довольно успешно. Друзей не имею никого и не хочу. Должно прежде всего заставить бояться России и исполнять то, что велит государь Николай Павлович, и уверяю вас, что в этом я поступаю лучше, чем те, которые бы желали действовать мягко и втираться в персидскую бездушную дружбу. Всем я грозен кажусь, и меня прозвали Сахтгир, т. е. твердое сердце. К нам перешло 8 тысяч армянских семейств, и я теперь за оставшееся их имущество не имею ни днем, ни ночью покоя; однако охраняю их достояние и даже доходы, все кое-как делается по моему слову".

Вот некоторое объяснение той ненависти, которую возымели к Грибоедову персидские чиновники и двор, желавшие отсрочить уплату контрибуции, удержать выдачу имущества выходцев и даже воспрепятствовать выходцам свободный пропуск в Россию.

Один друг Грибоедова, пред которым сей последней не имел ничего тайного и поверял все свои мысли и чувства, часто с ним разговаривал о делах персидских, и вот что он слышал от Грибоедова пред его отъездом.

Против Аббаса-Мирзы есть сильная партия при дворе, которая хотела бы удалить его от наследства престола. Эта партия боится, чтоб Россия не покровительствовала Аббасу-Мирзе, и потому старалась и будет стараться всегда очернять его пред российским двором. Назначение в Персию посланником приятеля Аббаса-Мирзы [2] или, по крайней мере, человека, который знает все интриги двора, не могло быть приятным этой партии, и она будет стараться по возможности вредить послу. <...>

Один член английского посольства в Персии, выехавший почти в одно время с Грибоедовым из Петербурга, говорил ему в присутствии друга: "Берегитесь! вам не простят Туркманчайского мира!" [3] И так многие заключают, что Грибоедов есть жертва политической интриги.

И.С. Мальцов из донесений

I

Наконец достиг я до границы нашей и могу иметь честь донести вашему сиятельству об участи российского посольства,

при персидском дворе находившегося. Доселе не имел я никакой возможности исполнить сию обязанность, ибо в Тегеране был содержим, в продолжение 3-х недель, под караулом и потом с конным конвоем провожаем до самой границы; я не имел при себе цифири [1] и, следовательно, не мог вверить бумаг своих какому-нибудь персидскому курьеру.

В Тегеране посланник наш был принят с такими почестями, которых никогда не оказывали в Персии ни одному европейцу. После первой аудиенции у шаха, при которой соблюдены были все постановления существующего церемониала [2], и великолепных угощений, деланных нам, по приказанию шаха, тамошними вельможами, посланник имел приватную аудиенцию у его высочества [Правильно: величества. Далее такого рода неточности не оговариваются.]. Шах обошелся с ним весьма ласково; говорил ему: "Вы мой эмин, мой визирь, все визири мои ваши слуги; во всех делах ваших адресуйтесь прямо к шаху, шах вам ни в чем не откажет", и много подобных вежливсстей, на которые персияне щедры в обратной пропорции скупости своей на все прочее.

Все, что посланник требовал, было без огласительства исполнено, а именно: последовал строжайший фирман на имя Яхья-Мирзы, воспрещающий в Реште все притеснения, делаемые там нашим промышленникам, о которых ваше сиятельство изволили писать к посланнику, и таковый же на имя казвинского шахзадэ [Принц крови (перс).], повелевающий ему освободить всех пленных, находящихся в доме бывшего сердаря эриванского Хусейн-шаха. Шах прислал посланнику подарки и орден Льва и Солнца 1-й степени, а прочим чиновникам тот же орден 2-й и 3-й степени. Грибоедов сбирался ехать в Тавриз, а для сношений с министерством шаха и для представления его высочеству подарков от нашего двора оставлял меня в Тегеране; он имел прощальную аудиенцию у шаха; лошади и катер были готовы к отъезду, как вдруг неожиданный случай дал делам нашим совсем иной оборот и посеял семя бедственного раздора с персидским правительством.

Некто Ходжа-Мирза-Якуб, служивший более 15 лет при гареме шахском, пришел вечером к посланнику и объявил ему желание возвратиться в Эривань, свое отечество [3]. Грибоедов сказал ему, что ночью прибежища ищут себе только воры, что министр российского императора оказывает покровительство свое гласно, на основании трактата, и что те, которые имеют до него дело, должны прибегать к нему явно, днем, а не ночью. Мирза-Якуб был отослан с феррашами в дом свой, с уверением, что персияне не осмелятся сделать ему ни малейшего оскорбления.

На другой день он опять пришел к посланнику с тою нее просьбою; посланник уговаривал его остаться в Тегеране, представлял ему, что он здесь знатный человек, занимает второе место в эндеруне [Внутренние покои у мусульман (перс).] шахском, между тем как у нас он совершенно ничего значить не может, и т. п.; но усмотрев твердое намерение Мирзы-Якуба ехать в Эривань, он принял его в дом миссии, дабы вывезти с собою в Тавриз, а оттуда, на основании трактата, отправить в Эривань. Грибоедов послал человека взять оставшееся в доме Мирзы-Якуба имущество, но когда вещи были уже навьючены, пришли ферраши Манучехр-хана [4], которые увели катеров и вьюки Мирзы–Якуба к своему господину.

Шах разгневался; весь двор возопил, как будто бы случилось величайшее народное бедствие. В день двадцать раз приходили посланцы от шаха с самыми нелепыми представлениями; они говорили, что ходжа (евнух) — то же, что зкеыа шахская, и что, следовательно, посланник отнял жену у шаха из его эндеруна. Грибоедов отведал, что Мирза-Якуб, на основании трактата, теперь русский подданный и что посланник русский не имеет права выдать его, ни отказать ему в своем покровительстве. Персияне, увидев, что они ничего не возьмут убедительною своею логикою, прибегли к другому средству: они взвели огромные денежные требования на Мирзу-Якуба и сказали, что он обворовал казну шаха и потому отпущен быть не может. Для приведения в ясность сего дела Грибоедов отправил его вместе с переводчиком Шахназаровым к Манучехр-хану. Комната была наполнена ходжами, которые ругали Мирзу-Якуба и плевали ему в лицо. "Точно, я виноват, — говорил Мирза-Якуб Манучехр-хану, — виноват, что первый отхожу от шаха; но ты сам скоро за мною последуешь". Таким образом, в этот раз, кроме ругательства, ничего не последовало. Шаху угодно было, чтобы духовный суд разобрал дело; посланник на это согласился и отправил меня, чтобы я протестовал в случае противузаконного решения. С Мирзой-Якубом и переводчиком приехал я в дом шаро (духовного суда) и объявил Манучехр-хану, что буде кто-либо позволит себе по-прежнему какое-нибудь ругательство в моем присутствии, то я этого не стерплю, кончу переговоры, уводу с собой Мирзу-Якуба и они более его никогда не увидят; что я, со своей стороны, ручаюсь ему, что Мирза-Якуб также не скажет никому обидного слова. "Мирза-Якуб должен казначею шахскому несколько тысяч туманов, — сказал мне Манучехр–хан. — Неужели теперь эти деньги должны пропасть?" Я отвечал ему, что Мирза–Якуб объявил посланнику, что он никому не должен здесь гроша и что, следовательно, должно представить законные документы, и буде

есть действительные векселя, то есть засвидетельствованные в свое время у хакима, он принужден будет удовлетворить Зураб-хана. "Таких документов нет, но есть расписки, свидетели". — "На основании трактата, – сказал я, — известно вашему высокостепенству, что такие расписки и словесные показания, буде сам должник не признает их справедливыми, в денежных делах не имеют никакой силы

[5]; точно, Мирза-Якуб получал деньги от Зураб-хана, но он был казначеем в эндеруне и имел от шаха различные поручения, на каковые и издерживал получаемые деньги. Он говорит, что может это доказать имевшимися в его доме бумагами и расписками; но ваше высокостепенство послали людей своих, которые силою проникли в его дом, когда он уже находился под покровительством нашей миссии, которые унесли вещи, увели катеров и лошадей его, а может быть, и выкрали означенные бумаги; вам следовало описать вещи и бумаги в присутствии русского чиновника, а не насильственно и самовольно захватить все, что попало, и, следовательно, вся ответственность за нарушение прав русского подданного падает на вас; каким образом суд может приступить к справедливому решению, когда Зураб-хан имеет при себе документы, между тем как бумаги Мирзы-Якуба у него отобраны и, может быть, уже уничтожены". — "Хорошо, — сказал Манучехр–хан, – но в трактате вовсе нет того, что вы говорите". В ответ ему я приказал переводчику прочесть некоторые отмеченные мною статьи коммерческой конвенции, и все присутствовавшие по выслушании оных остолбенели от удивления. "Если так, — сказал Манучехр-хан, — то духовного суда по этому делу быть не может; пусть все останется как есть".

На другой день посланник был у шаха и согласился на предложение его высочества разобрать дело Мирзы–Якуба с муэтемедом [Собственно муэтемед–аддоулэ, т. е. опора правительства, — титул Манучехр-хана.] и Мирза-Абул-Хасан-ханом; но сие совещание отлагалось со дня на день до тех пор, пока смерть посланника и Мирзы-Якуба сделали оное невозможным.

Между тем посланник прилагал неусыпное старание об освобождении находившихся в Тегеране пленных. Две женщины, пленные армянки, были приведены к нему от Аллах-Яр-хана, Грибоедов допросил их в моем присутствии, и когда они объявили желание ехать в свое отечество, то он оставил их в доме миссии, дабы потом отправить по принадлежности.

Впрочем, это обстоятельство так маловажно, что об оном распространяться нечего. С персидским министерством об этих женщинах не было говорено ни слова, и только после убиения

посланника начали о них толковать. Я это представил в Тавриз каймакаму, утверждавшему, что женщины были главной причиной убиения посланника. "Ваше высокостепенство, – сказал я ему, — имеете в руках своих всю переписку посланник" с тегеранским министерством; там много говорено о Ходжа-Мирзе-Якубе, но есть ли хотя одно слово о женщинах?" — "Точно, о женщинах нигде не упоминается, но они были удержаны вами насильственно против своей воли". — "Смею уверить вас, — отвечал я ему, — что при мне объявили они посланнику желание возвратиться в свое отечество, а лучшим Доказательством, что посланник никогда насильно не брал тех, которые не имели желание отсюда ехать, может служить происшествие, известное вам, которому весь Казвин был свидетелем. Там находились в доме одного сеида две женщины, из коих одна армянка, а другая — немка, из прилежащих к Тифлису колоний. Они были приведены к посланнику, и когда объявили, что желают остаться в Казвине, то немедленно же были отпущены к сеиду".

Между тем дошло до сведения муджтехида [Законовед–шиит, знаток шариата (перс).] Мирзы-Месиха, что Мирза-Якуб ругает мусульманскую веру. "Как! — говорил муджтехид, — этот человек 20 лет был в нашей вере, читал наши книги и теперь поедет в Россию, надругается над нашею верою; он изменник, неверный и повинен смерти". Также о женщинах доложили ему, что их насильно удерживают в нашем доме и принуждают будто бы отступиться от мусульманской веры.

Мирза-Месих отправил ахундов к Шахзадэ-Зиллисултану; они сказали ему: "Не мы писали мирный договор с Россиею и не потерпим, чтобы русские разрушали нашу веру; доложите шаху, чтобы нам немедленно возвратили пленных". Зилли-султан просил их повременить, обещал обо всем донести шаху. Ахунды пошли домой и дорогой говорили народу: "Запирайте завтра базар и сбирайтесь в мечетях; там услышите наше слово!"

Наступило роковое 30 число января. Базар был заперт, с самого утра народ собирался в мечеть. "Идите в дом русского посланника, отбирайте пленных, убейте Мирзу-Якуба и Рустема" — грузина, находившегося в услужении у посланника [6]. Тысячи народа с обнаженными кинжалами вторгнулись в наш дом и кидали каменья. Я видел, как в это время пробежал чрез двор коллежский асессор князь Соломон Меликов, посланный к Грибоедову дядею его Манучехр-ханом; [7] народ кидал в него каменьями и вслед за ним помчался на второй и третий двор, где находились пленные и посланник. Все крыши были уставлены свирепствующей чернью, которая лютыми криками изъявляла радость и торжество свое. Караульные сарбазы (солдаты) наши не

имели при себе зарядов, бросились за ружьями своими, которые были складены на чердаке и уже растащены народом. С час казаки наши отстреливались, тут повсеместно началось кровопролитие. Посланник, полагая сперва, что народ желает только отобрать пленных, велел трем казакам, стоявшим у него на часах, выстрелить холостыми зарядами и тогда только приказал заряжать пистолеты пулями, когда увидел, что на дворе начали резать людей наших. Около 15 человек из чиновников и прислуги собрались в комнате посланника и мужественно защищались у дверей. Пытавшиеся вторгнуться силою были изрублены шашками, но в это время запылал потолок комнаты, служившей последним убежищем русским: все находившиеся там были убиты низверженными сверху каменьями, ружейными выстрелами и кинжальными ударами ворвавшейся в комнату черни [8]. Начался грабеж: я видел, как персияне выносили на двор добычу и с криком и дракою делили оную между собою. Деньги, бумаги, журналы миссии — все было разграблено (я полагаю, что бумаги находятся в руках у персидского министерства).

В это время пришел присланный от шаха майор Хадибек с сотнею сарбазов, но у сего вспомогательного войска не было патронов; оно имело приказание против вооруженной свирепствующей черни употребить одно красноречие, а не штыки и потому было спокойным свидетелем неистовств. Также прислан был визирь Мирза-Мамед-Алихан и серхенг (полковник). Увидев серхенга, с которым я был довольно коротко знаком, я просил его к себе. Он сказал мне, что посланник и все чиновники миссии убиты; что он не понимает, как мог я спастись, приставил к комнате моей караул и обещался вечером посетить меня. За час до захождения солнца, когда в разоренном доме нашем оставались одни только сарбазы, пришел шахский чиновник, который четырем стенам прочел громогласно фирман, повелевающий народу, под опасением шахского гнева, удалиться спокойно из нашего дома и воздержаться от всякого бесчинства.

В 9 часов вечера пришел серхенг с вооруженными гулямами, нарядил меня и людей моих в сарбазские платья и повел во дворец Зилли-султана.

Всего убито в сей ужасный день 37 человек наших и 19 тегеранских жителей.

II

Несколько дней после убиения посланника Мирза-Мехти, человек очень умный и уважаемый покойным г. Грибоедовым, уверял меня, что он за три дня уведомил его о том, что муллы

возмущают народ против русских и что он будет находиться в величайшей опасности, если не выдаст немедленно Мирзу-Якуба; [Мальцов называет его Ягубом.] но посланник, вероятно, почел этот совет одною хитростию, острасткою, которою хотели у него выманить Мирзу-Якуба, и потому оставил без внимания, в уверенности, что правительство, после столь дорого купленного им мира с Россиею, не осмелится оскорбить сию сильную державу в лице ее посланника. Не зная ни персидского, ни татарского языка [9], я мог получить известие или от самого посланника, или от переводчика нашего Шахназарова, который, по уверениям персиян, был подкуплен Мирзой-Якубом [10], принял от него некоторые подарки и взял сверх того обещание, что если он вывезет благополучно Мирзу-Якуба из Персии, то получит от него за труды 500 червонных. Вот почему не допускал он до меня никаких слухов о том, что приготовлялось в городе, ибо знал, что я немедленно уведомил бы посланника, который, усмотрев невозможность держать далее Мирзу-Якуба, может быть, выдал бы его [11], отчего и пропали бы обещанные им Шахназарову 500 червонных. Из одной ноты к Мирзе-Абул-Гассан-хану, которую посланник велел мне написать вечером, накануне своего убиения, я должен заключить, что точно он не почитал себя в совершенной безопасности. Шах был очень сердит на посланника, говорил ему: "Продолжайте, отнимите у меня всех жен моих; шах будет здесь молчать, но Наиб-султан едет в Петербург и будет лично на вас жаловаться императору". В вышеупомянутой ноте в сильных выражениях были изложены поступки (то есть объяснения поступков) г. Грибоедова, с самого приезда в Персию; она заключалась, между прочим, следующим" словами: "Нижеподписавшийся, убедившись из недобросовестного поведения персидского правительства, что российские подданные не могут пользоваться здесь не только должною приязнью, но даже и личною безопасностью, испросит у великого государя своего всемилостивейшее позволение удалиться из Персии в российские пределы". На другой день утром ужасным образом объяснились мне сии слова.

* * *

Я обязан чудесным спасением своим как необыкновенному счастию, так и тому, что не потерялся среди ужасов, происходивших перед глазами моими. Я жил рядом с табризским мехмендарем нашим Назар–Али–ханом Авшарским, на самом первом дворе; кроме меня, русских там не было, а жили еще приставленный от шаха мехмендарь Мирза-Абул-Гуссейн-хан и караульный султан. Когда народ, с криком, волною хлынул мимо

окон моих, я не знал, что думать, хотел броситься к посланнику и не успел дойти до дверей, как уже весь двор и крыши усыпаны были свирепствующею чернию. Я пошел в балахане [Комната на верхнем этаже, мезонин (перс).] свой, и не прошло пяти минут, как уже резали кинжалами перед глазами моими курьера нашего Хаджатура. Между тем народ бросился на 2-й и 3-й двор: там завязалась драка, началась перестрелка. Увидев, что некоторые из персиян неохотно совались вперед, я дал одному феррашу моему 200 червонцев и приказал ему раздать оные благонадежным людям, ему известным, собрать их к дверям моим и говорить народу, что здесь квартира людей Назар-Али-хана. Я сидел таким образом более трех часов в ежеминутном ожидании жестокой смерти; видел, как сарбазы и ферраши шахские спокойно прогуливались среди неистовой черни и грабили находившиеся в нижних комнатах мои вещи. Неоднократно народ бросался к дверям, но, к счастию, был удерживаем подкупленными мной людьми, которые защищали меня именем Назар-Али-хана. Потом, когда уже начало утихать неистовство, пришел серхенг и приставил караул к дверям моим. Ночью повел он меня во дворец (переодетого сарбазом).

Зилли-султан (Али-шах) сам находился в назначенной мне для житья комнате. Он начал описывать в преувеличенных выражениях свою горесть и отчаяние; сам сказал мне, что он поехал было усмирять народ, но, испугавшись ругательств черни, воротился с поспешностию во дворец, велел запереть ворота, расставил сарбазов по стенам, чтобы разъяренная чернь не бросилась в шахский дворец. Я объявил ему желание ехать немедленно в Россию, и мне обещано, что отправят меня через три дня. На другой день пешком Зилли-султан пошел к муджтехиду Мирзе-Масси. Я тотчас послал за ним одного преданного мне ферраша послушать, что будут говорить в доме шера. Посланец принес мне весьма неутешительное известие. Муджтехид советовал шаху содержать меня хорошо в Тегеране, оказать всевозможные почести, отправить и велеть убить дорогою, как опасного человека.

Шах прислал ко мне всех визирей своих, и я имел честь увидеть и тех высокопоставленных особ, которые по чрезмерной спеси не хотели удостоить посещения своего покойного посланника. Все они с восточным красноречием описывали отчаяние шаха и собственную свою горесть. "Падишах заплатил [8] курур из казны своей за дружбу России, — говорили они, — вот что сделали муллы и народ тегеранский. Какой позор целому Ирану, что скажет император!" Им хотелось выведать мой образ мыслей, но я, зная, что за малейшее слово, несоответственное их

видам, должен буду распроститься с жизнию, притворился убежденным их речами. "Надобно быть совершенно бессмысленным человеком, — сказали, — чтобы хотя одно мгновение подумать, что шах допустил бы сие ужасное дело, если бы был уведомлен одним часом ранее о намерении мулл и народа. Я сам был свидетелем отменной благосклонности падишаха к посланнику и беспримерных почестей, оказанных ему в Тегеране. Я сам видел, что шах принял всевозможные меры для усмирения возмущенной черни; послал самого Зилли–султана, визиря, сарбазов, феррашей, но, к сожалению, они пришли уже слишком поздно для охранения посланника. Я сам могу служить очевидным доказательством покровительства и отличного уважения, которое персидское правительство не перестает оказывать русским, ибо, верно, бы так же погиб, если бы присланные шахом сарбазы не оградили меня от опасности. Хотя не могу сказать вам утвердительно, как это дело будет принято августейшим моим государем, ибо этого знать никто не может, но полагаю, что его величество, узнав о почестях, оказанных в Тегеране посланнику, и о всех мерах, принятых персидским правительством, для отвращения сего бедственного происшествия, сохранит к падишаху ту же дружбу, которую всегда питал к нему в душе своей". Зилли-султан (почесть неслыханная), все министры снова удостоили меня своего посещения и объявили, что через три дня я буду отправлен в Россию. Шах прислал мне в подарок две шали и худую лошадь, которая, конечно, не стоит 10 червонцев. Я хотел, было, отказаться от щедрых подарков его величества, но, наконец, принял оные по следующей причине: если бы я от них отказался, то шах заключил бы, что я имею против него личную злобу, полагаю, что он сам участвовал в убиении посланника и, следовательно, в этом виде намерен представить все дело моему правительству; тогда бы приносимый мне к ужину плов приправили, без всякого сомнения, такою пряностию, которая в 24 часа отправила бы меня в сообщество товарищей моих, погибших в Тегеране.

III

Персидское правительство говорит, что оно нисколько не участвовало в убиении нашего посланника, что оно даже _ничего не знало_ о намерении муллов и народа; но стоит только побывать в Персии, чтобы убедиться в нелепости сих слов. Многие из персидских чиновников уверяли меня, что они еще за три дня предуведомляли посланника об угрожавшей нам опасности.

В Персии секретных дел почти нет: среди важных прений о государственных делах визири пьют кофе, чай, курят кальяны; их многочисленные пишхадметы [Слуги (перс).] должны всегда находиться при них в комнате; визири рассуждают громогласно, при открытых окнах – и толпы феррагаей, стоящих на дворе, слышат слова их и через два часа разносят по базару. Как же могло персидское правительство не знать ни слова о деле, в котором участвовал целый Тегеран? Муллы проповедовали гласно в мечетях; накануне были они у шахзады Зилли-султана; накануне велели запирать базар, и есть даже слухи, что во время убиения посланника нашего муджтехид Мирза-Месих сидел у шаха.

Положим даже, что и не шах, а муллы послали народ в дом нашей миссии; но и тогда шах виноват: зачем допустил он это? Если бы он решительно не хотел, чтобы народ вторгнулся в наш дом, то мог бы приставить сильный караул, который остановил бы чернь пулями и штыками, мог ночью перевести посланника и чиновников во дворец или, наконец, известив г. Грибоедова о возмущении народном, просить его удалиться ночью, на короткое время, из Тегерана в какую–нибудь загородную дачу: но тогда уцелел бы Мирза-Якуб, а этого-то именно и не желал Фет-Али-шах.

Вот как, по моему мнению, произошло все дело. Шах испытал все меры, чтобы удержать Мирзу–Якуба, сперва убеждениями, просьбами, потом ложными денежными претензиями, наконец, гневом и угрозами: ничто не удалось ему. Шаху надобно было истребить сего человека, знавшего всю тайную историю его домашней жизни, все сплетни его гарема: пока посланник был жив, этого сделать никто не мог. Послать сарбазов, которые отобрали бы силою Мирзу-Якуба и убили его, шах не смел, ибо это было бы явное нарушение с его стороны мирного трактата, за который заплатил он 8 курур; ему сказали: "Народ вторгнется в дом посланника, убьет Мирзу-Якуба, а мы притворимся испуганными, велим запереть ворота дворца, пошлем Зилли–султана и визиря унимать чернь, пошлем сарбазов, без патронов, которым не велим никого трогать, и скажем, мы ничего не знали, это все сделал проклятый народ, мы тотчас послали вспомоществование, но, к сожалению, злодейство уже было совершено", — одним словом, все то, что шах говорит и пишет в свое оправдание. Шаху не оставалось другого способа истребить МирзуЯкуба, и потому прибегнул к оному, что надеялся отделаться от нас своими обыкновенными отговорками.

IV

Из донесений моих ваше сиятельство усмотреть изволите, que fai joue ruse pour ruse avec les Persans [что я отвечал персам хитростью на хитрость (фр.).] и этим только сохранил я жизнь свою. Теперь нахожусь я на почве, осененной неизмеримым крылом двуглавого российского орла, и говорю сущую правду своему начальству: этого персияне мне никогда не простят, и за все, что случится для них неприятного, будут питать личную злобу на меня. После этого мне невозможно воротиться в Персию, ибо по ту сторону Аракса жизнь моя подвержена будет ежеминутной опасности; мне придется испить до дна горькую чашу ненависти и мщения персиян.

Смею прибегнуть под сильное покровительство вашего сиятельства, прося вас убедительно сообщить сие от себя г. вице–канцлеру и благоволить написать к нему, что я в Персию ни под каким видом воротиться не могу [12], чтобы он сделал мне милость отозвать меня в С.-Петербург, где бы находился я при особе его сиятельства, доколе не представится для меня какое-нибудь секретарское место при одной из европейских наших миссий.

Ежели вашему сиятельству не будет угодно сделать какого-нибудь милостивого обо мне представления, то я останусь безо всякого вознаграждения за все потерпенные мною в Персии бедствия и попадусь опять в когти персиян, от которых так чудесно избавился. Крайность принудила меня прибегнуть к вашему сиятельству с убедительнейшею просьбой; я решился на то в полной уверенности на правосудие и милостивое ваше расположение.

Реляция происшествий, предварявших и сопровождавших убиение членов последнего Российского посольства в Персии

Еще до сих пор, без сомнения, памятны те ужасные события, — жертвой которых стали в феврале месяце 1829 года русский посланник в Персии и его свита, и наши читатели заинтересуются, вероятно, рассказом, набросанным персиянином и содержащим любопытные подробности о русском посольстве со дня его выезда, 20 декабря 1828 г., из Тавриза в Тегеран и за все время пребывания его в этом городе до 11 февраля 1829 г.

Причисленный в качестве секретаря к мехмандарю [1], выбранному его высочеством Аббасом-Мирзой для сопровождения посольства, я выехал из Тегерана вместе со свитой хана 16-го числа месяца диуммади уль цани (22 декабря), чтобы присоединиться к Грибоедову в селении Тикмадаше, куда он выехал за два дня до нас. Это важное поручение было возложено

на хана вследствие отказа, якобы за слабостью здоровья, Мирзы-Мусса-хана, который считал эту миссию для себя слишком низкой, потому ли, что был зятем шаха, или же по какой-либо иной причине.

Все было заботливо предусмотрено для того, чтобы в пути не оказалось недостатка в помещении и продовольствии; путешественники везде должны были встретить радушный прием со стороны местного начальства и сельских старост. На прощальной аудиенции принц преподал хану самые подробные инструкции и назначил в его распоряжение, с целью помочь ему в деле выполнения щекотливого поручения и устранения всяких поводов к неудовольствиям, помощника ферраш-баши [2], Магомед-Али-бега, с шестью подчиненными ему феррашами.

Хану уже и раньше приходилось встречаться с посланником, однако, по прибытии в Тикмадаш, он был принят посланником чрезвычайно сухо и снискал милостивое расположение и доверие русского посланника только посла более тесного сближения во время путешествия и после многочисленных оказанных ему услуг. Причиной этой холодности был отказ Мирзы–Мусса–хана, высокое положение которого, значительно превосходившее положение моего начальника, более бы льстило русскому самолюбию.

Состояние путей и жестокая стужа делали наше путешествие неприятным и утомительным. Снег покрывал землю толстым слоем, тем не менее, мы старались, поскольку это было возможно, добыть для посольства все, что могло оказаться ему необходимым и приятным, и смягчить ему неудобства путешествия в такое суровое время года. Состав посольства был довольно многочислен. Помимо Грибоедова, в него входили: Мальцов и Аделунг — первый и второй секретари посольства; врач; Дадаш-бег и Рустембег — заведующие прислугой (Дадаш-бег служил еще в Реште); конвой из 16 кубанских казаков и 30 человек прислуги – магометан, русских, грузин и армян.

Замечу здесь, что прислуга эта не была подчинена достаточно строгому надзору [3]; особенно много жалоб вызывали грузины и армяне, поведение которых часто раздражало моих соотечественников.

Обязанности мехмандаря были тяжелы и неприятны; ежедневно приходилось запасаться всякой провизией, причем мехмандарь имел право требовать все, что полагалось по годовому обложению. Все нужное он приказывал сдавать Рустем-бегу, который заведовал раздачей. Посольству требовалось в качестве ежедневного продовольствия: 1 бык, 1 теленок, 5 баранов, 30 штук птицы, 200 яиц, 84 фунта рису, 36 фунтов

масла, 36 фунтов кислого молока, 12 фунтов сыру, 24 фунта леденцов, 3 фунта пряностей, 240 фунтов хлеба, 6 фунтов виноградного сока, 6 фунтов уксусу, 1 бутылка лимонного сока, 6 фунтов винограду, 3 фунта миндалю, 60 фунтов различных плодов, 18 фунтов чесноку, 3600 фунтов дров, 120 фунтов угля, 1800 фунтов ячменю, 3600 фунтов соломы, 18 фунтов сальных свечей, 6 фунтов молока, 300 фунтов вина и спиртных напитков. Стоимость всех этих припасов превышала 60 туманов, или 75 голландских дукатов; они значительно превосходили потребность посольства, и многих из них нельзя было достать в деревнях. В таких случаях Рустембег требовал возмещения деньгами, причем брал даже сверх положенного, так что он нередко получал от 10 до 15 туманов. Мы не могли оправдывать подобного злоупотребления, но, полагая, что Грибоедову об этом известно, закрывали на это глаза. Я подвел итог суммам, выплаченным Рустем-бегу во время нашего пути; он равнялся 160 туманам.

В Миане посольство было встречено Мирзой-Фата, гражданским представителем уезда, сыном Джигангирхана (старшины племени Шагагни), вышедшим с этой целью из города.

Глубокий снег, покрывавший Кафлан-Кох, крайне затруднял нам переход через эту гору. В Зенджане посольство поместилось в доме Неджев-Кули-бега, сына Нассер-Уллах-Афшара, вице-губернатора, который, во главе большого числа всадников, выехал из города, чтобы приветствовать посланника; Мирза-Раффи, министр принца Дбдуллы-Мирзы, посетил Грибоедова, который вернул ему визит. На следующий день Грибоедов был принят принцем, оказавшим ему самый милостивый прием. Сверх обычных подарков, состоявших из сладостей, плодов и различных яств, изготовленных на собственной его кухне, он подарил Грибоедову прекрасную лошадь. Мы получили от Абдуллы-Мирзы 15 лошадей для посольства взамен тех, которыми снабдил нас Аббас-Мирза и которые были утомлены; кроме того, зенджанские власти уплатили за наем 45 лошадей, взятых для доставки наших вещей до Казвина.

До перехода нашего через Кафлан–Кох к начальнику моему явились, по приказанию Абдуллы-Мирзы, чиновники для содействия посольству; они оставили нас только после того, как мы выехали из владений принца. По прибытии в Сиахдахун — граница Казвина — мы были встречены другими чиновниками, высланными Алли-Нагги-Мирзой, оказывавшими нам те же услуги почти до самого Тегерана. Грибоедов никого из них не наградил; надо полагать, что средства его были весьма ограниченны, если он не мог позволить себе даже такого небольшого расхода. Он никогда не дарил более одного или двух

червонцев хозяевам, в домах которых останавливался, и это единственный известный мне пример его щедрости.

Мне никогда не забыть тех мучений, какие мы претерпели, и тех опасностей, каким подвергались при переезде по всему протяжению долин Султанэ. Было чрезвычайно холодно, лошади наши с трудом вытаскивали ноги из выпавшего в большом количестве снега, а сильные порывы ветра, сопровождаемые мелким градом и мокрым снегом, делали наше положение иной раз совершенно бедственным. Однажды мы потеряли из виду Грибоедова; он отделился от нас вместе с двумя казаками и присоединился к нам лишь поздно вечером, иногда он с большей частью конвоя завершал денной переход скачкой; лошади не выдерживали ее и уже не годились для дальнейшего путешествия; нам приходилось заменять их другими, захватывая их у путешественников, имевших несчастие повстречаться с нами в пути. Мало-помалу отношение к нам посланника сделалось благосклоннее, он стал оказывать некоторое доверие нашему хану и часто беседовал со мной. Это был человек одаренный я обладал многими добрыми качествами, но казался новичком в своей роли, не привыкшим начальствовать и лишенным достоинства в обхождении [4]. Свита у него была подобрана плохо и, как я уже заметил выше, не была подчинена никакому контролю.

В Снахдахуне мы застали Мотаммед-хана Афшара, на которого шах возложил весьма почетное поручение. Предшествовавшей осенью он был отправлен в Азербайджан для встречи Грибоедова при его переправе через Араке и сопровождал его до Таврида; но так как посланник пребыл в этом городе долее, чем предполагал, Могаммедхам счел обязанностью возвратиться ко двору.

Из Казвина навстречу нам вышла многочисленная депутация; во главе ее находился министр Мирза-Наббихан, в сопровождении многих начальников племен и при 300 всадниках. Здесь свита посланника пополнилась 5 шатиями (скороходы) и 10 феррашами (ставщики палаток). Принц прислал ему лошади из собственной конюшни в роскошном чепраке. Квартира Грибоедову была приготовлена в новом доме, смежном с домом, занимаемым Мирзой-Набби; она предназначалась для дочери принца, которая готовилась вступить в брак с братом Мирзы. Празднества и угощение уже начались, и посланник присутствовал на одном обеде на европейский лад в его честь. Во время этих развлечений неожиданное происшествие чуть было не повлекло за собой величайших несчастий. Грибоедов привез с собой список мужчин и женщин, похищенных персами в русских

владениях, и многие грузины присоединились к свите посланника с целью добиться, при его посредничестве, освобождения своих родственников или друзей. Рустем-бег, агент по розыску этих пленных, узнал, что один из слуг Гусеейн-хана, последнего эриванского губернатора, привез в Казвин молоденькую немку; он потребовал ее выдачи. Слуга утверждал, что продал ее одному из купцов города; этот последний, будучи допрошен в судьбе пленницы, показал, что уступая ее одному сеиду (потомку пророка), по имени Шейх-Абдул-Айсизу, двоюродному брату начальника духовного училища. Сеида- разыскали; Рустем-бег, в сопровождении, нескольких казаков и двух находящихся на службе у Мирзы-Набби-хана феррашей, привел его на площадь перед домом министра в стал там требовать от сеида, чтобы он освободил эту немку, которая стала женой сеида и от которой у него было двое детей. После его отказа и тщетных угроз. Рустем-бег отдал приказание бить его кнутом, чтобы привести его к покорности. Все любопытные, привлеченные брачными празднествами, тотчас же сбежались к сеиду, громко выражая свое неудовольствие. Мирза-Набби, оповещенный криками, немедленно, вышел, чтобы пресечь могущий возникнуть беспорядок, и приказал Рустем-бегу прекратить истязания) сеида, так как он не мог бы сдержать народного возмущения. Мой начальник, с своей стороны, поспешил явиться к Грибоедову, чтобы сообщить ему о происходящем; тем временем Мирза-Набби убедил сеида привести жену, и она явилась с двумя своими детьми; ее отвели к посланнику. Муж ее оставался на дворе, под окнами, с кинжалом в руке и заявлял, что заколет себя, если у него отнимут жену силой; если же она сама пожелает оставить его, он отпустит ее без сожаления. Аделунг, второй секретарь посольства, немец по, происхождению, казалось, опасался, что эта женщина не обнаружит намерения возвратиться в Грузию. У хана было довольно продолжительное совещание с Грибоедовым, после которого он вошел в комнат, где находилась эта женщина, и спросил, желает ли она вернуться на родину или остаться в Персии. Она ответила, что если выбор предоставляют ей, то она предпочитает не расставаться с мужем и детьми. Получив такой ответ, Грибоедов приказал передать сеиду, что он может увести жену обратно. Это проявление, справедливости произвело сильное впечатление на присутствовавших, которые с нетерпением ждали развязки и тотчас же были о вей оповещены. В тот же день Мирза-Набби пригласил Грибоедова к обеду и несколько раз принимался выражать ему признательность от лица жителей города за его поведение в отношении к сеиду.

На следующий день русским удалось обнаружить девочку лет

семи или восьми, о которой посланнику дана была особая записка, и освободить ее с большим трудом. Он отнесся к ней как к родной дочери.

После трехдневного отдыха в Казвине мы выехали из этого города в сопровождении Мирзы-Набби и значительного числа всадников. Принц предоставил в наше распоряжение нескольких своих офицеров, с тем, чтобы они помогли нам в деле реквизиции.

В Рассиабаде, селении Казвинского округа, мой начальник имел случай выполнить одно щекотливое поручение, возложенное на него Аббасом-Мирзой накануне его отъезда. Рустем-бег, по обыкновению, взыскивал деньги за провиант, которого ему не требовалось, и за предметы, которых нельзя было поставить; его претензии выразились в сумме 11 туманов. Подвергавшиеся подобному обложению обычно старались отделаться меньшим, независимо от того, были ли они в состоянии удовлетворить требование или нет. Таким образом, один старик, вместо одиннадцати туманов, принес семь. Раздраженный этим Рустем бешено ударил его, в порыве гнева, по голове. Подобное самоуправство вызвало что-то вроде возмущения между поселянами, и их неистовые крики были услышаны посланником, который вышел из своего помещения, чтобы узнать о причине шума. Тогда хан сообщил ему, что старик доставил Рустему меньшую сумму, нежели та, какая требовалась в виде возмещения за недостающие припасы, за что и был жестоко избит. Грибоедов оказался весьма удивленным таким поступком своего доверенного, сказал, что он в первый раз слышит об этом, и упрекнул хана, почему он не донес ему ранее об этих проделках. Хан полагал, что это было небезызвестно его превосходительству, тем более что так было заведено с самого начала путешествия и что его секретарем ведется счет всем суммам, переданным Рустему, доходящий до 160 туманов. Грибоедов изъявил свое неудовольствие и сказал даже, что намерен, на обратном пути из Тегерана, возвращать на каждой остановке неправильно взысканные деньги. Хан счел этот момент удобным для исполнения приказаний Аббаса-Мирзы, изложенного в таких выражениях:

"Засвидетельствуйте г-ну Грибоедову то чувство удовлетворения, какое я испытываю при сношениях с ним, вследствие его способа ведения дел. Ознакомившись с его дарованиями и опытом, я убеждаюсь, что сам он не сделает ничего, что могло бы нарушить доброе согласие, существующее между обоими правительствами; однако я не питаю подобного доверия к сопровождающим его лицам. В их религиозных и

личных настроениях я усматриваю огорчительное враждебное расположение, которое меня пугает. Убедите его держать их в строгом повиновении; он, вероятно, помнит, как, немного лет тому назад, я был вынужден просить об отозвании Дадаш-бега из Тавриза, где он мучил жителей постоянными притеснениями. Рустем-бег также весьма злой человек, и я крайне опасаюсь, чтобы он и ему подобные не втянули г-на Грибоедова в прискорбные распри и раздор".

Это предостережение было принято его превосходительством весьма благосклонно; он обещал, по возвращении своем из Тавриза, уволить находящихся у него в услужении армян и грузин, прибавив, что до этого времени он принужден сохранить их при себе.

При этом случае я имел честь снискать полное расположение Грибоедова. Едучи верхом, он часто разговаривал со мной. Однажды разговор коснулся того, как трудно держать подчиненных в должном повиновении; я обратил его внимание на то, что прислуга в Персии обязана относиться к своим господам с большой почтительностью и что это обыкновение имеет свои ощутительные выгоды, что оно не позволяет им забывать своего места и внушает им большое уважение и почтение к другим. "Англичане, — прибавил я, — с которыми мне случалось в разные времена быть в тесных отношениях, отлично понимают эту отрасль домашней дисциплины". Я привел ему в пример, что прислуга английского посольства, хотя и весьма многочисленная и разноплеменная, настолько хорошо дисциплинирована, что там редко кто-либо отваживается на предосудительный поступок, столь обыкновенный для челяди знатных сановников [5].

Мы достигли наконец окрестностей столицы, но, вместо того чтобы направиться из Селлимании прямо в Тегеран, мы остановились в деревне Кенд, в 8 милях от него, с целью надлежаще подготовить въезд посланника. Все оделись в лучшее платье; были выбраны четыре илипятькрасивейшихлошадей, чтобы предоставить их его превосходительству. Церемония должна была произойти в воскресенье 5–го реджеба, когда солнце находилось в созвездии Скорпиона, что считалось неблагоприятным знамением. Я указал хану на это мрачное обстоятельство, тяготевшее над нашим въездом. Он ответил мне на это, что франки не верят астрологии, поэтому уговаривать их отложить въезд, ссылаясь на такую причину, было бы напрасной тратой слов.

Не доезжая двух или трех миль до города, мы встретили нескольких придворных конюхов, которые вели богато разубранных лошадей, нескольких скороходов и значительное

число другой прислуги. Это прибавление к штату посольства сообщило кортежу еще большую внушительность. Принять посланника было поручено Могаммед–Велли–хану, начальнику Афшарского округа, ехавшему во главе значительного кавалерийского отряда. Его сопровождали двое его родственников: Амманула и Габбидулахая, выдающиеся офицеры, за которыми следовал другой отряд, под начальством Мирзы-Могаммед-Али-хана, министра губернатора, принца Али-шаха, а за ними тянулось множество почетнейших жителей.

Посланник остановился в прекрасном доме покойного Могаммед-хана-Замбор-Экчи-баши, великолепно приготовленном для приема, с баней и всевозможными удобствами. В главных комнатах были расставлены подносы с плодами, сластями и вареньями. В доме находилось несколько отдельных больших и малых помещений, и потребовалось немало времени, чтобы разместить всех членов посольства соответствующим образом. Мирза-Абул-Гусселя-хан, племянник министра иностранных дел, был назначен исправлять должность мехмандаря. В течение всего дня он находился в беспрерывном движении, следя за точным выполнением приказаний начальства. Посланнику был назначен почетный караул, состоящий из отряда фураган [6], в числе 80 человек, под командой Могаммед–Али–Султана; его брат Гади–Бей, начальник этого отряда, ежедневно поверял караул. Сверх того, для услуг его превосходительства было отряжено 15 шахских феррашей, которых разместили на переднем дворе, для того чтобы они отгоняли назойливых любопытных. Хан был помещен в посольстве вместе со мной, хотя его обязанности мехмандаря л прекратились с момента нашего въезда в Тегеран.

На следующий после приезда день посланник сделал свои первые официальные визиты; он начал с Мирзы–Абул–Гассан–хана, министра иностранных дел, одного из важнейших сановников государства, потом посетил и других крупных чиновников, по положению почти равных этому министру: Мирзу–Могаммед–Алл–хана, брата его Мотаммед–Бакер–хана и Махмуд–хана, капитала гвардии и обер–церемониймейстера; все было выполнено достодолжным образом; в тот же день его превосходительству было доставлено значительное количество плодов, варенья и сладостей.

Весь церемониал представления шаху был разработан с общего согласия и имел место в среду, в 8–в день месяца реджеба. Около полудня обер–церемониймейстер Махмудхан прибыл за посланником, чтобы сопровождать его во дворец; для большего почета при нем была свита из 8 нессекчиезов, 15 зарший и 11 феррашей; Грибоедов сел на лошадь из придворных конюшен,

приведенную конюхом шаха. Пока процессия медленно тянулась но бесконечным базарам столицы, торговцы приветствовали посланника по-европейски, стоя и обнажив голову, и, когда он проезжал внутренние дворы, приближаясь к зеркальному залу, где шах восседая на троне во всем блеске своего величия, сановники его величества пребывали в почтительном благоговении. Я мог следовать за Грибоедовым только до ворот сада зеркального зала, откуда он и вышел спустя 50 минут. Я узнал, что он вручил шаху свои верительные грамоты и что церемония вызвала общее удовлетворение; однако некоторые шептались по поводу того, что Грибоедов слишком долго оставался перед его величеством сидя. Шах был в короне, и на нем были самые прекрасные его драгоценности; тяжесть их до того утомила его величество, что по окончании аудиенции он поспешил освободиться от этих блестящих знаков шахского величия.

По выходе из дворца Грибоедов изъявил желание посетить принца–губернатора, но это посещение пришлось отложить, потому что тот не имел еще разрешения принять посланника. Тогда Грибоедов приказал проводить его к Аммин–эд–Даулэ, которого считал, как я узнал впоследствии, первым министром государства и который оказывал ему внимание, достойное его звания. Свидание с министром иностранных дел состоялось только спустя два или три дня после официальных визитов. Все удивлялись тому, что Грибоедов не старался завязать отношений с Мирзой–Абдул–Вагабом (Моатемид–эд–Даулэ), одним из первых министров, всеми уважаемым за свою ученость и превосходные качества; по своему званию и власти он нисколько не уступал своему сопернику Аммину.

Принц-губернатор, желавший уклониться от чести принимать посланника, предложил, чтобы этот визит состоялся в один из тех дней, когда шах выедет из столицы; однако, в конце концов, он уступил упорным настояниям его превосходительства [7].

До второй аудиенции у шаха, состоявшейся через 12 или 14 дней по нашем приезде, весь двор был занят только тем, как бы доставить удовольствие посланнику. Аммин–эд–Даулэ, Мирза–Абул–Гассан–хан и Мирза–Могаммед–Алихан старались превзойти один другого в блестящих празднествах и угощениях посольству; тут было какое-то соревнование, воодушевлявшее и занимавшее этих знатных особ; всюду были пиры, иллюминации, фейерверк. Однако я стал примечать, что дружеское расположение понемногу слабеет. При второй аудиенции посланник вручил шаху копию с заключенного мирною договора, причем снова было замечено, что он опять слишком долго сидел в

присутствии его величества [8]. Выражение мерраджат (отпуск), употребленное шахом, когда ему показалось, что аудиенция продолжается слишком долго, было сочтено Грибоедовым за явную обиду, нанесенную ему как представителю императора всероссийского да и самому ему лично. В ноте на имя министра иностранных дел он резко намекнул на неуместность этого выражения, и хотя министр, в ответной ноте, разъяснил, что слово мерраджат, в общем значении, не имеет ничего оскорбительного и даже невежливого, это объяснение не было сочтено удовлетворительным. С своей стороны, Гассанхан счел себя вправе сделать некоторые замечания посланнику по поводу того, что он в своей переписке именует повелителя просто шахом (киднети шах).

Я не мог дознаться в точности о сущности споров, возникших по поводу договора. Говорили, будто шах возражал против некоторых статей, показавшихся ему слишком стеснительными, и будто Грибоедов заявил, что не может ни изменить, ни смягчить их. Впрочем, обязательства, вытекавшие из этого договора, тяжкие ли, нет ли, были подвергнуты самому тщательному рассмотрению, утверждены той и другой стороной и стали непреложными.

Произошло несколько довольно серьезных столкновений между представителями населения и слугами посланника; прислуга одного важного персиянина избила слугу посольства, по имени Александр, любимца и молочного брата Грибоедова; она спаслась от ожидавшего ее заслуженного наказания бегством из города. В другой раз на базаре разбили бутылку с водкой, принадлежавшую одному казаку, может быть и случайно, однако возможно, что п умышленно, так как все жаловались на поведение посольской прислуги. Виновник был схвачен и строго наказан местной полицией.

По приказанию Мирзы–Абул–Гассан–хана выдача продовольствия посольству происходила каждое утро, но с прибытием в столицу порции были уменьшены наполовину против того, что отпускалось во время пути.

В первые дни у русского министра армян не было видно; действительно, ферраши не допускали их, но мало–помалу распоряжения, данные на этот счет, стали обходить. Сперва дозволили свидание друзьям Мирзы–Нарримана, дотом Рустем–бега, и, наконец, разрешение было дано для всех и распространилось даже на грузинских купцов, проживавших в караван–сарае.

Дадаш–бег был послан из Тавриза в порт Энзели для наблюдения за доставкой подарков, предназначенных шаху

императором. Им надлежало прибыть ранее посольства, но они, не знаю почему, были задержаны некоторое время в Астрахани. Я узнал позднее, что судно, на котором они находились, появилось в Ленкорани и, по неизвестным мне причинам, зашло в небольшую гавань Сарри–Пучтах. Замедление в прибытии этого драгоценного груза было, конечно, весьма неприятно; он произвел бы самое благоприятное впечатление на шаха и его министров и отвлек бы их внимание от некоторых мелочей, ибо ничто не доставляет моим соотечественникам такого удовольствия, как подарок, независимо от его ценности.

Так как страстным желанием Грибоедова было возвратиться к своей семье в Тавриз, то между ним и министрами шаха было решено, что он покинет столицу в самом скором времени и что он оставит там своего первого секретаря Мальцева и переводчика Мирзу-Нарримана, на которых и будет возложена передача подарков. Однако мне как-то не верилось, чтобы Грибоедов не привез с собой на всякий случай каких–нибудь безделиц для подарков; и точно, я вскоре узнал, что он поднес шаху двадцать пять монет из платины, а также пятнадцать Аммину, десять — Мирзе–Могаммед–Али–хану и пять – Мирзе–Абул–Гассан–хану.

Прошло только три недели с момента нашего приезда в Тегеран, а взаимное расположение изменилось уже настолько, что Мирза-Нарриман сказал мне однажды:

— Какая перемена! Какая холодность! Надо ехать... Пора!

Обязанности посланника были в некотором отношении весьма затруднительны; человек 9 или 10 армян, родственники которых были похищены персиянами, последовали за ним из Тавриза, осаждая его просьбами об освобождении пленников, так что он не мог показаться без того, чтобы его не преследовали назойливые просители. И только успевал он выручить одну из похищенных жертв – к нему поступали новые просьбы. Освобождение этих несчастных сильно раздражало тех, у кого их отнимали; в большинстве случаев они были приобретены за деньги, а за них не уплачивалось никакого выкупа. Таким образом, в Казвине, в Зенджане и в самой столице были возвращены многие из похищенных.

Когда день отъезда Грибоедова был окончательно назначен на 27-е число месяца реджеба, Зограб–хан, казначей шаха, привез предназначенные шахом посланнику и его свите подарки.

Посланник получил орден Льва и Солнца 1-й степени, украшенный алмазами, золотое с финифтяной отделкой ожерелье к тому же ордену, богато вышитую большую кашемировую шаль, две другие превосходного качества, жемчужное ожерелье, мешок с тысячью голландских червонцев, прекрасную лошадь с золотой

уздечкой, украшенной драгоценными камнями, золотую цепь и седло, сплошь покрытое золотом.

Первый секретарь посольства, Мальцов, получил орден Льва и Солнца 2-й степени с алмазами и две шали.

Второй секретарь — орден Льва и Солнца 2-й степени с алмазами и две шали.

Грузинский князь — орден Льва и Солнца 2-й степени с алмазами и две шали.

Мирза–Нарриман — две шали.

Дадаш–бег — орден и кашемировую шаль.

Наконец, казачьим офицерам были розданы золотые медали, а солдатам серебряные.

Все члены посольства были в восторге, получив эти бесчисленные доказательства щедрости персидского монарха; только одно лицо не разделяло общего удовольствия, именно Рустем–бег, обращенный грузин, три раза менявший веру; он считал себя равным Дадаш–бегу, а ему не дали ни ордена, ни шали, и я слышал, как он, в порыве неистового гнева, восклицал: "Неужели же я менее достоин внимания, чем этот глупец Дадаш, который ничего не смыслит! Уж я дам ему себя знать! Такую заварю кашу, что голова у него слетит с плеч!"

Посланник приказал выдать Зограб–хану, доставившему награды и подарки шаха, 200 червонцев. На следующий день имела место прощальная аудиенция, и все новопожалованные кавалеры были при орденах. Эта аудиенция сошла довольно благополучно, однако шах опять употребил слово мерраджат, которое так не правилось его превосходительству и которое казалось ему столь же оскорбительным, насколько оскорбительно было для монарха то упорство, с каким посланник продолжал сидеть в кресле, и та непринужденность, с какой он держал себя в его присутствии.

Наконец все дела были закончены, представитель российского императора был принят с должным отличием, его осыпали почестями, все были, по–видимому, довольны, и я также радовался приближению нашего отъезда, ибо частые встречи с моими соотечественниками позволяли мне заметить, что тайное возмущение зарождалось уже в их сердцах. Одно особое обстоятельство заставило меня заподозрить, что в отношениях между двором и Грибоедовым произошло значительное охлаждение. Я хотел купить для Мальцова лошадь у офицера, состоявшего в свите шаха. Мы сошлись в цепе, я отправился к владельцу лошади для вручения ему денег и ружья, которое Мальцов посылал ему в подарок, но офицер сказал мне, прося извинения, что, к крайнему его сожалению, он не может продать

мне лошадь, так как это могло бы вызвать неудовольствие шаха; чтобы не показаться неучтивым, он принял ружье, однако через несколько дней прислал его мне обратно.

Все было готово для отъезда в назначенный день; были наняты волы для перевозки нашего груза. Мирза–Нарриман показал мне роспись на 1700 туманов, предназначавшихся Грибоедовым для распределения среди мехмандарей, офицеров, слуг и стражи. Он был в восторге от одной мысли увидеть вскоре свою молодую дорогую супругу – грузинскую княжну, отличавшуюся чрезвычайной красотой; это было постоянным предметом его разговоров; мы разделяли его радость, будущее представлялось нам блестящим, как прекрасное летнее солнце; но вскоре горизонт наш омрачился.

Вечером того дня, когда Зограб–хан доставил калаати (подарки шаха), в дом посланника явился, в сопровождении слуги, евнух Мирза–Якуб [9]. Он обратился к Мирзе–Нарриману, который минуту спустя доложил Грибоедову, что Мирза–Якуб желает возвратиться на свою родину, в Эривань, и что он отдает себя под покровительство русских законов. Грибоедов ответил, что не может принять человека, который воровски, под покровом ночи, входит в его дом, что он должен немедленно удалиться и что, если намерение его неизменно, он может явиться вновь на следующее утро. Мирза–Якуб повиновался, но на следующий день явился опять со слугой и в сопровождении Мирзы–Нарримана, вышедшего из дому на рассвете. Ему отвели помещение во дворе, прилегающее к дому, который занимал Грибоедов.

Этот человек, появление которого среди нас послужило причиной таких ужасных несчастий, родился в Эривани, от родителей низкого происхождения и теперь еще проживающих в этом городе. Отец его был армянин, садовник Могаммед–хана, наследственного правителя этой провинции. Он был схвачен и увезен в Тегеран в 1226 (1808) г., когда генерал Цицианов осаждал Эривань, и тогда же определен в сераль Гольден–Исмаил–хана. Спустя несколько лет после того, как этот сановник подвергался опале, Мирза–Якуб поступил на службу шаха и постепенно заслужил доверие монарха, осыпавшего его милостями; в то время, о котором я говорю, Якуб занимал важную должность казначея и главного хранителя всех бриллиантов и драгоценных камней гарема.

Зная, какие чувства питают наши соотечественники к этому роду людей и будучи убеждены, что шах, из одного чувства самолюбия, скорей согласится развестись с одной из своих жен, нежели отпустить от себя Мирзу–Якуба, мы ужаснулись неизбежным последствиям приема, оказанного посланником

евнуху. Рассматривая это дело со всех сторон, мы выяснили, что, в силу последнего мирного договора, Грибоедов имел право принимать под свое покровительство лиц, пожелавших вернуться на русскую территорию; с другой же стороны, мы никак не могли допустить, чтобы гордость царя царей и строгие законы гарема позволили бы шаху оказать в этом случае послабление, столь несходное с его представлениями о собственности и способное унизить его в глазах подданных. Он уже перенес достаточно унижений из–за последней войны и упал в их мнении; он, так сказать, собственноручно отдал значительную часть своих сокровищ, столь долго собираемых, а теперь должен был отказаться от прав над рабом, обязанности которого отличались особенно деликатным характером, которому были известны все его домашние тайны и который мог сообщить самые подробные сведения о его богатствах, заключавшихся в золоте, серебре и драгоценных камнях.

Русское правительство ничего не выигрывало, в смысле своего могущества, оказывая покровительство такому человеку, как Мирза–Якуб; нам оставалось предполагать, что в действиях посланника скрываются намерения, враждебные интересам Персии. Если же подобные намерения не имели места, то почему было не уговорить этого несчастного сохранить свое положение, во сто крат превышающее его достоинства. Мы терялись в догадках.

Как только министры и Манучир–хан, главный начальник евнухов, узнали о бегстве Мирзы–Якуба и о месте его нахождения, они тотчас же обратились к посланнику, указывая ему на все неприличие укрывания подобного беглеца. Последний, оставаясь при своем решении, согласился, однако, благодаря ли совету Грибоедова или уверениям, что ему не будет сделано никакого зла, явиться, в сопровождении Мальцева и переводчика Мирзы–Нарримана, к Манучир–хану, чтобы объясниться с этим последним относительно своего намерения возвратиться на свою родину, в Эривань. Свидание обошлось как нельзя лучше, казалось даже, что Манучир–хану удалось победить упорство подчиненного, ибо он, вместо того чтобы вернуться в посольский дом, отправился на свою квартиру; однако вечером того же дня он опять явился в дом посланника с разными домашними вещами – постелью, коврами, посудой и пр.и расположился тут окончательно.

Гроза надвигалась. На следующий день дом Мирзы–Якуба был, по повелению шаха, запечатан, а Грибоедову было официально сообщено, что этот несчастный скрылся, не отдав отчета в сумме от 30 до 40 тысяч туманов. Я не могу теперь

припомнить в точности, когда именно, в какой день и час имели место различные обстоятельства, сопровождавшие это печальное событие. Вечером, уже довольно поздно, Рустем–бег сделал попытку перевезти остальные вещи, украшавшие квартиру Мирзы–Якуба. Он взял с собой несколько слуг с мулами и, сорвав наложенные на двери дома печати, уже сдвинул кой–какую мебель, чтобы увезти ее, как вдруг появилась стража, разбуженная дерзким вторжением, и воспротивилась его намерениям с проклятием и угрозами, каковые скоро перешли бы в действия, если бы Рустом не удалился.

До сих пор Грибоедов обнаруживал некоторую склонность удовлетворить министров, не выходя, однако, из границ своих полномочий. Опасение подвергнуться строгому наказанию и даже смерти препятствовало Мирзе–Якубу вернуться к своим обязанностям; равным образом он сопротивлялся убеждениям посланника, уговаривавшего его отправишься в Тавриз и поступить на службу к Аббасу–Мирзе. Мой начальник, находившийся у Манучирхана в то время, когда Мальцов и Мирза–Нарриман отводили к нему Мирзу–Якуба, — нашел этого последнего весьма раздраженным оскорблениями, нанесенными ему, когда он переходил через внутренние темные проходы, которые вели к покоям; несколько слуг гарема осыпали его ругательствами и плевали на него, да и одежда Мирзы–Нарримана порядочно, потерпела от их наглости Вот что отвечал Мирза–Якуб на обвинение в краже денег и драгоценностей: "Надо не иметь ни бога, ни совести, чтобы возвести на меня надобную подлость!" Это значит подлить масла в огонь; неуместное его возражение повлекло за собой горькие замечания, и хан, видя, что спор между раздраженными людьми только осложнят затруднение, приказал Рамазан–бегу, феррашу шаха, отвести Мирзу–Якуба обратно в посольский дом и смотреть, чтобы ему не было нанесено оскорблений. Вскоре после того он последовал за ними и сам.

Грибоедов обнаружил крайнее негодование на обиды, нанесенные обоим мирзам.

— Они плевали не на Мирзу–Якуба, — воскликнул он, — они плевали, прежде всего, на императора, а потом на меня! Такое положение вещей не может быть терпимо! [10]

Хан всячески старался умерить справедливый гнев посланника, — говоря ему, что оскорбление нанесено людьми слишком низкого звания и потому достойно презрения, так же как и оскорбление, нанесенное Мирзой–Якубом религии тех людей, с которыми он имел столкновение и которые по своему положению заслуживают некоторого снисхождения. При этих

словах Грибоедов, еще не успокоившись от волнения, обратился к Мирзе–Якубу и спросил его, как у него хватило дерзости коснуться святых вещей и как священное слово "бог" могло вырваться из его уст. Якуб, снова отвергая возведенное на него обвинение в краже, дерзко заявил, что он только выразил свое мнение, сказав, что у тех, кто возводит на него столь злостное обвинение, нет ни совести, ни бога.

После подобной сцены нельзя было и думать о примирении и дружеском объяснении.

Около 29-го числа месяца реджеба Грибоедову назначена была частная аудиенция у шаха, которая не дала сколько-нибудь удовлетворительных результатов. Однако было решено передать возбужденное против Мирзы–Якуба обвинение на рассмотрение суда под председательством Мирзы-Месиха, верховного муллы Тегерана. МирзаЯкуб представил против этого решения некоторые возражения, справедливо основываясь на том, что, по магометанским законам, нет пощады тому, кто отрекся от ислама, ибо уже один этот поступок является преступлением, наказуемым смертью. К тому же Мирза-Якуб осмелился отозваться самым неуважительным образом о домашней жизни шаха и его многочисленного семейства и коснуться в своей критике справедливости и святости духовных особ. Я помню, как он рассказывал однажды случаи из жизни гарема, которые должен был бы хранить в тайне; я даже прервал его, заметив ему, что милости, которыми он столько времени пользуется у шаха, по меньшей мере, должны были бы заставить его молчать о тех предметах, о которых он говорят столь необдуманно.

Грибоедов поступил не совсем осторожно, уделяя Мирзе-Якубу слишком много внимания, и в этом его можно было бы справедливо упрекнуть. Евнух обедал с ним за одним столом, или же кушанья, приготовленные на кухне министра, подавались ему в его комнату; он уже не хотел обедать с нами, опасаясь, как он говорил, чтобы его не отравили.

Шах между тем, по-видимому, отказывался от мысли вернуть беглеца, а равно и двух или трех слуг, которых тот увлек с собой с другой стороны, Грибоедов был уведомлен, что шах взял назад свое согласие на то, чтобы Мальцов и Мирза-Нарриман, по отъезде посланника, имели пребывание в столице, опасаясь каких–нибудь неприятных столкновений, могущих возникнуть вследствие их неопытности в делах.

1-го числа шаббана месяца Мирза–Якуб, в сопровождении Мальцева и Мирзы–Нарримана, отправился, как было условлено, к Мирзе–Месиху. После того как он прождал там по меньшей мере с час, ему дали знать, что верховный мулла не совсем

здоров и не может его выслушать. Итак, эта попытка была бесполезна.

Около дома столпилось множество народу; как я узнал, Мирза–Месих рассудил не принимать его, боясь не сдержать справедливого негодования и назвать в раздражении Мирзу–Якуба неверным (каффир) дав тем самым народу повод забросать его камнями и вызвать неистовство.

Указания Мирзы–Якуба позволили снова деятельно заняться поисками попавших в плен жертв, главным образом одной христианки, по имени Талаань, славившейся своей красотой. Стали также понуждать Мати–Кули–хана, сына Гуссейн–хана, последнего эриванского губернатора, к освобождению нескольких женщин, относительно которых было известно, что он привез их с собой, или же присланных ему из этого города в подарок его отцом. Двух из них он уступил Али–Яр–хану, бывшему первому министру; он просил, чтобы последний позволил Грибоедову убедиться, согласны ли они возвратиться на родину; тогда он, Мати–Кули–хан, освободится от постоянных нареканий русских. Бывший первый министр, желая доказать, что помнит услуги Грибоедова в бытность свою в плену в Тавризе, охотно согласился на это предложение. В результате этого несколько армян, присоединившихся к свите посланника с целью вырвать родственников из рабства, отправились в сопровождении Рустема и Ага–Могаммед–Али, помощника ферраша баши принца Аббаса Мирзы, к Али–Яр–хану. Им вывели молодую женщину и девочку лет 13-ти или 14-ти, но никто их не признал, и они не изъявили никакого желания оставить своего настоящего покровителя. Али–Яр–хан, во избежание дальнейших посещений, пригласил из предосторожности нескольких уважаемых своих сограждан присутствовать при свидании, дабы, в случае нужды, они могли подтвердить происшествие.

Вечером того же дня Могаммед–Али посоветовал мне предупредить Грибоедова через посредство хана относительно возможного выступления со стороны Рустем–бега по поводу этих женщин, так как оп во всеуслышание заявил, что освободит младшую из них, хотя бы это стоило ему жизни. На следующий день, рано утром — не могу сказать, было ли это известно посланнику, — Рустем явился к Али–Яр–хану с письмом от своего начальника, который предлагал ему прислать этих двух пленниц в посольский дом, для того чтобы министр мог лично убедиться в их истинных желаниях. Их отпустили без особых колебаний, в сопровождении нескольких слуг и Могаммед–Тахикс–бега, который собирался жениться на молодой девушке. Последнему не было разрешено войти в посольский дом, а товарищам его не

позволили вступить даже и во двор. Допрошенные Грибоедовым, обе женщины решительно ответили, что не имеют желания оставлять Тегеран. Однако, в злополучную минуту, они согласились на вкрадчивое предложение Рустема остаться день–другой в посольском доме. Не будучи больше на глазах своих повелителей и не испытывая над собой никакого гнета, женщины вспомнили свою прежнюю веру и родину, и привязанность к ним взяла верх над их осторожностью. Они были препоручены попечениям и надзору Мирзы–Якуба и помещены в отделении, смежном с его собственным, к которому были приставлены двое часовых из фераханов (пехотинцы), дабы воспрепятствовать всякому с ними сообщению. Слуги Али–Яр–хана тщетно пытались возражать против такого нарушения обещаний и ушли домой, оплакивая доверчивость своего господина.

Искренняя привязанность, питаемая нами к Грибоедову, заставила нас весьма скорбеть об этих насильственных действиях. Зная отлично общественное мнение, мы не сомневались в том, что существующего уже раздражения было достаточно, чтобы сделать его положение весьма опасным.

Наш народ жесток, свиреп, вспыльчив и нерассудителен, его хорошо можно сравнить с кремнем, который при малейшем ударе рождает искру.

Мой начальник не мог долее скрывать своих опасений, он убедительно просил Грибоедова отпустить пленниц к Али–Яр–хану, выставляя ему на вид пользу подобного примирительного поступка, по все его просьбы и настояния оставались бесполезными; Грибоедов дал ему даже, с некоторой горестью, почувствовать, что его вмешательство ему весьма неприятно. Хан, справедливо обиженный, не виделся два или три дня с посланником, который, наконец, послал просить его к себе, и они вскоре помирились. Мирза–Матти, секретарь шаха, несколько раз пытался объясниться с Грибоедовым по поводу Али–Яр–хана; министр иностранных дел употреблял все усилия, чтобы уладить дело Мирзы–Якуба, но Грибоедов ничего не хотел слышать.

На третий день пребывания в посольском доме женщины изъявили желание отправиться на родину, в местечко Кара–Клиссы, на границе Эриванской провинции. Чистосердечно ли было это желание, мне неизвестно, знаю только, что, благодаря посредничеству персидских агентов, они находились в постоянных сношениях с слугами Али–Яр–хана, которые все время бродили возле их нового жилища. Могаммед–Тахикс–бег, нареченный молодой девушки, часто заходил в мою комнату вместе с одним доверенным лицом Али–Яр–хана, по Мирза–Якуб сообщил мне, что эти посещения не правятся посланнику, и я

вынужден был положить им конец.

Отъезд наш окончательно был назначен на 7-е или 8-е число шаббана; 5-го числа, в полдень, женщины, по распоряжению Рустема, были отправлены в баню, которая хотя и помещалась в посольстве, однако находилась в отдельной пристройке. Это было верхом безрассудства; на возвратном пути слуги Али–Яр–хана пытались захватить их силой, и если Грибоедову и не было известно о том, что они отправлены в баню, то шум, поднявшийся после того, как они оттуда вышли, должен был оповестить его об этом. Я узнал потом, что он тщетно выговаривал и тщетно грозил лицам своей свиты, все более и более усложнявшим его опасное положение. Позорящие его репутацию слухи быстро разнеслись по разным частям города. Были оповещены все муллы, и в тот же вечер Мирза–Месих председательствовал на совещании мулл в одной из главных мечетей города.

Муллы объявили, что всякому терпению есть пределы, что религии их нанесено оскорбление, их повелитель унижен и самые священные их права попраны, и было единогласно решено немедленно отправить депутацию к губернатору, принцу Али–шаху, и предупредить его, что если русский министр не согласится выдать Мирзу–Якуба и двух женщин, то народ вырвет их из посольского дома силой. Его высочество убедительно просил воздержаться от каких-либо насильственных мер до окончательного решения посланника.

Узнав о том, что произошло в мечети, я оповестил об этом Мирзу–Нарримана в таких выражениях, которые, как мне казалось, могли бы убедить его в предстоящей опасности. Он посмеялся над моим беспокойством и сказал:

— Мы — словно амберакские верблюды, которые уже привыкли к запаху пороха!

Припоминаю еще об одном разговоре с ним. Однажды он показал мне официальную ноту, адресованную, по приказанию посланника, министрам шаха. Ничего важного она в себе не заключала, но слово "шах" было проставлено в ней без какого-либо другого титула, что удивило меня. Я заметил ему, что было бы гораздо приличнее написать "его величество шах", или "царь царей", или "покровитель мира" — выражения, требуемые вежливостью и с незапамятных времен принятые нашими государями.

— Другие европейские страны, — прибавил я, — особенно Англия, никогда не упоминают имени шаха иначе, как с отменной почтительностью. Почему бы и русским уполномоченным не прибегнуть к подобной формуле вежливости? [11]

— О, это большая разница! — возразил Мирза. — Россия находится в таком положении, что может приказывать, тогда кап Англия ничего не может добиться от вас иначе, как угождением и лестью!

В течение вторника 5–го шаббана Мирза–Абдул–Вагаб изъявил желание встретиться с Грибоедовым у Могаммед–Велли–хана Афшара для решения этого злополучного дела.

— Надо спешить, — говорил он, — и не допустить разрыва между двумя могущественнейшими государствами, а также смерти многих добрых людей из–за двух бедных женщин и такого ничтожного существа, как Мирза–Якуб!

Горестные события, происшедшие в среду, 6–го шаббана, никогда не изгладятся из моей памяти; они разрастались с такой быстротой и так осложнились, что рассказ мой невольно будет страдать длиннотами и беспорядочностью при описании ужасного мятежа, которого я был печальным свидетелем.

С восходом солнца мой начальник и Мирза–Нарриман получили от губернатора, принца Али–шаха, приглашение немедленно прибыть к нему по одному весьма важному делу. Грибоедов еще спал, и прошло добрых два часа, раньше, чем Мирза–Нарриман выслушал его инструкции. Хан, имея в виду устроить условленное накануне свидание между Мирзой–Абдул–Вагабом и Грибоедовым, вышел из дому первым, предупредив Мирзу–Нарримана, что присоединится к ним у принца.

Рано утром я узнал, что у главной мечети, где снова собрались муллы, образовалось целое скопище народа. Муллы велели закрыть на базаре все лавки и приказали правоверным отправиться в русский квартал и добиться, добром или силой, выдачи двух женщин и Мирзы–Якуба. Двое честных купцов-–грузин, видя готовящееся возмущение, бросились к посланнику, чтобы предупредить его о приближении неистовой толпы и о ее злодейских намерениях; с другой стороны, Манучир–хан, по повелению шаха, полученному им ночью, поспешил отправить своего племянника, Мирзу–Селлимана–Маллейкафа, к посланнику, чтобы откровенно сообщить ему о настоящем положении дел и просить его немедленно отказаться от покровительства беглецам, выдачи которых требует неистовствующая чернь.

Четыреста или пятьсот человек, предшествуемые толпою мальчишек и несколькими исступленными, потрясавшими палками и обнаженными саблями, направились от мечети к жилищу посланника. Мирза–Селлиман с трудом успел опередить их и сообщил – однако уже поздно – о предполагавшемся насилии, а Мирза–Нарриман, пытавшийся выехать из дому, чтобы

отправиться к принцу-губернатору, вскоре вернулся, перепуганный, домой, куда я был призван для окончательных распоряжений, относящихся к отъезду. Дождь камней падал уже во дворы, и крики толпы сливались временами в одно общее ура. Крики заставляли нас холодеть от ужаса, и мы спрашивали себя, чем все это кончится.

Казалось, над иностранцами тяготела железная рука судьбы. Я не обнаружил в них ни твердой воли храбро защищать свою жизнь, ни достаточного присутствия духа, чтобы попытаться избегнуть опасности, покорившись требованию народа или прибегнув к какому–либо иному средству [12].

В комнате Грибоедова находились Аделупг — второй секретарь, врач, грузинский князь — двоюродный брат супруги Грибоедова, Мирза–Нарриман, два купца–грузина, Рустем, Ага–Могаммед–Али – ферраш–баши Аббаса–Мирзы, довольно многочисленная прислуга и казаки-конвойцы оставались частью во дворе, частью в соседних комнатах, где находился и я.

Дом Могаммед-хана весьма обширен и разделен дворами, вдоль которых высятся строения. Отделение, занимаемое Грибоедовым, состояло из большой гостиной с передними по обеим концам и двух небольших других комнат. Посредством кровли и дворов оно сообщалось с помещением, отведенным Мирзе–Якубу, которое предшествовало помещению посланника.

Волнение увеличивалось все более и более; раздалось несколько выстрелов, и вскоре народ ворвался во дворы. Я слышал, как кто-то крикнул: "Схватите Мирзу–Якуба и назад!" Впоследствии я узнал, что это кричал Хаджибег, мирза, который старался усмирить осаждавших, предоставив им эту жертву. Несчастный Якуб уцепился за платье Хаджи – единственное и недостаточное в этот роковой момент убежище! — но его оторвали от него, и он упал, пораженный бесчисленными ударами кинжала. Слуги Али–Яр–хана схватили женщин и потащили их прочь.

Во время недолгого затишья, предшествовавшего взрыву, я узнал о печальной судьбе Мирзы–Якуба, о смерти Дадаш–бега, одного казака и двух или трех лакеев, которые, защищаясь, убили двух или трех персиян. Тела последних были отнесены в мечеть, и это кровавое зрелище еще более разъярило народ. В это самое время один из соседей, по имени Али–Верди, кондитер, находящийся в услужении у Манучир–хана, вбежал в залу, чтобы спасти Мирзу–Селлимана, племянника своего бывшего господина, умоляя его, пока есть время, следовать за ним еще свободным путем; с тем же усердием он предлагал безопасный приют и посланнику. Но просьбы его были напрасны. Мирза–Нарриман

воскликнул, что никто не осмелится поднять руку на представителей Европы. "Выстрелы ваши не устрашают нас, — сказал Али–Верди, – Разве мы но слыхали их в Гандже, Аббас–Абаде и Эривани?" Грибоедов отвергнул сделанное ему предложение, может быть, не желая покидать своих или же просто не сознавая грозящей ему опасности, и честный кондитер принужден был удалиться, сожалея, конечно, о бесполезности своих настояний.

Казаки и посольские служащие успели выработать некоторый план защиты на случай вторичного нападения, от которого осаждающие, по–видимому, отказались, как" мы начинали думать. Но прошло полтора часа, и надежды наши рухнули; мы были осаждены толпой, не в пример более многочисленной, которая состояла теперь уже не только из мелочных торговцев и черни: она была снабжена огнестрельным оружием и к ней присоединились и солдаты разных военных частей. Ужасные крики оповестили о ее приближении, и вскоре град камней до того усилился, что мы принуждены были укрыться в соседней комнате, с правой стороны двора, служившей Грибоедову спальней. Напрасно старался он обращаться к пароду, — никакой человеческий голос не мог быть услышан посреди такого ужасного шума. Приказание казакам стрелять холостыми зарядами также не принесло никаких результатов. Смерть была перед нами, жертвы ею были соединены, без всякой надежды, охваченные ужасом, подобно невинным овцам, преследуемым кровожадными волками, напрасно пытающимся избегнуть своей участи.

Казаки, презирая опасность, обнаруживали непоколебимое решение спасти своего начальника, если это было возможно, и дорого продать свою жизнь. Несколько слуг показали большое присутствие духа и замечательную отвагу, особенно один курьер, по имени Гоашатур. Этот храбрец бросился с саблей в руке на осаждающих, сбил двух из них, заставил отступить прочих, поднялся затем на лестницу, чтобы прогнать влезавших на стены; его закидали камнями, и он уже два раза готов был упасть, но снова бросался вперед, пока сабля его не переломилась, и, когда ему нечем было уже защищаться, он мгновенно был растерзан на части.

В продолжение некоторого времени исход приступа был сомнителен; сделана была попытка очистить двор, но хотя двинувшиеся вперед и были опрокинуты, товарищи их, разместившиеся на стенах, продолжали стрельбу и не переставали бросать камни и кирпичи в окно комнаты, где находился посланник. Пехотная стража (фераганы) рассеялась

при первом натиске, не сделав ни малейшего усилия, чтобы защитить нас; однако продолжительность дела позволяла надеяться, что шах вышлет нам на помощь войска. Наконец мы услышали оглушительные удары в крышу дома, и вскоре она была проломана насквозь. Первые пули смертельно ранили молочного брата посланника; последний с сердечной горестью воскликнул:

— Смотрите, смотрите, они убили Александра! Еще двое лишились жизни прежде, чем мы успели укрыться в большую гостиную, занимавшую середину помещения; но в ней мы были совершенно на виду из той комнаты, которую мы оставили, так же как и в широкое окно, поэтому не было никакой возможности там долго оставаться. Отсюда, переходя из одной комнаты в другую, я мог бы смешаться с толпой, как это сделал Ага–Могаммед–Али, доверенное лицо принца Аббаса–Мирзы, так как иного пути к спасению не было.

Как сейчас вижу я ужас, напечатленный на лицах всех присутствовавших. У иных, казалось, все чувства были парализованы, другие пребывали в ужасном отчаянии, некоторые, вместе с казаками, пытались мужественно защищаться. Посланник, скрестив на груди руки, медленно прохаживался взад и вперед, от времени до времени пропуская руку в волосы; лоб его был окровавлен от удара камнем, пришедшимся в правую сторону головы. Он подошел ко мне и произнес с выражением, которое я и сейчас еще не забыл:

— Они хотят нас убить, мирза, они хотят нас убить!

Я мог отвечать ему лишь утвердительно. Последние слова, внятно дошедшие до моего слуха, были:

— Фет–Али–шах! Фет–Али–шах! jenfoudre, jenfoudre [Эти слова так написаны в персидском тексте; непереводимо.], — или что–то в этом роде.

Я на всю жизнь сохраню воспоминание, смешанное с восхищением, о бесстрашном поведении и геройской смерти медика. Он с самого начала всячески старался ободрить товарищей, умоляя их сражаться до последнего вздоха. Наконец он убедился, что не было никаких надежд к спасению; не имея при себе никакого другого оружия, кроле небольшой европейской сабли, он храбро перебежал двор, угрожая ворвавшимся туда, которые на мгновение отступили, кроме одного молодого человека, с которым он обменялся несколькими сабельными ударами. Пока он размахивал оружием, защищая голову, противник отрубил ему левую руку, которая упала на землю. Движимый той же отчаянной отвагой, он, невзирая на это страшное ранение, вернулся в комнату, сорвал с двери

драпировку, обернул ею изувеченную руку и потом, не слушая наших уговоров, выпрыгнул в окно и скоро погиб, сраженный многочисленными врагами и сбитый с ног пущенными в него со стен камнями.

Еще до выхода нашего из гостиной и раньше, чем мы надумали пробраться в самые отдаленные покои, мы потеряли еще четырех или пятерых. Эта часть дома была отделена крепкой перегородкой, за нею могли найти убежище те, кто был еще в силах идти или ползти. Мирза–Селлиман и Мирза–Нарриман были убиты, ые успев добраться до этого последнего приюта, где нас уже осаждали через окна и двери. Почти все казаки были уже перебиты. Двое из передовых осаждавших, вооруженные саблями и кинжалами, пытались было проникнуть в нашу засаду, но обнаружили нерешимость, как будто остановившись перед нашим отчаянием. Я бросился из комнаты и последовал, размахивая саблей, непосредственно за ними, так что когда они стали отступать, я мог замешаться в толпу передовых сражающихся, которые приняли меня за своего. Тщетно старался я пробраться во двор; не было никакой возможности протиснуться сквозь толпу, и меня отбросили назад, в комнату, где я увидел 17 тел моих товарищей, вытянутых на полу. Левая сторона груди посланника была насквозь проткнута саблей, и мне показали борца, состоявшего в услужении у одного из жителей Тегерана, человека атлетического телосложения и огромной силы, который якобы нанес ему этот удар. У ног Грибоедова испускал последние вздохи казачий урядник, который с примерным самоотвержением до последней минуты защищал его своим телом.

Изнемогающий от усталости, страха и ужаса перед зрелищем, которого я был свидетелем, избитый каменьями, я должен был сделать сверхъестественное усилие, чтобы не упасть. Казалось, все фурии ада сорвались с цепей, чтобы увлечь за собой всю чернь Тегерана на противоестественную жестокость. Не довольствуясь тем, что они погубили столько беззащитных жертв и обагрили руки в крови невинных, эти изверги предались самому неистовому грабежу. Они раздели мертвых донага и повлекли их на середину двора, где, выставив тела на ужасное поругание, громоздили из них отвратительные пирамиды, обагренные потоками крови, лившейся из ран. Перо мое отказывается описывать эти ужасы. Боже мой, да не разразится гнев твой над нами за это чудовищное дело!

Уже было за полдень, когда мне удалось добраться до моего помещения. Слуга мой уверил всех, что оно было занято только магометанами, и потому туда никто не вошел, и оно послужило убежищем Мальцеву, первому секретарю посольства. Занимаемые

им комнаты находились довольно далеко от помещения Грибоедова, и, когда дом был осажден, он не мог уже присоединиться к своим соотечественникам. С помощью денег и обещаний ему удалось уговорить нескольких феррашей и небольшой отряд пехоты, укрывшейся в нашем квартале, взять его под свое покровительство. Когда мятеж несколько утих, мы послали уведомить шаха, что Мальцов один спасся от этой ужасной бойни. Он выслал нам роту пехотинцев, чтобы не допустить новых беспорядков, а с наступлением ночи Мальцов, переодевшись в персидский мундир и смещавшись с солдатами, явился во дворец его величества.

План истребления был выполнен настолько хорошо, что народ ворвался даже в передний двор британского посольства и вырезал семь или восемь человек русских, проживающих при конюшнях, после чего завладел всеми лошадьми, принадлежавшими посланнику [13].

При начале возмущения, по приказанию шаха, были сделаны попытки остановить беспорядки. Мирза–Могаммед–Али–хан со своими слугами спешно прибыл к месту действия в ту самую минуту, когда осаждавшие овладели Мирзой–Якубом. Несмотря на все его добрые намерения, усилия его ограничились некоторыми мерами предосторожности, к несчастию, неудовлетворительными, а также уговорами и убеждениями, обращенными к людям, глухим к голосу рассудка. Мессахчи–баши и многие другие придворные офицеры тщетно старались содействовать ему: явились даже принцы Али–шах и Имам–Верди–Мирза, сопровождаемые всеми, кого они только могли собрать, но бесчисленное множество осаждающих не дозволило им приблизиться к атакуемому дому. Вместо того чтобы принести какую–нибудь пользу посольству, они должны были заботиться о собственной безопасности и даже подверглись сами оскорблениям и угрозам.

— Пойди, — кричали Али–шаху, — уступи своих жен русским, это вполне достойно твоей длинной бороды, которую ты так заботливо купаешь в розовой воде! Разве твой брат Аббас–Мирза не продался душой и телом царю? Убирайся вон, говрам санг, не то мы изрубим вас в куски!

Принцы были вынуждены вернуться в свои дворцы, защищенные, по счастию, значительными отрядами пехоты и входы в которые были тщательно заперты, чтобы мятежники не могли в них проникнуть.

Впоследствии я узнал от моих слуг, что изуродованный труп Мирзы–Якуба таскали по всему городу и бросили, наконец, в глубокую канаву. Так же поступили и с другим трупом, который сочли за труп Грибоедова. Привязав к ногам его веревку, злодеи поволокли его по главным улицам и базарам Тегерана с криками:

— Дорогу, дорогу русскому посланнику, который отправляется к шаху! Вставайте в знак почтения, кланяйтесь ему по франкскому обычаю, обнажая голову!

Протаскав труп таким образом долгое время, его выставили посреди улицы, ведущей к главным воротам крепости. С наступлением вечера, когда все успокоились, он был перенесен, по распоряжению принца-губернатора, в дом Могаммед–хана.

Ночь прошла спокойно, а на следующий день на ферраша-баши Керим–хана было возложено предание трупов земле. Из русского посольства погибло 44 человека. После некоторых поисков перед окном помещения, занимаемого Грибоедовым, в груде трупов нашли и его тело; я заметил с большим удовлетворением, что оно не подверглось осквернению. Последний долг печальным его останкам был отдан духовенством армянской церкви, где было выставлено его тело, а прочих несчастных его товарищей похоронили в глубоком рву за стенами города.

Говорят, что осаждавшие потеряли 26 или 27 человек ранеными и убитыми. Потери их были бы не в пример значительнее, если бы посольство приняло меры к защите и если бы вся свита Грибоедова была в сборе; может быть, мятежники были бы даже опрокинуты. Но кто может избежать своей судьбы?

Комментарии

Список условных сокращений

АКАК – Акты, собранные Кавказской археографической комиссией. Издание Архива Главного управления наместника кавказского, т. I–X. Тифлис, 1866–1886.

Алфавит – Восстание декабристов. Материалы, т. VIII, Алфавит декабристов. Л., 1925.

Арапов – П. Арапов. Летопись русского театра. СПб., 1861.

Беседы в ОЛРС – "Беседы в Обществе любителей российской словесности при Московском университете".

ВЕ – "Вестник Европы".

ВЛ – "Вопросы литературы".

Воспоминания – "А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников". М., 1929.

ГБЛ – Государственная библиотека им. В. И. Ленина (Москва). Рукописный отдел.

ГИМ – Государственный исторический музей (Москва). Отдел письменных источников.

ГПБ – Государственная Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова–Щедрина (Ленинград). Рукописный отдел.

ГТБТ – "А. С. Грибоедов. Творчество. Биография. Традиции". Л., 1977. ИВ – "Исторический вестник".

ИРЛИ – Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР. Рукописный отдел.

ЛП – "Литературное наследство".

МТ – "Московский телеграф".

Нечкина – М. В. Нечкина. Грибоедов и декабристы, изд. 3–е. М., 1977. ОА – Остафьевский архив князей Вяземских, т. 1–5. СПб., 1899–1913.

Пиксанов – Н. К. Пиксанов. Грибоедов. Исследования и характеристики.

Л., 1934.

Попова – О. И. Попова. Грибоедов–дипломат. М., 1964.

ПССГ – Полное собрание сочинений Грибоедова, т. I–III. СПб.–Пг., 1911–1917.

РА – "Русский архив".

РВ – "Русский вестник".

Ревякин – А. И. Ревякин. Новое об А. С. Грибоедове. Ученые записки Московского педагогического института им. В. П. Потемкина, т. 43, вып. 4, 1954.

РЛ – "Русская литература". РО – "Русское обозрение". РС – "Русская старина".

СО – "Сын отечества".

Сочинения – А. С. Грибоедов. Сочинения. М.–Л., 1959. СП – "Северная пчела".

Творческая история – Н. К. Пиксанов. Творческая история "Горя от ума".

М., 1971.

ЦГАДА – Центральный государственный архив древних актов (Москва).

ЦГАЛИ – Центральный государственный архив литературы и искусства (Москва).

ЦГАМ – Центральный государственный архив г. Москвы.

ЦГАОР – Центральный государственный архив Октябрьской революции, высших органов государственной власти и органов государственного управления СССР.

ЦГВИА – Центральный государственный военно–исторический архив (Москва). ЦГИА – Центральный

государственный исторический архив (Ленинград).

ЦГТМ – Центральный государственный театральный музей им. А. А. Бахрушина (Москва). Рукописный отдел.

Шостакович – С. В. Шостакович. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. М., 1960.

Шторм – Георгий Шторм. Потаенный Радищев, изд. 3–е. М., 1974.

Щеголев – П. Е. Щеголев. А. С. Грибоедов и декабристы (По архивным материалам). С приложением факсимиле дела о Грибоедове. СПб., 1905.

К столетию со дня смерти автора "Горя от ума" из печати вышло сразу два сборника воспоминаний о Грибоедове: "А. С. Грибоедов в воспоминаниях современников" (под ред. Н. К. Пиксанова, примечания И. С. Зильберштейна. М., 1929); "А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников" (ред. и примечания Зин. Давыдова. Л., 1929).

Таким образом, настоящее издание свода воспоминаний о Грибоедове является третьим и, по сравнению с двумя предыдущими, наиболее полным, охватывающим практически все значительные мемуарные свидетельства о Грибоедове. Следует иметь в виду, что специальных мемуарных очерков о Грибоедове крайне мало, и это объясняется, прежде всего, невозможностью в условиях николаевского царствования, да и некоторое время после него, опубликовать откровенные воспоминания о связях автора "Горя от ума" с кругом декабристов — тема эта была запретной — и о гибели его на посту дипломата в результате политической интриги, объективное расследование которой не входило в намерения царского правительства. Вместе с тем яркая личность Грибоедова не могла не останавливать внимания людей, встречавшихся с ним, и потому в записках разных лиц сохранилось множество ценных свидетельств о драматурге. Связные, более или менее пространные рассказы о Грибоедове, извлеченные из мемуаров его современников, помещены в основном корпусе настоящего издания, проходные и отрывочные свидетельства о драматурге, наряду с эпистолярными источниками, обширно использованы в комментариях. В двух случаях в основном корпусе издания помещены выдержки из писем (П. А. Вяземского и К. Ф. Аделунга), представляющих фактически запись подневных событий.

Все тексты проверены по наиболее авторитетным изданиям, а также по автографам, если таковые сохранились.

Наряду с мемуарами, в настоящем издании помещены некоторые официальные документы к биографии Грибоедова:

послужной список, материалы следствий, агентурные и служебные донесения о нем (см. Приложение).

Научный аппарат издания состоит из кратких справок о мемуаристах и реального комментария к тексту; все собственные имена вынесены в специальный аннотированный указатель.

С.Н. БЕГИЧЕВ

Бегичев Степан Никитич (1785[*]–1859) [* По сведениям послужного списка, Бегичев родился в 1790 г. (РС, 1875, т. 7, с. 378).] – ближайший друг Грибоедова с 1813 г., когда они вместе служили адъютантами генерала от кавалерии А. С. Кологривова, командующего кавалерийскими резервами (в Брест–Литовске). После окончания Отечественной войны друзья поселяются в Петербурге, входят в околотеатральное сообщество литераторов. Состоя на службе в кавалергардском полку, Бегичев знакомится с участниками Тайного общества, становится членом одной из ранних декабристских организаций (см. Нечкина, с. 159), а в 1818 году, во время пребывания гвардейских полков в Москве, входит в Союз Благоденствия. К следствию по делу декабристов не привлекался как "отошедший от тайных обществ". Известно 20 писем Грибоедова к Бегичеву 1816–1826 гг. (после декабрьского восстания, опасаясь перлюстрации, друзья переписываются только "по оказии"), к Бегичеву же обращены путевые письма Грибоедова – своеобразный дорожный журнал, который драматург вел в 1818–1821 гг. С 1823 г., выйдя в отставку в чине полковника, Бегичев поселяется в Москве, куда в марте того же года в отпуск приезжает Грибоедов. Летом 1823 г. Грибоедов работает над III и IV действиями "Горя от ума" в тульском имении друга, селе Дмитровском. В мае 1824 г. перед отъездом в Петербург Грибоедов оставляет Бегичеву автограф первоначальной редакции пьесы (ныне хранится в ТИМ, в 1903 г. издан В. Е. Якушкиным). Одним из первых С. Н. Бегичев выступил в защиту комедии "Горе от ума", написав антикритику на пристрастные разборы пьесы М. А. Дмитриевым и А. И. Писаревым (рукопись этой статьи Бегичева Грибоедов оставил у себя, не желая вовлекать его в журнальную перепалку). Арестованный по делу декабристов, по пути в Петербург в начале февраля 1826 г. Грибоедов встречался с Бегичевым, обсуждал с ним тактику поведения на предстоящих допросах. В июне 1828 г., когда Грибоедов останавливался в имении Бегичева проездом по пути на Восток, он передал ему так называемую "Черновую тетрадь" – несколько сот листов с автографами стихотворений, планов и сцен трагедий, путевых записок, заметок по русской истории и т. п. (опубликована Д. А. Смирновым в журн. "Русское

слово", 1859, № 4, 5).

В 1838 г. Бегичев в письме к Жандру изложил свои замечания по поводу статьи о Грибоедове, предназначенной для "Энциклопедического лексикона" Плюшара (т. XV,СПб., 1838): "Наконец удосужился я прочесть биографию Грибоедова, которую отдал мне В.Ф. Одоевский перед отъездом из Петербурга. Я обращаю ее к тебе для исправления, в чем я совершенно уполномочен. В суждениях о "Горе от ума" я не совсем согласен с библиографом. Надобно бы дополнить, что поэтический талант Грибоедова и расположение его к сатире открылись весьма рано. 13-ти лет сделал он пародию из трагедии "Димитрий Донской", в которой очень много счастливых Стихов. Надобно бы также сказать, что он был отличный музыкант и фантазии его были увлекательны, — словом, надобно все перелить в другую форму: упомянуть об известной трагедии его ("Грузинская ночь") и проч. и дать всему больше души. В хронологии Грибоедова также есть ошибки: родился он 795, а не 793 года. "Горе от ума" в Грузии написал только два действия (начал в Персии), а остальные действия в Ефремовской моей деревне, селе Дмитровском, в саду, в ветхой беседке, которую я сохраняю. Он всякую новую сцену читал нам; я этого никому не уступлю. Он был от Л. П. Ермолова в то время отпущен в Москву, жил у меня в деревне; был потом в Москве и уже с готового комедиею (кроме конца, переделанного в Петербурге) поехал в Петербург" (ГПБ, ф. 539, он. 2, № 512).

О дружбе Грибоедова с Бегичевым писал Ф. Булгарин, хорошо знавший того и другого: "Здесь (в Брест–Литовске) для Грибоедона началась новая жизнь. Пламенная душа требовала деятельности, ум – пищи, но ни место, ни обстоятельства не могли удовлетворить его желаниям. Надлежало чем–нибудь наполнить пустоту сердца, и юность представила ему в радужных цветах мечты наслаждений, которых истинная цена познается только с летами и опытностью. Дружба спасла Грибоедова от сетей, в которые часто попадают пылкие и благородные, но неопытные юноши, в начале светского поприща. В это время Грибоедов познакомился и подружился с Степаном Никитичем Бегичевым, бывшим тогда адъютантом при генерале Кологривове, и нашел в нем истинного друга и ментора. Дружба эта продолжалась до смерти Грибоедова и длится за гробом. В свете не поверили бы и стали удивляться такой дружбе, какая существовала между Грибоедовым, Бегичевым и еще некоторыми близкими к сердцу покойного. Чувства, мысли, труды, имущество — все было общим в дружбе с Грибоедовым. Нет тех пожертвований, на которые бы не решился Грибоедов для дружбы: всем жертвовали друзья для Грибоедова. Его нельзя было

любить иначе, как страстно, с энтузиазмом, потому что пламенная дута его согревала и воспламеняла все вокруг себя. С Грибоедовым благородный человек делался лучше, благороднее. Его нежная привязанность к другу, внимание, искренность, светлые, чистые мысли, высокие чувствования переливались в душу и зарождали ощущение новой, сладостной жизни. Его голос, взгляд, улыбка, приемы имели какую-то необыкновенную прелесть; звук его голоса проникал в душу, убеждение лилось из уст...

Грибоедова любили многие, но, кроме родных, ближе всех к нему были: С.Н. Бегичев, Андрей Андреевич Жандр и я. Познав Грибоедова, я прилепился к нему душою, был совершенно счастлив его дружбою, жил новою жизнью в другом, лучшем мирен осиротел навеки!..

Но первое право на дружбу Грибоедова имел Бегичев. Он узнал его прежде других, прежде постигнул его и в юношеском пламени открыл нетленное сокровище, душу благородную. С. Н. Бегичев разбудил Грибоедова от очарованного сна и обратил к деятельности. Грибоедов писал стихи, еще посещая университет, но не собирал их и не печатал. В Польше он снова обратился к русской словесности и написал комедию "Молодые супруги", которая была играна в первый раз в С.-Петербурге, сентября 20 1815 года, в пользу актрисы Семеновой–младшей. Грибоедов приехал в Петербург в 1815 году. В Польше познакомился он с князем А. А. Шаховским, а в Петербурге с Н. И. Хмельницким и А. А. Жандром. Связь с сими литераторами заставила его снова приняться за перо и трудиться общими силами для театра, по примеру французских писателей. Грибоедов участвовал с князем А. А. Шаховским и Н. И. Хмельницким в сочинении комедии "Своя семья", представленной в первый раз на С. – Петербургском театре января 24 1818 года; а с А. А. Жандром перевел с французского комедию "Притворная неверность", сочинения Барта, представленную в первый раз на С. – Петербургском театре в феврале 1818 года" (Воспоминания, с. 24–25).

О Бегичеве см.: "Сборник биографий кавалергардов, 1801–1826". Составлен под ред. С. Панчулидзева. СПб., 1906, с. 255; Н. А. Милонов. С. Н. Бегичев. — В кн.: "Декабристы–туляки". Тула, 1977.

ЗАПИСКА ОБ А.С. ГРИБОЕДОВЕ

По оттиску из журнала "Русский вестник", 1892, Ќ 8, выправленному Ы. К. Пиксановым по несохранившейся копии (ИРЛИ).

"Записка" С. Н. Бегичева – "Ответ господину рецензенту на

рецензию его четырех изданий комедии "Горе от ума" в Ќ 4 "Отечественных записок", – как это видно из заглавия, представляет собой отклик на статью С. С. Дудышкина, напечатанную в 1854 г. Рукопись "Записки" была передана Д. А. Смирнову, который пользовался ею, подготавливая свои материалы о Грибоедове. При жизни автора в печати не появлялась, опубликована И. А. Шляпкиным в журнале "Русский вестник" (1892, Ќ 8) с вольным переложением поврежденных мест копии рукописи.

1 С Л. А. Жандром Грибоедов познакомился в 1815 г. в Петербурге. В письме к П. А. Катенину 10.X.1817 г. Грибоедов писал о нем: "Я его как душу люблю" (ПССГ, т. III, с. 125). В то время чиновник канцелярии комитета министров, А. А. Жандр страстно увлекается театром и литературой. Грибоедов помогал ему в переводе "Семелы" Шиллера и пользовался его помощью в переводе комедии Барта "Притворная неверность" (1818). В 1824 г. Жандр организовал переписку комедии "Горе от ума" в Военно–счетной экспедиции, правителем которой он был, и сохранил авторизованный список пьесы, подаренный ему автором и ставший впоследствии самым авторитетным источником ее текста (хранится в ГИМ). Жандр привлекался к дознанию по делу декабристов "по тому случаю, что вечером 14 декабря, после рассеяния мятежников, принял к себе одного из них, князя Одоевского, и дал ему способ уйти из города, снабдив его платьем и деньгами... Чрез несколько дней после ареста, по высочайшему повелению, освобожден" (Алфавит, с. 81). О ночных посещениях Жандра Грибоедовым в 1826 г. во время ареста последнего см. в записках Д. А. Смирнова (с. 219 наст. изд.). У Жандра же Грибоедов поселился после освобождения из–под ареста.

О А. А. Жандре см.: Пиксанов Н. К. Грибоедов и Жандр. – в кн.: Грибоедов А. С. Горе от ума. Изд. Л. Э. Бухгейм. М., 1912.

2 В послужных списках Грибоедова годом его рождения наряду с 1795–м назывался и 1794–й, и 1790–й. См.: Ревякин, с. 113; В. В. Кожинов. Легенды и факты. – РЛ, 1975, № 2, с. 145148; II. С. Краснов. Еще раз о дате рождения Грибоедова. – РЛ, 1975, № 4, с. 152–154.

3 Мать Грибоедова, Настасья Федоровна, происходила из рода Грибоедовых (М. И. Семевский. Несколько слов о фамилии Грибоедовых. – Журн. "Москвитянин", 1856, № 12, с. 317). В 1791 г. она вышла замуж за своего однофамильца, секунд–майора в отставке Сергея Ивановича Грибоедова. Жизнь родителей Грибоедова была омрачена семейными раздорами, и отец его жил постоянно в своей владимирской деревне, изредка навещая жену

и детей в Москве (Ревякин, с. 124). Давая сыну прекрасное по тем временам образование, Н.Ф. Грибоедова готовила его к служебной карьере и с презреньем относилась к его поэтическим занятиям. Деспотичная но натуре, она требовала безоговорочного подчинения в семье. Столь же круто действовала она и как помещица. Когда доведенные до отчаяния непомерными требованиями крепостные в ее костромской вотчине отказались платить оброк, она сломила их сопротивление силой оружия (Пиксанов, с. 138–139). Грибоедов отзывался о матери всегда с сыновней почтительностью, но, покинув родной дом в 1812 г., предпочитал жить вдали от нее, властной, сумасбродной и тяжелой даже в своей родительской любви. Смерть сына Настасья Федоровна пережила тяжело. "На этих днях, – сообщал В. Л. Пушкин П. А. Вяземскому, – объявляли матери Грибоедова о кончине ее сына. Она в отчаянии рвет на себе волосы и кричит, что гораздо бы лучше было, если бы умерла у нее дочь" (ЦГАЛИ, ф. 195, ои. 1, Ќ 2611, л. 110). Это по пометало ей, однако, возбудить судебный процесс против П. и А. Всеволожских, приятелей А. С. Грибоедова (II. С. Краснов, Н. Ф. Грибоедова против Всеволожских. – "Известия Академии наук. Серия литературы и языка", т. 34, 1975, Ќ 1, с. 65–67).

4 Грибоедова Мария Сергеевна, в замужестве Дурново. В письме к С. И. Бегичеву Грибоедов писал: "Я враг крикливого пола, но две женщины не выходят у меня из головы: твоя жена и моя сестра" (ПССГ, т. III, с. 157). Устные рассказы М. С. Дурново о брате использованы отчасти в материалах к биографии Грибоедова, подготовленных Д. А. Смирновым (см. с. 366 наст. изд.). После Смерти брата М. С. Дурново вместе с вдовой драматурга Н. А. Грибоедовой стала душеприказчицей А. С. Грибоедова. Об атом было объявлено в "Московских ведомостях" от 11 марта 1831 г.; но истечении годичного срока Черньский уездный суд "решительным определением своим 1832 г. августа 31–го числа согласно указов... к оставшемуся по смерти прописанного статского советника Александра Сергеева сына Грибоедова денежному капиталу, хранящемуся в С.–Петербургском опекунском совете, законными наследниками утвердил жену умершего господина Грибоедова Нину Александровну и родную сестру поручицу Марью Сергеевну дочь Грибоедову по мужу Дурново и если осталась по смерти господина Грибоедова книга комедия "Горе от ума", то оная принадлежит госпожам Дурново и Грибоедовой" [ВЛ, 1967, Ќ 5, с. 253).

5 Рукопись "Дмитрия Дрянского" была передана С. Н. Бегичевым Д. д. Смирнову и погибла при пожаре. В пародийной

форме в комедии отражено столкновение между М. Т. Каченовским (Дмитрий Дрянской) с И. Т. Буле (о нем см. ниже) за место профессора теории изящных искусств (С. А. Фомичев. Реконструктивный анализ литературного произведения. Комедия А. С. Грибоедова "Дмитрий Дрянской". – В кн.: "Анализ литературного произведения". Л., 1976, с. 212–225).

6 Ион Богдан Иванович – воспитатель А. С. Грибоедова, впоследствии управлявший немецким театром в Петербурге (Арапов, с. 233). Об отношениях Грибоедова и Иона сохранились воспоминания университетского товарища Грибоедова, В. В. Шнейдера, в записи Л. Н. Майкова: "А. С. Грибоедов родился 4 января 1795 года, первоначальное образование он получил в родном семействе сперва под руководством матери, Настасьи Федоровны, женщины очень просвещенной, а потом под наблюдением иностранцев–гувернеров. Первым из них был известный ученый и энциклопедист Петрозилиус, вторым – Богдан Иванович Ион. Последний — человек очень ученый, образованный, дал Александру Сергеевичу классическое образование. В 1811 году превосходно подготовленный Грибоедов поступил на юридический факультет Московского университета [О занятиях Грибоедова в университете см. коммент. 6 на с. 349 наст. изд.]. Но Ион продолжал жить у Грибоедовых и всегда сопровождал своего воспитанника на лекции; это было тогда в обычае у молодых людей богатых фамилий. Уже в это время Грибоедов говорил по–французски, немецки, английски и итальянски и оказывал наклонность к серьезному чтению. Это чтение, вместе с университетскими лекциями, стало впоследствии главным основанием его образования. Будучи студентом, Грибоедов с Ионом читал латинских классиков; любимыми его писателями были комики Плавт и Теренций. Однажды он не поладил со своим наставником и вместо Иона просил одного из своих товарищей, г. (В. В. Шнейдера), помочь ему в чтении Плавтова "Хвастливого воина". При этом случае г. (В. В. Шиейдер) убедился, что латынь коротко знакома Грибоедову, и г. (В. В. Шнейдеру) приходилось объяснять Александру Сергеевичу только некоторые особенности Плавтова языка.

Благодаря знанию древних языков, Грибоедов почти один из русских был в состоянии следить за лекциями немецких профессоров, читавших по–латыни. Не довольствуясь университетскими лекциями, он частным образом слушал эстетику у профессора Буле на немецком языке.

Литературные занятия будущего автора "Горя от ума" начались еще в университете. Нередко читал он своим товарищам

стихи своего сочинения, большею частью сатиры и эпиграммы. Однажды, в начале 1812 г., он прочел Иону и г. (В. В. Шнейдеру) отрывок из комедии, им задуманной..." (Л. Н. Майков. Заметки об А. С. Грибоедове. – В кн.: "Сборник, издаваемый студентами имп. Петербургского университета", вып. II. СПб., 1860, с. 235–236). Впоследствии Ион получил в Казанском университете степень доктора прав.

7 Буле Иоганн Теофил – профессор Московского университета с 1804 по 1810 г. Вместе с братьями Петром и Михаилом Чаадаевыми Грибоедов в 1808 г. слушал приватные лекции Буле. "Курс философии, проходимый на приватных лекциях г–на Буле, профессора при имп. Московском университете, писанный 1808–го года М. Чаадаевым" (на немецком языке) сохранился в архиве Н. К. Пиксанова (ИРЛИ). Товарищ Буле по Геттингенскому университету барон Штейн был в качестве прусского министра одним из идеологов антинаполеоновской коалиции в Европе (см.: Л. Зак. Монархи против народов. М., 1966, с. 18–21). Известны его замечания, направленные против галломании в России, соотносимые с монологом Чацкого "В той комнате незначащая встреча...": "Хорошо ли поступила Россия, поощрив вторжение чужеземных обычаев? Не следовало бы ли ей положить преграду дальнейшему их распространению? Заимствование европейских общеполезных знаний и учреждений было тут для того, чтобы доставить нации выгоды, сопряженные с научным образованием и разумным управлением; но она могла бы сохранить свои первоначальные нравы, образ жизни, одежду и т. д., а не подкапывать и не портить своей самобытности, изменяя все это. Ей не нужно было ни французской одежды, ни французской кухни, ни иностранного общественного типа; она могла бы из собственного исключить все грубое, не отказываясь от всех его особенностей... Быть может, еще не поздно умерить вторжение иностранных обычаев и придать ему направление более целесообразное. Можно было бы ввести снова столь целесообразную и удобную национальную одежду–кафтан" (РА, 1871, стлб. 0127–0128). О Буле см.: "Биографический словарь профессоров и преподавателей Московского университета". М., 1855.

8 Грибоедов был зачислен корнетом в формируемый гр. Салтыковым Московский гусарский полк 26 июля 1812 г. и в его составе 1 сентября выступил в поход, к месту новой дислокации, в Казань. На марше он заболел 8 сентября и был эвакуирован во Владимир; 17 декабря 1812 о. Московский гусарский полк соединили с Иркутским драгунским, который получил новое наименование – Иркутский гусарский полк и был подчинен штабу

кавалерийских резервов. По спискам личного состава этого полка Грибоедов числился больным вплоть до октября 1813 г. (ЦГВИА, ф. 489, оп. 1, Ќ 2278, лл. 143, об., 170, 196, 227 об.).

9 Грибоедов вышел в отставку 24 марта 1816 г. (газ. "Русский инвалид", 1816, Ќ 73, 28 марта), но в Петербурге действительно проживал с середины 1815 г. В Коллегию иностранных дел он был зачислен 9 июня 1817 г. (РО, 1895, Ќ 3, с. 387).

10 Комедия "Молодые супруги" (переделка пьесы французского драматурга Крезе де Лессера) была впервые представлена в петербургском Малом театре 29 сентября 1815 г. в бенефис Нимфодоры Семеновой. Пьеса оставалась в репертуаре столичных театров до 1828 г.

11 Катенин Павел Александрович – драматург и поэт, активный деятель ранних декабристских обществ, оказал известное влияние на творчество Грибоедова, который сам ему писал об этом в январе 1825 г.: "...я ни перед кем Ее таился и сколько раз повторяю... что тебе обязан зрелостию, объемом и даже оригинальностью моего дарования, если оно есть во мне" (ПССГ, т. III, с. 168). Об отношениях Грибоедова с Катениным Р. Зотов свидетельствовал следующее: "В обществе был он (Грибоедов) небольшой говорун и не блистал остротами. Когда, бывало, у князя Шаховского соберутся литераторы, то в беседах и прениях главенствовал всегда Катенин (автор "Андромахи"). Трудно представить себе такой дар слова, как был у Катенина. Суждения его часто и даже чаще всего основывались на софизмах, но он увлекал, убеждал слушателей п принуждал их согласиться на его доводы, вовсе не замечая, что он сегодня опровергал то, что защищал вчера. Он был всегдашний противник в спорах Грибоедова, который держался романтизма, а Катенин был страстный фанатик французского классицизма" (Р. Зотов. Театральные воспоминания. Автобиографические записки. СПб., 1859, с. 83–84). В 1816 г. Грибоедов опубликовал в "Сыне отечества" статью в защиту перевода Катенина Бюргеровой баллады "Ленора", в 1817 г. они написали в соавторстве комедию "Студент". В 1822 г. Катенин был сослан в его костромское село Шаево и, издали следя за служебными и литературными успехами своего товарища, отзывается о нем в письмах к Н. И. Бахтину и В. А. Каратыгину обычно с раздражением, не приникая реалистических принципов комедии "Горе от ума" и несправедливо обвиняя Грибоедова в невнимании к старым товарищам. Так, в 1828 г. он пишет Н. И. Бахтину: "...случайно довелось мне, однажды, лет десять тому назад, прочитать письмо матери Грибоедова к сыну. Оп тогда, чином титулярный советник, вошел снова в службу и сбирался в Персию с

Мазаровичем: мать, радуясь его определению, советовала ему отнюдь не подражать своему приятелю, мне, потому–де, это эдак, прямотой и честностью, не выслужишься, а лучше делай, как твой родственник такой–то, который подлец, как ты знаешь, и все вперед идет; а как же иначе? ведь сам бог, кому мы докучаем своими молитвами, любит, чтоб перед ним мы беспрестанно кувырк да кувырк... Заметьте... что все, тако на путь спасения грядущие, начинают С того, что разрывают все связи со мною, дабы не иметь вперед неприятных встреч" ("Письма И. А. Катенина К Н. И. Бахтину". СПб., 1911, с. 121–122). В письме к Катенину от 14 февраля 1825 г. Грибоедов ответил на его "жестокую и вовсе несправедливую критику" "Горя от ума".

12 Правильно: Чепегов Александр Иванович (1790–1827), чиновник адмиралтейской счетной экспедиции (ЦГИА, ф. 576, оп. 5, Ќ 3418, л, 205; "Петербургский некрополь", т. 4. СПб., 1913, С. 462, – год смерти здесь указан ошибочно; ср.: "Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину", с. 99). Известно, что в 1817 г. Чепегов выступил одним из переводчиков трагедии Корнеля "Гораций" (наряду с Жандром, Шаховским и Катениным); до нас дошло единственное произведение Чепегова – его перевод отрывка из трагедии Расина "Федра" (рассказ Терамена) – в рукописном альбоме Н. С. Голицына (ИРЛИ, ф. 244, он. 8, Ќ 30, лл. 88–90).

13 Шаховской Александр Александрович – плодовитый драматург и известный театральный деятель, служивший с 1802 по 1826 г. (с перерывами) репетуарным членом театральной дирекции. Грибоедов познакомился с Шаховским, вероятно, в 1813 г., когда последний сопровождал новобранцев из Риги в Варшаву (М. Ярцев. Князь Александр Александрович Шаховской. – "Ежегодник императорских театров". Сезон 1894/1895. Приложение, кн. 2. СПб., 1896, с. 141). По свидетельству П. Арапова, комедия "Молодые Супруги" была написана Грибоедовым "по совету Шаховского" (Арапов, с. 242, ср. также замечание М. А. Бестужева–Рюмина о том, что драматург писал "Молодых супругов" "ленивый, сонный и притом на срок" – газ. "Северный Меркурий", 1831, Ќ 23, с. 94).

Вместе с Шаховским и Н. И. Хмельницким Грибоедов написал комедию "Своя семья, или Замужняя невеста" (1817). Возвратясь в Петербург в 1824 г., Грибоедов одному из первых читал Шаховскому "Горе от ума", но в эту нору отношения между ними становятся прохладными, хотя Грибоедов по–прежнему бывает "на чердаке" у Шаховского. "Я, – пишет Грибоедов Катенину 17 октября 1824 г., – у него бываю оттого, что все другие его ругают, это в моих глазах придает ему некоторое достоинство" (ПССГ, т. III, С. 162).

14 Хмельницкий Николай Иванович – драматург и переводчик, успешно работавший в жанре светской комедии, начало которой На русской сцене положил Грибоедов комедией "Молодые супруги". О чтении Грибоедовым "Горя от ума" на литературном обеде Хмельницкого см. в воспоминаниях П. А. Каратыгина, С. 107–108 наст. изд. О Грибоедове Хмельницкий вспоминает в письме к композитору А. Н. Верстовскому от 26 июля 1824 г.: "Грибоедов, который живет в Петербурге, но пропал, куда не знаю, порадовал было меня душевным известием, что вы, плутишка собираетесь к нему в гости. "Верстовский приедет через 3 дня", – говорил Грибоедов... "Верстовский едет", – говорили другие, но я зная Алешу, его сборы и прочее, думал – все это дудки, – и вышло по–моему" (ЦГТМ. Альбом Верстовского, письмо № 150).

15 Ср. также характерное для Грибоедова неприятие классицистической камерности, заявленное им в споре с Катениным. "Всякое многолюдное собрание, например, всегда [в драме – П. К., С. Ф.) неловко и редко когда не смешно... – замечал в 1830 г. Катенин. – Человек умный, теперь покойник, с кем я бывал весьма короток, но чьи понятия о театре во многом с моими несходны, предлагал... поправку в "Британике": "Какая была бы сцена, когда Британик, отравленный, упадает на ложе, Нерон хладнокровно уверяет, что это ничего, и все собрание в волнении!" В натуре – весьма ужасная; в хорошем рассказе, прозою Тацита либо стихами Расина, – весьма разительная, в сценическом подражании – весьма негодная..." ("Литературная газета", 1830, 12 декабря, Ќ 70, с. 275).

16 Речь идет о следующем эпизоде, рассказанном Булгариным: "Будучи в Персии, в 182<0> году, Грибоедов мечтал о Петербурге, о Москве, о своих друзьях, родных, знакомых, о театре, который он любил страстно, и об артистах. Он лег спать в киоске, в саду, и видел сон, представивший ему любезное отечество, со всем, что осталось в нем милого для сердца. Ему снилось, что он в кругу друзей рассказывает о плане комедии, будто им написанной, и даже читает некоторые места из оной. Пробудившись, Грибоедов берет карандаш, бежит в сад и в ту же ночь начертывает план "Горя от ума" и сочиняет несколько сцен первого акта. Комедия сия заняла все его досуги, и он кончил ее в Тифлисе в 1822 году. В марте 1823 года он получил отпуск в Москву и Петербург на 4 месяца. Приехав в Москву, Грибоедов стал посещать общества и в то же время почувствовал недостатки своей комедии и начал ее переделывать. Каждый выезд в свет представлял ему новые материалы к усовершенствованию своего труда, и часто случалось, что он,

возвратясь поздно домой, писал целые сцены по ночам, так сказать, в один присест. Первый списанный экземпляр сей комедии быстро распространился по России, и ныне нет ни одного малого города, нет дома, где любят словесность, где б не было списка сей комедии, по несчастию, искаженного переписчиками" (Воспоминания, с. 2627).

17 Вопрос о начале работы Грибоедова над "Горем от ума" является дискуссионным, но в данном случае Бегичев, очевидно, ошибочно за первоначальный план "Горя от ума" принял иной грибоедовский замысел – написанную им совместно с Катениным комедию "Студент", в которой имеется отдаленное сходство с некоторыми сценами и характерами "Горя от ума" (С. А. Фомичев. К творческой предыстории "Горя от ума". Комедия "Студент". – В кн.: "От "Слова о полку Игореве" до "Тихого Дона". Л., 1969, с. 88–98). Следует, впрочем, отметить, что некоторые современники Грибоедова свидетельствовали о возникновении замысла "Горя от ума" в юности драматурга. Так, В. В. Шнейдер рассказывал д. Н. Майкову о том, что он слышал от Грибоедова "начатки "Горя от ума" еще в предвоенные годы (см.: "Сборник, издаваемый студентами ими. Петербургского университета", вып. II. СПб., 1860, С. 236). Ср. также воспоминания Д. О. Бебутова: "В конце ноября 1819 года я выехал на родину в отпуск... В это время Военно–грузинская дорога проходила через г. Моздок. В Моздоке тогда был комендантом бывший мой однополчанин майор Котырев. Я пошел к нему, и он меня задержал целую неделю до другой оказии. В продолжение этих дней приехал из крепости Грозной Александр Сергеевич Грибоедов; он был уАлексея Петровича Ермолова, в то время находившегося в экспедиции в Чечне, и возвращался в Тифлис; я с ним познакомился. Грибоедов доставил мне сведения о брате моем Василии, находившемся в той же экспедиции. Итак, от Моздока до Тифлиса мы ехали вместе и коротко познакомились; он мне читал много своих стихов, в том числе, между прочим, н из "Горя от ума", которое тогда у него еще было в проекте. Всем известно, как он был интересен и уважаем, р полюбил его всею моею душою и по прибытии в Тифлис предложил ему остановиться у нас; он был принят в доме нашем со всем радушием, вскоре и породнился с нами, держа мальчика на купели с моей матерью. Он учился тогда персидскому языку, и так как отец мой не умел говорить по–русски, то он объяснялся с ним по–персидски довольно изрядно" ("Кавказский Сборник", т. 23. Тифлис, 1902, с. 51 третьей пагинации).

18 Подробнее о дуэли Шереметева с Завадовским см. в рассказах Д. А. Смирнова, с. 212–214 наст. изд., и в коммент. к

ним.

19 Пост поверенного в делах Персии учрежден именным указом Коллегии иностранных дел 6 июля 1818 г. В этом звании был утвержден С. И. Мазарович. При нем предусматривались: секретарь, канцелярский служитель и переводчик для восточных языков ("Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.", т. XXXV. СПб., 1830, с. 330). Грибоедов был назначен секретарем миссии 6–14 июля 1818 г. [РО, 1895, Ќ3, с. 391; РС, 1874, Ќ10, с. 278). Сохранился рассказ А. С. Стурдзы, крупного чиновника министерства иностранных дел, относящийся к апрелю – маю 1818 г.: "Я знал Грибоедова при самом начале деятельности его на поприще Словесности и службы. Подобно Батюшкову, он домогался должности дипломатической и с этой целью искал моего знакомства. Светлый ум, крутой нрав и сметливая физиономия Грибоедова полюбились мне. Пользуясь тогдашним положением моим при министерстве иностранных дел, я вступился, сколько мог, за благородного искателя и предложил ему на выбор должности канцелярского чиновника в Филадельфии и Тегеране. Грибоедов колебался; я указывал ему беспристрастно на относительную важность этих посольств, измеряемую связью каждого из них с прямыми выгодами России. Мне хотелось, чтобы и он предпочел Америку Персии, потому только, что более надеялся на правила и образ мыслей нового начальника этой отдаленной миссии, барона Тейля, с которым я подружился на зимних бивуаках 1812 года, при Березине. Однако ж я познакомил Грибоедова лично не только с ним, но и с статским советником МазароЕпчем; оба они находились в столице и собирались в путь, каждый сообразно своему назначению. Грибоедов сам решил участь свою и отправился в Персию... Никогда в жизни не случалось со мною быть столь близким очевидцем при выборе самим страдальцем собственного таинственного жребия" (журн. "Москвитянин", 1851, Ќ 21, с. 19). Впрочем, сам Грибоедов в письме к Бегичеву от 15 апреля 1818 г. иначе излагал историю своего определения в персидскую миссию: "Представь себе, что меня непременно хотят послать, куда бы ты думал? – в Персию и чтоб жил там. Как я не отнекиваюсь, ничто не помогает..." (ПССГ, т. III, с. 128).

20 Грибоедов пробыл на Востоке более четырех лет (с сентября 1818 г. по февраль 1823 г.), в том числе непосредственно в Персии почти три с половиной года.

21 Об отношениях Грибоедова с А. П. Ермоловым см. с. 153–154, 157–158 наст. изд.

22 Грибоедов уничтожил и потом переписал заново не весь первый акт, а только первые его сцены (Творческая история, с.

88–90).

23 Бегичев женился на А. И. Барышниковой. Отец ее, И. И. Барышников, происходивший из мещан, купил себе при Екатерине II чин артиллерии майора (Пиксанов, с. 58–59).

24 Вольнодумство молодого Грибоедова, проявляющееся, в частности, в его ироническом отношении к церковной обрядности, отмечали и другие мемуаристы (см. с. 247–248 наст. изд. и Беседы в ОЛРС, с. 7). См. также с. 372 наст. изд.

25 В одном из писем В. Ф. Одоевскому Бегичев писал 2 декабря 1829 г.: "Да, любезный Владимир <Федорович>, было время, которое мы провели с вами весело в Москве, но где тот, который был душою наших бесед? Нам осталось только горестное, смешанное, однако ж, с некоторым наслаждением воспоминание! Станем благодарить судьбу и за кратковременные все радости усеянной всякого рода неприятностями нашей жизни" (ГПВ, ф. 539, оп. 2, № 227).

26 Имеется в виду арест Грибоедова по делу декабристов, препровожденного с фельдъегерем в Петербург. После освобождения из–под ареста летом 1826 г. Грибоедов жил некоторое время на даче у Булгарина. "В это время он жил со мною на даче, – сообщает Булгарин, – в уединенном домике на Выборгской стороне, видался только с близкими людьми, проводил время в чтении, в дружеской беседе, в прогулках и занимался музыкою. Все изящное имело доступ к душе Грибоедова: он страстно любил музыку, будучи сам; искусен в игре на фортепьяно. Фантазии его и импровизации отзывались глубоким чувством меланхолии.

Часто он бывал недоволен собою, говоря, что чувствует, как мало сделал для словесности. "Время летит, любезный друг, – говорил он, – в душе моей горит пламя, в голове рождаются мысли, а между тем я не могу приняться за дело, ибо науки идут вперед, а я не успеваю даже учиться, не только работать. Но я должен что–нибудь сделать... сделаю!.." Вот как думал Грибоедов. Он не мог без сожаления вспоминать о том, что некоторые наши писатели, особенно поэты, думают, что им должно следовать одному вдохновению и ничему не учиться. Грибоедов указывал на Байрона, Гете, Шиллера, которые оттого именно вознеслись выше своих совместников, что гений их равнялся их учености. Грибоедов судил здраво, беспристрастно и с особенным жаром. У него навертывались слезы, когда он говорил о бесплодной почве нашей словесности. "...Какой результат наших литературных трудов по истечении года, столетия? Что мы сделали и что могли бы сделать!.." Рассуждая о сих предметах, Грибоедов становился грустен, угрюм, брал шляпу и уходил один гулять в поле или в

рощу... Грибоедов любил Россию. Он в полном значении обожал ее. Каждый благородный подвиг, каждое высокое чувство, каждая мысль в русском приводила его в восторг. Если б знали враги его, раздиравшие его литературную славу, как он радовался, находя в них хорошее! Грибоедов, зная столько иностранных языков, любил читать русские книги, особенно переводы (даже самые плохие) великих писателей. Когда я изъявил ему мое удивление на этот счет, он отвечал: "Мне любопытно знать, как изъяснены высокие мысли и наставления мудрецов и может ли понимать их класс народа, не знающий иностранных языков. Это археологические и этнографические изыскания, любезный друг", – прибавил он с улыбкою. Грибоедов чрезвычайно любил простой русский народ и находил особенное удовольствие в обществе образованных молодых людей, не испорченных еще искательством и светскими приличиями" (Воспоминания, с. 29–31).

27 25 апреля 1828 г. Грибоедов, несмотря на его желание "некоторое время пробыть без дела официального и предаться любимым... занятиям" (журн. "Дела и дни", кн. II, П., 1921, с. 67), был назначен полномочным министром при дворе персидского шаха. Несомненно, что Грибоедов являлся одним из лучших кандидатов на этот пост: хорошо знал страну, язык, обычаи, находился в курсе всех среднеазиатских проблем. Но все же основной причиной назначения Грибоедова явилось, по–видимому, стремление Николая I удалить подальше от столицы людей, замешанных в движении декабристов. Грибоедов понял двуличие императора, назвав свое назначение "политической ссылкой" (ПССГ, т. III, с. 232). О недоверии к нему со стороны царского правительства свидетельствует и то, что в конце ноября 1828 г. директор Азиатского департамента министерства иностранных дел К. К. Родофиникин организовал за Грибоедовым специальное наблюдение (А. Меньшинский. Из жизни и отношений А. С. Грибоедова. – РВ, 1894, Ќ 3, с. 200).

28 Речь идет о дошедшей до нас в отрывках трагедии "Грузинская ночь". Содержание ее восстанавливается по мемуарам Булгарина: "В последнее пребывание свое в Грузии он сочинил план романтической трагедии и несколько сцен, вольными стихами с рифмами. Трагедию назвал он "Грузинская ночь"; почерпнул предмет оной из народных преданий и основал на характере и нравах грузин. Вот содержание: один грузинский князь за выкуп любимого коня отдал другому князю отрока, раба своего. Это было делом обыкновенным, и потому князь не думал о следствиях. Вдруг является мать отрока, бывшая кормилица князя, няня дочери его, упрекает его в бесчеловечном поступке,

припоминает службу свою, и требует или возврата сына, или позволения быть рабою одного господина, и угрожает ему мщением ада. Князь сперва гневается, потом обещает выкупить сына кормилицы и, наконец, по княжескому обычаю, – забывает обещание. Но мать помнит, что у нее отторжено от сердца детище и, как азиятка, умышляет жестокую месть. Она идет в лес, призывает Дели, злых духов Грузии, и составляет адский союз на пагубу рода своего господина. Появляется русский офицер в доме, таинственное существо по чувствам и образу мыслей. Кормилица заставляет Дели вселить любовь к офицеру в питомице своей, дочери князя. Она уходит с любовником из родительского дома. Князь жаждет мести, ищет любовников и видит их на вершине горы св. Давида. Он берет ружье, прицеливается в офицера, но Дели несут пулю в сердце его дочери. Еще не свершилось мщение озлобленной кормилицы! Она требует ружья, чтобы поразить князя, – и убивает своего сына. Бесчеловечный князь наказан небом за презрение чувств родительских и познает цену потери детища. Злобная кормилица наказана за то, что благородное чувство осквернила местью. Они гибнут в отчаянии. Трагедия, основанная, как выше сказано, на народной грузинской сказке, если б была так окончена, как начата, составила бы украшение не только одной русской, но всей европейской литературы. Грибоедов читал нам наизусть отрывки, и самые холодные люди были растроганы жалобами матери, требующей возврата сына у своею господина. Трагедия сия погибла вместе с автором!.." (Воспоминания, с. 35–36).

29 Аллаяр–хан – зять Фет–Али–шаха, первый министр Персии, сторонник сближения с Англией, один из инициаторов русско–персидской войны 1826–1828 гг., во время которой был взят в плен (РА, 1891, Ќ 10, с. 188–189). Грибоедов встречался с ним в июле 1827 г. в лагере персидских войск, куда прибыл для дипломатических переговоров с Аббас–Мирзой. На этой встрече Аллаяр–хан выступил ожесточенным противником сближения Персии с Россией.

В. И. ЛЫКОШИН

Лыкошин Владимир Иванович – дальний родственник А. С. Грибоедова, учившийся вместе с ним в Московском университете. Участник Отечественной войны 1812 г. В 1818 г. вышел в отставку. В годы подготовки крестьянской реформы выступал в печати как убежденный защитник дворянских землевладельческих интересов. Из нескольких томов его "Записок" до нас дошли лишь некоторые фрагменты, опубликованные в кн.: Н. К. Пиксанов. Грибоедов и старое

барство. М., 1926.

ИЗ "ЗАПИСОК"

По тексту: Н. К. Пиксанов. Грибоедов и старое барство. М., 1926, с. 22–40, с исправлениями по копии Н. К. Пиксанова, хранящейся в его библиотеке (ИРЛИ).

1 Хмелиты – родовая усадьба Грибоедовых в сорока километрах от Вязьмы (Смоленская обл.), представляет собой дворцовый ансамбль, построенный в середине XVIII века (И. Д. Белогорцев. Архитектурные сокровища Смоленщины. – "Смоленский альманах", кн. 7, 1950, с. 214–210; В. Е. Кулаков, А. А. Максимов. Хмелиты – родовая усадьба Грибоедовых. – Журн. "История СССР", 1973, № 4, с. 192–195).

2 Грибоедов Алексей Федорович – брат матери драматурга, известный московский барин. Его имел в виду К. Н. Батюшков, сообщая в письме к Н. И. Гнедичу от февраля 1810 г.: "Сегодня Ужасный маскарад у г. Грибоедова, вся Москва будет" (К. Н. Батюшков. Сочинения, т. III. СПб., 1887, с. 123). Он покровительствовал своему племяннику. "Как только Грибоедов замечал, что дядя въехал к ним на двор, – вспоминал С. Н. Бегичев, – разумеется, затем, чтоб везти его на поклонение к какому–нибудь князь–Петру Ильичу, он раздевался и ложился в постель. "Поедем", – приставал Алексей Федорович. "Не могу, дядюшка, то болит, другое болит, ночь не спал", – хитрил молодой человек" (РА, 1874, № 6, стлб. 1528). Облик А. Ф. Грибоедова запечатлен в заметке Грибоедова "Характер моего дяди" (ПССГ, т. III, с. 118) и в какой–то степени – в образах Звездова ("Студент") и Фамусова ("Горе от ума").

3 Имеются сведения, что И. Петрозилиус встречался с Грибоедовым и в последующие годы (см. воспоминания Аделунга, с. 171). Известен трехтомный "Каталог книг библиотеки имп. Московскою университета, составленный библиотекарем Ф. Рейсом и изданный трудами И. Петрозилиуса, помощника библиотекаря" (М., 1831–1836). Документы о службе Петрозилиуса хранятся в ЦГАМ (ф. 459, он. 1, № 3247, лл. 1–2; № 3852, лл. 1–3).

4 Речь идет о дочерях В. Б. Полуэктова Варваре (род. в 1780 г.), Вере (род. в 1783 г.) и Екатерине (род. в 1785 г.) (ЦТАМ, ф. 203, оп. 747, № 684, л. 491). Обнаруженные Г. Штормом документы Свидетельствуют о том, что "В. И. Лыкошин неправильно называет Полуэктовых "племянницами" Алексея Федоровича; они доводилась ему кузинами; неточность же объясняется тем, что автор воспоминаний писал их, уже будучи глубоким стариком" (Шторм, с. 163–164).

А. И. Колечицкая, сестра Лыкошина, сделала к этому месту следующее дополнение: "Сестра Александра Федоровича, Анастасия Федоровна Грибоедова же, и по мужу, была лучшим другом нашей матери. Ее сын, известный творец превосходной комедии "Горе от ума", Александр Серг. Грибоедов, женился на кн. Чавчавадзе, был посланником в Персии и там убит, защищая людей своих от ярости фанатической черни. Сестра его, Мария Серг., вышла за Дурново, талантливого музыканта–любителя, так как она сама была лучшей ученицею Фильда и на арфе играла замечательно хорошо. (См. Стр. 81 первого тома моих записок; там же и о m–lle Goze, моей гувернантке, сестре m–me Pelrosilius.) Другие сестры Алексея Фед. Грибоедова были: Алекс. Фед. Тинькова и Елиз. Фед. Акинфьева".

По ряду свидетельств, у Н. Ф. Грибоедовой была и третья сестра – Анна Федоровна (что подтверждается исповедными ведомостями: ЦТ АМ, ф. 203, оп. 747, № 607а, л. 680), в замужестве графиня Разумовская (журн. "Москвитянин", 1856, № 12, с. 317; "Русская родословная книга". СПб., 1873, с. 152). Однако ни гр. Алексей Кириллович Разумовский, министр народного просвещения, ни один из пяти его братьев не были женаты на А. Ф. Грибоедовой.

6 И. Д. Якушкин – троюродный брат Грибоедова, декабрист. Имеются предположения о том, что они встречались и в 1823–1824 гг. в Москве (Нечкина, с. 430). Некоторые современники считали Якушкина прототипом Чацкого (ЛП, т. 47–48, с. 102).

По сохранившимся документам известно, что Грибоедов в 1803 г. учился в Благородном пансионе при Московском университете (газ. "Московские ведомости", 1803, 26 декабря), в 1806–1808 гг. – на словесном отделении того же университета, которое окончил со званием кандидата словесности ("Периодическое сочинение об успехах народного просвещения". СПб., 1808, № 22, II отдел, с. 199–200; РО, 1895, № 3, с. 384). В 1810–1812 гг., в качестве стороннего посетителя, Грибоедов посещал лекции ведущих профессоров этико–политического отделения, готовясь к испытанию для поступления в чин доктора прав ("Литературная газета", 1939, № 59, 26 октября). В послужных списках Грибоедова, составлявшихся с его слов, обычно указывается, что он имел звание кандидата прав, но это, по–видимому, намеренная ошибка (вместо "кандидат словесности").

7 И. Д. Щербатов в 1821 г. был арестован по делу о восстании в Семеновском полку, пять лет находился в заключении, после чего был отправлен солдатом на Кавказ, где встречался с Грибоедовым. "Когда погибаешь от жажды, — писал родным И. Д.

Щербатов 12 декабря 1826 г., – находишь, чего попить, так и я нашел, чего почитать. Грибоедов здесь, я возобновил с ним знакомство, и он Снабдил меня книгами" (Рукопись. Д. И. Шаховской. Грибоедов и Чаадаев. ЦГТМ, ф. 78, № 58, л. 7; здесь же цитируется записка Грибоедова, посланная И. Д. Щербатову до 1812 г.: "Крайне огорчен, князь, быть лишенным удовольствия присутствовать на Вашем собрании, тому причина мое недомогание. Рассчитываю на Вашу любезность, надеюсь, что Вы доставите мне удовольствие отужинать у пас сегодня вечером. Вы меня очень обяжете, согласившись на мое приглашение, так же, как Ваши кузены Чаадаевы, члены собрания и т. д., г. Буринский, который, конечно, доставит мне удовольствие своим присутствием. Преданный Вам Александр Грибоедов". Подлинник записки на франц. языке хранится в ЦГВИА).

8 Братья М. Я. и П. Я. Чаадаевы учились в Московском университете в 1808–1810 гг. По–видимому, Лыкошин пишет о них со слов других, так как сам окончил университет в 1808 г. С П. Я. Чаадаевым Грибоедов поддерживал дружеские отношения и в зрелые годы. Вяземские вспоминали, в частности: "Чаадаев познакомился с Пушкиным у Карамзина. Еще прежде он слышал о нем от своего товарища по Московскому университету А. С. Грибоедова, который хвалил ему стихи Пушкина на возвращение государя из чужих краев в 1815 году" ("А. С. Пушкин в воспоминаниях современников", т. 2. М., 1974, с. 150). В декабре 1823 г. Пушкин запрашивал из Одессы П. А. Вяземского: "Что такое Грибоедов? Мне сказывали, что он написал комедию на Чедаева" (Пушкин. Полн. собр. Соч., т. XIII, с. 81). По-видимому, для того чтобы пресечь подобные слухи, Грибоедов в окончательной редакции пьесы несколько изменил фамилию главного героя (первоначально – Чадский).

9 В университетском уставе 1804 г. помечено: "Ректор имеет право дать позволение и не внесенным в список студентам слушать лекции, но не иначе, как по предварительном извещении того профессора, которого лекциями слушатель желает пользоваться" ("Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.", т. XXVIII. СПб., 1830, с. 572). Ср. также информацию, помещенную в журнале "Вестник Европы" в 1811 г.: "В нынешнем году записано в университет обучающихся студентов казенного содержания и своекоштных 215, кроме многих сторонних посетителей, слушающих лекции по дозволению г. ректора" (цит. по кн.: С. Шевырев. История Московского университета... М., 1855, с. 412).

10 В. А. Ушаков, дальний родственник Грибоедова, автор ряда статей о его творчестве и повести "Киргиз–Кайсак" (М.,

1830), в которой персонажи названы именами действующих лиц комедии Грибоедова. "Помнишь ли ты, – вспоминал Ушаков, – как нередко вместе с незабвенным автором комедии "Горе от ума" мы рассуждали о бессмертном его произведении, как располагали мы обстановку этой превосходной пьесы и наперебивку читали лучшие монологи?" (СП, 1831, « 77. Письмо к Ф. Булгарину из Москвы).

11 Процедура получения кандидатской степени по уставу 1804 г. (глава IX, 99) была следующей: "Студент, требующий степени кандидата, является к декану, который, известив отделение, назначает день, в который должен он предстать собранию. Отделение чрез своего декана предлагает испытуемому задачи, касающиеся до наук, к отделению принадлежащих, которые он должен объяснить письменно. Потом производится изустное испытание, состоящее в двух вопросах, относящихся до главной науки, в которой студент упражнялся, и выбранных по жребию. Сии вопросы решит он словесно. После чего присутствующие делают произвольное словесное испытание, не исключая и наук вспомогательных" ("Полное собрание законов Российской империи с 1649 г.", т. XXVIII. СПб., 1830, С. 580).

А. И. КОЛЕЧИЦКАЯ

Колечицкая Анастасия Ивановна (урожд. Лыкошина; 1800–1871), сестра В. И. Лыкошина. Сохранилась записка Грибоедова к Колечицкой, относящаяся к 1823–1824 гг.: "Мадам! Непременно мы будем иметь честь явиться к вам, прежде чем поехать на концерт; я радуюсь предстоящему удовольствию провести с вами несколько приятных часов. Ваш слуга Грибоедов" (ИРЛИ, подлинник по-французски).

ИЗ "МОИХ ЗАПИСОК"

По тексту: Н. К. Пиксанов. Грибоедов и старое барство. М., 1926, с. 41, 45–46, с исправлениями по копии Н. К. Пиксанова, хранящейся в его библиотеке (ИРЛИ).

1 Встреча с Грибоедовым произошла, по–видимому, четырьмя годами ранее дневниковой записи, между 3 и 10 сентября 1818 г., когда Грибоедов перед отъездом на Восток заезжал в Москву.

2 См. "Стихи благородной девице Марье Сергеевне Грибоедовой, отличной талантом в музыке, благоволившей в пользу бедных с другими дворянами и множеством музыкантов играть концерт в зале танцевального клуба 4 января 1811 года" ("Приложение к газете "Московские ведомости", 1811, № 5).

3 См. коммент. 5 на с. 348 наст. изд.

И. Н. МУРАВЬЕВ–КАРСКИЙ

Муравьев Николай Николаевич (1794–1866) – военный деятель, участник Отечественной войны 1812 г. и Заграничных походов русской армии 1813–1814 гг. Служил на Кавказе, участвовал в русско–персидской и русско–турецкой войнах. В составе чрезвычайного посольства А. П. Ермолова был в Персии (1816 г.), совершал военно–дипломатические поездки в Хиву и Бухару, в Египет и Турцию. В 1854–1856 гг. – наместник на Кавказе и главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом; за взятие крепости Каре получил титул Карский.

С Грибоедовым был знаком на протяжении десяти лет, с 1818 по 1828 г. Дневник Муравьева наиболее полно отражает кавказский период жизни Грибоедова. Автор подчас весьма субъективен и пристрастен в толковании отдельных поступков и действий Грибоедова, но при этом всегда уважительно отзывается о его познаниях и уме. Для оценки точности освещаемых фактов необходимо учитывать особенности характера мемуариста. Один из сослуживцев Муравьева по Кавказу писал о нем: "По службе педант до мелочности, самолюбив до уродливости, недоверчив до обиды; но, когда хотел, мог быть любезен, приветлив и незнакомых даже обворожить любезностью. Что в сильном характере называется твердостью у него было упрямством. Он никогда не признавал причин действий в другом, но свои доводы были в его глазах непогрешимы. Человек был своеобычный иногда до смешного, а все из самолюбия" (Э. В. Гриммер. Служба артиллерийского офицера. – "Кавказский сборник", 1894, т. XV, с. 133). О Н. Н. Муравьеве см. также: А. П. Берже. Н. Н. Муравьев. – РС, 1873, т. VIII, С. 599–618; И. Задонский. Тайны времен минувших. Воронеж, 1964.

ИЗ "ЗАПИСОК"

По тексту журн. "Русский архив", 1886, № 11, с. 331–335, 340, № 12, с. 433–434, 446; 1888, № 5, с. 7–14, 103–121; 1889, № 4, с. 594–595, № 9, с. 60–89, № 11, с. 275–316; 1893, № 11, с. 362–364, № 12, с. 408; 1894, № 1, с. 39–50. Здесь помещаются в извлечениях, касающихся Грибоедова и его окружения, с примечаниями редактора журнала П. И. Бартенева.

1 Л. И. Якубович – офицер–декабрист, известный в свое время бретер–дуэлист. В то же время, как это справедливо заметил Н. К. Пиксанов, Якубович был "содержательнее своей легендарной биографии" (журн. "Историк–марксист", 1926, Ќ 1, с. 183). Импровизатор и автор устных рассказов, он неоднократно вспоминал об истории этой дуэли, явно романтизируя сюжет. Один из его рассказов (по всей вероятности, навеянный повестью

Пушкина "Выстрел") сохранился в мемуарах сибирского инженера А. И. Штукенберга: "Мы с Грибоедовым жестоко поссорились – и я вызвал его на дуэль, которая и состоялась. Но когда Грибоедов, стреляя первым, дал промах, я отложил свой выстрел, сказав, что приду за ним в другое время, когда узнаю, что он будет более дорожить жизнью, нежели теперь. Мы расстались. Я ждал с год, следя за Грибоедовым издали, и наконец узнал, что он женился и наслаждался полным счастьем..." и пр. (см.: "Литературное наследие декабристов". Л., 1975, с. 365).

С другой стороны, известна версия (менее романтическая, но столь же неправдоподобная) обстоятельств дела, исходящая от другого участника дуэли, А. П. Завадовского: "Решено было стреляться, и Шереметев заявил, что дуэль смертельна. Устроен был барьер, заключающий десять шагов пространства; от него противники отступили каждый еще на десять шагов... Шереметев, сделавший несколько шагов, выстрелил и промахнулся, Завадовский... выстрелил так, что пуля прошла мимо. Затем предложил мировую... Граф рассказывал мне, что противник, уговариваемый одним из своих секундантов, колебался и, казалось, не прочь был от примирения, но другой секундант, А. С. Грибоедов, не допустил этого, настаивая на данном честном слове. (Когда через много после этого лет случилась с Грибоедовым катастрофа в Тегеране, Завадовский заметил: "Не есть ли это божья кара за смерть Шереметева"); см.: "Воспоминания О. А. Пржецлавского". – РС, 1883, т. 39, с. 385386. И "тот рассказ, неточный по существу и в деталях, сыграл, несомненно, свою роль в создании "общественного мнения" о вине Грибоедова в организации дуэли, в которой он был на самом деле невольным участником. О причине и ходе поединка см. в "Рассказах..." Д. А. Смирнова и в заметке В. Шереметевского на с. 268–271 наст. изд.

2 Француз – по–видимому, содержатель ресторации–клуба в Тифлисе Поль, о котором Грибоедов упоминает в письмах к А. И. Рыхлевскому от 25 июня 1820 г. и к неизвестной от 17 ноября 1820 г., а также в своей дневниковой записи 5 марта 1822 г. (ПССГ, т. Ill, с. 68). О Поле см. в кн.: В. С. Шадурн. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958, с. 62–63.

3 В составе русской миссии Грибоедов выехал в Персию 28 января 1819 г.

4 Глава миссии С. И. Мазарович был венецианцем по происхождению, в 1816 г. сопровождал миссию Ермолова в Персию в качестве врача, а в 1818 г. назначен поверенным в делах Персии, хотя русское подданство принял только в 1836 г.

5 В одном из списков "Горя от ума" сохранилось письмо "кавказского ветерана" А. П. Опочинина с упоминанием Рюмина: "...в 1826 году я приехал на службу в Грузию, прямо из кадетского корпуса. А. С. Грибоедов был тогда в Тифлисе. Молва о "Горе от ума" и о том, что эта комедия окончена автором, превратилась в то время в несомненную истину. Вскоре стали появляться в обществе у знакомых с автором лиц списки целой комедии. В батарее, куда я поступил, служил тогда штабс–капитан Рюмин, приятельски знакомый с Грибоедовым. В одно из моих посещений Рюмина я увидел на столе у него тетрадку из грубой синей бумаги, с заголовком на оберточном листе "Горе от ума", комедия А. С. Грибоедова". Я попросил у хозяина позволения взять тетрадку к себе для прочтения. Трудно описать чувство напряженного и все более усиливающегося внимания, возбужденного во мне чтением комедии, меня бесила неразборчивость почерка, испещренного поправками. Я прочитал всю тетрадку два раза сряду и ужо многое знал наизусть, благодаря необыкновенно хорошей памяти... Везде, где было возможно, я декламировал монологи из "Горя от ума", восторгался ими. Рюмин, коротко познакомившийся уже со мною, как с близким сослуживцем, и видя во мне такого ярого почитателя этой комедии, подарил мне во время походов наших по Персии вышеупомянутую рукопись комедии, объяснив, что списывал ее он сам, а поправки сделаны рукою Грибоедова..." (ГТВТ, с. 9). На Кавказе служил Бестужев–Рюмин, капитан, автор портрета с убитого Казы–Муллы (17.X.1832 г. при защите аула Инвары в Дагестане). – РВ, 1869, т. 80, с. 689. Об Опочинине см.: В. Шадурн. Грузия в творчестве забытых русских поэтов Н. П. Лунина и А. П. Опочинина. – Труды Тбилисского государственного университета. Серия филологических наук, 1959, т. 83, с. 306–307.

6 Кюхельбекер прибыл на Кавказ в начале октября 1821 г. Подробнее см. о нем на с. 400–403 наст. изд.

7 В результате этого поединка Кюхельбекер был 5 мая 1822 г. выслан из Грузии и долгое время не мог поступить на службу. В начале октября 1823 г. Вяземский писал А. И. Тургеневу: "Кюхельбекеру хотелось бы переселиться в Одессу к Воронцову. Статочное ли это дело, как думаешь? С Ермоловым расстался он не по политическим причинам, а за пощечину, которую он дал племяннику Ермолова в ответ на его грубость. Они после дрались. Сначала была у него размолвка с Ермоловым; но в этом деле виноват был не Кюхельбекер, и сам генерал сделал первые шаги к мировой. Я это все знаю... от Грибоедова, преданного Ермолову и, следовательно, свидетеля надежного..." (ОА, т. 2, с.

359).

8 "Грека, рыцаря промышленности, выгнали от Ахвердовых, и я при этом остракизме был очень деятелен", – писал Грибоедов Кюхельбекеру 1 октября 1822 г. О В. Е. Севиньи (или Севинисе) см.: Ф. Н. Виницкий. Рассказы из былого времени. – "Чтения в обществе истории и древностей российских", 1874, кн. 1, с. 87–89.

9 Выше в записках Муравьева рассказывается об отставке Ермолова и назначении на пост начальника Кавказского корпуса И. Ф. Паскевича и об интригах в пользу последнего некоторых кавказских офицеров. В интригах ътих мемуарист склонен обвинять и Грибоедова, что не соответствует действительности. В письме к Паскевичу от 16 марта 1828 г. Грибоедов писал об И. О. Корганове (в Тифлисе его называли Ванькой–Каином) как об известном "подлеце" (журн. "Дела и дни", 1921, Ќ 2, с. 63). По–видимому, именно благодаря Грибоедову Корганов был уволен из адъютантов Паскевича. В письме к Н. Н. Раевскому 7 октября 1827 г. Корганов писал: "Мне быть Цицероном, чтоб тронуть охладевшее ко мне сердце Александра Сергеевича, невозможно; стало быть, остается одна только дорога – просить Вас быть ходатаем у него и сказать ему, чтоб он, пожалев мои труды, при шапочном разборе кампании (имеется в виду заключение мира с Персией. – П. К., С. Ф.) не лишился бы я случая, от чего зависит весь мой карьер; он сам испытал несчастья и знает всю горесть его, и, сколько я знаю, защитник им" ("Архив Раевских", т. 1. СПб., 1908, с. 357).

10 Ермолов выехал из Тифлиса 3 мая 1827 г. после отрешения его от командования корпусом, переданного И. Ф. Паскевичу.

11 Впоследствии Муравьев помирился с Паскевичем.

12 Некоторые фактические сведения о пребывании Грибоедова в Тифлисе в июле – августе 1828 г. (перед отъездом в Персию) мы находим в дневнике Н. Д. Киселева:

"Встреча с Грибоедовым и обличение его в противозаконном вкусе...

После обеда отправился с Бартоломеем к Роману Ивановичу Говсяу.

Грибоедов своею музыкой и разговором перенес меня в Петербург...

Грибоедова, базар и Шамира посетил...

Пописавши, поехал к Лмбургеру за серьгами и вместе с Амбургером знакомиться с Прасковьей Николаевной Ахвердовой, которая учинила зов на завтрашний вечер...

Бартоломей заехал, и мы вместе пустились на первый вечер здешний, к Ахвердовой. Графиня Симонич, мадмуазель меньшая

Виноградская, Нина Чавчевадзева очень хороша, но во мне плоть замерла. Пляски, затем и фейерверк...

Грибоедов и Афанасий Иванович Снаксарев завернули побеседовать... Грибоедов играет, и более из опер" (ГВЛ, ф. 129, оп. 7, ед. хр. 1, лл. 116, 122, 124, 128, 130).

13 Речь идет о письме Грибоедова к Булгарину от 24 июля 1828 г. (см.: ПССГ, т. III, с. 219–221), вошедшем в его "Воспоминания...", напечатанные в журн. "Сын отечества", соредактором которого был и Греч.

Мемуарист несправедливо обвиняет Грибоедова, который на самом деле страстно любил свою жену, о чем свидетельствует и его письмо к ней от 24 декабря 1828 г. В письме к В. С. Миклашевич он с нежностью пишет о Нине Александровне: "Полюбите мою Ниночку. Хотите ее знать? В Malmaison, в Эрмитаже, тотчас при входе направо, есть богородица в виде пастушки Murillo, – вот она" (ПССГ, т. III, с. 238).

14 Муравьев имеет в виду проект учреждения Российской Закавказской компании, составленный в 1828 г. Грибоедовым с П. Д. Завелейским, назначенным в Тифлис гражданским губернатором (о Завелейском см.: И. Л. Андроников. Тетрадь Василия Завелейского. – В кн.: И. Л. Андроников. Я хочу рассказать вам... М., 1971). "Основной идеей проекта является идея о развитии производительных сил Закавказья, придавленных феодально–крепостным строем метрополии и военно–феодальным гнетом на самой окраине" (Нечкина, с. 708). О проекте см.: О. П. Маркова. Новые материалы о проекте Российской Закавказской компании А. С. Грибоедова и П.Д. Завелейского. – "Исторический архив", т. VI. М.–Л., 1951, с. 324–390).

15 Преступление, выглядевшее внешне как стихийный бунт, на самом деле было хладнокровно и обдуманно подготовлено: муллы во всех частях Тегерана проповедовали, что русским послом поругана мусульманская вера; бросить же искру в народ (задавленный поборами на выплату куруров российскому правительству) потребовал от священнослужителей мирза Месих – высшее духовное лицо в Тегеране; в свою очередь, он знал, что Фетх–Али–шах жаждет проучить непокорного русского посла, и, наконец, акция эта во многом была предопределена советами английских дипломатов, пытавшихся довести дело до аннулирования Туркманчайского мирного договора. Английские историки обычно отрицают причастность своих соотечественников к тегеранским событиям, ссылаясь на дружеские отношения Грибоедова и английского посла Д. Макдональда, на энергичный протест последнего персидскому

правительству в связи с этими событиями и т. п. Документы, обнаруженные советским исследователем Л. М. Аринштейном и представленные на научной конференции в ИРЛИ 8 февраля 1979 г., подтверждают, что по отношению к Макдональду, выступавшему за мир России с Персией, нужный также и Англии, эти доводы вполне справедливы. Но в то же время в Персии действовала другая группа англичан во главе с авантюристом Г. Уиллоком, первым секретарем миссии, его братом Джорджем и врачом Макнилем, которая интриговала против Макдональда и подстрекала персидское правительство к конфликту с Россией. Эта группа представляла интересы Ост–Индской компании и премьер–министра Великобритании герцога Веллингтона, взявшего курс на конфронтацию с Россией (см.: ВЛ, 1979, № 6, с. 392).

16 Царское правительство, занятое войной с Турцией, считало возможным свести тегеранские события к случайности и требовало только извинения со стороны Персии. В конце апреля 1829 г. искупительная миссия во главе с пятым сыном Аббас–Мирзы 23–летним Хосров–Мирзото прибыла в пределы России и 12 августа была принята императором в Зимнем дворце. Хосров–Мирза зачитал послание шаха и передал его подарки, в том числе знаменитый алмаз "Шах" (88 1/2 каратов), а русский царь простил девятый курур и рассрочил выплату десятого на пять лет.

П. А. ВЯЗЕМСКИЙ

Вяземский Петр Андреевич (1792–1878) – поэт и критик, видный деятель литературного движения 1810–1830–х гг. Существует предположение, что знакомство его с Грибоедовым состоялось еще в 1811–1812 гг. (ЛН, т. 47–48, с. 230). Сам Вяземский относит знакомство с драматургом к 1823 г., ко времени совместной работы над оперой–водевилем "Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом". Грибоедов весьма дорожил дружественным отношением к нему Вяземского, о чем свидетельствуют два письма к последнему от 21 июня и 11 июля 1824 г. Встречались они и в 1826 г. в Петербурге, после освобождения драматурга из–под ареста. Во время пребывания Грибоедова в Петербурге весной 1828 г. они видятся особенно часто у многих общих знакомых. Оценив по достоинству новаторство драматургии "Горя от ума" ("Расширяя сцену, наполняя ее народом действующих лиц, он (Грибоедов) расширял тем самым и границы Самого искусства" – журн. "Современник", 1837, т. 5, с. 70), Вяземский тем не менее весьма сдержанно оценивал комедию в целом. С годами он переосмысливает и свои былые отношения с Грибоедовым. В 1860–1870–е гг. он

полемизирует с грибоедовской оценкой Москвы, идеализируя ее патриархальность (см. об этом: А. Л. Гришунин. Л. Толстой и грибоедовская Москва, – В кн.: "Толстой и литература народов Советского Союза". Ереван, 1978, с. 50–51).

ДЕЛА ИЛЬ ПУСТЯКИ ДАВНО МИНУВШИХ ЛЕТ

(Письмо к М. Н. Лонгинову)

По тексту: П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VII. СПб., 1882, с. 333–344.

В 1873 г. В. И. Родиславский опубликовал в журнале "Русский вестник" (Ќ 9, с. 233–268) статью "Неизданные пьесы А. С. Грибоедова", где, в частности, шла речь и об опере–водевиле "Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом". "Не решаясь без согласия князя П. А. Вяземского напечатать эту пьесу, – пишет он, – я расскажу ее содержание и приведу из нее некоторые куплеты. Было бы весьма желательно, чтобы наш заслуженный ветеран–литератор князь П. А. Вяземский напечатал или позволил напечатать эту пьесу, объяснив при этом, что именно в ней принадлежит ему и что Грибоедову". Такое же пожелание выразил в своем письме известный библиограф и историк литературы, начальник Главного управления по делам печати М. Н. Лонгинов. Публикуемая статья Вяземского была напечатана в журнале "Русский архив" (1874, Ќ 2, с. 0535–0549) в форме "Письма к М. Н. Лонгинову" и явилась ответом на эту просьбу. За истекшие годы он многое забыл и, находясь в это время в Гамбурге, не имел возможности воспользоваться своим архивом для уточнения отдельных деталей. Кроме того, письмо, адресованное Лонгинову, предназначалось для печати и потому было в значительной степени беллетризовано. Сдержанный по отношению к Грибоедову тон мемуариста объясняется подспудной полемичностью статьи: посвященная "делам давно минувших дней", она выражает особую позицию позднего Вяземского, не принимающего демократических веяний в литературе, отождествляющего их с булгаринским низменным практицизмом. Отсюда внутреннее несогласие с преувеличенной, по его мнению, оценкой литературно–общественного значения "Горя от ума".

1 М. Н. Лонгинов занимался изучением творчества Грибоедова. Им были изданы письма драматурга к С. Н. Бегичеву ("Письма Карамзина к А. Ф. Малиновскому и письма Грибоедова к С. Н. Бегичеву". М., 1860); он является автором библиографической статьи "Первые печатные опыты Грибоедова" (журн. "Современник", 1857, № 3, с. 82–86). Имеются основания считать его и П. И. Бартенева редакторами книги "Сочинения А. С. Грибоедова", вышедшей в свет в 1860 г. в берлинском

издательстве Рудольфа Вагнера (2–е изд. – 1870 г.). Лонгинов собирал мемуарные свидетельства о Грибоедове и сообщил (несомненно, со слов современников) несколько анекдотов о нем, имеющих ныне значение мемуарного первоисточника. Приводим один из них: "В бытность Грибоедова в Москве, в 1824 году, он сидел как–то в театре с известным композитором Алябьевым, и оба очень громко аплодировали и вызывали актеров. В партере и в райке зрители вторили им усердно, а некоторые стали шикать, и из всего этого вышел ужасный шум. Более всех обратили на себя внимание Грибоедов и Алябьев, сидевшие на виду у всех, а потому полиция сочла их виновниками происшествия. Когда в антракте они вышли в коридор, к ним подошел полицеймейстер Ровинский, в сопровождении квартального, и тут произошел между Ровинским и Грибоедовым следующий разговор:

Р. Как ваша фамилия? – Г. А вам на что? – Р. Мне нужно это знать. – Г. Я Грибоедов. – Р. (квартальному). Кузьмин, запиши. – Г. Ну, а как ваша фамилия? – Р. Это что за вопрос? – Г. Я хочу знать, кто вы такой. – Р. Я полицеймейстер Ровинский. – Г. (Алябьеву). Алябьев, запиши..." (РА, 1863, кн. 5–6, стлб. 466–467; см. также ниже коммент. 6).

2 Ф. Ф. Кокошкин, по меткому определению Вяземского, "держался старинных сценических преданий и обычаев, до суеверия, до язычества" (П. А. Вяземский. Полн. собр. соч., т. VIII. СПб., 1883, с. 472). На этой почве у Грибоедова с Кокошкиным происходили столкновения еще в 1818 г. при постановке "Притворной неверности" (ЛССГ, т. III, с. 133). К концу 1824 г. относится его донос московскому генерал–губернатору о том, что "Горе от ума" есть "пасквиль на Москву" (РА, 1874, кн. I, № 6, стлб. 1562).

3 Работу над водевилем Грибоедов мог начать только после возвращения в Москву из тульской деревни Бегичева, в конце сентября 1823 г. К концу же года пьеса была закончена, так как 7 января 1824 г. Вяземский в письме А. И. Тургеневу в Петербург просил повстречаться с дочерью Ланского (министра внутренних дел) и сказать ей, что "я жду водевиль из театральной цензуры; что если найдется кое–что непозволительного, то пускай вымарают, а не задерживают и присылают то, что может быть сказано и петь, не оскорбляя бога, царя и ослиных ушей и того, и другого, и третьего, и четвертого, и пятого" (ОА, т. III, с. 2). Цензурное разрешение было получено 10 января, и первая постановка на московской сцене состоялась 24 января – в бенефис Львовой–Синецкой, исполнявшей роль Юлии.

4 Грибоедову принадлежат и некоторые другие куплеты водевиля (ГТБТ, с. 193–201).

5 В "Дамском журнале" были опубликованы лишь куплеты Вяземского "Молодость, как струйка...", "Пускай сердечным суеверам..." (1824, Ќ 3, с. 109–111) и "Бар и барынь все бранят..." (Ќ 5, с. 201). Кроме того, в 1824 г. в печати появились куплет Грибоедова "Любит обновы мальчик Эрот..." (ВЕ, Ќ 5, с. 76) и в приложении к альманаху "Мнемозина" (ч.1) – ноты куплетов Вяземского "Когда в нас сердце признает..." и "Любил бы, может быть, и я...".

6 А. И. Писарев встретил водевиль "Кто брат, кто сестра...", а затем "Горе от ума" мелочно–придирчивыми статьями в "Вестнике Европы". В 1824 г. Грибоедов и Вяземский, с одной стороны, и Писарев и М. А. Дмитриев, с другой, – обменялись несколькими эпиграммами (см.: "Эпиграмма и сатира", т. I., М.–Л., 1931). По Свидетельству Лонгинова, "во время полемики Дмитриева, Писарева и пр. против Вяземского, Грибоедова... эпиграммы перепосил из лагеря в лагерь известный Шатилов (Репетилов), зять музыканта Алябьева. Он, например, приходил в ложу Кокошкина, где сидели Писарев и Дмитриев, получал эпиграмму и нес в кресла Вяземскому и Грибоедову, потом шел опять в ложу и говорил: "Завтра будет ответ" (там же, с. 185).

7 Имеется в виду критический отзыв Загоскина на комедию "Молодые супруги" в "Северном наблюдателе" (1817, № 15, с. 54) и написанный в ответ стихотворный памфлет Грибоедова "Лубочный театр". О характере взаимоотношений Грибоедова и Загоскина в 1824 г. можно судить по следующему анекдоту, рассказанному М. А. Дмитриевым: "У меня обедало несколько приятелей... В это время в Москве был Грибоедов, которого я знал и иногда с ним встречался в обществе, но не был с ним знаком. Перед обедом Загоскин отвел меня в сторону и говорит мне: "Послушай, друг Мишель! Я знаю, что ты говоришь всегда правду. Ну, так скажи мне: дурак я или умен?" Я очень удивился, но натурально отвечал, что умен! "Ну, душенька, как ты меня обрадовал! – отвечал восхищенный Загоскин и бросился обнимать меня. – Я тебе верю и теперь спокоен! Вообрази же: Грибоедов уверяет, что я дурак..." Играли в театре его комедию; кажется, "Домашний театр". Я сидел в первом ряду кресел, рядом с автором, а Грибоедов был в ложе директора Кокошкина. Я видел, что Загоскин входил в его ложу. Вдруг он бежит ко мне, пробирается между креслами и кричит мне: "Вообрази, Мишель! Ведь Грибоедов признался, что я умен! Сейчас говорит мне: "Вы знаете, Михаил Николаевич, что я вас почитал дураком, но теперь, увидевши эту комедию, признаюсь, что вы умны!" Ведь Грибоедов–то кричал!.." – "Да, Грибоедов, – сказал я, – кричал об тебе, а ты о самом себе!" Понял Михаил Николаевич и замолчал"

(см.: М. А. Дмитриев. Главы из воспоминаний моей жизни. – ГБЛ, ф. 178, картон 8184, ед. хр. 1, лл. 159, 174).

8 Неточно процитированные строки из водевиля Писарева "Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье", впервые поставленного на сцене 24 апреля 1824 г.

9 См.: ПССГ, т. III, с. 151–152.

10 В годы знакомства с Грибоедовым Вяземский иначе оценивал его характер. В письмах А. И. Тургеневу он писал: "Здесь Грибоедов–Персидский. Молодой человек с большой живостью, памятью и, кажется, дарованием. Я с ним провел еще только один вечер" (30 апреля 1823 г.; "Архив братьев Тургеневых", вып. 6, с. 16); "Познакомься с Грибоедовым: он с большими дарованиями и пылом" (ОА, т. III. с. 56).

11 В Москве водевиль был поставлен четырежды (24, 29 января и 5, 16 февраля 1824 г.), в Петербурге – трижды (1, 7 и 11 сентября того же года).

12 В уточнениях к статье В. Н. Родиславского, напечатанных в октябрьском номере журнала "Русский вестник" за 1873 г., эпиграмма эта приписывалась Пушкину, в собрания сочинений которого она поныне и включается. Однако в последнее время вновь высказано мнение о принадлежности этой эпиграммы Грибоедову (см.: Ю. П. Фесенко. Эпиграмма на Карамзина. – В кн.: "Пушкин. Материалы и исследования", т. VIII, с. 293–295).

13 См. С. 30 наст. изд.

14 Трактовка пьесы Грибоедова как сатиры, в которой якобы нарушены художественные законы драматического произведения, была развита в статье В. Г. Белинского "Горе от ума"... сочинение Л. С. Грибоедова", написанной в 1839 г. в период так называемого его "примирения с действительностью". При этом критик в какой–то мере отталкивался от оценки "Горя от ума", изложенной в письмах Пушкина к Вяземскому (28 января 1825 г.) и А. Бестужеву (конец января 1825 г.) и широкоизвестной в литературных кругах (см.: Пушкин. Поля. собр. соч., т. XIII, с. 137–139). А. И. Тургенев писал Вяземскому 8 мая 1825 г.: "Вчера слушал у княгини А. И. Голицыной (Измайловой) комедию Грибоедова. Всем вам досталось. Много остроты в некоторых стихах, особливо в негодовании Чацкого, но пьеса нехороша и интрига подлая. Есть сатирические черты в верные портреты московских оригиналов, но нет комедии. Княгиня бесила меня вздорными замечаниями своими на пьесу и на стихи, коих не понимала. Небесная физика совсем исказила ум ее и даже небесное ее личико. Все говорит о точке, о протяжении, о движении, а ум при ней и от ее слушателей ни с места" (ОА, т. III, с. 123).

15 Это исправление действительно имеется в музейном автографе "Горя от ума", хранящемся в ГИМ.

ПИСЬМА ИЗ ПЕТЕРБУРГА. 1828 Г.

Письма Вяземского к жене, не опубликованные полностью, неоднократно цитировались в различных изданиях – наиболее пространно в ЛИ (т. 58, с. 72–81). В настоящем издании отрывки из писем, касающиеся Грибоедова, печатаются по автографам (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 3267).

Письма к В. Ф. Вяземской 1828 года – своеобразный дневник петербургских впечатлений Вяземского, особую ценность которому придают сведения о дружеском и постоянном общении Грибоедова с Пушкиным.

1 Необычайно щедрые награды за персидскую кампанию объяснялись тем, что это была первая военная победа периода царствования Николая I.

2 26 марта 1828 г. А. А. Муханов писал своему брату Николаю в Петербург: "Сердечный мой поклон Вяземскому и Пушкину; также и Грибоедову; сердечно радуюсь, если правда, что государь щедро наградил его заслуги и если эта награда выводит его, до некоторой степени, из–под зависимости семейственных отношении" ("Щукинский сборник", вып. 4. М., 1905, с. 148).

3 7 апреля 1829 г. Вяземский писал И. И. Дмитриеву: "Я был сильно поражен ужасным жребием несчастного Грибоедова. Давно ли видел я его в Петербурге блестящим счастливцем, на возвышении государственных удач; давно ли завидовал ему, что он едет посланником в Персию, в край моего воображения, который всегда имел приманку чудесности восточных сказок, обещал ему навестить его в Тегеране и еще на днях, до получения рокового известия, говорил жене, что, не будь войны на Востоке, я нынешним летом съездил бы к нему. Как судьба играет нами, и как люто иногда! Я так себе живо представляю пылкого Грибоедова, защищающегося от исступленных убийц, изнемогающего под их ударами. И тут есть что–то похожее на сказочный бред, ужасный и тяготительный" (РА, 1868, стлб. 606). В ответном письме (от 1 мая 1829 г.) И. И. Дмитриев писал: "Участь Грибоедова действительно может поразить каждого, кто мыслит и чувствует. Как он восхищался ясностью персидского неба, роскошью персидской поэзии! и вот какое нашел там гостеприимство! и какое даже в земляках своих оставил впечатление. Может быть, два, три почтут память его искренним вздохом, а десяток скажет, что ему горе не от ума, а от умничанья" ("Старина и новизна", 1907, вып. 12, с. 330–331).

4 Трагедия "Борис Годунов" чрезвычайно интересовала Грибоедова – в особенности в связи с его собственными замыслами. 9 декабря 1826 г. он писал из Тифлиса Бегичеву: "Когда будешь в Москве, попроси Чаадаева и Каверина, чтобы прислали мне трагедию Пушкина "Борис Годунов" (ПССГ, т. III, с. 196). В наброске к предисловию к своей трагедии Пушкин замечал: "Грибоедов критиковал мое изображение Иова – патриарх действительно был человеком большого ума, я же, по недосмотру, сделал из него глупца" (А. С. Пушкин. Полн. собр. соч. в 10–ти томах, т. VII. Л., 1978, с. 113; подлинник написан по–французски).

5 Сводку материалов о встречах Грибоедова с Мицкевичем см. в статье С. В. Свердлиной "Грибоедов и ссыльные поляки" (ГТБТ, с. 218–222).

6 Это некто капитан Джон Кемпбелл, секретарь британской миссии в Иране (см. о нем на с. 291 наст. изд.).

7 О той же поездке вспоминала А. А. Андро (рожд. Оленина) в письме к Вяземскому от 18 апреля 1857 г.: "Помните ли вы то Счастливое время, где мы были молоды, и веселы, и здоровы! Где Пушкин, Грибоедов и вы сопутствовали нам на Невском пароходе в Кронштадте. Ах, как все тогда было красиво, и жизнь текла быстрым шумливым ручьем" (ЛН, т. 47–48, с. 237).

Е. П. СОКОВНИНА

Е. П. Соковнина (1811–1904) отразила в воспоминаниях свои детские впечатления, обогащенные, однако, фактами, почерпнутыми из ее постоянного общения с московским кругом друзей и знакомых Грибоедова. И это придает мемуарам дополнительную ценность (о Соковниных см. в письмах М. А. Волковой к В. И. Ланской – ВЕ, 1874, август, с. 581–582). Бегичев Дмитрий Никитич (1786–1855), воспоминания о котором написаны его племянницей, – родной брат С. Н. Бегичева. Он познакомился с А. С. Грибоедовым в Брест–Литовске в 1813 г., находясь на службе в штабе кавалерийских резервов. В письме к Кюхельбекеру от 2 марта 1825 г. из Москвы Д. Н. Бегичев сообщал сведения о Грибоедове (см. на с. 401 наст. изд.). 7 или 8 февраля 1826 г. у него в доме (в Москве) останавливался А. С. Грибоедов, сопровождаемый фельдъегерем в Петербург. Реминисценциями и цитатами из "Горя от ума" переполнены художественные произведения Д. Н. Бегичева, в особенности его нравоописательный роман "Семейство Холмских" (1832). Этот роман послужил косвенным поводом появления мемуаров Е. П. Соковниной. В своих "Записках" (СПб., 1888) К. А. Полевой обвинил Д. Н. Бегичева в том, что он заплатил черной неблагодарностью Н. А. Полевому за помощь в публикации названного романа. Е. П. Соковнина вступилась за покойного дядю. Воспоминания были напечатаны в журнале "Исторический вестник" (1889, т. 35, Ќ 3, с. 661–673). Заметим, что будучи воронежским вице–губернатором (1830–1836 гг.), Д. Н. Бегичев покровительствовал поэту А. В. Кольцову, который, в свою очередь, посвятил ему стихотворное послание "Благодетелю моей родины" (о Д. Н. Бегичеве см. в кн.: "Очерки литературной жизни Воронежского края XIX – начала XX в.". Воронеж, 1970, с. 74–85).

ВОСПОМИНАНИЯ О Д. Н. БЕГИЧЕВЕ

По тексту журн. "Исторический вестник", 1889, т. 35, № 3, с. 665–666 и 672–673.

1 В селе Дмитровском Ефремовского уезда Тульской губернии.

2 Урожденная Давыдова, родная сестра партизана Д. В. Давыдова.

3 Сохранились два сочиненные Грибоедовым вальса. Упоминаемый Соковниной вальс является первым вариантом одного из них в тоне E–moll и воспроизведен в "Историческом вестнике" (1889, Ќ 3). Его второй вариант опубликован в "Прибавлениях к "Лирическому альбому" на 1832 год. Мелодия этого вальса использована М. М. Ивановым в его опере ("Горе от

ума". Комическая опера в 4–х действиях. Текст Л. С. Грибоедова. М., 1905). В "Лирическом альбоме" воспроизведен и второй грибоедовский вальс As–dur. Грибоедов, по–видимому, сочинял и другие музыкальные произведения (И. Л. Андроников. Я хочу рассказать вам... М., 1962, с. 183). Известно, что любимым занятием Грибоедова были импровизации на фортепьяно. По свидетельству А. А. Жандра, "в Персии на кровле дома стоял рояль, и Грибоедов фантазировал, собирая толпы народа" (ИРЛИ, ф. 496, оп. 2, Ќ 45). В. А. Соллогуб вспоминал о раутах в доме А. Н. Оленина (вероятно, в 1828 г.): "Живо помню я также Грибоедова и помню, как изумлялся, когда он садился за фортепьяно, что такой человек мог еще быть музыкантом" (РА, 1865, стлб. 738). Говорили, что некоторые темы грибоедовских музыкальных фантазий развиты в романсах А. А. Алябьева, близкого приятеля Грибоедова со времени военной службы. М. И. Глинка записал в своем дневнике: "Провел около целого дня (в мае 1828 г.) с Грибоедовым, автором комедии "Горе от ума". Он был очень хороший музыкант и сообщил мне тему грузинской песни, на которую вскоре потом А. С. Пушкин написал романс "Не пой, волшебница, при мне..." (РС, 1870, т. I, с. 490; подробнее См.: С. Л. Гинзбург. Пушкин и грузинская песня. – В кн.: "Пушкин. Исследования и материалы". М.–Л., 1953, с. 314–334; Р. В. Иезуитова. "Не пой, красавица, при мне..." – В кн.: "Стихотворения Пушкина 1820–1830–х годов". Л., 1974). Товарищ Грибоедова по Университетскому благородному пансиону Сушков характеризовал его так: "Приятный музыкант–любитель (пьянист), добрый товарищ, забавно–остроумный собеседник, бережно–насмешливый приятель, благородной, красивой наружности, комик по призванию, дипломат по службе" (Н. В. Сушков. Московский университетский благородный пансион и воспитанники Московского университета, гимназий его, Университетского благородного пансиона и дружеского общества. М., 1858, с. 81).

4 Одоевский Владимир Федорович – писатель и музыкальный критик. С Грибоедовым познакомился в 1823 г. в Москве. Об обстоятельствах их знакомства Одоевский писал в 1864 г.: "Прочитав их (очерки "Дни досад" в журнале "Вестник Европы", 1823, ЌЌ 9, 11, 15–18, подп. Одоевск. и Од. – П. К., С. Ф.), А. С. Грибоедов старался узнать, кто их сочинитель. Это дало повод к ближайшему знакомству, а потом и к дружбе между обоими, никогда не изменившейся независимо от их родства; впрочем, довольно дальнего" [РА, 1864, стлб. 808, примеч.). Встречались Грибоедов с Одоевским в 1828 г. в Петербурге. В сентябре 1826 г. Одоевский писал из Петербурга в Москву С. А. Соболевскому:

"Уведомь меня, что и где Грибоедов – останется ли он в Москве и поедет ли в Грузию или нет, как и когда к нему писать; обо всем уведомь обстоятельно, скажи ему, что Ж<андра?> я только и видел один раз в день приезда, что он уехал в деревню и я не имел случая с ним более свидеться. Скажи еще Грибоедову, что теперь не могу ничего писать к нему, но есть много писчего – оставлено до удобнейшего случая, поцелуй его от меня и от души – слышишь ли, сколько в тебе достанет; надобно же, чтобы судьба насмехалась так надо мною – он выехал из Петербурга на другой день моего приезда. Расскажи ему о моей женитьбе, опиши ему женщину, которая одна осмелилась понимать меня, принять во мне участие, женщину со светлою головою, с горячим сердцем, – одним словом, расскажи ему все, что знаешь, вырази ему то, чего я сам словами не могу выразить. Грибоедов поймет этот немой язык – скажи ему, что я скоро ему все сам опишу" (А. К. Виноградов. Мериме в письмах к Соболевскому. М., 1928, с. 205). Сохранилось три записки Грибоедова к Одоевскому (в Москве, 1823) и одно письмо (1825, из Киева). На одной из записок В. Ф. Одоевский пометил: "Грибоедов был большой знаток нашей старины и едва ли не один из тогдашних литераторов (в собственном смысле этого слова) прилежно занимался русскими древностями. Летопись Нестора была его настольного книгою. Этим постоянным чтением Грибоедов приобрел необыкновенную в то время чистоту языка и те смелые русские идиотизмы (т. е. идиомы), которыми отличается слог его, на другой: "Сам Грибоедов был отличный фортепьянист, – но сверх того, они с кн. В. Ф. Одоевским занимались и теориею музыки для науки, что в то время было большою редкостию; над ними общие приятели тогда посмеивались: даже в этом кружке было присловье: "Уж как Грибоедов с Одоевским заговорят о музыке, то пиши пропало; ничего не поймешь". Грибоедов был ученик, если не ошибаемся, знаменитого петербургского гармониста Иоганна Миллера" (ПССГ, т. III, с. 320). В альманахе "Мнемозина", издаваемом Одоевским вместе с Кюхельбекером (о нем см. на с. 400–403 наст. изд.), было напечатано стихотворение Грибоедова "Давид" (перевод 151–го псалма), а также статья В. Ф. Одоевского о "Горе от ума".

5 Верстовский Алексей Николаевич (1789–1862) – композитор, автор музыки оперы–водевиля Грибоедова и Вяземского "Кто брат, кто сестра, или Обман за обманом" (1823). В Красноярском архиве сохранились четыре листа мемуаров Верстовского, которые, в частности, содержат сведения о тесных творческих связях композитора с Грибоедовым: "Что–то писано в "Вестнике Европы", 1824, Ќ 2, обо мне, вероятно, о кантате

"Черная шаль", за которую возгорелась сильнейшая война у Качеповского с журналистами за то, как смел я назвать музыку "Черной шали" кантатою? Это я сделал по совету Грибоедова, который уговорил меня отдать ее на сцену и поставить в картинном положении. Не успевали печатать "Черную шаль" – до того она сделалась народною... В начале моего житья в Москве знакомство мое с Грибоедовым приносило мне много утешения, он уговорил меня поставить на сцену "Черную шаль", которую лучше всех пел Булахов. Впоследствии известность "Черной шали" заставила итальянских актеров и многих русских петь ее в свой бенефис" (А. Гуревич. Пушкин и Сибирь. Красноярск, 1952, с. 136).

6 Совершенно бесспорна неосновательность замечаний мемуаристки как о Бестужеве (см. с. 380 наст. изд.), так и о "замыслах декабристов", отношение к которым Грибоедов якобы выразил в "ответе Чацкого Репетилову". "Ответ" этот на самом деле звучит издевкой над Репетиловым, отдающим лишь дань моде, опошляющим революционные идеалы, выразителем которых выступает в комедии Чацкий (см. также коммент. 3 к воспоминаниям Шимановского).

7 Мемуаристка несколько преувеличивает влияние Бегичева на это решение Грибоедова. М. С. Дурново в беседе с Д. А. Смирновым приводит другую версию подобного же рода, относящуюся к событиям 1826 г.: "Матушка никогда не понимала глубокого, сосредоточенного характера Александра, а всегда желала для него только блеска и внешности. Вот что она раз с ним сделала: брат решительно не хотел ехать служить к Паскевичу. Матушка как–то пригласила его с собой помолиться к Иверской божией матери. Приехали, отслужили молебен... вдруг матушка упала перед братом на колени и стала требовать, чтобы он согласился на то, о чем она будет просить... Растроганный, взволнованный, он дал слово... Тогда она объявила ему, чтобы он ехал служить к Паскевичу. Делать было нечего, он поехал" (Беседы в ОЛРС, с. 25).

8 Дипломатическая деятельность Грибоедова усложнялась вменяемой ему обязанностью проведения официальной линии, не считаясь с реальной обстановкой в стране. Так, в своем "Проекте инструкции посылаемому в Персию" он предлагал взимать с шаха оставшуюся часть контрибуции, исходя из конкретного состояния его финансов. Однако это предложение было отвергнуто, и Грибоедов получил указание "прилагать все... старание, чтобы те деньги к определенному сроку были уплачены" (В. Т. Пашуто. Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. – Сб. "Исторические записки", т. 24. М., 1947, с. 32).

Ориентируя Грибоедова на скорейшее получение контрибуции, царское правительство лишало его инициативы во всех других вопросах, мешало противоборствовать английскому влиянию в Средней Азии и в отношениях между Персией и Турцией, обостряло и без того напряженную обстановку и тем самым способствовало в некоторой мере трагической развязке. Однако это не помешало впоследствии Николаю I с готовностью принять официальную персидскую версию событий и возложить вину за них на самого Грибоедова, якобы проводившего намеренно жесткую политику и державшего себя по отношению к шаху вызывающе.

А. А. БЕСТУЖЕВ

Александр Александрович Бестужев (Марлинский) (1797–1837) – писатель–декабрист, издававший вместе с Рылеевым альманах "Полярная звезда". Еще до знакомства с Грибоедовым, в статье "Взгляд на старую и новую словесность в России", которою открывался первый выпуск альманаха, Бестужев писал: "Грибоедов весьма удачно переделал с французского комедию "Молодые супруги" ("Le secret dn menage"); стихи его живы; хороший их тон ручается за вкус его, и вообще в нем видно большое дарование для театра" ("Полярная звезда на 1823 г.", с. 34). Период его личного знакомства с Грибоедовым был недолгим: с июня 1824 г. по апрель 1825 г., когда Бестужев по делам службы отбывает в Москву. Однако, этого времени оказалось достаточно, чтобы первоначальное предубеждение к Грибоедову, возникшее у Бестужева под влиянием рассказов Якубовича о дуэли Шереметева с Завадовским, сменилось тесными дружескими отношениями. Свидетельством их является воспоминание Бестужева о том, что в доме "почтенной матушки и сестры Александра Сергеевича" он "был как родной" (РВ, 1870, Ќ 5, с. 263), и единственное дошедшее до нас письмо Грибоедова к нему от 22 ноября 1825 г. из станицы Екатериноградской, в котором он просит обнять Рылеева "искренне, по–республикански" (см. с. 380 наст. изд.). В "Полярной звезде на 1825 г." (с. 18) А. Бестужев высоко оценил комедию "Горе от ума": "Человек с сердцем не прочтет ее, не смеявшись, ее тронувшись до слез. Люди, привычные даже забавляться по французской систематике или оскорбленные зеркальностью сцен, говорят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам нравится, – но пусть они говорят, что им угодно; предрассудки рассеются, и будущее оценит достойно сию комедию и поставит ее в число первых творений народных". 15 января 1825 г. Бестужев писал В. И. Туманскому: "Здесь шумит, и по достоинству, Грибоедова

комедия. Это – диво, и он сам пресвежая душа" (Никсонов, с. 168). Память о Грибоедове Бестужев пронес через всю свою жизнь. 4 февраля 1832 г. он писал Н. А. Полевому из Дербента: "Грибоедов взял слово с Паскевича мне благодетельствовать, даже выпросить меня из Сибири у государя. Я видел на сей счет сделанную покойником записку... Благороднейшая душа! Свет не стоил тебя... по крайней мере, я стоил его дружбы в горжусь этим" (РВ, 1861, Ќ 3, с. 321). В письме же к брату Павлу из Тифлиса от 23 февраля 1837 г., за три месяца до своей гибели, Бестужев писал: "Меня глубоко огорчила трагическая смерть Пушкина, дорогой Павел... Я не смыкал глаз всю ночь, а на заре я уж ехал по скверной дороге в монастырь св. Давида, который ты знаешь. Приехав туда, я зову священника и прошу его отслужить панихиду на могиле Грибоедова, могиле поэта, попираемой ногами толпы, без камня, без надписи. Я плакал тогда горькими слезами, как плачу теперь, над другом, над товарищем по оружию, над самим собой. И когда священник произнес слова: "за убиенных боляр Александра и Александра", я задыхался от рыданий – эта фраза показалась мне не только воспоминанием, но и предсказанием... Да, я чувствую это, моя смерть тоже будет насильственной, необычной и близкой" (Пиксанов, с. 188; подлинник по–французски).

ЗНАКОМСТВО МОЕ С А.С. ГРИБОЕДОВЫМ

По изд.: "Воспоминания Бестужевых". М.–Л., 1951, с. 523–530, с исправлениями по автографу (ИРЛИ, ф. 604, Ќ 7, лл. 7–14; Ќ 12, лл. 73–74).

Воспоминания Бестужева о Грибоедове написаны, по–видимому, в Сибири, под непосредственным впечатлением известия о гибели драматурга. Текст их несомненно беллетризован, что особенно заметно в воспроизводимых мемуаристом диалогах (характерно, что на полях черновой тетради, хранящейся в ИРЛИ, набросаны заготовки фраз: "оковы никогда не могут быть игрушки"; "но сердце, как холодный стакан, не выдержит этой жаркой страсти"; "гербы, как дурные грибы на стенах").

Впервые очерк, по копии Е. Бестужевой, был напечатан в журнале "Отечественные записки" (1860, Ќ 10, с. 633–640). Ряд ошибок был исправлен по черновому автографу М. К. Азадовским в кн.: "Воспоминания Бестужевых". М.–Л., 1951.

1 Н. А. Муханов, корнет уланского полка, дальний родственник Грибоедова и двоюродный брат декабриста П. А. Муханова. После 1825 г. был адъютантом петербургского генерал–губернатора Голенищева–Кутузова (члена Следственного

комитета) и во время пребывания Грибоедова под арестом виделся с ним и оказывал ему помощь, о чем свидетельствуют дошедшие до нас записки Грибоедова к Муханову (ПССГ, т. III, с. 152–153; относительно правильной их датировки см.: "Воспоминания Бестужевых", с. 804). И после освобождения Грибоедова летом 1820 г. он часто с ним встречается, это засвидетельствовано в письмах Н. А. Муханова к брату Александру: "Грибоедов не едет в Москву, потому что был в простуде, все это время страдал от флюса и потом не кончил еще совершенно дела здесь" (20 июня); "Сейчас выходит от меня Грибоедов, с которым я беспрестанно вижусь. Чудо что за человек: умен, нравственности необыкновенной в наш век, да что же я его описываю, ты сам его также знаетш" (без даты); "Пока буду часто встречаться с Грибоедовым да с Вяземским, а как они уедут, то хоть умирай с тоски" (6 июля) (ГИМ, ф. 117, Ќ 86–88; см. также № 34, 107, 198).

2 Встреча Бестужева с Грибоедовым у Муханова произошла не в августе, а

5 июля 1824 г. (см.: Нечкина, с. 444). Этапы сближения с Грибоедовым отмечены в письмах Бестужева к Вяземскому: "Я познакомился с Грибоедовым, но еще не сошелся с ним, во–первых, потому, что то он, то я здесь не жил, а во–вторых, мне кажется, что он любит поклонение, и бог Аполлон ему судья за сведенье с ума Кюхельбекера: какую чуху, прости господи, напорол он в своей "Мнемозине"! Впрочем, в два или три свиданья наши я видел в нем и любезного европейца, и просвещенного человека – две редкие вещи в одной особе, особенно на Руси. Мы говорили о Вас, любезнейший князь, – и я помирился с человечеством и литературою" (20 сентября); "Грибоедов Вам кланяется, я сегодня его видел... С тех пор как лучше его узнаю, я более и более уважаю его характер и снисхожу к его странностям" (3 ноября); "Грибоедов со мною сошелся – он преблагородный человек..." (12 января) (ЛН, т. 60, кн. 1, с. 224, 226, 228).

3 В черновой рукописи эта фраза несколько откорректирована: "...приезжайте завтра ко мне на квартиру [на новоселье] обедать..." Что же касается проставленных в рукописи инициалов, то они написаны крайне неразборчиво, за исключением – "Ч". По–видимому, здесь имеется в виду Петр Николаевич Чебышев, знакомый Грибоедова, неоднократно упоминаемый в его письмах (ПССГ, т. III, С 138, 155, 160, 238). Ср. в письме А. Е. Измайлова П. Л. Яковлеву от 13 января 1825 г.: "Сегодня буду на литературном обеде у одного мецената со звездою. Это полковник (точнее, подполковник в отставке. – П. К.,

С. Ф.) Чебышев, иностранный кавалер и российский винный поставщик, приятель Грибоедова, которого первый раз сегодня увижу. Предчувствую, что проведу весело время – будет на обеде задорный польский пес, пудель, Запирашка и пр. и пр. (то есть Булгарин, Греч, А. Бестужев. – П. К., С. Ф.)" ("Пушкин. Исследования и материалы, т. VIII. Л., 1978, с. 168, 193. Ср. басню А. Измайлова "Слон и Собака"),

4 По–видимому, имеется в виду В. А. Жуковский, о "германизме" поэзии которого Бестужев писал в журнале "Литературные листки" (1824, Ќ 19–20, с. 34). Дружеские отношения Чебышева и Жуковского подтверждаются запиской последнего (ГПВ, ф. 286, оп. 2, № 166).

5 Намек на отзыв Бомарше о своей комедии "Севильский цирюльник": "...моя колесница и без пятого колеса катится не хуже: публика довольна, я тоже" (Бомарше. Избранные произведения. М., 1954, с. 276).

6 По–видимому, в эту реплику Бестужев внес личный элемент; по крайней мере, те же слова Байрона (по–английски) он сочувственно цитирует в письме к Н. А. Полевому от 24 февраля 1832 г. Что же касается Грибоедова, то он действительно возмущался таким порядком, когда "мельница дел общественных вертится от вееров"; ср. намеченную в "Горе от ума" тему женского деспотизма, – Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1968, с. 375–379).

7 Очевидно, очерк Бестужева о Грибоедове остался незавершенным. К тому же, предназначая его для печати, ссыльный декабрист был поневоле вынужден не касаться политических тем. Ни слова Бестужев не упоминает в своих воспоминаниях и о знаменитых русских завтраках Рылеева, на которых они часто встречались в 1825 г. Об одном из таких "завтраков" вспомнил в своих мемуарах брат А. А. Бестужева, Михаил: "Особенно врезался у меня в памяти один из них, на котором, в числе многих писателей, были Дельвиг, Ф. Глинка, Гнедич, Грибоедов и другие. Тут же присутствовал брат А. Пушкина, Лев, которого брат Александр в насмешку называл "Блёв", намекая на его неумеренное употребление бахусовой влаги. Помню, что он говорил наизусть много стихов своего брата, еще не напечатанных: прочитал превосходный разговор Тани с нянею, приведший в восторг слушателей.

Помню, как тут же брат Александр и Рылеев просили Льва Пушкина передать брату, не согласится ли он продать им каждый стих этого эпизода по пять рублей для предполагаемой "Полярной звездочки", что впоследствии было утверждено с согласия А. Пушкина.

Помню, как зашла речь о Жуковском и как многие жалели, что лавры на его челе начинают блекнуть в придворной атмосфере, как от сожаления, неприметно, перешли к шуткам на его счет. Ходя взад и вперед с сигарами, закусывая пластовой капустой, то там, то сям вырывались стихи с оттенками эпиграммы или сарказма..." ("Воспоминания Бестужевых". М.–Л., 1951, с. 53–54).

П. А. КАРАТЫГИН

Каратыгин Петр Андреевич (1805–1879) – актер и популярный в свое время водевилист (он, кстати, является автором водевиля "Горе без ума", 1831), представитель известной театральной фамилии. Его отец, А. В. Каратыгин, актер и режиссер, регулярно вел "Журнал театральный" (хранится в ИРЛИ) – подневную роспись репертуара петербургского театра первой трети XIX века с вкраплением отдельных мемуарных заметок о театральных происшествиях. Выдающийся актер–трагик В. А. Каратыгин приходился братом мемуаристу. Необходимо упомянуть также и его сына, П. П. Каратыгина, автора романа "Дела давно минувших дней" (1880), одним из героев которого является Грибоедов, и биографического очерка о драматурге, напечатанного под псевдонимом "Т. А. Сосновский" (РС, 1874, № 5–6), основанного отчасти на Семейных преданиях.

Отношения П. А. Каратыгина с Грибоедовым поддерживались во время приездов последнего в Петербург в 1824–1825, 1826 и 1828 гг., но не были особенно близкими. Наряду с фактами, хорошо известными мемуаристу, он отражает в воспоминаниях и эпизоды анекдотического свойства (см., например, описание отношений Грибоедова с Александром Грибовым). Ему совершенно неведомы политические взгляды автора "Горя от ума", что порождает легковесность суждений об идейной направленности комедии Грибоедова и об обстоятельствах ареста драматурга по делу декабристов.

П. А. Каратыгин был также художником–любителем; известны два каратыгинских портрета Грибоедова 1825 и 1828 гг., на втором из них – миниатюре на кости, воспроизведен профиль Грибоедова с большим хохлом и густыми бровями; эта миниатюра послужила основной моделью для известного портрета Грибоедова, принадлежащего кисти И. Н. Крамского. В этой связи 3 апреля 1873 г. Крамской писал П. М. Третьякову: "Каратыгин мне сообщил кое–что, думаю, что он мне будет полезен советами, у него оказалось материалов немного, но кое–что есть – его, Каратыгина, собственноручный рисунок акварельный на кости, которым он меня любезно Снабдил" ("Переписка И. Н. Крамского".

М., 1953, с. 59). Между прочим, Каратыгин рисовал и прибывшего в 1829 г. с "искупительной миссией" Хосров–Мирзу, и рассказ о получении золотой табакерки от принца в дар за этот портрет (см.: П. Каратыгин. Записки. Л., 1970, с. 161–164) в определенной степени корректирует уверения Каратыгина о его преданности памяти Грибоедова.

Воспоминания были написаны в 1850–1860–х гг.

МОЕ ЗНАКОМСТВО С АЛЕКСАНДРОМ СЕРГЕЕВИЧЕМ ГРИБОЕДОВЫМ

По тексту журн. "Русская старина", 1872, Ќ 3, с. 423–430. В полном тексте "Записок" Каратыгина (Л., 1970) сведения о Грибоедове рассредоточены по разным главам, поэтому в настоящем издании мемуарный очерк печатается по журнальной публикации, уточненной по автографу (ИРЛИ) и дополненной в примечаниях сведениями из отдельного издания.

1 В отдельном издании "Записок" Каратыгина, появившихся впервые в печати в 1880 г., рассказывается одно из семейных преданий: "Князь Шаховской любил иногда похвастать своими учениками и заставлял их в присутствии всего общества разыгрывать некоторые сцены из приготовленных им пьес или декламировать отдельные монологи. В числе его приятелей были Катенин, Грибоедов и Жандр, которые, несмотря на его могущественный авторитет, дерзали иногда с ним спорить и во многом были не согласны относительно театра, иногда даже втихомолку и подсмеивались над ним, как над отсталым классиком, у которого рутина и традиции играли главную роль... Катенин и Грибоедов были тогда большие вольнодумцы (особенно первый) и любили подтрунивать над князем насчет его религиозных убеждений, тут он выходил из себя, спорил до слез – и часто выбегал из комнаты, хлопнув дверью" (П. А. Каратыгин. Записки. Л., 1970, с. 71, 79).

2 "Митюха Валдайский" П. Н. Семенова (учившегося в Московском университетском благородном пансионе) – пародия на трагедию В. А. Озерова "Димитрий Донской" – представляет собой драматическую обработку одного из эпизодов ирои–комической поэмы В. Майкова "Елисей, или Раздраженный Вакх". Написана в 1810 г., но впервые опубликована лишь в 1861 г. Шутотрагедия Крылова "Трумф" (1798) также была напечатана в России впервые только в 1871 г. (в Берлине – в 1859 г.). Водевиль П. Каратыгина "Сентябрьская ночь" был написан по мотивам рассказа А. Бестужева "Листок из дневника гвардейского офицера" ("Библиотека для чтения", 1823, кн. 8, с. 66–72).

3 Кюхельбекер приехал в Петербург в первых числах апреля

1825 г. (см.: В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I. Л., 1939, с. XXXIX).

4 Спектакль должен был состояться 18 мая 1825 г. Утром этого дня Грибоедов писал С. Бегичеву: "Нынешний вечер играют в школе, приватно, без позволения цензуры, мою комедию. Я весь день, вероятно, проведу у Мордвиновых, а часов в девять явлюсь посмотреть на мое чудо, как его коверкать станут" (ЛССГ, т. III, с. 173).

3 В письме к С. Бегичеву (июль 1824 г.) Грибоедов писал о В. А. Каратыгине: "...гениальная душа, дарование чудное, теперь еще грубое, само себе безотчетное, дай бог ему напитаться великими образцами, это Каратыгин; он часто у меня бывает..." (ПССГ, т. III, с. 156). В свою очередь, в письмах к П. А. Катенину, В. А. Каратыгин сообщал о Грибоедове: "Он теперь хлопочет о пропуске своей прекрасной комедии "Горе от ума", которой вряд ли быть пропущенной" (12 июля 1824 г.; РА, 1871, стлб. 0242); "Граф Милорадович говорит мне все об отправке меня в Париж, и этим также я не очень восхищаюсь; в одном случае оно могло быть мне полезно и приятно, если бы Грибоедов, который также собирается в чужие края, был моим спутником" (10 января 1825 г.; РС, 1880, № 11, с. 287).

6 В. М. Федоров – автор драмы "Лиза, или Следствие гордости и обольщения" (1803) и других сентиментальных, казенно–патриотических пьес.

7 В отдельном издании "Записок" добавлено: "и молочный брат". Судя по исповедным ведомостям Девятинской церкви в Москве, его матери Елизавете Андреевне в 1795 г. было только 14 лет, и потому вряд ли она могла быть кормилицей Грибоедова (ЦГАМ, ф. 203, оп. 747, № 883, л. 371).

А. Н. МУРАВЬЕВ

Муравьев Андрей Николаевич (1806–1874), прапорщик Харьковского драгунского полка (до 1827 г.), участник русско–турецкой войны 1828–1829 гг. Поэт, близкий к кружку "Московского вестника", он в 1827 году издал сборник своих стихотворений под заглавием "Таврида", не принесший ему успеха. Впоследствии, рассказывая в своих воспоминаниях о знакомстве с Грибоедовым, Муравьев противопоставлял его своим недоброжелателям, поэтам пушкинского круга, представляя себя (совершенно, конечно, безосновательно) литературным преемником автора "Горя от ума". Совершив в 1829–1830 гг. путешествие к "святым местам" – в Палестину и Египет – Муравьев с тех пор стяжал себе известность в русском обществе необыкновенным ханжеством и клерикальной ортодоксией. См. о

нем в кн.: "Поэты 1820–1830–х годов", т. 2. Л., 1972, с. 107–112.

ИЗ "МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ"

По тексту журн. "Русское обозрение", 1895, май, с. 61–63, 73–74 с уточнениями по автографу, хранящемуся в Государственном музее Пушкина (Москва).

"Третьего дня, – писал Муравьев В. А. Муханову в 1827 г., – 30 апреля, было мое рождение, мне минуло 21 год, и решился с этого дня описывать все сильнейшие впечатления, которые на меня подействуют; но я начал описанием моего младенчества и каким образом до сих пор развивалась во мне поэзия, также путешествие мое в Крым и что побудило меня писать "Потоп" и обе трагедии, Сегодня я кончу сей журнал" ("Щукинский сборник", вып. 4. М., 1905, с. 123].

1 Грибоедов путешествовал по Крыму с 18 июня по 15 сентября 1825 г. О встрече с ним вспоминал товарищ по пансиону Н. В. Сушков: "Несколько времени после дуэли и незадолго до мученической кончины своей в Персии Грибоедов часто услаждал меня на чужой стороне, посреди татар, в Крыму, своею певучею разумною игрою на клавикордах; по прежней беглости в ней уже не было. Якубович отомстил Грибоедову за Шереметева – и ранил его" (Н. В. Сушков. Московский университетский благородный пансион... М., 1858, с. 12–13. См. также: В. И. Ярославский. Записки. – "Киевская старина", 1887, Ќ 11, с. 525). "Почти на Четырдаге, – писал также П. П. Свиньин, – встретился я с А. С. Грибоедовым и сердечно сожалею доселе, что ненастная погода не допустила меня сделать с столь милым товарищем путешествие на вершину сего крымского гиганта, где бы мог он быть лучшим для меня чичеронием, ибо весьма часто посещает из Симферополя высочайшую гору Тавриды, – вероятно, чтоб питаться чистым горным воздухом, вдохновенным для пламенного воображения поэта–психолога. Александр Сергеевич советует путешественникам, желающим познакомиться с Тавридою, или, так сказать, ориентироваться, предварительно взбираться на сию гору, ибо в хорошую погоду весь полуостров виден с нее как на блюдечке" (ОЗ, 1825, т. 24, с. 130–131). Сохранился также дневник (24 июня – 12 июля) крымского путешествия Грибоедова (см.: ПССГ, т. III, с. 68–82).

Позднее А. Н. Муравьев так описал это знакомство: "Моя поездка на Южный берег Тавриды дала мне случай познакомиться с знаменитым автором "Горя от ума". Это было осенью 1825 года. Объехав весь Южный берег, я остановился на несколько дней в Симферополе, в то самое время, когда был там Грибоедов, и даже в одной с ним гостинице. Однако сколько я ни желал с ним

сойтись, мне говорили, что он недоступен для всех, исключая какого–то немецкого барона, давнего его приятеля. Случилось однажды ночью, что, встревоженный страшным сном, я громко вскрикнул, и на этот крик вбежал ко мне из соседнего номера сам Грибоедов" (А. Н. Муравьев. Мое знакомство с русскими поэтами. Киев, 1871, с. 9).

"Немецкий барон" – А. К. Боде, выступавший в журналах по сельскохозяйственным вопросам и занимавшийся в Крыму садоводством. 10 сентября 1825 г. Грибоедов ночевал у него (ПССГ, т. III, с. 179).

2 В Чуфут–Кале Грибоедов побывал 6 июля 1825 г. (ПССГ, т. III, с. 80).

3 Об этой же трагедии вспоминал и М. Н. Макаров: "В последний раз я встретил Грибоедова у С. Д. Нечаева. "Друг! – сказал я ему, – еще бы "Горе от ума"!" – "Душа моя темница, – отвечал он, – и я написал трагедию из вашей рязанской истории, ты прочтешь ее первый". Но эти слова его были последними со мною" ("Репертуар русского и пантеон иностранных театров", 1843, т. 1, кн. 1, с. 109. Под псевдонимом "Быстрорецкий"). Встреча эта могла произойти только в конце июля – начале августа 1826 г. в Москве по пути Грибоедова из Петербурга на Кавказ (П. С. Краснов. О "Федоре Рязанском". – РЛ, 1973, № 3, с. 104–107).

4 Под редакторским заглавием "Три монолога" этот отрывок напечатан по "Черновой тетради" Д. А. Смирновым (журн. "Русское слово", 1859, № 5, с. 78–79. Ср.: ПССГ, т. I, с. 254–255).

Н. В. ШИМАНОВСКИЙ

Н. В. Шимановский (1800–1875) – кавказский офицер (его переписка С Ермоловым опубликована в РА, 1906, Ќ 9, с. 56). Воспоминания об аресте Грибоедова ценны как рассказ очевидца, несмотря на пристрастную недоброжелательность мемуариста к автору "Горя от ума". Подобно другим ермоловцам он обвинял Грибоедова в "искательстве" перед Паскевичем (см. об этом в вступительной Статье к наст. изд. – с. 15–18). Очерк Шимановского написан им на склоне лет (чем и объясняются отдельные фактические неточности – см. ниже).

АРЕСТ ГРИБОЕДОВА

(Стр. 115) По тексту журн. "Русский архив", 1875, Ќ 7, С. 339–344.

1 Ермолов приехал в станицу Екатериноградскую 22 ноября 1825 г. (см.: ПССГ, т. III, с. 181).

2 Экунин, брат воспитанника Театральной школы П. С.

Экунина (впоследствии мужа балерины А. И. Истоминой), прибыл в Екатериноградскую 8 декабря 1825 г. (Печкина, с. 546). В письме от 12 декабря 1825 г. Грибоедов писал А. А. Жандру и В. С. Миклашевич: "На днях прибыл сюда фельдъегерь Экунин и привез мне письмо из Театральной школы" (ПССГ, т. III, с. 188).

3 Из материалов следственного дела Грибоедова известно, что на него падало подозрение не просто в принадлежности к тайному обществу, но и в том, что он являлся связным между заговорщиками и Кавказским корпусом. Версию эту доказать не удалось. Что же касается комедии "Горе от ума", то, как это верно отмечает в своих воспоминаниях Д. И. Завалишин, "о комедии речь шла только мимоходом, как бы вводным только эпизодом. К тому же осмеяние Репетилова не могло иметь тогда в глазах следователей такого значения, какое ему приписывают, по той причине, что комитету очень хорошо было уже известно, что именно–то самые серьезные члены Общества и восставали сильнее против всех Ренетиловых" (см. с. 140 наст. изд.).

4 22 декабря 1825 г. в письме С. Н. Ермолова брату от 12 января 1826 г. сообщается: "У нас здесь Грибоедов, он вместе с Алексеем Петровичем приехал к нам из Екатеринограда, идет с нами в Чечню из любопытства, я очень рад был его приезду, ибо, признаюсь, немного у нас осталось таких товарищей" (И. К. Ениколопов. Грибоедов и Восток. Ереван, 1974, с. 55).

5 Ермолов и Грибоедов выехали из Червленной 21 января 1826 г. и прибыли в Грозную на следующий день (Е. Г. Вейденбаум. Кавказские этюды. Тифлис, 1901, с. 264).

6 Бельфор состоял в переписке с Грибоедовым (см.: ПССГ, т. III, с. 194, 340).

7 В Отношении военного министра от 2 января 1826 г. значилось: "По воле государя императора покорнейше прошу Ваше высокопревосходительство приказать немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами, употребив осторожность, чтобы он не имел времени к истреблению их, и прислать как оные, так и ею самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству" (Щеголев, с. 24).

8 Из последующего рассказа Шимановского очевидно, что Грибоедов был заранее подготовлен к аресту и имел время уничтожить компрометирующие его бумаги. Давая такую возможность, Ермолов, по всей вероятности, заботился не только о нем, но и о себе. Хорошо осведомленный П. В. Долгоруков свидетельствовал, что" Северное тайное общество "кроме членов друг другу известных, давших подписки на содействие и принимавших участие в собраниях" имело еще членов тайных, des

affilies, которые подписок не давали, в собрания никогда не являлись и коих имена были в то время неизвестными самой большей части членов. Эти тайные сообщники сносились с обществом через посредство одного или нескольких членов, передавая через этих последних свои советы.

Сперанский сносился с Обществом через посредство Батенькова, Мордвинов через Рылеева, Ермолов через Грибоедова, Михаила фон–Визина и еще через одного полковника" (П. В. Долгоруков. Петербургские очерки. Памфлеты эмигранта. М., 1934, С. 359–360).

9 Грибоедов выехал из Грозной 23 января 1826 г. в сопровождении фельдъегеря, которому Ермолов вручил письмо к начальнику Главного штаба Дибичу: "Господин военный министр сообщил мне высочайшую государя императора волю взять под арест служащего при мне коллежского асессора Грибоедова и под присмотром прислать в Петербург прямо к его императорскому величеству. Исполнив сие, я имею честь препроводить господина Грибоедова к вашему превосходительству. Он взят таким образом, что не мог истребить находившихся у него бумаг, но таковых при нем не найдено, кроме весьма немногих, кои при сем препровождаются. Если же бы впоследствии могли быть отысканы оные, я все таковые доставлю. В заключение имею честь сообщить вашему превосходительству, что господин Грибоедов во время служения его в миссии пашей при персидском дворе и потом при мне как в нравственности своей, так а в правилах не был замечен развратным и имеет многие хорошие весьма качества" (Щеголев, с. 26).

10 Имеются в виду "Записки во время поездки в 1826 году из Москвы в Грузию" Д. В. Давыдова. См. с. 148 наст. изд.

11 Обычно считали прототипом Платона Михайловича из "Гора от ума" не С. Н. Бегичева, а его брата Дмитрия (см. воспоминание Е. П. Соковниной на с. 93–94 наст. изд.).

П. М. САХНО–УСТИМОВИЧ

Сахно–Устимович Петр Максимович (ум. после 1865 г.) – секретарь канцелярии при Главноуправляющем в Грузии, член Союза Благоденствия. К следствию не привлекался. В письме к Сахно–Устимовичу от 30 октября 1828 г. Грибоедов называет его "одним из тех людей, которые мною искренно любимы и уважаемы" (ПССГ, т. III, с. 229; всего известно четыре грибоедовских письма к нему; см. вступительную статью к наст. изд., с. 18). Отрывок из записок Сахно–Устимовича, касающийся Грибоедова, опубликован М. Медведевым в газете "Неделя" (1960, Ќ 17, с. 18).

ИЗ "ОПИСАНИЯ ЧЕЧЕНСКОГО ПОХОДА. 1826"

Текст печатается по автографу (ЦГАДА, ф. 1406, оп. 1, № 294, лл. 22–24).

Э. В. БРИММЕР

Бриммер Эдуард Владимирович (1797–1874) – капитан Кавказской гренадерской артиллерийской бригады. Записки его под названием "Служба артиллерийского офицера, воспитывавшегося в 1–м кадетском корпусе и выпущенного в 1815 году" были напечатаны в 1894–95 г.

<О ГРИБОЕДОВЕ>

По тексту изд.: "Кавказский сборник", тт. XV–XVI. Тифлис 1894–95, с.

189; 1–2.

1 Тавриз был взят русскими войсками 14 октября 1827 г.

2 В письме к П. Н. Ахвердовой от 28 июня 1827 г. Грибоедов писал, имея в виду прежде всего кн. Г. И. Эристова: "Боже, какие у нас здесь генералы! Они точно нарочно созданы для того, чтобы еще более утвердить меня в отвращении, которое я питаю к чинам и отличиям" (ПССГ, т. III, с. 343; подлинник по–французски).

И. П. ЛИПРАНДИ

Липранди Иван Петрович (1790–1880), участник русско–шведской и Отечественной войн, кишиневский приятель Пушкина. В 1873 г. издал "Замечания на "Воспоминания" Ф. Ф. Вигеля из дневных записок И. П. Липранди", где, в частности, отводил обвинение мемуариста о своем участии в тайных обществах. В этой Связи он и рассказывал о своем кратком (с 1 по 22 февраля 1826 г.) заключении в помещении Главного штаба, куда 11 февраля был доставлен и Грибоедов. Несмотря на мелкие неточности (см. ниже), рассказ этот живо воспроизводит быт заключенных.

ИЗ "ДНЕВНЫХ ЗАПИСОК"

По изд.: И. П. Липранди. Замечания на "Воспоминания" Ф. Ф. Вигеля из дневных записок. 1873, с. 175–177, с уточнениями по автографу (ИРЛИ).

1 Ф. Г. Кальм был командиром 2–й бригады 19–й пехотной дивизии (см.: Алфавит, с. 90).

2 Имеется в виду Дмитрий Илларионович Алексеев, доставленный 19 февраля 1826 г. по ошибке вместо его брата

Степана Илларионовича, который тоже содержался под арестом с 8–го по 21–е февраля. К последнему Грибоедов писал "с оказией" после своего освобождения 5 июня 1826 г.: "...податель этого письма мне искренний приятель, Александр Алексеевич Муханов, он знает подробно все, что обо мне знать можно. Сделай одолжение, почтеннейший друг, полюби его, а мне бы очень хотелось быть на его месте и перенестись в Хороль, мы бы многое вспомнили вместе, теперь я в таком волнении, что ничего порядочно не умею ни сказать, ни написать... верь, что я по гроб буду помнить твою заботливость обо мне, сам я одушевлен одною заботою, тебе она известна, я к судьбе несчастного Одоевского не охладел в долговременном заточении..." (Сочинения, с. 582).

3 Грибоедов допрашивался в Следственном комитете первый раз только 24 февраля. Здесь, по–видимому, речь идет о допросах Грибоедова у генерал–адъютанта В. В. Левашева 11 февраля 1826 г. Адъютант же Ермолова штабс–капитан Московского полка Н. П. Воейков находился в Петербурге в отпуске и после кратковременного заключения был освобожден 20 февраля (Нечкина, с. 574).

Д. И. ЗАВАЛИШИН

Завалишин Дмитрий Иринархович (1804–1892), лейтенант 8–го флотского экипажа, участник кругосветного плавания под командой адмирала Лазарева (1822–1824 гг.), член Северного тайного общества, осужденный по первому разряду на смертную казнь, замененную каторгой.

ВОСПОМИНАНИЯ О ГРИБОЕДОВЕ

По тексту журн. "Древняя и новая Россия", 1879, Ќ 4, с. 311–321.

В свои "Записки декабриста" (Мюнхен, 1904) Завалишин не включил эти воспоминания. Для оценки мемуаров Завалишина следует иметь в виду характерное для него преувеличенное представление о собственной роли в делах тайного общества и пристрастно недоброжелательное отношение к некоторым товарищам по сибирской ссылке (например, к А. Одоевскому). Будучи значительно младше Грибоедова, Завалишин тем не менее ощущает себя чуть ли не его наставником.

1 Имеется в виду кн.: А. С. Грибоедов. Сочинения. Вступительная статья и редакция А. Н. Веселовского. СПб., 1875; 2–е изд. – 1878 г.

2 О. М. Сомов, сотрудник ряда петербургских журналов и альманахов, одним из первых выступил в печати в защиту "Горя от ума" (СО, 1825, Ќ 10, с. 177–195).

3 А. И. Одоевский – поэт–декабрист, дальний родственник и друг Грибоедова. Летом 1824 г. Грибоедов жил у Одоевского на даче в Стрельне, позже они вместе жили на квартире Грибоедова в доме Погодина (в Коломне) и на квартире Одоевского в доме Булатова (на Исаакиевской площади), где в присутствии автора "Горя от ума" Производилась коллективная переписка декабристами комедии. Грибоедов считал Одоевского своим питомцем. 9 сентября 1825 г. он писал Бегичеву: "Александр Одоевский будет в Москве, поручаю его твоему дружескому расположению, как самого себя. Помнишь ли ты меня, каков я был до отъезда в Персию, таков он совершенно. Плюс множество прекрасных качеств, которых я никогда не имел" (ПССГ, т. III, с. 179). Грибоедов настойчиво хлопотал после расправы с декабристами о переводе Одоевского из сибирской каторги на Кавказ (см. вступительную статью, с. 17 наст. изд.). Сохранились Стихи Грибоедова, посвященные Одоевскому ("Я дружбу пел... Когда струнам касался...") и стихи Одоевского, посвященные Грибоедову ("Элегия. На смерть А. С. Грибоедова"). Здесь, по–видимому, имеется в виду эпиграмма:

Сначала он полком командовал гусарским!
Потом убийцею быть вызвался он царским!
Теперь он зубы рвет
И врет.

4 Неприязнь Завалишина к А. Бестужеву привела к искажению фактов. Сам Грибоедов вполне доверял Бестужеву. 22 ноября 1825 г. он писал ему, в частности: "Оржицкпй передал ли тебе о нашей встрече в Крыму? Вспомнили о тебе и о Гылееве, которого обними за меня искренне, по–республикански" (ПССГ, т. III, с. 182). С декабристом Н. Н. Оржицким Грибоедов встречался, по всей вероятности, в Саблах у А. М. Бороздина, который был женат на сестре Н. Н. Раевского–старшего и в имении которого гостили некоторые декабристы: М. Ф. Орлов, женатый на дочери Н. Н. Раевского, И. В. Поджио и В. Н. Лихарев, женатые на дочерях Бороздина (см.: П. Дегтярев, Р. Буль. У литературной карты Крыма. Симферополь, 1965, с. 34). Не прав Завалишин, когда утверждает, что по показанию Бестужева были арестованы он и Грибоедов. Сам Завалишин был взят по доносу собственного брата, а о Грибоедове же как члене тайного общества показали на следствии Трубецкой, Оболенский, Оржицкий и Бригген.

5 Раньше Завалишина, еще весной 1825 г., список "Горя от ума" в Москву привез А. Бестужев; список этот был размножен через посредство С. Д. Нечаева (см.: РС, 1888, Ќ 12, с. 593;

"Воспоминания Бестужевых". М.–Л., 1951, с. 465; С. Л. Мухина. Безвестные декабристы. – "Исторические записки", т. 96. М., 1975, с. 246–248).

6 О ней см.: "Старина и новизна", 1903, т. VI, с. 314–339.

7 Сохранился "Список лиц, содержащихся под арестом в доме Главного штаба на 14 марта 1826 г.". В нем значатся генерал–майор Кальм, отставной польских войск генерал–майор граф Ходкевич, полковники Любимов и Граббе, майор Юмин, отставной майор кн. Шаховской, гвардии капитан Сенявин, губернский предводитель кн. Баратаев, лейтенант Завалишин, коллежский асессор Грибоедов, отставной поручик Тучков, дворовый человек г–жи Анисимовой Кудиноз и рядовой Теленков (см.: ЛИ, т. 60, кн. 1, с. 479).

8 Р. В. Любимов содержался в здании Главного штаба до 18 марта 1826 г., затем был переведен в киевскую тюрьму, после чего освобожден (см.: Алфавит, с. 28, 273).

"Подобный способ употребляли с успехом и другие. Так, одна дама, сын которой находился уже в крепости, убеждала таким образом одного плац–адъютанта, чтобы он уговорил всех сделавших на ее сына немаловажные показания отказаться от них на очных ставках. Так и было сделано; и вследствие этого сын ее, вместо того чтобы попасть в один из высших разрядов, в который попали его товарищи, одинаково с ним замешанные по делу, отделался одним дисциплинарным штрафом" (примеч. Д. И. Завалишина).

9 Грибоедов встречался с М. П. Жуковским и после своего освобождения: 6 июня 1826 г. он обедал у его матери ("Звенья", т. 1. М.–Л., 1932, с. 35).

10 Это свидетельство вызывает сомнение. Уже на первом допросе 11 февраля 1826 г. Грибоедов утверждал свою невиновность (см.: С. А. Фомичев. "Он ненавидел слово "раб". – Журн. "Звезда", 1975, № 12, с. 83).

11 После 7 марта 1826 г. Грибоедов писал Булгарину: "Ивановский, благороднейший человек, в крепости говорил мне самому и всякому гласно, что я немедленно буду освобожден... Съезди к Ивановскому, он тебя очень любит и уважает; он член Вольного общества любителей словесности и много во мне принимал участия. Расскажи ему мое положение и наведайся, чего мне ожидать" (ПССГ, т. III, с. 192). Встреча Булгарина с Ивановским произошла 19 марта (РС, 1889, Ќ 7, с. 111). Сохранились зарисовки А. А. Ивановского, сделанные во время допроса арестованных в Следственном комитете, в том числе – портрет Завалишина (ИРЛИ).

12 Ср. в показаниях А. Бестужева о Грибоедове: "В члены же

его не принимал... потому, что жалел подвергнуть опасности такой талант, в чем и Рылеев был согласен" (см. с. 275 наст. изд.).

13 По смыслу здесь можно предположить опечатку. Вероятно, имелись в виду ненапечатанные стихотворения Грибоедова, до нас те дошедшие.

14 См. с. 396 наст. изд.

15 Встречи декабриста П. А. Муханова с Грибоедовым относятся к 1815–1818 гг., поэтому сведения Завалишина о цели грибоедовских заметок по русской истории, по–видимому, ошибочны: вероятнее всего, заметки эти были связаны с трагедийными замыслами Грибоедова, о которых см. с. 114 и 375 наст. изд.

16 Грибоедов просил Завалишина позаниматься с ним математикой не только "от скуки". Отвечая на вопросы Следственного комитета 24 февраля 1826 г., драматург обошел молчанием свои занятия словесностью в Московском университете, отметив только, что он "учился правам, наукам математическим и языкам" (Щеголев, с. 16) – между тем математикой он в университете вовсе не занимался. 19 марта 1826 г. Грибоедов писал Булгарину: "...ежели нельзя иметь на подержание, то купи мне le Calcul differentiel de Francoeur, по–французски или по–русски" (ПССГ, т. III, с. 192; в русском переводе: "Дифференциальное исчисление, соч. Франкера с переменами и прибавлениями", издано в переводе Д. Перевощикова. М., 1824). Занятия с Завалишиным длились недолго, так как уже 4 апреля 1826 г. он был переведен из Главного штаба в Петропавловскую крепость.

Д. В. ДАВЫДОВ

Давыдов Денис Васильевич (1784–1839), знаменитый поэт–партизан, познакомился с Грибоедовым в Москве в 1823 г. 12 мая итого года он сообщал А. П. Ермолову (своему двоюродному брату): "Я сейчас от вашего Грибоедова, с которым познакомился по приезде его сюда и каждый день с ним вижусь. Мало людей более мне по Сердцу, как этот урод ума, чувства, познаний и дарования! Завтра я еду в деревню и если о ком сожалею, так это о нем: истинно могу сказать, что еще не довольно насладился его беседою" ("Щукинский сборник", вып. IX. М., 1910, с. 325). В свою очередь, Грибоедов писал о Давыдове в письме к Бегичеву от 4 января 1825 г.: "Дениса Васильевича обнимай и души от моего имени. Нет, здесь нет эдакой буйной и умной головы, я это всем твержу, все они, сонливые меланхолики, не стоят выкурки из его трубки" (ПССГ, т. III, с. 166). В 1826 г. характер отношений Давыдова с Грибоедовым резко меняется. Причиной этого явилась

позиция, которую занял Грибоедов в соперничестве А. П. Ермолова с И. Ф. Паскевичем, посланным Николаем I на Кавказ и вскоре сменившим "проконсула Кавказа" на посту командующего Кавказским корпусом и главноуправляющего в Грузии. Для самого Давыдова эта смена была чрезвычайно неприятной. После отставки в 1826 г. он был направлен на русско–персидский фронт, но, в числе прочих "ермоловцев", находился в немилости у Паскевича и вынужден в 1828 г. снова подать в отставку. О вражде генералов Грибоедов писал 9 декабря 1826 г. С. Бегичеву: "На войну не попал, потому что и Алексей Петрович туда не попал. А теперь другого рода война. Два старшие генерала ссорятся, с подчиненных перья летят. С Алексеем Петровичем у меня род прохлаждения прежней дружбы. Денис Васильевич этого не знает, я не намерен вообще давать это замечать, и ты держи про себя. Но старик ваш человек прошедшего века. Несмотря на все превосходство, данное ему от природы, подвержен страстям, соперник ему глаза колет, а отделаться от него он не может и не умеет. Упустил случай выставить себя с выгодной стороны в глазах соотечественников, слишком уважал неприятеля, который этого не стоил" [ПССГ, т. III, с. 195]. О неудачном ведении Ермоловым военной кампании писали и другие, в том числе и безусловно сочувствующие ему, – см., например, с. 90, 158 наст. изд. Дружба Грибоедова с Ермоловым была освящена и семейными преданиями (в доме бабки Грибоедова, Марьи Ивановны, урожденной Аргамаковой, во втором браке Розенберг, находилась штаб–квартира офицерского заговора против Павла I, участие в котором принимал молодой Ермолов, – см. Шторм, с. 141), и засвидетельствована множеством доброжелательных отзывов в грибоедовских письмах. Как бы то ни было, дружба эта в 1826 г. оборвалась.

ИЗ "ЗАПИСОК ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ В 1826 ГОДУ ИЗ МОСКВЫ В ГРУЗИЮ"

По изд.: "Русская беседа, собрание сочинений русских литераторов в пользу Смирдина", т. П. СПб., 1841, с. 17–30 (с сокращениями).

1 Грибоедов выехал из Москвы во второй половине августа 1826 г. Повстречавшись в Мечетьской с Давыдовым, он путешествовал с ним до Тифлиса. По пути они обогнали батальон гвардейцев, сосланных на Кавказ после восстания на Сенатской площади (см.: ЛН, т. 19–21, с. 331).

2 Грибоедов, проезжая через Владикавказ, постоянно останавливался у Н. Г. Огарева, а в 1828 г. ходатайствовал перед Паскевичем о помощи ему, ссылаясь на его многолетнюю службу,

честность и бедность (Сочинения, с. 626).

3 С Н. В. Шимановским (ср. с. 121 наст. изд.).

ИЗ "ЗАПИСОК, В РОССИИ ЦЕНЗУРОЙ НЕ ПРОПУЩЕННЫХ"

По книге: Д. Давыдов. Записки, в России цензурой не пропущенные. Лондон–Брюссель, 1863, с. 44–48.

Впервые в несколько иной редакции мемуары о Грибоедове были включены в состав "Воспоминаний о 1826 годе" (Д. В. Давыдов. Сочинения, ч. I, изд. 4–е. М., I860, с. 12–19). Ряд выдержек из этих "Записок" перепечатал М. П. Погодин в статье "А. П. Ермолов. Материалы для его биографии" (РВ, 1863, Ќ 12, с. 583–584). На эту публикацию полемической статьей "Биографические известия о Грибоедове" откликнулся Д. А. Смирнов (напечатана после смерти Смирнова; см. Беседы в ОЛРС, вып. 2, 1868, с. 6), где, в частности, писал: "Даровитый писатель Грибоедов так же не мог довольствоваться славой, столь справедливо заслуженной им в литературном мире, как и был чужд служебного честолюбия. И слава, и служебная почесть достались ему сами собой. Ни той, ни другой он не добивался ..."

1 Правильно: "В Екатериноградe" (то есть в Екатериноградской Станице).

2 Об отношениях Грибоедова с Коргановым см. с. 354 наст. изд.

3 Мемуарист в данном случае излагает официальную версию о разгроме русской миссии в Тегеране.

В. А. АНДРЕЕВ

В. А. Андреев – офицер служил на Кавказе в 1816–1836 гг.

ИЗ "ВОСПОМИНАНИЙ ИЗ КАВКАЗСКОЙ СТАРИНЫ"

По тексту изд.: "Кавказский сборник", т. I, Тифлис, 1876, С. 15–19, 71.

1 Справедливость данного свидетельства Давыдова подтверждается, однако, многими очевидцами – см. с. 119, 377 наст. изд.

2 Поездка в Гори состоялась, по–видимому, в конце 1822 – начале 1823 г., когда Грибоедов особенно много ездил. В письме к Кюхельбекеру от 1 октября 1822 г. он писал: "Только что было расписался, повестили мне об отъезде с г. Клендс в Кахетию; это третье путешествие с тех пор, как мы расстались..." Продолжено это письмо лишь спустя четыре месяца: "И сколько раз потом я еще куда–то ездил. Целые месяцы прошли, или, лучше сказать, протянулись в мучительной долготе... словно на мне отягчело пророчество: "И будет ти всякое место в продвижение" (ПССГ, т.

III, с. 146147).

3 В то время Грибоедов работал над первыми актами "Горя от ума" (первоначальное заглавие "Горе уму").

К. А. ПОЛЕВОЙ

Полевой Ксенофонт Алексеевич (1801–1867), брат издателя "Московского телеграфа" Н. А. Полевого, приехал в марте 1828 г. в Петербург по разным издательским делам и настойчиво устанавливал связи с петербургскими литераторами. Воспоминания его о Грибоедове входят в состав вступительной статьи, предпосланной второму изданию "Горя от ума" (СПб., 1839).

ИЗ СТАТЬИ "О ЖИЗНИ И СОЧИНЕНИЯХ А. С. ГРИБОЕДОВА"

По изд.: А. С. Грибоедов. Горе от ума. СПб., 1839, С. 39–97.

1 Обед у Свиньина состоялся на пасхальной неделе, в марте 1828 г. По–видимому, тогда же Свиньин вручил Грибоедову свой альбом с просьбой об автографе (см.: Вл. Орлов. Вокруг Грибоедова. – Журн. "Звезда", 1941, Ќ 5, с. 165).

2 Грибоедов и Пушкин в эго время жили в известном Демутовом трактире.

3 Бас итальянской труппы в Петербурге.

4 Ср. в воспоминаниях Булгарина: "Вот черта, характеризующая Грибоедова. В последнюю персидскую войну он проезжал верхом, вместе с князем Италийским, графом Суворовым–Рымникским, внуком великого, под выстрелами неприятельских орудий. Ядро оконтузило лошадь кн. Суворова, и она в испуге поднялась на дыбы. Грибоедов, любя князя и думая в первую минуту, что он ранен, пришел в некоторое смущение. Полагая, что страх вкрался в его душу, он решился наказать себя. При первом представившемся случае сел на батарею и выдержал, не сходя с места, 124 неприятельские выстрела, чтобы освоиться с ядрами, как он говорил" (Воспоминания, с. 33). О храбрости Грибоедова свидетельствует также и Паскевич (см. с. 212 наст. изд.).

Намек на слова Репетилова: "Поди, сажай меня в карету, // Вези куда–нибудь" ("Горе от ума", д. IV, явл. 9).

6 Вероятно, это было 13 или 14 мая, во время двухдневного праздника сошествия святого духа (см.: газ. "Русский инвалид", 1828, 12 мая, Ќ 121).

7 "Волшебная флейта" шла на сцене Большого театра 15 апреля 1828 г. (газ. "Северная пчела", 14 апреля); роль Папагена в этом спектакле исполнял не Рамазанов, а Долбилин (см.: Н. В. Шаломытов. Грибоедов и музыка. – ИВ, 1910, № 6, с. 877).

8 Грибоедов уехал из Петербурга 6 июня 1828 г.

9 А. Г. Чавчавадзе – поэт, представитель раннего грузинского романтизма, отец жены Грибоедова. Участник Отечественной войны 1812 г. Позже, в 1832 г., принимал участие в дворянском заговоре против русского самодержавия. О нем см. в кн.: И. С. Богомолов. А. Г. Чавчавадзе и русская культура. Тбилиси, 1964.

10 Оригиналом для гравюры, приложенной к изданию "Горя от ума" 1839 г., послужил, по–видимому, акварельный портрет Грибоедова работы Е. Эстеррейха. Подлинник этого портрета утрачен. В 1829 г. Н. И. Уткин сделал по нему общеизвестный гравированный портрет, а в 1852 г. художник Робильяр скопировал его разноцветными карандашами (эта копия вделана в переплет Булгаринского списка). См.: П. С. Краснов. О грибоедовском портрете Е. Эстеррейха. – В кн.: ГТБТ, с. 257–202.

П. А. БЕСТУЖЕВ

Бестужев Петр Александрович (1803–1840), брат А. А. Бестужева, декабрист, сосланный на Кавказ рядовым Ширванского пехотного полка. Был знаком с Грибоедовым еще по Петербургу и встречался с ним на Кавказе. Характеристика Грибоедова извлечена из "Памятных записок 1828–1829 гг.".

ИЗ "ПАМЯТНЫХ ЗАПИСОК"

По изд.: "Воспоминания Бестужевых". М. – Л., 1951, с отдельными уточнениями по автографу, хранящемуся в ИРЛИ.

1 Вероятно, в марте 1828 г. во время аудиенции у императора по случаю Туркманчайского мира.

Туркманчайский трактат – мирный договор между Россией и Персией, заключенный 10 февраля 1828 г. в селении Туркманчай близ Тавриза. По этому договору к России были присоединены Эриванское и Нахичеванское ханства и персидское правительство обязывалось уплатить России десять куруров (двадцать миллионов рублей серебром). Кроме того, предусматривалось значительное улучшение условий торговли русских купцов в Персии, налагался запрет на персидский военный флот в Каспийском море, и пр. Грибоедов принимал активное участие в заключении договора и, по существу, является одним из его авторов. Только благодаря его настойчивости в договор была включена XV статья – о беспрепятственном переселении всех желающих этого армян из Персидского Азербайджана в подданство России (Т. Юзефович. Договоры России с Востоком, политические и торговые. СПб., 1869, с. 222).

К. Ф. АДЕЛУНГ

Аделунг Карл Федорович – второй секретарь российской миссии в Персии, погибший вместе с Грибоедовым при ее разгроме. Письма его, адресованные к отцу, Ф. П. Аделунгу, начальнику учебного отделения восточных языков при Азиатском департаменте, хранятся ныне в ИРЛИ.

<ПИСЬМА К ОТЦУ. 1828 г.>

По тексту, опубликованному в "Литературном наследстве", т. 47–48 (в переводе с немецкого), с. 246–261.

1 По пути к месту службы Грибоедов задержался в Москве на несколько дней (с 9 по 12 июня 1828 г.) для того, чтобы получить некоторые официальные документы и встретиться с И. Н. Похвисневым, которого он "полагал сделать предстателем у И. А. Вельяминова", генерал–губернатора Западной Сибири, за братьев Ордынских, содержащихся в Омской области крепостными арестантами (Алфавит, с. 249, 368; ПССГ, т. III, с. 209).

2 М. А. Коцебу, сын немецкого реакционного писателя Августа Коцебу, убитого студентом К. Зандом. Свое отношение к нему Грибоедов изложил в письме к Н. А. Каховскому 19 октября 1820 г.: "В ваших вестях упоминается о будущей свадьбе. Поздравляю Коцебу, а не Елену Романовну Ховен. Стало быть, покойник Август фон Коцебу породнится с Романом Ивановичем Ховеном и Алексеем Петровичем <Ермоловым>. Следовательно, в Тифлисе нельзя будет откровенно говорить о его литературном пачканье? Нет нигде уже в русском царстве свободы мнения" (ПССГ, т. III, с. 143).

3 В 1828 г. барону П. Я. Ренненкампфу была поручена Паскевичем работа по установлению границ России с Персией. Сохранились четыре записки к нему Грибоедова, в которых он требовал от него точного выполнения статей Туркманчайского договора, предостерегая от "притязания на увеличение наших владений против условий договора" (ПССГ, т. III, с. 243).

4 Высший духовный сан с Персии.

5 Вероятно, имеется в виду взятие русскими войсками крепости Сардар–Абада 20 сентября 1827 г.

6 Дневник К. Аделунга не сохранился.

7 О проекте учреждения Российской Закавказской компании см. с. 355–356 наст. изд.

8 Имеется в виду А. Ф. Ралль, управляющий Талышским ханством, о котором Грибоедов упоминает в письме к Родофиникину (ПССГ, т. III, с. 214).

Д. Ф. ХАРЛАМОВА

Харламова Дарья Федоровна (1817–1906), дочь П. Н. Ахвердовой, встречалась с Грибоедовым в Тифлисе в 1822–1828 гг., будучи еще ребенком. Воспоминания записаны ее дочерью в 1901 г. Впервые отрывок из них опубликован в кн.: И. Андроников. Лермонтов в Грузии. М., 1955, с. 248–255.

ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ГРИБОЕДОВЕ

По автографу, хранящемуся в ЦГТМ, № 163494 (впервые полностью). Выдержки из писем Грибоедова к П. Н. Ахвердовой воспроизводятся в переводе с французского.

1 Грибоедов приехал в Тифлис 21 октября 1818 г. Не исключено, что в том же году он познакомился с П. Н. Ахвердовой, но дружба между ними возникла после возвращения его из Персии в 1821 г.

2 Имеется в виду письмо от 26 января 1827 г. (ПССГ, т. III, С. 197–198).

3 Известно шесть официальных писем Грибоедова к А. Г. Чавчавадзе, до сих пор не появлявшихся в печати (копии писем хранятся в ИРЛИ, в архиве Н. К. Пиксанова).

4 В письмо от 15–19 июля 1827 г. (ПССГ, т. III, с. 204).

5 В действительности это письмо от 29 июля 1828 г. из Гумри (ПССГ, т. III, с. 221).

6 См. его письмо от ноября 1828 г. (ПССГ, т. III, с. 231–232).

7 В этот приезд в Москву Нина Александровна посетила Малый театр, где смотрела 19 сентября 1856 г. спектакль "Горе от ума".

"Н. А. Чавчавадзе была одним из прелестнейших созданий того времени, – писал о ней впоследствии Д. Г. Эрпстави. – Красавица собой, великолепно образованная, с редким умом, она безусловно завоевывала симпатии всех, кто только с ней был знаком. Все, кто только ее знал, люди самых различных слоев, понятий, мнений, сходятся на одном, что это была идеальная женщина. Не было мало–мальски выдающегося поэта в Грузии, который бы не посвятил ей несколько стихотворений" ("Летопись дружбы грузинского и русского народов", т. 1. Тбилиси, 1961, с. 155). В 1833 г. на горе Мтацминда в Тбилиси ею был воздвигнут памятник на могиле Грибоедова. На памятнике надпись: "Ум и дела твои бессмертны в памяти русской, но для чего пережила тебя любовь моя" (см.: В. С. Шадури. Как сооружался памятник Грибоедову на горе Мтацминда. – В кн.: "Там, где вьется Лазань". Тбилиси, 1977, с. 64–68).

Г. А. РАССКАЗ АМБАРЦУМА

По тексту журн. "Русская старина", 1901, октябрь, с. 66–68.

Амбарцум (Ибрагим–бек) – курьер российского посольства в Персии, случайно уцелевший во время тегеранской катастрофы.

О нем не сохранилось никаких сведений. Известно только, что впоследствии он "до своей смерти получал из России через тавризского консула 120 голландских червонцев" (РС, 1901, октябрь, С. 48). Следует полагать, что полномочный министр вполне доверял ему: Амбарцум был одним из пяти курьеров, осуществлявших Связь между Тегераном и русско–персидской границей. Рассказ Амбарцума напечатан был впервые неким Г. А. в газете "Мшак", откуда был перепечатан в статье М. А. Алавердянца "Кончина А. С. Грибоедова по армянским источникам".

Установить подлинную фамилию автора, скрывшегося под криптонимом "Г. А." – не удалось. В рассказ современника он явно привносит собственные краски. Так, вызывает сомнение эпизод о том, будто бы Грибоедов спрятался от "толпы" в дымовой трубе, и некоторые другие подробности.

К. К. БОДЕ

Боде Клементий Карлович, барон (род. в 1806 г.), брат А. К. Боде, первый секретарь посольства гр. И. О. Симонича в Персии, в записках которого также сохранилось описание разгрома русского посольства, излагающее официальную шахскую версию (см.: И. О. Симонич. Воспоминания полномочного министра. М., 1967, с. 34, 102–106).

К. К. Боде известен и как автор ряда журнальных статей, в частности "Путевых записок", опубликованных в "Библиотеке для чтения" (1854, т. 123). Интерес к личности Грибоедова у него мог появиться еще задолго до тегеранских событий под влиянием рассказов старшего брата, дружившего с поэтом (ПССГ, т. III, с. 179).

Не будучи свидетелем тегеранской катастрофы он, естественно, пишет только о том, что слышал от других лиц. Поэтому в его рассказе встречаются неточности; ошибочно также и суждение автора о главной причине гибели Грибоедова. Автор видит ее не в стремлении шаха по совету англичан аннулировать Туркманчайский договор, а будто бы в настойчивости, с которой Грибоедов требовал выдачи "наших русских пленных, укрываемых в гаремах персидских вельмож".

СМЕРТЬ ГРИБОЕДОВА

По тексту журн.: "Живописное обозрение", 1879, № 4, с. 93–95.

1 Врач Мальмберг, ординатор Эриванского госпиталя, был

прикомандирован к миссии на время ее переезда от Эривани до Тавриза.

2 Н. А. Грибоедова сообщает в своем письме к г–же Макдональд 22 апреля 1829 г., что о смерти мужа ей рассказали родные только в Тифлисе. "Через несколько дней, – пишет она, – после моего приезда (из Тавриза), тяжелых дней, проведенных в борьбе с тоской, охватившей меня, в борьбе с неясной тревогой и мрачными предчувствиями, все более раздиравшими меня, было решено, что лучше сразу сорвать покрывало, чем скрывать от меня ужасную правду. Свыше моих сил пересказывать вам все то, что я перенесла; я взываю к вашему сердцу любящей супруги, чтобы вы смогли оценить мою скорбь, я уверена, что вы поймете меня: мое здоровье не могло противостоять этому ужасному удару. Переворот, происшедший во всем моем существе, приблизил минуту моего избавления. Опустошенная душевными страданиями более, нежели страданиями физическими, лишь через несколько дней я смогла принять новый удар, который мне готовила судьба: мой бедный ребенок прожил только час, а потом соединился со своим несчастным отцом – в мире, где, я надеюсь, будут оценены и их достоинства, и их жестокие страдания. Однако его успели окрестить, ему дали имя Александр в честь его бедного отца" ("Известия АН СССР. Серия литературы и языка", т. XXXI, 1972, вып. 5, с. 459–460).

Д. А. СМИРНОВ

Смирнов Дмитрий Александрович (1819–1866), дальний родственник А. С. Грибоедова (мать Д. А. Смирнова, урожд. Лачинова, была дочерью Натальи Федоровны, урожд. Грибоедовой), с юных лет и до конца жизни занимался сбором материалов о жизни и творчестве драматурга. С этой целью он встречался и беседовал с матерью Грибоедова и его сестрой, с друзьями поэта – С. Н. Бегичевым, Жандром, Ионом, В. Ф. Одоевским и др. В руках Д. А. Смирнова постепенно сосредоточился бесценный материал: рукописи Грибоедова и записи устных рассказов о его жизни, но успел он опубликовать лишь "Черновую тетрадь Грибоедова", подаренную ему Бегичевым (в журн.: "Русское слово", 1859, Ќ 4–5). После смерти Смирнова была опубликована его статья "Биографические известия о Грибоедове", представляющая собой полемический отклик на "Записки..." Д. В. Давыдова (см. с. 384 наст. изд.) и переданная вдовой биографа Обществу любителей российской словесности. Некоторые из других материалов, переданных в Общество и впоследствии утерянных, были использованы академиком А. Н. Веселовским в статье "Очерк первоначальной истории "Горя от

ума" (РА, 1874, Ќ 6). В 1877 г. во время пожара усадьбы в с. Сущево Владимирской губ. (это, между прочим, родовое имение Грибоедовых, принадлежавшее отцу А. С. Грибоедова) большинство материалов, собранных Смирновым, погибло. Однако, когда в 1887 г. через газету "Новое время" (Ќ 3972) И. А. Шляпкин обратился к наследникам Д. А. Смирнова с просьбой опубликовать его предисловие к комедии "Горе от ума", обнаруженное в одном из списков, Юрий Дмитриевич Смирнов ответил следующее: "Причиной неиздания некоторых трудов покойного отца служит не одна только утрата части их во время пожара в нашей усадьбе (утрата временная, так как мне удалось достать их от людей, близких к покойному, в свое время получивших копии его работы), но и некоторые другие соображения, которые я нахожу неудобным высказать в настоящее время..." (ИРЛИ, ф. 496, он. 2, № 45). Только в 1909 г. предисловие это было опубликовано Н. В. Шаломытовым (РС, 1909, № 2). В том же году им были изданы и собранные Смирновым рассказы о Грибоедове под заглавием: "Из неизданных материалов Д. А. Смирнова к биографии А. С. Грибоедова" (ИВ, 1909, N" 3–4) и "Два утра у Щепкина" ("Ежегодник имп. театров". Сезон 1907/1908).

При оценке достоверности сообщаемых Д. А. Смирновым сведений о Грибоедове нужно иметь в виду то, что, почерпнутые из устных рассказов, иные из них во многом легендарны. Плохо представляет себе мемуарист литературно–общественную обстановку грибоедовской эпохи, принимая на веру позднейшие, подчас совершенно фантастические слухи (например, о полемике вокруг "Липецких вод" Шаховского, о "Желтой книге" декабристов и т. п.). Вместе с тем рассказы Смирнова содержат множество ценных сведений, хотя и полученных из вторых рук, но вполне достоверных.

РАССКАЗЫ ОБ А. С. ГРИБОЕДОВЕ, ЗАПИСАННЫЕ СО СЛОВ ЕГО ДРУЗЕЙ

По тексту журн. "Исторический вестник", 1909, № 3–4, с исправлениями по черновой рукописи Смирнова, частично сохранившейся (ЦГТМ, ф. 254). Материалы, имеющие отношение к биографии Грибоедова, из второй части статьи, частично использованы в комментариях (см. ниже).

1 Грибоедов был арестован в крепости Грозной в ночь с 22 на 23 января 1826 г. (см. об этом в воспоминаниях Шимановского на с. 120 наст. изд.). В 1865 г. Д. А. Смирнов вносит следующее уточнение в свой рассказ: "Грибоедов ушел, и, после назначенного срока, Ермолов пришел арестовать его со всей толпой – с

начальником штаба и адъютантами" (см. Беседы в ОЛРС, с. 22),

2 О "ста прапорщиках" см. в рассказах Жандра и в коммент. к ним на с. 243, 399 наст. изд.

3 Фельдъегерь Уклонский.

4 7 или 8 февраля 1826 г.

5 С 12 февраля по 2 июня 1826 г.

6 Грибоедов был на приеме у Николая I, в составе освобожденных из–под ареста, 6 июня 1826 г.

7 Звание надворного советника присвоено было Грибоедову в порядке обычной выслуги лет.

8 При освобождении Грибоедову был выдан так называемый "очистительный аттестат": "По высочайшему его императорского величества повелению Комиссия для изыскания о злоумышленном Обществе сим свидетельствует, что коллежский асессор Александр Сергеев сын Грибоедов, как но исследованию найдено, членом того Общества не был и в злонамеренной цели оного участия не принимал" (Щеголев, с. 45). Но несмотря на то, что Грибоедов был осыпан царскими милостями, он до конца дней оставался на подозрении у правительства.

9 По распоряжению военного министра Грибоедов получил "прогонные деньги до города Тифлиса на три лошади за 2662 версты пятьсот двадцать шесть рублей сорок семь копеек, да на путевые издержки, полагая по сту рублей на 1000 верст, двести шестьдесят шесть рублей 20 копеек, всего семьсот девяносто два рубля шестьдесят семь копеек" (М. В. Нечкина. Следственное дело о А. С. Грибоедове. М.–Л., 1945, с. 87).

10 Об отношениях Грибоедова с Ермоловым и Паскевичем в 1826 г. см. на с. 15–17 наст. изд.

11 Паскевич действительно командировал Грибоедова к Аббас–Мирзе 20 июля 1827 г., но не в Эривань, а в лагерь персидских войск, дислоцировавшихся в Чорской долине (ПССГ, т. III, С. 252–267).

Позже Д. А. Смирнов дает более развернутую характеристику деятельности А. С. Грибоедова в период войны 1826–1828 гг.: "В половине мая 1827–го года мы видим Грибоедова уже в персидском походе с Паскевичем. Пишущему эту статью положительно известно то совершенно деятельное участие, которое принимал Грибоедов не только в заключении Туркманчайского договора, бывшего именно созданием Грибоедова, но и в самом ходе кампании. С Паскевичем, близким родственником и человеком, который был ближе к нему по летам, Грибоедов мог говорить свободнее, чем с Ермоловым. Он беспрестанно старался приводить в действие главную пружину дела – "не уважать неприятеля, который того не стоит". Движения

к Аббас–Абаду, даже к самой Эривани, были следствием личных самых убедительных настояний Грибоедова. Во время этой войны явились во всем блеске его огромные дарования, вполне обработанные многосторонней правильной образованностью, его дипломатический такт и ловкость, его способность к труду, огромному, сложному и требующему больших соображений" (Беседы в ОЛРС, с. 26).

Здесь необходимо отметить все же и то мнение Грибоедова, что "вообще война с персиянами самая несчастная, медленная и безотвязная" (ПССГ, т. III, с. 195). Она "была по своему характеру захватнической, несправедливой войной с обеих сторон, так как в ходе ее решался вопрос: останутся ли страны Закавказья под варварским господством иранских феодалов или превратятся в колонию русских помещиков и купцов. Но вопреки захватнической политике царской России на Кавказе объективно–исторические последствия русско–иранской войны 1826–1828 гг., так же как и других войн, которые вела Россия в Закавказье в начале XIX в., имели прогрессивное значение – ряд кавказских народов был освобожден от страшного ига иранского шаха или турецкого султана" (Шостакович, с. 93).

12 О миссии Хосров–Мирзы см. в кн.: Попова, с. 204–209.

13 Об этом списке и надписи на нем см. на с. 398 наст. изд.

14 Об этом портрете см. на с. 386 наст. изд.

15 О "Притворной неверности" см. на с. 336 наст. изд.

16 Точнее – Мастерской ул. (ныне пр. Лермонтова).

17 Опись бумагам, отобранным у Грибоедова, ее была составлена; обнаружен только список книг, находившихся у Грибоедова в Грозной и во Владикавказе (см.: Е. Г. Вейденбаум. Кавказские этюды. Тифлис, 1901, с. 264–265).

18 Вместе с Грибоедовым содержался Степан Илларионович Алексеев; о нем см. на с. 378–379 наст. изд.

19 Ошибка мемуариста. О Сенявине см. на с. 381 наст. изд. По-видимому, речь идет о штабс–капитане л.-гв. егерского полка Родзянко, который принимал на Главной гауптвахте арестованного Грибоедова (ЛН, т. 60, кн. I, с. 478). Ср.: Нечкина, с. 563–564.

20 Роль Ивановского в судьбе Грибоедова сильно преувеличена Смирновым. См.: Нечкина, с. 572, 585–586.

21 Вопрос об отношениях Грибоедова с Ф. В. Булгариным, журналистом и писателем, проделавшим путь от модного либерализма последних лет александровского царствования до крайней реакционности после 14 декабря 1825 г., неоднократно занимал современников. Ответ Жандра Смирнову обрисовывает лишь одну сторону дела. Грибоедов познакомился с Булгариным

во время своего приезда в Петербург в июне 1824 г. Сближению их способствовали обстоятельства, о которых Булгарин рассказал в очерке "Как люди дружатся" ("Северная пчела", 1837, Ќ 47, с. 187–188). Живя в Варшаве (по-видимому, в 1817 г.), Булгарин приютил у себя больного юнкера Иркутского гусарского полка, оказавшегося приятелем Грибоедова; юнкер (фамилия его была приведена Булгариным не полностью: "Генис...") скончался от чахотки в доме Булгарина. Случай этот косвенно подтверждается архивными материалами (ЦГВИА, ф. 489, ед. хр. 2278, лл. 133, 160, 187, 218; ед. хр. 2279, лл. 133, 134), позволяющими расшифровать фамилию юнкера. Это был Петр Иванович Генисьен (его сестра, М. И. Генисьен (1803–1849) была замужем за кн. М. А. Волконским. – См.: Е. Г. Волконская. Род князей Волконских. СПб., 1900, с. 757). Он был зачислен вместе с Грибоедовым 26 июля 1812 г. в Московский гусарский полк. По–видимому, Генисьен тогда уже был болен, так как сразу же по прибытии в часть направлен в госпиталь и числился больным до конца 1813 г.

"Рассказывая мне о Москве, о своей жизни, – пишет Булгарин, – он с восторгом говорил об одном молодом офицере своего полка, которого он знал в Москве, еще будучи в пансионе. Из дружбы к этому офицеру он пошел в военную службу и ему обязан был всем своим образованием, любовью к изящному, высокому, к поэзии природы. Мой жилец писал несколько раз к этому офицеру и однажды получил от него письмо, в котором он уведомлял его, что приедет к нему в Варшаву. Больной прижимал это письмо к устам, плакал от радости... Я удивлялся этой необыкновенной привязанности и утешался. Моему сердцу было теплее.

Наконец, протекло лет шесть; я уже был в Петербурге и занимался словесностью, издавал "Северный архив". Однажды прихожу к другу и товарищу моему Н. И. Г<речу> и нахожу у него незнакомого человека. Добродушный хозяин познакомил нас по–своему, то есть таким образом, что мы знали, с первой минуты, как обойтись друг с другом. Мой новый знакомец был тогда не тот человек, каким он сделался после. Но бессмертие уже было в его портфеле... Это был Грибоедов!

Жесточайшие мои противники литературные были старые приятели, родственники или даже питомцы Грибоедова. Он даже хотел помирить меня с одним из них, воображая, что у этого человека душа Грибоедова... он ошибся. Все, что окружало Грибоедова, говорило ему противу меня, потому что я тогда занимался литературной критикой, я говорил резкие истины. За дружбу со мной Грибоедов приобрел даже литературных врагов;

он хохотал и говорил только: хороши ребята! Грибоедова просили, чтобы он развязался со мною... Он улыбался и сидел у меня по восьми часов сряду. Признаюсь, что зато и я никогда не любил никого в мире больше Грибоедова, потому что не в состоянии любить более, почитая это невозможностью. Право, не знаю, люблю ли я более детей моих... Я люблю их, как Грибоедова, а Грибоедова любил, как детей моих, как все, что есть святого и драгоценного в мире. Душа его была рай, ум – солнце!

Когда он отправлялся в последний раз в Персию, я сказал ему накануне: "Ты пойдешь высоко; я навсегда останусь тем, что теперь, т. е. ничем, в полном смысле Пироновой эпитафии. Мои противники мучат тебя..." Он быстро взглянул на меня, схватил за руку и сказал: "Ничто в мире не разлучит нас. Помнишь ли Геннис... которого ты призрел в Варшаве? Он писал ко мне о тебе... Я давно искал тебя... Наша дружба не провалится: она имеет основание". Это собственные слова незабвенного. Ах, как малы перед ним его соперники! Он весь жил для добра и добром.

Итак, офицер, о котором говорил с восторгом мой больной жилец, к которому он писал, был Грибоедов!.. (Воспоминания, с. 46–47). Это намеренно идиллическое описание имело явственное полемическое задание: противопоставить имя Грибоедова "врагам" Булгарина, к числу которых к 1837 г. принадлежали все передовые деятели русской литературы. Значительно сдержаннее пишет об этом Н. И. Греч, подчеркивая меркантильную сторону отношений Булгарина с друзьями: "В моем доме он узнал Бестужевых, Рылеева, Грибоедова, Батенькова, Тургеневых и пр. – цвет умной молодежи! Несколько раз должен я напоминать, что Булгарин был в то время отнюдь не тем, чем он сделался впоследствии: был малый умный, любезный, веселый, гостеприимный, способный к дружбе и искавший дружбы людей порядочных... Таким образом постиг он всю благость, все величие души Грибоедова, подружился с ним, был ему искренне верен до конца жизни, но не знаю, осталась ли бы эта дружба в своей силе, если бы Грибоедов вздумал издавать журнал и тем стал угрожать "Пчеле", то есть увеличению числа ее подписчиков" (Н. И. Греч. Записки о моей жизни. М.–Л., 1930, с. 687, 690–691).

Уже в начале октября 1824 г. их отношения находятся на грани разрыва (см. письмо Грибоедова Булгарину от сентября 1824 г.), причиной которого послужил булгаринский фельетон "Литературные призраки", напечатанный в журнале "Литературные листки" (1824, Ќ 16, с. 93–108). Хотя автор и предупреждал в примечании, что в статье "нет никаких личностей", читатели безошибочно узнали в "истинном

литераторе" Талантине, недавно прибывшем в столицу из отдаленных стран, где он находился на службе, – А. С. Грибоедова. Сам Грибоедов был возмущен фельетоном, о чем и писал Булгарину: "...сближаясь с Вами более и более, трудно самому увериться, что Ваши похвалы были мне не по сердцу, боюсь поймать себя на какой–нибудь низости, не выкланиваю ли я еще горсточку ладана!!" (ПССГ, т. III, с. 161). Фельетон написан в виде сценки, изображающей спор Талантина с литераторами "новой школы", Лентяевым, Неучинским, Фиялкиным, Борькиным, в которых распознаются карикатуры на Дельвига, Баратынского, Б. Федорова. Грибоедов действительно встречался с ними во время своего отпуска 1824–1825 гг., как об этом свидетельствует, в частности, И. И. Козлов, в дневнике которого записано 3 мая 1825 г.: "Вечером Лев Пушкин, Дельвиг, Грибоедов, человек умнейший, каких мало" ("Старина и новизна", 1906, кн. XI, с. 47).

Откликом на фельетон "Литературные призраки" явилась эпиграмма в журнале А. Ф. Воейкова "Новости литературы" (1825, сентябрь; под инициалами Н. Н.):

"Что за поэты вы? — Талантин говорит.
— Вот дайте мне еще лет двадцать поучиться
И сотней языков чужих обогатиться,
Тогда вас, верно, всех мой гений заглушит,
Стогласный, стоязычный;
Тогда в странах различных
Во всех концах земли уведают о нем!
Авось, мы до беды такой не доживем.

Откликнулся на фельетон эпиграммой и Вяземский:

Булгарин, убедись, что брань его не жалит,
Переменил теперь и тактику, и речь:
Чтоб Грибоедова упечь,
Он Грибоедова в своем журнале хвалит.
Врагов своих не мог он фонарем прижечь,
То хоть надеется, что, подслужась, обсалит.

("Русская эпиграмма второй половины XVII – начала XX века", Л., 1975, с. 282).

Впрочем, Болгарии сумел примириться с автором "Горя от ума", опубликовав отрывки из комедии (7–10 явления первого действия и третье действие, с цензурными исправлениями и купюрами) в своем альманахе "Русская Талия" (вышел из печати 15 декабря 1824 г.). Отношения их были закреплены участием

Булгарина в грибоедовских делах во время заключения драматурга в здании Главного штаба (1826 г.) в ходе процесса над декабристами. Сохранилось десять записок Грибоедова к Булгарину, переданных из-под ареста. Однако участие Булгарина в деле Грибоедова продолжалось лишь на первом этапе расследования, когда Следственный комитет после первых допросов драматурга представил на высочайшее утверждение заключение о его невиновности. Заключение это императором не было утверждено, и Булгарин в апреле 1826 г. обрывает переписку с Грибоедовым. Но уже в июне 1826 г. Грибоедов живет на даче у Булгарина, о чем свидетельствует в своих воспоминаниях В. Н. Григорьев: "В 1826 году летом я случайно познакомился в Петербурге с Грибоедовым, автором известной комедии "Горе от ума". Я встретил его на даче у Булгарина, к которому иногда хаживал по литературным делам вследствие его же приглашения. Грибоедов... выпущен был на волю и от нечего делать поселился тогда на даче у Булгарина, который нанимал тогда каждое лето, вместо дачи, деревянный дом с садом на Выборгской стороне, на самом берегу Малой Невки, почти супротив Аптекарского сада" (журн. "Современник", 1925, кн. I, с. 134–135). К 1826 г. относится второе произведение Булгарина, прототипом героя которого послужил Грибоедов. В напечатанном в "Северной пчеле" (20 марта) "восточном апологе" "Человек и мысль" речь шла о турецком мудреце Абдале, по наветам недоброжелателей заключенном в тюрьму, но в скором времени освобожденном. В той же газете в редакторских статьях и фельетонах постоянно цитировались строки из "Горя от ума" (в том числе я те, которые еще не были пропущены в печать) – порой в целях торговой рекламы – например, "Фамусов в комедии "Горе от ума" говорит:

Куда как чуден создан свет!
Пофилософствуй — ум вскружится:
То бережешься, то обед:
Ешь три часа, и в три дни не сварится!

Но где горе, тут и утешение. Роскошные жители берегов Сены, афиняне новых времен, которые сделали столько открытий по части гастрономии, изобрели разные средства к облегчению горя Фамусова..." (далее следовала реклама "алкалических пищеварительных лепешек" – газ. "Северная пчела", 1827, 26 февраля).

В 1828 г. во время приезда Грибоедова в Петербург вестником Туркманчайского мира Булгарин принимает на себя обязанности

ментора Грибоедова по хозяйственным делам. Позднее в письме к А. Х. Бенкендорфу Булгарин писал: "Когда Грибоедов приехал в Петербург с Туркманчайским трактатом и получил от щедрот императора 4000 червонных, то тотчас отдал мне деньги на сохранение. Князь <В. Ф.> Одоевский (служащий в иностранной цензуре), пришед в квартиру Грибоедова, удивился, застав меня считающего деньги хозяина квартиры. Я посоветовал другу моему составить капиталец, и он отдал мне 36 000 рублей для сохранения. Между тем, прежде нежели разменяли червонцы и положили деньги в ломбард, Грибоедов имел нужду одеться, жить и уплатить кое–какие должки, взял у меня 5000 рублей, с тем чтоб возвратить при получении жалованья до отъезда в Москву или после" (Н. К. Пиксанов. Столкновение Булгарина с матерью Грибоедова. — РС, 1905, Ќ 12, с. 710–718). Перед отъездом из Петербурга Грибоедов передал Булгарину список "Горя от ума", надписав на титуле: "Горе мое поручаю Булгарину. Верный друг Грибоедов" (этот, так называемый Булгаринский, список хранится ныне в ГПБ), — по–видимому, надеясь на предприимчивость журналиста, некогда уже проведшего через цензуру отрывки из комедии и обещавшего напечатать ее целиком. Впоследствии эта надпись трактовалась Булгариным как свидетельство о передаче материальных прав на грибоедовскую комедию, что вызвало его тяжбу с матерью драматурга, его сестрой и женой. По этому поводу он объяснялся с властями: см. его письмо М. А. Дондукову–Корсакову от 1 марта 1832 г. ("Библиографические записки", 1859, М., т. II, Ќ 20, стлб. 621 – 622).

22 Жандр рекомендовал Смирнову статью "Реляция происшествий, предварявших и сопровождавших убиение членов последнего российского посольства в Персии" (см. с. 303-329 наст. изд.).

23 Имеется в виду К. К. Родофиникин. Каподистрии в это время не было в России.

К. К. Родофиникин, директор Азиатского департамента министерства иностранных дел – непосредственный начальник Грибоедова, считал, в соответствии с официальной точкой зрения, будто среднеазиатские проблемы решаются в Европе (Шостакович, с. 170–171).

Он настойчиво требовал полного получения от Персии контрибуции, не считаясь (вопреки указаниям Грибоедова) с реальными возможностями разоренной войной страны. Это послужило одной из причин разгрома русского посольства в 1829 г.

24 А. В. Всеволожский – близкий друг Грибоедова. В 1823 г. они вместе проектировали создание коммерческого общества по

торговле с Персией (ПССГ, т. III, с. 150–151; Н. Кальма. Коммерческие замыслы Грибоедова. ЛН, т. 19–21, с. 143–176). Всеволожский также оказывал помощь арестованному Грибоедову в 1826 г. (Сочинения, с. 588).

25 Автором эпиграмм является С. А. Соболевский (см.: "Русская эпиграмма XVIII–XIX вв.". Л., 1958, с. 183).

26 В письме к Бегичеву 4 января 1825 г. Грибоедов писал: "...соперником у меня – Милорадович, глуп, хвастлив, идол Шаховского, который ему подличает" (ПССГ, т. III, с. 165).

27 Портрет Телешовой, воспроизведенный в "Русской Талии", исполнен Е. Гейтманом в 1824 г.: она изображена в роли Луизы в балете "Дезертер".

28 Смирнов пользовался книгами из библиотеки Крашенинникова, перешедшей к нему от А. Ф. Смирдина в 1847 г. (Ник. Смирнов–Сокольский. Книжная лавка А. Ф. Смирдина. М., 1957, с. 52–54).

29 Рецензия Загоскина написана на комедию "Молодые супруги" ("Северный наблюдатель", 1817, № 15, с. 54–56. Далее следуют стихи Ф. Кокошкина из его перевода "Мизантропа") и послужила поводом для написания Грибоедовым стихотворения "Лубочный театр".

30 О Союзе Благоденствия Смирнов пишет по слухам, отождествляя его с Северным и Южным тайными обществами.

31 Об обстоятельствах ссылки Катенина см.: П. А. Каратыгин. Записки. Л., 1970, с. 101–104.

32 Здесь излагается (в общих чертах) сюжет рассказа В. Ф. Одоевского "Привидение", напечатанный впервые в "Литературных прибавлениях к "Русскому инвалиду" (1838, № 40).

33 В письме к В. Ф. Одоевскому (3 декабря 1858 г.) Смирнов писал, что у него хранятся два портрета Грибоедова, на одном из которых поэт изображен в 20–летнем возрасте (РС, 1904, № 8, с. 426).

34 Слова Жандра о "полном участии Грибоедова в заговоре 14 декабря" являются весомым свидетельством (учитывая их дружеские отношения) принадлежности Грибоедова к Тайному обществу. Напомним, что на следствии о приеме Грибоедова Рылеевым в Северное общество, со слов последнего, показали члены Коренной думы С. Трубецкой и Е. Оболенской. Что же касается фразы о "ста прапорщиках", то, как считает М. В. Нечкина, "можно предположить, что этот афоризм – осколок киевского свидания: Грибоедов оказался противником военно–революционного белоцерковского плана" (Нечкина, с. 533). Впрочем, афоризм этот может быть и апокрифом (см.: С. А.

Фомичев. Автор "Горя от ума" и читатели комедии. – ГТБТ, с. 19–21).

35 А. Бестужев был адъютантом принца Александра Вюртембергского.

36 Неверно. Показания Бестужева–Рюмина см. на С. 277 наст. изд.

37 Строки из стихотворения Лермонтова ("К портрету старого гусара") (1838).

38 24 марта 1816 г.

39 По всей вероятности, псевдоним В. И. Сопа (см.: журн. "Сын отечества", 1818, № 43, с. 235; № 44, с. 274).

40 Мы опускаем концовку последней главки, как не имеющую отношения к рассказам о Грибоедове. По той же причине в настоящее издание не включается упомянутый на с. 391 рассказ Смирнова о встречах с Щепкиным, который засвидетельствовал, что с Грибоедовым он "вовсе не был близко знаком". Впрочем, внук М. С. Щепкина писал: "В разговорах об исполнении комедии "Горе от ума" Михаил Семенович говорил, что А. С. Грибоедов в бытность свою в Москве читал с ним роль Фамусова и передал свои объяснения относительно этой роли, как бы желал, чтобы она была играна, когда будет разрешено давать "Горе от ума"; такие же наставления, по словам Михаила Семеновича, сделал Грибоедов и актеру И. И. Сосницкому в Петербурге относительно роли Репетилова" [ИВ, 1898, № 10, с. 215; ср. Арапов, с. 384). Более достоверно, что эти указания Грибоедов делал не в Москве, а во время своего последнего приезда в Петербург (1828 г.), где в то время Щепкин был на гастролях. Тогда же, вероятно, состоялся разговор Грибоедова о Ермолове, который запомнился Щепкину (см. с. 16 наст. изд.).

В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР

Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846) – поэт, драматург и критик, декабрист, ближайший из друзей Грибоедова. Знакомство их относится к 1817 г., когда после окончания Лицея Кюхельбекер поступает на службу в Коллегию иностранных дел. Дружеские отношения между поэтами упрочились во время совместной их службы на Кавказе в конце 1821 – начале 1822 г. 18 декабри 1821 г. Кюхельбекер писал матери из Тифлиса: "Я встретил здесь милого петербургского знакомого: Грибоедова" (журн. "Литературный современник", 1938, № 10, с. 183). Кюхельбекеру Грибоедов читал первые явления "Горя от ума", с ним делился и другими творческими планами. В примечании к одному из своих стихотворений, посвященному Грибоедову (к строке "Певца, воспевшего Иран..."),

Кюхельбекер, в частности, заметил: "Относится к поэме Грибоедова, схожей по форме своей с "Чайльд–Гарольдом": в ней превосходно изображена Персия. Этой поэмы, нигде не напечатанной, не надо смешивать с другой, о которой упоминает Булгарин (то есть с трагедией "Грузинская ночь". – П. К., С. Ф.)" (РА, 1902, № 2, с. 240). Речь здесь идет о поэме ("Странник"), из которой до нас дошли только отрывки: "Кальянчн" (впервые напечатано в СО, 1838, № 1) и, возможно, "Восток" и ("Освобожденный"). На Кавказе Грибоедов принял участие в дуэли Кюхельбекера с Похвисневым (см. с. 51 наст. изд.), послужившей причиной удаления Кюхельбекера из Тифлиса, Грибоедов писал ему 1 октября 1822 г.: "Согласись, мой друг, что, утративши теплое место в Тифлисе, где мы обогревали тебя дружбою, как умели, ты многого лишился для своего спокойствия... Ей–богу, тебе здесь хорошо было для себя. А для меня?.. Теперь в поэтических моих занятиях доверяюсь одним стенам. Им кое-что читаю изредка свое или чужое; а людям – ничего; некому" (ПССГ, т. III, с. 146). Вновь встретились друзья в Москве, в 1823 г., и летом того же года вместе гостили в тульском имении Бегичева, где была окончена комедия "Горе от ума". Таким образом, Кюхельбекер с полным основанием утверждал в своем "Дневнике": "Грибоедов писал "Горе от ума" почти при мне, по крайней мере, мне первому читал каждое отдельное явление непосредственно после того, как оно было написано". Имея в виду приверженность Кюхельбекера к торжественному, высокому стилю в поэзии и к архаизированному языку, что находило поддержку у Грибоедова, Пушкин и В. Туманский в письме из Одессы И декабря 1823 г. укоряли поэта: "Какой злой дух, в виде Грибоедова, удаляет тебя в одно время и от наслаждений истинной поэзии, и от первоначальных друзей своих" (Пушкин. Полн. собр. соч., т. XIII, с. 81). В письме к Кюхельбекеру от 2 марта 1825 г. Д. Н. Бегичев писал: "Об Грибоедове имеем известие от двух приехавших недавно из Петербурга родных наших: прежде от Наумова, а потом от А. И. Кологривова; они довольно часто видались с ним, он здоров, как говорят, совсем намерен бросить писать стихи, а вдался весь в музыку и что–то такое серьезное питает" ("Очерки литературной жизни Воронежского края. XIX – начало XX в.". Воронеж, 1970, с. 82–83). В альманахе "Мнемозина" (1824, № 1), издававшемся В. Кюхельбекером совместно с В. Одоевским, было опубликовано стихотворение Грибоедова "Давид". Чуть позже (в апреле 1825 г.) Кюхельбекер приезжает в Петербург. 18 мая 1825 г. Грибоедов сообщал С. Бегичеву: "Журналисты повысились в моих глазах 5–ю процентами, очень хлопочут за Кюхельбекера, приняли его в сотрудники, и кажется, удастся определить его к

казенному месту. У Шишкова не удалось, в почтамте тоже, и в Горном департаменте, но где–нибудь откроется щелка" (ПССГ, т. III, с. 173; здесь же говорится о ссоре Кюхельбекера с Л. С. Пушкиным и о примирении их Грибоедовым). Член Северного общества, участвовавший в восстании на Сенатской площади с оружием в руках, Кюхельбекер был приговорен к смертной казни, которая была заменена десятилетним заключением в одиночной камере с последующей ссылкой в Сибирь. Грибоедов принял участие в судьбе заключенного. Н. П. Шульц, друг семьи В. Кюхельбекера, писала 29 августа 1826 г. его сестре Юлии: "Меня уверяли, что господин Грибоедов, который был тесно связан с Вильгельмом Карловичем и о котором Вы, без сомнения, слышали, собрал при помощи своих друзей сумму 3000 рублей, которую послал Вашему брату; можно надеяться, что он в настоящее время не нуждается в необходимом и что ему приятно быть этим обязанным своему самому дорогому другу" (журн. "Литературный современник", 1938, № 10, с. 198; подлинник по–французски). В свою очередь, Кюхельбекер пытался связаться с Грибоедовым из заключения. 10 августа 1828 г. он пишет "двум любезным друзьям и братьям, поэтам "Александрам", Грибоедову и Пушкину, из Динабурга. В конце того же года оп переправляет с товарищем по заключению, кн. С. С. Оболенским, определенным рядовым в Нижегородский драгунский полк на Кавказе, письмо Грибоедову, но оно было перехвачено жандармами. Грибоедову посвящает Кюхельбекер несколько стихотворений, комедию "Шекспировы духи" (1825) и еще одну неоконченную поэму (1823).

Грибоедов вспоминает Кюхельбекера в стихотворении ("Освобожденный"):

Но где друг?.. но я один!..
— Но давно ль, как привиденье,
Предстоял очам моим
Вестник зла?..

3 мая 1843 г. Кюхельбекер писал из Тобольской ссылки В. Одоевскому: "Ты теперь у меня один: нынешнее поколение мне чуждо во всех отношениях. Я постепенно – не оплакал (слезы что–то ныне не даются мне), а болезненно, с мучением пережил и моего единственного Грибоедова, и доброго толстяка Дельвига, и лучшего поэта России Пушкина, и бедного твоего брата Александра, и, наконец, даровитого Баратынского... Ты, напротив, наш: тебе и Грибоедов, и Пушкин, и я завещали наше лучшее... Я в тебе уверен: ты в память своего брата, в намять Грибоедова

употребишь все возможное, чтобы оказать услугу человеку, который был их и твоим другом" ("Отчет имп. Публичной библиотеки за 1893 г.". СПб., 1890, с. 69–73).

ИЗ "ДНЕВНИКА"

По тексту книги: В. К. Кюхельбекер. Путешествие. Дневник. Статьи. Л., 1979, с. 64–434 (в извлечениях).

Впервые дневники Кюхельбекера, частично утраченные, были напечатаны в журнале "Русская старина" (1875, т. XIII–XIV; 1883, т. XXXIX; 1884, т. XLI; 1891, т. LXXII). Своеобразный характер придает дневниковым записям их литературно–критическая тематика: перечитывая старые журналы, поэт оценивает произведения, там помещенные, вспоминает эпизоды былых литературных баталий, а также размышляет о собственных творческих планах.

"Дневник" содержит множество интересных наблюдений и замечаний о Грибоедове (нужно, однако, иметь в виду, что усилившаяся в заключении религиозность Кюхельбекера, доходящая до экзальтации, накладывает определенный тон на эту характеристику).

1 Будучи в Тифлисе, Кюхельбекер часто посещал П. Н. Ахвердову, — по-видимому, он был знаком с ней по Петербургу, до поездки на Кавказ (см. воспоминания Д. Ф. Харламовой, с. 193 наст. изд.).

2 Книга французского путешественника Ф. Вальяна "Путешествие... во внутренность Африки, чрез мыс Доброй Надежды" была переведена на русский язык в 1793 г.

3 Очевидно, имеется в виду Грибоедов. Стихотворение впервые было напечатано в журн. "Амфион" (1815, сентябрь) под заглавием "Мертвый к живому". Отзвуки его слышатся в стихотворении Грибоедова "Прости, отечество!".

4 Речь идет о поэме В. К. Кюхельбекера "Юрий и Ксения".

5 Имеются в виду статьи М. А. Дмитриева "Примечания на суждения "Телеграфа" (ВЕ, 1825, № 6) и А. И. Писарева (под псевдонимом "Пилад Белугин") (ВЕ, 1825, № 10). Кюхельбекер возражает против следующих замечаний Дмитриева: "Грибоедов изобразил очень удачно некоторые портреты, но не совсем попал на нравы того общества, которое вздумал описывать, и не дал главному характеру надлежащей с ним противоположности". И там же: "Не говорю уже о языке сего отрывка из комедии "Горе от ума", напечатанного в альманахе "Русская Талия" (см. с. 397 наст. изд. – П. К., С. Ф.), жестком, неровном и неправильном".

6 В журн. "Сын отечества", 1816, т. XXX, с. 3–22.

7 Неточная цитата из стихотворения "Лубочный театр" – см. с.

399 наст. изд.

8 В журн. "Сын отечества", 1817, № 48, с. 106, 117. "Северный наблюдатель" — журнал, издававшийся Загоскиным в 1817 г.; упоминаются пьеса Загоскина "Господин Богатонов, или Провинциал в столице" (1816) и его роман "Юрий Милославский..." (1829).

9 Отдельное издание: "Андрей Бичев, или Смешны мне люди". Комедия. Сочинение Эраста Перцова. СПб., 1833.

10 Роман "Село Михайловское, или Помещик XVIII столетия" был написан Варварой Семеновной Миклашевич. В предисловии Н. И. Греча, предпосланном отдельному изданию романа (СПб., 1864–1865), упоминался "незабвенный Александр Сергеевич Грибоедов, любивший и уважавший Варвару Семеновну <Миклашевич>, как родную мать, да и она любила его, как сына. Он внимательно слушал рассказы о ее молодости, о тогдашнем быте и нравственно-горестном состоянии ее родины в то время. Услышав же историю ужасного преступления одного помещика, он стал убедительно просить ее написать рассказ об этом необыкновенном происшествии, Варвара Семеновна решилась исполнить его желание и в преклонных летах занялась трудом, который требовал бы сил юных и свежих. Грибоедов успел перед последним выездом своим из Петербурга (в 1828 году) прочитать первые главы "Села Михайловского" и именем дружбы убеждал Варвару Семеновну кончить начатое", Роман создавался в 1828–1830 гг. Первые главы его были напечатаны в 1830 г. в журн. "Сын отечества", полное издание появилось лишь в 1864–1865 гг., вследствие цензурных препятствий. В образе молодого Рузина современники угадывали его прототип – А. С. Грибоедова (см.: В. Э. Вацуро. Грибоедов в романе В. С. Миклашевич "Село Михайловское". – ГТБТ, с. 235–256),

11 Цитируется строфа из поэмы Кюхельбекера "Вечный Жид".

Рассуждения мемуариста о набожности Грибоедова более всего отражают религиозные настроения самого Кюхельбекера. Об отношении Грибоедова к церковной обрядности см., например, в воспоминаниях С. Н. Бегичева и в коммент. к ним на с. 344 наст. изд.

12 Трагедия Расина. Действие ее происходит в современной драматургу Турции (XVII в.).

13 Стихотворение "Пророчество" (1822). Триполицца (Триполис), главный город Мореи, был взят штурмом восставшими против турецкого ига греками 12 октября 1821 г.

А. С. ПУШКИН

ИЗ "ПУТЕШЕСТВИЯ В АРЗРУМ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 1829

ГОДА"

По тексту изд.: Пушкин. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 463–462. "Путешествие в Арзрум" написано А. С. Пушкиным в 1835 г. и напечатано в журнале "Современник" (1836, № 1). Вобравшее в себя впечатления поэта от поездки на Кавказ в 1829 г., оно лишь отчасти может восприниматься в качестве путевого журнала. Безыскусственный тон "Путешествия..." напитан холодной иронией (см.: Ю. Н. Тынянов. Пушкин и его современники. М., 1968, с. 192–208), а за внешней повествовательностью подспудно проступает публицистическое задание: осмысление роли и назначения поэта, "не имеющего нужды в покровительстве сильных", стоящего "наравне с властелинами земли". Тема Грибоедова в "Путешествии в Арзрум" намечена уже в самом начале, где описано посещение Пушкиным опального Ермолова ("О стихотворениях Грибоедова говорит он, — замечает Пушкин, – что от их чтения скулы болят". — Пушкин. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 446) и затем угадывается – в эпизоде встречи с "искупительный миссией" Хосров–Мирзы; в черновой редакции очерка приводится цитата из "Горя от ума" (Пушкин. Полн. собр. соч., т. VIII, с. 1017). Следует заметить, что мысль о схожести своей судьбы с судьбой Грибоедова не могла не возникнуть у Пушкина, как она возникала у многих его современников. В. А. Ушаков, например, писал: "В прошедшем году (т. е. в апреле 1829 г. – П. К., С. Ф.) я встретился в театре с одним из первоклассных наших поэтов и узнал из его разговоров, что он намерен отправиться в Грузию. "О боже мой, – сказал я горестно, – не говорите мне о поездке в Грузию. Этот край может назваться врагом нашей литературы. Он лишил нас Грибоедова". — "Так что же? – отвечал поэт. – Ведь Грибоедов сделал свое. Он уже написал "Горе от ума" (МТ, 1830, № 12, с. 515). В письме московского почт-директора А. Я. Булгакова к брату от 21 марта 1829 г. проводится та же аналогия: "Он <Пушкин> едет в армию Паскевича узнать ужасы войны, послужить волонтером, может, и воспеть это все. "Ах, не ездите, — сказала ему Катя, — там убили Грибоедова". — "Будьте покойны, сударыня, — неужели в одном году убьют двух Александров Сергеевичев? Будет и одного" (РА, 1901, № 11, с. 208). Этот "роковой" мотив наложил известный отпечаток на характеристику Грибоедова в "Путешествии в Арзрум" — шедевре мемуаристики, — точный психологический портрет и в то же время — обобщенный образ гениального поэта–деятеля, бесстрашно бросающего вызов судьбе.

1 Описанный здесь случай произошел 11 июня 1829 г. Тело Грибоедова от Нахичевани до Артчальского карантина (близ Тифлиса) соировояадал прапорщик грузинского полка Макаров с

группой солдат (см. письмо А. К. Амбургера к И. Ф. Паскевичу от 4 мая 1829 г. – РС, 1872, август, с. 202).

2 См. в "Реляции происшествий, предварявших и сопровождавших убиение членов последнего российского посольства в Персии" (на с. 329 наст. изд.).

3 По-видимому, как вспоминает Е. П. Янькова, поэты были знакомы друг с другом еще в 1809–1810 гг.: "Виделись мы <с М. А. Ганнибал> еще у Грибоедовых... В 1809 или 1810 году Пушкины жили где-то за Разгуляем, у Елохова моста, нанимали там просторный и поместительный дом... Я туда ездила со своими старшими девочками на танцевальные уроки, которые мы брали с Пушкиной-девочкой, с Грибоедовой (сестрою того, что в Персии потом убили)... Мальчик, Грибоедов, несколькими годами постарше его <Пушкина>, и другие его товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом <Пушкине> всегда было что–то и неопрятно, и сидело нескладно" ("Рассказы бабушки. Из воспоминаний пяти поколений, записанные и собранные ее внуком Д.Благово". СПб., 1885, с. 459–460). В 1817 г. Грибоедов и Пушкин встречаются в Петербурге, когда они почти одновременно поступают на службу в Коллегию иностранных дел.

4 Обычно считается, что Пушкин имеет в виду здесь участие Грибоедова в дуэли Шереметева с Завадовским (дуэль эта отражена в замыслах романа Пушкина "Русский Пелам"), но, по-видимому, данное замечание имеет более общий смысл.

5 Здесь нельзя не уловить полемической направленности против булгаринских "Воспоминаний о незабвенном Александре Сергеевиче Грибоедове" (СО, 1830, с. 3–42). Приторность и наигранная экзальтированность тона булгаринских воспоминаний была тотчас же отмечена современниками. В "Литературной газете" (1830, № 53, с. 136) на воспоминания анонимной эпиграммой откликнулся Вяземский (см. вступительную статью к наст. изд., с. 6). О том же в письме от 14 января 1830 г. писал Н. И. Гнедичу М. Н. Загоскин: "Ты, я думаю, читал биографию Грибоедова, написанную автором "Выжигина" – по мне – умора! Он <то есть автор "Выжигина">, потеряв Грибоедова, осиротел навеки! Фаддей Булгарин осиротел навеки!! Ах он собачий сын! Фаддей Булгарин был другом Грибоедова, – жил с ним новой жизнью!! – как не вспомнить русскую пословицу, в которой говорится о банном листе" (ГТБТ, с. 25). "Многие могут подумать, – писал и М. А. Бестужев–Рюмин, – что начало и конец сей статьи переделаны в прозу из элегии какого–нибудь слезливого романтика... Наставленные в сих местах точки слились с пера почтенного автора как бы взамен слезинок его" (газ. "Северный Меркурий", 1830, № 62, с. 245–247).

Вместе с тем пушкинская характеристика Грибоедова, по–видимому, была обращена и против романа Булгарина "Памятные записки титулярного советника Чухина, или Простая история обыкновенной жизни" (1835), в одном из персонажей которого – Световидове – угадываются стилизованные черты Грибоедова.

ПРИЛОЖЕНИЕ.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК ГРИБОЕДОВА ЗА 1829 ГОД

Список составлен при назначении Грибоедова полномочным министром в Персию. Опубликован в журн. "Русский архив", 1872, стлб. 1497–1499, по которому и печатается в наст. изд.

1 В послужных списках Грибоедова, составленных после 1818 г., годом рождения его считается 1790–й (см.: ИРЛИ, 14. 768.LXXVIIб, 12 – копии послужных списков 1818 и 1819 гг.; ЦГТМ, № 24 – послужной список 1820 г.). В "Паспорте", выданном Грибоедову при оставлении военной службы 8 мая 1816 г., указано, что он имеет от роду 22 года (РО, 1895, № 3, с. 385–386).

2 Так значится во всех послужных списках Грибоедова. На самом деле в 1829 г. Н. Ф. Грибоедова не была столь владетельной. В 1817 г. она приобрела в долг село Троицкое в Костромской губернии с 780 крепостными, попыталась покрыть издержки на приобретение имения за счет самих крестьян, однако определенный ею непомерно высокий оброк вызвал возмущение крепостных, а впоследствии и бунт, усмиренный при помощи воинской команды; в 1819 г. Н. Ф. Грибоедова продала имение (см.: Пиксанов, с. 85–139).

3 Известен диплом, выданный Грибоедову 3 июня 1808 г., о присвоении ему звания кандидата словесности (см.: РО, 1895, № 3, с. 383–384) после окончания им словесного отделения университета. На этико–политическом же отделении Грибоедов занимался в качестве стороннего посетителя (см. с. 349 наст. изд.) и экзамена на звание кандидата прав не сдавал.

4 Отпуском за границу Грибоедов не воспользовался, занятый переделкой комедии "Горе от ума" и хлопотами о дозволении печатать ее.

5 Неточно: денежная награда Грибоедова составляла 4000 червонцев (более 40 000 рублей) – см.: РС, 1874, № 11, с. 518.

В. ШЕРЕМЕТЕВСКИЙ

<О В. В. ШЕРЕМЕТЕВЕ>

По тексту книги: "Сборник биографий кавалергардов. 1801–1820". СПб., 1906, с. 242–243.

Очерк о В. Шереметеве, помещенный в "Сборнике биографий кавалергардов. 1801–1826", представляет собою фактически

сводку архивных и мемуарных материалов о "дуэли четверых" и во многом проясняет обстоятельства дела. Местонахождение полкового архива, использованного автором очерка В. Шереметевский, ныне неизвестно, и потому сведения, им сообщаемые, приобретают характер первоисточника.

1 20 ноября 1818 г. А. Ахлопков доносил П. Я. Убри, управляющему Коллегией иностранных дел (см.: РО, 1895, № 3, с. 388–391):

"Милостивый государь Петр Яковлевич!

Возложенную вашим превосходительством обязанность быть депутатом по делу о бывшем дуэле между графом Завадовским и штаб-ротмистром Шереметевым, со стороны чиновника государственной Коллегии иностранных дел г-на Грибоедова, я принял; и вчерашний день следствие сего дела кончено и утверждено находящимися под следствием, так и депутатами со стороны каждого, о чем и поставляю долгом донести вашему превосходительству, какие объяснения были требованы от г–на Грибоедова по сему делу, а именно: что г-н Грибоедов бил коротко знаком с штаб-ротмистром Шереметевым и жившею у него танцовщицею Истоминою. После учинившейся между Шереметевым и сею Истоминою ссоры, когда она уже выехала от него в другой дом, тогда будучи Грибоедов в театре, пригласил Истомину ехать с собою в карете, чтобы узнать подробнее, за что она поссорилась с Шереметевым, которая на то охотно согласилась, и он привез ее в дом, где он жил вместе с Завадовским. В тот же вечер приехал по окончании спектакля домой и граф Завадовскнй, который и нашел его с Истоминою; после сего все они трое провели вечер вместе, а потом Истомина отправилась к себе. После сего граф Завадовский был вызван на дуэль Шереметевым, последствия коего ему, Грибоедову, были не известны. И сим заключены были показания г–ном Грибоедовым".

2 Данное признание Завадовского на очной ставке с Грибоедовым проясняет невольное участие Грибоедова в ссоре Завадовского с Шереметевым.

3 См. с. 353 наст. изд.

4 См. с. 41 наст. изд.

5 "Говорили в Петербурге тогда, — сообщает Н. В. Сушков, — будто бы они (отец и мать В. В. Шереметева. — П. К., С. Ф.) умоляли Грибоедова, с которым В. В. был дружен, отдалить от него Истомину" (Н. В. Сушков. Московский университетский благородный пансион... М., 1858, с. 12).

СЛЕДСТВЕННОЕ ДЕЛО А. С. ГРИБОЕДОВА

По автографу: ЦГАОР, ф. 48, оп. 1, д, № 174. На обложке

"Дела" значится: "Грибоедов. Коллежский асессор, служащий по дипломатической части при Главноуправляющем в Грузии. На 24 листах".

Следственное дело Грибоедова было впервые изучено П. Щеголевым и издано им (см.: П. Е. Щеголев. Грибоедов и декабристы. СПб., 1905) фототипически на архивной бумаге, что вплоть до 1920–х годов приводило к неоднократным недоразумениям, получившим отражение в газетных сообщениях о том, что у того или иного частного лица хранится "подлинное следственное дело" Грибоедова. Действительно подлинное дело находится в ЦГАОР. Подробное описание и анализ его см. в кн.: М. В. Нечкина. Следственное дело о А. С. Грибоедове. М.–Л., 1945.

В наст. изд. оно воспроизводится полностью с восстановлением хронологической последовательности заключенных в нем документов (предпосланные им номера обозначают их фактическое расположение в архивном деле).

1 После выписки из показаний Артамона Муравьева в "Деле" следуют три тщательно зачеркнутые строчки, завершенные знаком вопроса и заключенные в скобки.

2 На основании показаний Трубецкого Следственный комитет 26 декабря 1825 г. вынес решение "взять под арест" и "представить императорскому величеству" Грибоедова. Это решение на следующий день было утверждено Николаем I; приказ об аресте Грибоедова был подписан 2 января, однако фельдъегерь Уклонский выехал из Петербурга, по–видимому, не раньше, чем неделю спустя (он прибыл в крепость Грозную 22 января; на обратный путь было затрачено 13 дней, с 30 января по 11 февраля) (см.: Нечкина, с. 553–555, 567–568).

3 Показания Грибоедова 11 февраля 1826 г. записаны генералом Левашевым. Его же рукой после записи показаний карандашом помечено: "Спросить у Адуевского" (карандашная помета частично закрыта росписью генерала). Ниже, также карандашом, но другой рукой записано: "Трубец<кой>, (21 ст<раница>) знает от Рылеева, что он принял Грибоедова?" (сбоку выставлена дата последней записи "24 февр.", т. е. в день допроса Грибоедова в Следственном комитете).

4 Как показывают материалы следствия, вопрос этот особенно интересовал Следственный комитет – благоприятные ответы опрошенных сыграли важнейшую роль в счастливом для Грибоедова окончании его дела.

5 Показание Рылеева, очевидно намеренно неверное, имело решающее значение в деле Грибоедова, так как свидетельства Трубецкого и Оболенского о Грибоедове как о члене тайного общества восходили именно к Рылееву. Однако следует иметь в

виду, что Рылеев, являясь членом Коренной думы Северного общества, имел право принимать в него лиц самостоятельно, но был обязан сообщить об этом другим членам Думы – в данном случае таковыми оказались, по–видимому, Оболенский и Трубецкой.

6 Вверху помечено чернилами: "№ 662" и "19 февраля 1826 г."; ниже – торопливая карандашная запись рукою И. И. Дибича: "Объявить, что этим тоном не пишут государю и что он будет допрошен". Обычно арестованных по делу декабристов в первый же день допрашивал сам император, о чем Грибоедов, несомненно, знал. Этим, по всей вероятности, и было вызвано решение Грибоедова написать Николаю I, с которым он встречался раньше; в письме к Бегичеву из Петербурга 10 июня 1824 г. он писал: "Вчера я нашел у Паскевича великого князя Николая Павловича; это до цензуры не касается, но чтоб дать понятие, где бываю и кого вижу" (ПССГ, т. III, с. 154).

7 Сверху вопросных пунктов в документе № 8 помета: "Читано 20 февраля", в документе № 14 – "Читано 25 февраля".

8 Последняя цифра может быть прочитана также как "6".

9 Грибоедов намеренно не упоминает о следствии по делу о "дуэли четверых".

10 См. об этом с. 382 наст. изд. Показательно, что Грибоедов совершенно не упоминает об изучении в университете "словесных наук".

11 Объединяя вместе ответы на пять вопросов, Грибоедов обдуманно избегает изложения нежелательных "подробностей".

12 Грибоедов был избран действительным членом Вольного общества любителей российской словесности 15 декабря 1824 г. (Щеголев, с. 34), то есть за пять месяцев до отъезда из Петербурга.

13 Вверху вопросных пунктов помета: "Читано 16 марта".

14 Показания В. И. Сухачева (не имеющего отношения к тайным обществам) см. в сб.: "Декабристы" (М.–Л., 1926, с. 119–123).

15 Вверху помета: "Копия". Этот текст заключения по делу Грибоедова был подготовлен Следственным комитетом 25 февраля 1826 г. после его первого допроса, но тогда Николай I велел Грибоедова "оставить пока у дежурного генерала" (Нечкина, с. 571). Это объяснялось не только намерением выяснить связи Грибоедова с Южным обществом (ср. "второй круг" следствия по делу Грибоедова, завершенный допросом 15 марта), но и ожиданием донесения кн. Меншикова, еще до ареста Грибоедова командированного на Кавказ с целью выяснить настроения в Кавказском корпусе Ермолова. В секретном предписании Меншикова полковнику Бартоломею значился, в частности, следующий пункт: "Беречься Грибоедова и собрать о нем сведения", что отражало предписание императора – "чтоб о Грибоедове узнал" (ЛН, т. 47–48, с. 241–242). Донесение Меншикова Николаю I было благоприятным для Ермолова; о Грибоедове в нем не было ни слова. 15 декабря 1836 г. хорошо осведомленный Л. И. Тургенев записал в дневнике: "... о Михаиле Орлове, о Киселеве, Ермолове и князе Меншикове. Знали (о замыслах декабристов. – П. К., С. Ф.) И ожидали: "без нас не обойдутся" ("А. С. Пушкин в воспоминаниях современников", т. 2. М., 1974, с. 172).

16 Кроме Трубецкого и Оболенского, Грибоедова "членом тайного общества– почитали" Н. Н. Оржицкий и А. Ф. Бригген (Нечкина, с. 471 – 473).

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ М. Я. ФОН ФОКА

По изд.: "Литературное наследство", т. 60, кн. 1, с. 485–491.

М. Я. фон Фок – управляющий III Отделением канцелярии его величества (то есть политического сыска). "Обширное знакомство и связи в высшем обществе Петербурга давали ему возможность видеть и знать, что делалось и говорилось в среде тогдашней

аристократии, в литературных и прочих кружках населения столицы. В помощь ему для наблюдения за настроением других классов населения столицы завербованы были разные агенты... В числе этих агентов попадались иногда и люди большого света; были литераторы, и весьма плодовитые, бывали и дамы, и девицы, вращавшиеся в высших кругах общества..." (Мих. Лемке. Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг. СПб., 1909, с. 27).

Первое из донесений фон Фока, помещенных здесь, составлено на основании беседы агента с прибывшим в Петербург адъютантом Ермолова, Талызиным, два другие, по всей вероятности, подготовлены Булгариным.

1 В письме к В. С. Миклашевич от 3 декабря 1828 г. (цитируется неточно). Об этом же см. в письме к И. Ф. Паскевичу от 3 декабря 1828 г.: "Дружбы ни с кем не имею, и не хочу ее, уважение к России и ее требованиям, вот мне что нужно". Грибоедову вообще не были свойственны верноподданнические настроения, о чем, в частности, свидетельствует следующая фраза из его письма: "Я буду вдвое старательнее за себя и за нее <жену>. Потружусь за царя, чтобы было чем детей кормить" (ПССГ, т. III, с. 221).

2 Об отношении к себе Аббас–Мирзы Грибоедов писал П. А. Катенину: "Я, наконец, опять в Табризе. Владетельный Шах–Заде–Наиб–Султан–Аббас–Мирза, при котором мы честь имеем находиться, и, в скобках сказать, великий мне недоброжелатель..." (ПССГ, т. III, с. 137).

3 Дж. Кемпбелл. См. с. 362 наст. изд.

И. С. МАЛЬЦЕВ

Мальцев Иван Сергеевич (1807–1880) – первый секретарь российской миссии в Персии. Выбран Грибоедовым по совету С. А. Соболевского, который сам отказался принять этот пост (РС, 1891, февраль, с. 254). При разгроме миссии Мальцев спрятался в частном доме и избежал общей участи. После возвращения из Персии написал несколько донесений, адресованных гр. Нессельроде, появившихся в печати в разное время и сведенных воедино в кн.: "А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников". Л., 1929; здесь же см. сведения о первых публикациях донесений – с. 329–330. Следует, однако, иметь в виду, что описание самого разгрома составлено им со слов персидских чиновников, а изложение причин катастрофы дано в основном в духе официальной версии, принятой русским правительством. 9 мая 1829 г. Мальцев, "во внимание к примерному усердию и благоразумию, оказанным во время

возмущения в Тегеране", был награжден орденом Владимира 4–й степени ("Архив Раевских", т. 1. СПб., 1908, с. 439). В дальнейшем Мальцев – крупный чиновник министерства иностранных дел и фабрикант (см.: С. В. Шостакович. О секретаре грибоедовской миссии И. С. Мальцеве. – "Труды Иркутского гос. университета", т. XXV. Серия историко–экономическая, вып. I. Иркутск, 1958, с. 137147).

ИЗ ДОНЕСЕНИЙ

По тексту книги: "А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников". Л., 1929, с. 185–198.

1 "Цифири" – код для расшифровки секретной переписки.

2 Туркманчайским договором был установлен специальный церемониал приема шахом русских послов, ставивший их в привилегированное положение по отношению к другим дипломатам в Персии (см. коммент. 8 на с. 416 наст. изд.).

3 Мирза–Якуб (Якуб Маркарян) – армянин из Эривани, в 1804 г. был взят в плен персами, оскоплен; служил вторым евнухом (казначеем) шахского гарема. По условиям Туркманчайского договора он, как уроженец земель, отошедших к России, имел право возвратиться на родину.

4 Манучар–хан, уроженец Тифлиса, был взят в плен персами в 1804 г. Как главный евнух играл важную роль при шахском дворе. В феврале 1828 г. был личным представителем шаха на переговорах в Туркманчае, а впоследствии занимался выплатой контрибуции (РВ, 1890, июль, с. 164–168).

5 Во II статье "Особого акта, заключенного в Туркманчае 10 февраля 1828 г." по этому вопросу утверждено: "Если одна из двух сторон, не будучи снабжена документами письменными и засвидетельствованными, как выше сказано, и долженствующими иметь силу во всяком судебном месте, начнет иск на другую и не представит других доказательств, кроме свидетелей, таковой иск не должен быть допущен, разве ответчик сам признает оный законным" (Т. Юзефович. Договоры России с Востоком, политические и торговые. СПб., 1869, с. 223–224).

6 Ненависть, разжигаемая Аллаяр–ханом к Рустам–беку, будет понятна, если вспомнить, что именно Рустам–бек взял его в плен в Тавризе во время русско–персидской войны [РА, 1891, № 10, с. 188–189).

7 "Направление князя Меликова к Грибоедову было всего лишь новой попыткой шаха запугать русского министра, чтобы под угрозой разгрома миссии добиться выдачи Мпрзы–Якуба" (Шостакович, с. 232).

8 Вместе с Грибоедовым погибли второй секретарь миссии К.

Ф. Аделунг, врач Мальмберг, переводчик штабс–капитан Шахназаров (Мирза–Нарриман), переводчик при Мальцеве П. Калатозов (Калатозишвили), переводчик Соломон Медиков, чиновник "для рассылок и разных поручений" Соломон Кобулов (Кобулашвили), заведующий прислугой Рустам–бек, казначей Дадаш–бек (Василий Дадатев), курьеры Исаак Саркисов, Хачатур Шахназаров, Симеон Шахнулов, слуги Грибоедова Александр Грибов и Семен Захаров и др.

9 Ссылка Мальцева на незнание персидского или татарского языков неосновательна, так как у него был собственный переводчик (П. Калатозов).

10 Шахназаров хорошо зарекомендовал себя как во время русско–персидской войны, так и в ходе переговоров в Туркманчае; в отношении от 8 сентября 1828 г. к Паскевичу Грибоедов дал своему первому переводчику прекрасную аттестацию" (А. С. Грибоедов. Полн. собрание сочинений, т. I. СПб., 1889, с. 276–277). Утверждение Мальцева, будто Шахназаров был подкуплен Мирзой–Якубом, является официальной персидской версией, возлагавшей вину за трагические события в Тегеране на самих сотрудников миссии.

11 Мальцев сводит причину тегеранской трагедии к борьбе шаха за возвращение Мирзы–Якуба, что дает упрощенное представление о ее причинах.

12 В конце 1829 – начале 1830 г. Мальцев все же был направлен в Персию генеральным консулом в Тавризе на время отпуска Амбургера (РС, 1872, август, с. 207).

РЕЛЯЦИЯ ПРОИСШЕСТВИЙ, ПРЕДВАРЯВШИХ И СОПРОВОЖДАВШИХ УБИЕНИЕ ЧЛЕНОВ ПОСЛЕДНЕГО РОССИЙСКОГО ПОСОЛЬСТВА В ПЕРСИИ

По тексту книги: "А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников". Л., 1929, с. 151–184.

Впервые на русском языке "Реляция" была опубликована в переводе из французского журнала "Nouvelles annales des voyages et des sciences geographiques" (1830, t. 48, p. 337–367) Е. Серчевским в неполном виде в книге "Грибоедов и его сочинения" (СПб., 1858). Полный перевод статьи из того же источника опубликован в кн.: "А. С. Грибоедов. Его жизнь и гибель в мемуарах современников" (Л., 1929). "Реляция", – утверждает С. В. Шостакович, – представляет собою документ англо–иранского происхождения. Это почти дословный, с очень небольшими купюрами, перевод на французский язык статьи из английского журнала "Blackwood's Edinburgh Magazine", опубликованной под названием "Narrative of the Proceedings of the Russian Mission from

its Departure from Tabreez on 14–th Jummade until its Destruction on Wednesday the 6–th of Shabban". "Реляция" опубликована анонимно, как рассказ "персиянина", якобы сопровождавшего русского посланника в пути по Ирану до Тегерана и бывшего при русской миссии в столице шаха в январе 1829 г., в частности в день гибели посольства. Внимательное изучение "Реляции" показывает, что у лиц, ее опубликовавших, несомненно, был в распоряжении иранский материал о разгроме миссии. Отдельные детали "Реляции" настолько характерны, что трудно представить, что они взяты не из рассказа очевидца нападения на русскую миссию. Но весь рассказ настолько европеизирован, так далек по своей манере от рассказов иранских историков и сообщений иранских вельмож, что совершенно несомненно: материалы очевидца или очевидцев подверглись основательной "правке", в результате чего был создан тенденциозный и нередко противоречивый рассказ о событиях в Тегеране, искажающий и фальсифицирующий подлинную картину гибели русской миссии" (Шостакович, с. 212). Материал был передан в журнал Дж. Уиллоком (английским офицером, братом дипломата Генри Уиллока) по рекомендации Джона Макниля. Не подлежит сомнению, что если даже первоначальный источник статьи – персидский, окончательный текст отредактирован Уиллоком и Макнилем.

1 Мехмандарем (чиновник, прикомандированный персидским правительством для обслуживания почетных лиц) при посольстве Грибоедова был Назар Али–хан.

2 Ферраш–баши – начальник феррашей (стражников, прислуги).

3 Это первый (пока еще косвенный) выпад против Дадага–бека и Рустам–бека, на протяжении всей "Реляции" охарактеризованных исключительно в отрицательных тонах. Нельзя забывать, однако, что последний из них в свое время пленил Аллаяр–хана (см. с. 413 наст. изд.), роль которого в раздувании русофобских настроений в Персии чрезвычайно велика; Паскевич даже предполагал в письме Нессельроде от 23 февраля 1829 г., что "начало самого возмущения, коего Грибоедов сделался жертвою, произошло от Аллаярхана, который был главною пружиною предшествовавшей войны и признается всегда явным неприятелем Аббас–Мирзы и сильнейшею опорою враждующих к нему братьев" (АКАК, т. VII, с. 673).

4 Особенностью "Реляции" является внешне сочувственное отношение к Грибоедову, слитое, однако, с постоянно акцентируемой мыслью о неподготовленности его к возложенной миссии, о незнании местных обычаев и т. п., что обличает

пристрастность автора "Реляции", исподволь подготавливающего мнение читателей о "собственной вине" русского полномочного министра в тегеранской катастрофе и навязывающего тем самым официальную персидскую (и английскую) версию обстоятельств дела, охотно принятую, как известно, впоследствии и царским правительством.

5 Характерное противопоставление поведения английской и русской прислуги свидетельствует о проанглийских пристрастиях автора "Реляции".

6 Фураганы – очевидно, шахская кавалерия из провинции Фераган.

7 Все эти подробности едва ли могли быть известны столь незначительному лицу, как секретарь мехмандаря, который будто бы является автором "Реляции".

8 "...При заключении Туркманчайского трактата стороны разработали специальный церемониал приема русских дипломатических представителей шахским двором и подписали о том отдельный протокол. Согласно этому протоколу, русский посланник и его свита являлись во дворец в сапогах и калошах; прибыв во дворец, они снимали калоши и в тронный зал ступали в чистых сапогах. Русскому посланнику было также предоставлено право во время аудиенции сидеть в присутствии шаха" (Шостакович, с. 215).

9 О Мирзе–Якубе см. на с. 413 наст. изд., а также: Попова, с. 164–167. Здесь, в частности, излагается версия романа Д. Л. Мордовцова "Железом и кровью", по которой "заговорщики, воспользовавшись несчастной судьбой Мирзы–Якуба, спровоцировали его уход под защиту русского посла, чтобы поставить Грибоедова в безвыходное положение и покончить с ним". Возможно, Мордовцеву была известна книга английского дипломата Дж.–Э. Александера "Путешествие из Индии в Англию", изданная в Лондоне в 1827 г., которая дает основание считать, что Мирза–Якуб был связан с английскими резидентами в Персии (см. с. 98, 125 указанной книги).

10 Грибоедов действовал и в этом, и в других подобных случаях в соответствии с инструкцией министерства иностранных дел, в которой отмечалось: "Если... невинный будет тесним и угрожаем казнию... то в таком случае вооружитесь всею торжественностию помянутого акта для чести русского имени и в защиту угнетаемого просителя" (ПССГ, т. III, с. 274).

11 Опять в "Реляции" противопоставляются российская и английская политика в Персии.

12 Это явно пристрастное суждение автора "Реляции" противоречит многочисленным свидетельствам о мужестве

русской миссии во время побоища, в том числе и сведениям, сообщаемым далее.

13 "Одна очень важная деталь этого эпизода... – отмечает Шостакович, – заставляет особенно задуматься. Дело в том, что Уотсон в своей "Истории Персии" подчеркивает, что нападавшие на дворы британской миссии не причинили ни малейшего ущерба чему–либо из британского имущества. Это же обстоятельство, – "разъяренная толпа не нанесла ни малейшего ущерба чему–либо, являвшемуся британской собственностью", – отмечает и Джон Макниль... Мыслимо ли вообще представить, чтобы сами обезумевшие фанатики во время резни русских четко отличали бы "дружественное" – британское от "враждебного" – русского, если бы не было среди них подстрекателей и вожаков, надлежащим образом наставленных организаторами разгрома русской миссии" (Шостакович, с. 235–236).

Именной указатель [*]

[*] В указатель вошли имена, встречающиеся в основном тексте; из комментариев и вступительной статьи введены имена лиц грибоедовского окружения. Аннотации содержат лишь сведения, необходимые для понимания текста; имена мемуаристов и общеизвестные имена не аннотируются. Указатель составила В. В. Зайцева.]

А. И. К., гр. – см. Коноввицына А. И. Абаленский – см. Оболенский.

Аббас–Мирза (Наиб–султан; 1782–1833), сын Фет–Али–шаха, наследник персидского престола с 1816 г.

Абдул Вахаб–мирза (Моатемид–эд–Даулэ; ум. в 1829 г.), министр, один из ближайших советников шаха.

Абдулла–мирза, сын шаха.

Абул–Гусейн–хан, мирза, племянник министра иностр. дел Мирзы Абул–Хасан–хана, тегеранский мехмандарь.

Абул–Хасан–хан, мирза (Абул–Гасан–хан), министр иностр. дел Персии.

Абуль–Касим, мирза (каймакам; ум. В 1835 г.), управляющий Нелами

Аббас–Мирзы.

Авралов Павел Васильевич (1791–1836), полковник.

Ага–Могаммед–Али, помощник ферраш–баши Аббас–Мирзы.

Адамс, учитель музыки в доме А. Ф. Грибоедова.

Аделут Александра Федоровна ("Александрина"), сестра К. Ф. Аделунга.

Аделунг К. Ф.

Аделунг Федор Павлович (1768–1843), отец К. Ф. Аделунга, историк.

Адуевский – см. Одоевский А. И.

Акакий Кондратьевич, преподаватель в доме П. Н. Ахвердовой.

Акинфиева (Акинфьева) Елизавета Федоровна (рожд. Грибоедова), тетка Грибоедова.

Акинфиевы (Акинфьевы).

Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859).

Аксентий Трифонович, преподаватель в доме П. Н. Ахвердовой.

Александр, Алексаша – см. Грибов А. Д.

Александр I Павлович (1777–1825), император с 1801 г.

Александр Македонский (356–323 гг. до н. э.).

Александр Николаевич, вел. кн. (1818–1881), сын Николая I, будущий ими.

Александр II.

Александрина – см. Аделунг А. Ф.

Алексеев Дмитрий Илларионович, статский советник, екатеринославский предводитель дворянства.

Алексеев Матвей, камердинер Н. В. Шимановского.

Алексеев Михаил Семенович, ошибочно – см. Алексеев С. И.

Алексеев Степан Илларионович, отст. коллежский советник.

Алексей Петрович – см. Ермолов А. П.

Али–Верди, кондитер.

Али–Нагги, мирза, сын шаха, правитель Казвина.

Али–шах (Зилли–Султан), сын шаха, губернатор Тегерана.

Аллаяр–хан (Али–Яр–хан, Аллах–Яр–хан).

Алябьев Александр Александрович (1787–1851), композитор.

Амбарцум – см. Ибрагим–бек.

Амбургер Андрей Карлович (ум. в 1830 г.), сослуживец Грибоедова с 1818 г.; в 1828 г. – генеральный консул в Тавризе.

Амманула–хан, офицер. Аммин–эд–Даулэ, министр.

Андреев Андрей Николаевич – подпоручик л.–гв. Измайлсзского полка, декабрист.

Андреев В. А.

Андро Анна Алексеевна (рожд. Оленина; 1808–1888), дочь А. Н. Оленина.

Арсеньев, офицер Нижегородского драгунского полка.

Архарова Екатерина Александровна (рожд. Римская–Корсакова; 1755–1836). Ахвердов Егор Федорович, пасынок П. Н. Ахвердовой, адъютант Н. Н. Муравьева–Карского.

Ахвердов Федор Исаевич (1774–1820), генерал–майор,

начальник артиллерии Отд. Кавказского корпуса.

Ахвердова Анна Андреевна, племянница Ф. И. Ахвердова.

Ахвердова Прасковья Николаевна (рожд. Арсеньева; ок. 1786–1851), жена Ф. И. Ахвердова, близкий друг Грибоедова.

Ахвердова Софья Федоровна (1810–1830), падчерица П. Н. Ахвердовой, жена Н. Н. Муравьева–Карского.

Ахвердовы.

Ахлопков Алексей Сергеевич (1769–1844), действ. статский советник.

Ахмет–хан, сын тавризского губернатора Фет–Али–хана.

Багратион–Мухранский, кн.

Байрон Джордж Ноол Гордон (1788–1824).

Балк–Полев Петр Федорович (1777–1849), посланник в Бразилии.

Баратаев (Бараташвили) Михаил Петрович, кн. (1784–1856), отст. штаб–ротмистр, симбирский губернский предводитель дворянства.

Баратынский Евгений Абрамович (1800–1844).

Барон Брамбеус (псевд.) – см. Сенковский О. И.

Барт Никола Тома (1734–1785), франц. поэт и драматург.

Бартенев Петр Иванович (1829–1912), археограф, библиограф, историк.

Бартоломей Федор Федорович (1800–1862), полковник, в 1826 г. причислен к миссии Меншикова в Персию.

Барятинский Александр Петрович, кн. (1798–1844), штаб–ротмистр л.–гв. гусарского полка, декабрист.

Батеньков Гавриил Степанович (1793–1863), декабрист.

Батюшков Константин Николаевич (1787–1855),

Баузе Федор Григорьевич (1752–1812), проф. Римского права, истории и педагогики Моск. ун–та.

Бахтин Николай Иванович (1796–1869), критик, издатель П. А. Катенина.

Баччиоки Элиза (1777–1820), сестра Наполеона I, великая герцогиня Тосканская.

Бебутов Арсений, кн.

Бебутов Василий Осипович, кн. (1791–1858), генерал от инфантерии.

Бебутов Давид Осипович, кн. (1793–1867), брат В. О. Бебутова, офицер Отд. Кавказского корпуса.

Бебутова, кнж., дочь А. Бебутова.

Бегичев Д. Н., брат С. Н. Бегичева, литератор. Бегичев С. Н.

Бегичева Александра Васильевна (рожд. Давыдова), жена Д. Н. Бегичева, сестра Д. В. Давыдова.

Бегичева Анна Ивановна (рожд. Барышникова), жена С. Н. Бегичева.

Бегичевы.

Беглер–бей – см. Фет–Али–хан.

Бегляров (Мелик–Бегляров) Шемир (Шамир), переводчик российской миссии в Персии.

Бежанов Рустем (Рустам–бек, Рустем–бег), канцелярист, служащий посольства Грибоедова.

Бей–Булат Таймазов (1779–1832), капитан, деятель национально–освободительного движения Чечни.

Белинский Виссарион Григорьевич (1811–1848).

Белугин Пилар (псевд.) – см. Писарев А. И.

Бельфор (Бельфорт) Иван Федорович, гр., офицер Отд. Кавказского корпуса.

Бенигсен Леонтий Леонтьевич (1745–1826), генерал от кавалерии.

Бенкендорф Александр Христсфорович, гр. (1783–1844), шеф жандармов и начальник III Отделения.

Бестужев – см. Бестужев (Марлинский) А. А.; Бестужев–Рюмин М. П.

Бестужев (Марлинский) А. А.

Бестужев Михаил Александрович (1800–1871), декабрист.

Бестужев Павел Александрович (1808–1846), юнкер Артиллерийского училища; год провел в Бобруйской крепости, переведен на Кавказ.

Бестужев П. А.

Бестужев–Рюмин Михаил Алексеевич (1798–1832), журналист издатель.

Бестужев–Рюмин Михаил Павлович (1803–1826), подпоручик Полтавского пех. полка, декабрист.

Бестужевы, братья.

Бетховен Людвиг ван (1770–1827).

Бибикова Екатерина Евдокимовна (рожд. Щербинина), тетка А. В. Бегичевой.

Бобарыкин Дмитрий Александрович (ок. 1795–1820), поручик, причислен к посольству Ермолова.

Боде Александр Карлович, литератор и агроном.

Боде К. К..

Бок Иван Самойлович (р. в 1755 г.), инспектор СПб. театр, училища.

Бородин Афанасий Иванович (ум. в 1828 г.), командир Ширванского полка.

Бриммер Э. В.

Бруевич, коллежский асессор.

Бруни Федор Антонович (1799–1875), художник.

Брянцев Андрей Михайлович (род. В 1749 г.), проф. Философии Моск. ун–та.

Буальдье Франсуа Адриен (1775–1834), франц. композитор.

"Буква ъ" (псевд.). – см. Соц В. И.

Булахов Петр Александрович (ум. в 1835 г.), певец.

Булгаков Александр Яковлевич (1781–1863), моск. почт–директор с 1831г.

Булгаков Константин Яковлевич (1782–1835), петерб. почтдиректор, брат

А. Я. Булгакова – 405.

Булгарин Фаддей Венедиктович (1789–1859).

Буле (Буль) Иоганн Теофил (1763–1821), проф. естественного права и теории изящных искусств Моск. ун–та.

Бунаков, студент Моск. ун–та. Буринский.

Бутурлин, офицер.

Быков Василий Васильевич, штабс–капитан л.–гв. Павловского полка.

Бюргер Готфрид Август (1747–1794), нем. поэт.

Ваксель Павел Васильевич.

Вальховский В. Д. – см. Вольховский В. Д.

Вальян Франсуа де (1753–1824), франц. путешественник.

Ван Дейк Антонис (1599–1641), фламандский художник.

Ванька–Каин – см. Корганов И. О.

консульства в Персии – 186–188.

Вебер Карл Мария, фон (1786–1826) – 107.

Вельяминов Алексей Александрович ("начальник штаба"; 1785–1838), генерал–майор; начальник штаба Отд. Кавказского корпуса.

Вельяминов Иван Александрович (1771–1837), генерал–лейтенант, управляющий гражд. частью в Грузии; с 1827 г. – генерал–губернатор Западной Сибири.

Веригины, офицеры.

Верстовский Алексей Николаевич (1799–1862), композитор.

Верховский Евстафий Петрович (ум. в 1823 г.), обер квартирмейстер, полковник.

Виельгорский (Вьельгорский) Михаил Юрьевич, гр. (1788–1856), музыкальный деятель, композитор и критик.

Виноградская.

Виртембергский – см. Вюртембергский А.

Витгенштейн Петр Христианович, гр. (1769–1843), главнокомандующий 2–й армией, позднее фельдмаршал.

Воейков Николай Павлович (1800–1871), штабс-капитан л.-гв.

Московского полка, адъютант Ермолова.

Волконская Зинаида Александровна (рожд. Белосельская–Белозерская, кн.; 1792–1862), хозяйка литературно–музыкального салона в Москве.

Волконский Сергей Григорьевич, кн. (1788–1865), генерал–майор, декабрист.

Вольховский (Вальховский) Владимир Дмитриевич (1798–1841), обер-квартирмейстер Отд. Кавказского корпуса.

Воронцов Михаил Семенович, гр. (1782–1856), новороссийский и бессарабский генерал–губернатор.

Воротников Александр Васильевич (1805–1840), актер.

Всеволожский Александр Всеволодович (1793–1864), помещик, заводчик и промышленник, приятель Грибоедова.

Всеволожский Никита Всеволодович (1799–1862), основатель общества "Зеленая лампа".

Вьельгорский – см. Виельгорский М. Ю.

Вюртембергский (Виртембергский) Александр, герцог (1771–1833), брат имп. Марии Федоровны, главноуправляющий ведомством путей сообщения.

Вяземская Вера Федоровна, кн. (рожд. Гагарина; 1790–1886), жена П. А. Вяземского.

Вяземские. Вяземский П. А.

Г. А.

Габбидула–хан, офицер.

Гаврилов Матвей Гаврилович (1759–1829), проф. Славянского языка и словесности, теории изящных искусств и археологии Моск. ун–та.

Гади–Бей, брат Мохаммед–Али–Султана. Газан.

Гайдн Франц Йозеф (1732–1809), австр. композитор.

Ганнибал Мария Алексеевна (рожд. Пушкина; 1745–1818), бабка А. С. Пушкина.

Гарткнохе (1775–1834), пианист, композитор. Гвардейский офицер — см. Игнатьев П.Н.

Гейм Иван Андреевич (1758–1821), проф. истории и статистики, ректор Моск. ун–та.

Генисьен Петр Иванович, корнет Моск. гусарского полка.

Герцен Александр Иванович (1812–1870).

Гессе Карл Федорович (1788–1842), генерал–лейтенант, с 1827 г. – управляющий Имеретией, Гурией и Мингрелией.

Гете Иоганн Вольфганг (1749–1832).

Гиацинтов Афанасий Иванович, учитель в доме П. Н. Ахвердовой.

Гиббон Эдуард (1737–1794), англ. историк.

Гиерта.

Глинка Михаил Иванович (1804–1857).

Глинка Николай Григорьевич (1810–1839), племянник В. К. Кюхельбекера.

Глинка Федор Николаевич (1786–1880), поэт и публицист; декабрист.

Гнедич Николай Иванович (1784–1833), поэт и переводчик.

Гоашатур – см. Шахназаров Х.

Говен Р. И. – см. Ховен Р. И.

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852).

Гозиуш Карл Карлович, полковник путей сообщения.

Голицына Евдокия Ивановна, кн. (рожд. Измайлова; 1780–1850), хозяйка литературного салона.

Гольдбах Фридрих (ум. в 1811 г.), проф. астрономии Моск. ун–та.

Гольден–Исмаил–хан.

Горчаков Петр Дмитриевич, кн. (1789–1868), генерал Отд. Кавказского корпуса.

Греч Николай Иванович (1787–1867), писатель, журналист, сторонник официальной народности.

Грибов Александр Дмитриевич, камердинер Грибоедова.

Грибоедов Александр, сын Грибоедова.

Грибоедов Алексей Федорович (р. в 1769 г.), дядя Грибоедова.

Грибоедов Михаил Михайлович, двоюродный брат В. И. Лыкошина, дальний родственник Грибоедова.

Грибоедов Сергей Иванович (1760–ок. 1815), отец Грибоедова, секунд–майор в отставке.

Грибоедова Александра Сергеевна, кн. (рожд. Одоевская), первая жена А. Ф. Грибоедова, мать Е. А. Паскевич.

Грибоедова Анастасия Семеновна (рожд. Нарышкина; ум. в 1830 г.), вторая жена А. Ф. Грибоедова.

Грибоедова Анна Федоровна, тетка Грибоедова.

Грибоедова Е. А. – см. Паскевич Е.А.

Грибоедова Настасья Федоровна (рожд. Грибоедова; 1768–1839), мать Грибоедова.

Грибоедова Нина Александровна (рожд. Чавчавадзе; 1812–1857), жена Грибоедова.

Григорьев Василий Никифорович (1803–1876), поэт, переводчик.

Григорьев Петр Иванович (1806–1871), актер.

Грузинская Дарья Леоновна, кнж., кузина В. И. Лыкошина.

Гуссейн–хан – см. Хусейн–хан.

Давыдов Василий Львович (1792–1855), отст. полковник,

декабрист.

Давыдов Д. В.

Давыдовы, братья.

Дадаш–бек – см. Дадашев В.

Дадашев Василий (Дадаш–бек), переводчик и казначей российской миссии в Персии.

Дамиш, фельдъегерь.

Дашков Дмитрий Васильевич (1788–1839), дипломат.

Дашкова Екатерина Романовна, кн. (1744–1810), президент Академии наук.

Дейтрих, офицер Кавказской гренадерской артиллерийской бригады.

Декарт Рене (1596–1650), франц. философ, математик, физик и физиолог.

Дельвиг Антон Антонович (1798–1831).

Джигангир–хан, старшина племени Шагагни.

Дибич Иван Иванович, гр. (1785–1831), начальник Главного штаба, генерал–фельдмаршал.

Дмитревский Д. И., студент Моск. ун–та.

Дмитриев Иван Иванович (1760–1837), поэт.

Дмитриев Михаил Александрович (1796–1866), поэт, критик, переводчик.

Добринский Александр Александрович (ум. в 1860 г.), поручик л.–гв. Финляндского полка, декабрист.

Долбилов (Долбилин), актер.

Долгоруков Николай Андреевич, кн. (1792–1847), генерал–майор, посланник в Персии в 1829–1830 гг.

Долгорукова Варвара Сергеевна, кн. (1793–1833), в ее семье Ю. К. Кюхельбекер была воспитательницей.

Дудышкин Степан Семенович (1820–1866), журналист.

Дурново Алексей Михайлович (1792 – ок. 1849), муж М. С. Грибоедовой, музыкант–любитель.

Дурново (Дурнова) Мария Сергеевна (рожд. Грибоедова; 1792–1856), сестра Грибоедова.

Дюелио (Duello), француз, компаньон шелковичной фабрики в Тифлисе.

Дюр Николай Осипович (1807–1839), актер.

Дядя Гарри – см. Ралль А. Ф.

Екатерина Акакиевна. Екатерина II (1729–1796).

Ермолов Алексей Петрович (1777–1861), генерал, главноуправляющий в Грузии, командующий Отд. Кавказским корпусом (1816–1827 гг.).

Ермолов Петр Николаевич (1787–1844), офицер Отд.

Кавказского корпуса.

Ермолов Сергей Николаевич, офицер Отд. Кавказского корпуса.

Ефимовичи (Ефимовские) Андрей Петрович (р. в 1787 г.) и Михаил Петрович (ум. в 1819 г.), гр., соученики Грибоедова но Моск. ун–ту.

Жандр Андрей Андреевич (1789–1873), драматург, близкий друг Грибоедова.

Жандр Прасковья Петровна (рожд. Порецкая; 1818–1906), жена Жандра А. А. Жихарев, подполковник Гвард. генерального штаба.

Жуковский Василий Андреевич (1783–1852).

Жуковский Михаил Петрович, капитан, адъютант А. Н. Потапова.

Завадовский Александр Петрович, гр. (1794–1856), камер–юнкер.

Завалишин Д. И..

Завелейский (Завилейский) Петр Демьянович (1800–1843), тифлисский гражд. губернатор в 1829–1831 гг.

Загоскин Михаил Николаевич (1789–1852), писатель, служил в дирекции Моск. имп. театров.

Замбони Людовиг (1768–1837), итал. певец. Захаревич, офицер.

Захаров Семен, камердинер К. Ф. Аделунга.

Зилли-Султан – см. Али-шах (Зилли-Султан).

Зограб-хан (Зураб-хан), личный казначей шаха.

Зосима, купец.

Зотов Рафаил Михайлович (1796–1871), беллетрист, драматург, театр, критик.

Зураб-хан – см. Зограб-хан.

Зять А. И. К. – см. Нарышкин М. М.

Иакинф – см. Шишкин И. И.

Ибрагим–бек (Амбарцум–бек), курьер российского посольства в Персии.

Иванова Александра Ивановна (1804–1830), певица.

Ивановский Андрей Андреевич (1791–1848), литератор, чиновник Следственного комитета по делу декабристов.

Игнатьев Павел Николаевич ("гвардейский офицер"; 1797–1879).

Измайлов Александр Ефимович (1779–1831), баснописец, журналист.

Иловайский Василий Дмитриевич (1785–1860), генерал–лейтенант, походный атаман Донских казачьих полков.

Имам–Верди, мирза, сын шаха.

Иогель Петр Андреевич (1768–1855), танцмейстер.

Ион Богдан Иванович (1787–1852), воспитатель Грибоедова.

Иосиф, священник.

Искрицкий Демьян Александрович (1803–1831), поручик Гвард. генерального штаба; декабрист.

Исмаил–хан (Исмаил–мирза), персидский сановник.

Истомина Евдокия (Авдотья) Ильинична (1799–1848), балерина.

Каверин Петр Павлович (1794–1855), поручик л.-гв. Гусарского полка (1816–1819), член Союза Благоденствия.

Кази–Мулла (ум. в 1832 г.), первый дагестанский имам мюридов.

Каймакам – см. Абуль–Касим, мирза.

Калашников, домовладелец.

Кальм Федор Григорьевич (1788–1839), генерал–майор, член Союза Благоденствия.

Канкрин Егор Францевич, гр. (1774–1845), министр финансов.

Каподистрия Иоаннис (Иван Антонович), гр. (1776–1831), в 1816–1822 гг. совместно с Нессельроде управлял Коллегией иностр. дел.; управляющий делами Бессарабской обл.

Карамзин Николай Михайлович (1766–1826), писатель, историк.

Карамзины ("юноши"), Александр Николаевич (1815–1888) и Андрей Николаевич (1814–1854), сыновья Н. М. Карамзина.

Каратыгин Андрей Васильевич (1774–1831), отец П. А. и В. А. Каратыгиных, актер.

Каратыгин Василий Андреевич (1802–1853), актер–трагик.

Каратыгин П. А.

Каратыгин Петр Петрович (1832–1888), сын мемуариста, беллетрист.

Каратыгина Любовь Осиповна (рожд. Дюр; 1805–1828), первая жена П. А. Каратыгина, актриса.

Катани.

Катенин Павел Александрович (1792–1853), поэт, драматург и критик; видный деятель ранних декабристских организаций.

Катон Старший, Марк Порций (234–149 гг. до н. э.), римский консул и писатель.

Катон Младший, Марк Порций Утический (95–46 гг. до н. э.), римский гос. деятель.

Каховский Николай Александрович (род. в 1802 г.), сын сводного брата Ермолова А. М. Каховского, офицер Отд. Кавказского корпуса.

Каховский Петр Григорьевич (1797–1826), отст. поручик, декабрист.

Каченовский Михаил Трофимович (1775–1842), проф. истории Моск. ун–та, журналист и переводчик.

Кемпбелл Джон, капитан, секретарь англ. миссии в Тавризе.

Кемпбелл, жена Д. Кемпбелла.

Кеппен Каролина Ивановна (рожд. Шульц; 1772–1851), мать П. И. Кеппена.

Кеппен Петр Иванович (1793–1864), муж А. Ф. Аделунг, лингвист, археолог.

Керим–хан, фарраш–баши.

Киселев Николай Дмитриевич (1802–1869), дипломат.

Ковалев, полковник, полицмейстер.

Ковалева Федосья Григорьевна (1811–1878), классная дама и учительница пения С-Пб. театр, училища.

Коваленский, студент Моск. ун–та.

Козлов Иван Иванович (1779–1840), поэт.

Козловский Викентий Михайлович, капитан.

Кокошкин Федор Федорович (1773–1838), драматург, директор моск. театров в 1823–1831 гг.

Колечицкая А. И..

Колечицкий Петр ("Пьер"), муж А. И. Колечицкой.

Кологривов, вероятно, Алексей Иванович (1777–1837), надворный советник.

Кологривов Андрей Семенович (ум. в 1825 г.), генерал, под начальством которого служил Грибоедов в 1813–1814 гг.

Кологривов Петр Александрович (ум. после 1850 г.), муж П. Ю. Кологривовой, отст. полковник.

Кологривова Прасковья Юрьевна (рожд. Трубецкая; 1762–1846), мать В. Ф. Вяземской.

Коновницына Анна Ивановна (рожд. Корсакова; ум. в 1843 г., "А. И. К."), теща М. М. Нарышкина.

Константин Павлович, вел. кн. (1779–1831), брат Николая I, главнокомандующий польской армией (1816–1831).

Корганов (Карганов, Курганов) Иван Осипович, адъютант Паскевича, известный как казнокрад и соглядатай, под кличкой "Ванька–Каин".

Корнель Пьер (1606–1684), франц. драматург.

Корнилович Александр Осипович (1800–1834), штабс-капитан Гвард. генерального штаба, декабрист.

Корсаков, вероятно, Римский-Корсаков Григорий

Александрович (1792–1852), отст. полковник, приятель П. А. Вяземского.

Корф, бар., муж Н. А. Когф.

Корф Модест Андреевич, бар. (1800–1876), директор Публичной библиотеки в 1849–1861 гг.

Корф Наталья Алексеевна (рожд. Вадбольская), родственница Лыкошиных. Косиковский, домовладелец.

Котляревский Петр Семенович (1782–1851), полковник, впоследствии генерал от инфантерии.

Котырев – майор, комендант Моздока.

Коцебу Мориц Августович, офицер Отд. Кавказского корпуса, сын Августа Коцебу.

Кошелев Александр Иванович (1806–1883), издатель, публицист–славянофил. Крамской Иван Николаевич (1837–1887), художник.

Краузе Адам Иванович, казначей канцелярии Ермолова.

Крашенинников Петр Иванович (ум. в 1864 г.), книгопродавец.

Крезе де Лессер Август, бар. – (1771–1839), франц. поэт и драматург.

Крылов Иван Андреевич (1769–1844).

Крюковский Матвей Васильевич (1781–1811), драматург.

Курганов – см. Корганов И. О.

Кутайсовы, возможно, Павел Иванович, гр. (1780–1840), сенатор и Прасковья Петровна (рожд. Лопухина; 1784–1870).

Кюхельбекер В. К.

Кюхельбекер Юлия Карловна (ок. 1789 – не ранее 1845), сестра В. К. Кюхельбекера.

Кюхельбекер Юстина Яковлевна (рожд. фон Ломен; 1757–1841), мать В. К. Кюхельбекера.

Лаваль Иван Степанович, гр. (1761–1846), камергер, тайный советник.

Лаваль Александра Григорьевна (рожд. Козицкая; 1772–1850), жена И.С. Лаваля.

Ланской Сергей Петрович (1789–1832), полковник кавалергардского полка.

Лафайет Жозеф, маркиз (1757–1834), франц. полит, деятель.

Лафонтен Август (1758–1831), нем. романист.

Лебедев.

Левашов (Левашев) Василий Васильевич (1783–1848), генерал–лейтенант, член Следственного комитета по делу декабристов.

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841).

Липранди И. П..

Лист, штабс–капитан. Лобанов, танцор.

Лобанов–Ростовский Александр Яковлевич, кн. ("Лобанов"; 1788–1866), соученик Грибоедова по Моск. ун–ту, впоследствии генерал–майор.

Лобанов–Ростовский Алексей Яковлевич, кн. ("Лобанов"; 1795–1848), соученик Грибоедова по Моск. ун–ту, впоследствии генерал–адъютант.

Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765).

Лонгинов Михаил Николаевич (1823–1875), библиограф, историк литературы. Лоредо, владелец кондитерской в Петербурге.

Лужницкий старец (псевд. М. Т. Каченовского, М. П. Погодина и П. Л. Яковлева).

Лыкошин Александр Иванович, брат мемуариста.

Лыкошин В. И.

Лыкошин Иван Богданович, отец мемуариста.

Лыкошина Анастасия Ивановна, сестра мемуариста.

Лыкошина Елизавета Ивановна, сестра мемуариста.

Лыкошина Мария Ивановна, сестра мемуариста.

Лыкошина Миронья Ивановна, мать мемуариста.

Лыкошины.

Львова–Синецкая Мария Дмитриевна (1795–1875), актриса.

Любимов Роман Васильевич, полковник, командир Тарутинского полка; член Союза Благоденствия; арестован и затем уволен из армии с установлением надзора.

Магомед–Али–бек, помощник ферраш–баши. Магомет – см. Мухаммед.

Мадатов Валериан Григорьевич, кн. (1782–1829), генерал–лейтенант Отд. Кавказского корпуса.

Мадатова, вероятно, жена В. Г. Мадатова.

Мазарович Семен Иванович (ум. в 1852 г.), врач посольства Ермолова в Персии; в 1818–1826 гг. – русский поверенный в делах Персии.

Мазарович, жена С. И. Мазаровича.

Мазаровичи Спиридон Иванович и Осип Иванович, братья С. И. Мазаровича.

Майер, учитель рисования в доме А. Ф. Грибоедова.

Майков Аполлон Александрович (1761–1838), директор СПб. имп. театров в 1821–1825 гг.

Майков Аполлон Николаевич (1821–1897), поэт.

Майков Василии Иванович (1728–1778), поэт.

Макаров, прапорщик Тифлисского пех. полка – 399.

Макаров Михаил Николаевич (ок. 1789–1847), поэт, историк литературы. Макдональд Джон (ум. в 1830 г.), англ. посланник в Персии в 1826–1830 гг.

Макдональд, жена Д. Макдональда.

Макниль Джон, секретарь и врач англ. миссии в Персии.

Макниль, жена Д. Макниля.

Малькольм Джон (1769–1833), англ. дипломат и историк, автор "Истории Персии".

Мальмберг, военный врач; сопровождал российскую миссию до Тегерана, где и погиб.

Мальцов (Мальцев) И. С.

Мамед–Али–хан, мирза (Мохаммед–Али–хан, мирза), визирь.

Манучар (Манучехр, Манучир) хан, главный евнух шахского гарема.

Мариньер де ла.

Мария Федоровна (1759–1828), мать Николая I.

Маркарьян Якуб, мирза (Мирза–Якуб; ум. в 1829 г.), евнух шахского гарема.

Мартин, англичанин. Мартиненго.

Масси–мирза — см. Месих–мирза.

Мати–Кули–хан — см. Мехти–Кули–хан Карабахский.

Маттеи Амалия, дочь Х. Ф. Маттеи.

Маттеи Каролина, дочь Х. Ф. Маттеи.

Маттеи Христиан Фридрих (р. в 1744 г.), проф. греческой и латинской словесности Моск. ун–та.

Маттеи, жена Х. Ф. Маттеи.

Матти (Мехти), мирза, секретарь шаха.

Махмуд–хан, капитан гвардии и обер–церемониймейстер.

Межевич Василий Степанович (1814–1849), литератор.

Меликов Соломон (Мирза–Селлиман–Маллейкаф; ум. в 1829 г.), племянник Манучар–хана.

Мензенкампф Федор, фон.

Меншиков Александр Данилович, кн. (1673–1729), гос. и военный деятель, генералиссимус.

Меншиков Александр Сергеевич, кн. (1787–1869), военный и дипломатический деятель, посланный в 1826 г. с чрезвычайной миссией в Персию.

Мерзляков Алексей Федорович (1778–1830), проф. поэзии и красноречия Моск. ун–та, поэт, переводчик.

Месих–мирва (Масси–мирза, Мессих–мирза), муджтехид, глава духовенства в Персии.

Мехти–Кули–хан Карабахский (Мати–Кули–хан; ум. в 1845 г.), сын Хусейн–хана; в 1813 г. по Гюлистанскому трактату перешел в Россию; в 1822 г. бежал в Персию; в 1829 г. вернулся.

Мехти–мирза — см. Матти–мирза.

Миклашевич Варвара Семеновна (1772?–1846), писательница, переводчица, гражданская жена А. А. Жандра.

Миклашевич Николай (1800–1808), сын В. С. Миклашевич.

Миллер Иоганн, музыкант.

Миллер М. О., врач.

Милорадович Михаил Андреевич, гр. (1771–1825), петерб. военный генерал–губернатор.

Министр иностранных дел — см. Нессельроде К. В.

Министр финансов — см. Канкрин Е. Ф.

Мирабо Оноре Габриэль Рикети, гр. (1749–1791), деятель Великой франц.революции.

Мирза–Нарриман — см. Шахназаров.

Мирза–Селлиман—Маллейкаф – см. Медиков С.

Мирза–Якуб — см. Маркарьян Якуб.

Мицкевич Адам (1798–1855).

Мищенко Михаил Иванович (ум. в 1877 г.), полковник.

Мобер, гувернер в доме Лыкошиных.

Могилевский Павел Иванович, правитель канцелярии Ермолова.

Мольер (псевд. Жана Батиста Поклена; 1622–1673).

Монкейт.

Мордвинов Николай Семенович, гр. (1754–1845), адмирал, член Гос. совета.

Мордвиновы – семья Н. С. Мордвинова.

Мосолов, домовладелец.

Мохаммед–Али–Султан, офицер.

Мохаммед–Али–хан, мирза — см. Мамед–Али–хан, мирза.

Мохаммед–Бакер–хан, брат Мохаммед–Али–хана.

Мохаммед–Велли–хан — см. Мохаммед–хан Афшар.

Мохаммед–Тахикс–бек.

Мохаммед–хан, старший сын Аббас–Мирзы, с 1834 г. по 1848 г. шах Персии. Мохаммед–хан Афшар (Мохаммед–Велли–хан), начальник Афшарского округа.

Мохаммед–хан–Замбор–Экчи–баши, верховный судья.

Мохаммед–хан Эриванский.

Мохаммед–Хусейн хан, сертип ("полковник"), второй адъютант при дворе Аббас–Мирзы, главный церемониймейстер.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756–1791).

Мошинский Петр Игнатьевич, гр., Волынский губернский маршал; член Польского тайного общества.

Муравьев А. Н.

Муравьев Артамон Захарович (1794–1846), полковник Ахтырского гусарского полка, декабрист.

Муравьев Никита Михайлович (1796–1843), капитан Гвард. генерального штаба, декабрист.

Муравьев–Апостол Матвей Иванович (1793–1886), отст. подполковник, декабрист.

Муравьев–Апостол Сергей Иванович (1796–1826), подполковник Черниговского полка, декабрист.

Муравьев–Карский Н. Н.

Муравьева Вера Алексеевна (рожд. Горяинова; 1790–1867), жена А. З. Муравьева.

Муравьевы – см. Муравьев А. З. и Муравьев–Апостол С И.

Мусса–хан, мирза, зять шаха, сын бывшего первого министра мирзы Бизюрга.

Мухаммед (Магомет; ок. 570–632), религиозный проповедник и полит. деятель, основатель ислама.

Муханов Александр Алексеевич (1800–1834), литератор.

Муханов Владимир Алексеевич (1805–1875), брат А. А. и Н. А. Мухановых, переводчик.

Муханов Николай Алексеевич (1802–1871), корнет л.-гв. уланского полка, адъютант петерб. Генерал-губернатора П. В. Голенищева–Кутузова.

Муханов Петр Александрович (1799–1854), штабс–капитан л.–гв. Измайловского полка, декабрист.

Мухранский — см. Багратион–Мухранский.

Набби–хан, мирза, министр.

Надежда Афанасьевна, гувернантка Ахвердовых.

Назар–Али–хан Афшарский, мехмандарь; сопровождал миссию Грибоедова от Тавриза до Тегерана.

Наиб–султан – см. Аббас–Мирза.

Наполеон I Боннапарт (1769–1821).

Нарышкин Александр Львович (1760–1826), обер–камергер, директор имп. театров.

Нарышкин Михаил Михайлович (1798–1863), зять А. И. Коновницыной; декабрист.

Насер–Уллах–Афшар, вице–губернатор.

Наумов, вероятно, Иван Мокеевич (ум. в 1833 г.), юрист и поэт.

Наумов Сергей Александрович (ум. в 1822 г.), дежурный офицер в штабе Ермолова.

Начальник штаба — см. Вельяминов.

Невеста Обрезкова — см. Соллогуб Н. Л.

Неджев–Кули–бек, сын Насер–Уллах–Афшара.

Нессельроде Карл Васильевич, гр. (1780–1862), министр иностр. дел.

Нечаев Степан Дмитриевич (1792–1860), литератор, археолог.

Николай I Павлович (1796–1855).

Новикова, актриса.

Новосильцев Владимир Дмитриевич (1800–1825), флигель–адъютант.

Новосильцева Екатерина Владимировна, гр. (рожд. Орлова; ум. в 1849 г.), мать В. Д. Новосильцева.

Оболенский Евгений Петрович, кн. (1796–1865), поручик л.-гв. Финляндского полка, декабрист.

Обрезков Александр Михайлович (1790–1885), дипломат; участвовал в заключении Туркманчайского договора.

Огарев Николай Гаврилович, подполковник, начальник Военно–Грузинской дороги.

Огарева А. П., жена Н. Г. Огарева.

Одоевская Ольга Степановна, кн. (рожд. Ланская; 1797–1872), жена В. Ф. Одоевского.

Одоевский Александр Иванович, кн. (1802–1839), поэт, декабрист, друг Грибоедова.

Одоевский Владимир Федорович, кн. (1803–1869), писатель, критик.

Озеров Владислав Александрович (1769–1816), драматург.

Оленин Алексей Алексеевич (1798–1854), сын А. Н. Оленина.

Оленин Алексей Николаевич (1763–1843), директор Публичной библиотеки и президент Академии художеств.

Оленины.

Омисса — см. Умисса.

Опочинин Алексей Петрович (1807–1885), генерал от инфантерии, тифлисский комендант.

Орбелиани Мария Ивановна, кн. Орбелиани Софья Ивановна, кн.

Оржицкий Николай Николаевич (1796–1861), отст. штаб–ротмистр Ахтырского гусарского полка, поэт, декабрист.

Орлов Алексей Федорович, кн. (1786–1861), генерал–майор, брат М. Ф. Орлова.

Орлов Михаил Федорович (1788–1842), генерал–майор, декабрист.

Остен–Сакен Фабиан Вильгельмович, гр. ("Сакен"; 1752–1837), генерал от инфантерии, главнокомандующий 1–й армией.

Остерман–Толстой Александр Иванович, гр. (1770–1857), генерал от инфантерии.

Павлов Николай Александрович, офицер Отд. Кавказского корпуса.

Паскевич Елизавета Алексеевна (рожд. Грибоедова; 1795–1856), жена И. Ф. Паскевича, двоюродная сестра Грибоедова.

Паскевич Иван Федорович, св. кн. (1782–1856), генерал–фельдмаршал, наместник, главнокомандующий на Кавказе с 1827 г.

Паша–хан, один из чиновников Аббас–Мирзы. Пашков.

Пеллико Сильвио (1789–1854), итал. писатель–революционер.

Перелогов Тимофей Иванович (1765–1841), проф. математики; преподавал франц. и англ. языки в Моск. ун–те.

Перовский Алексей Алексеевич (псевд. Антоний Погорельский; 1787–1836), беллетрист.

Перовский Василий Алексеевич, гр. (1795–1857), полковник, адъютант Николая Павловича во время междуцарствия, после восстания 14 декабря 1825 г., флигель–адъютант.

Перфильев, судья.

Перфильева Александрии, дочь Перфильева.

Перцов Эраст Петрович (1804–1873), литератор, публицист.

Пестель Павел Иванович (1793–1826), полковник, командир Вятского полка, декабрист.

Петр I (1672–1725).

Петр Николаевич — см. Ермолов П. Н.

Петрозилиус Иван Данилович (р. в 1776 г.), писатель, преподаватель немецкого и латинского языков, воспитатель и учитель Грибоедова.

Писарев Александр Иванович (псевд. Пилад Белугин; 1803–1828), драматург, критик.

Поггенполь мадам, вероятно, Софья Егоровна (рожд. Бейкардт), жена Н. В. Поггенполя, канцелярского служителя при российской миссии в Неаполе.

Полевой К. А.

Полевой Николай Алексеевич (1796–1846), писатель, журналист, критик, брат К. А. Полевого.

Полевые Ксенофонт Алексеевич и Николай Алексеевич. Полковник путей сообщения — см. Гозиуш К. К.

Полуэктовы ("Полуехтовы") Варвара (р. в 1780 г.), Вера (р. в 1783 г.), Екатерина (р. в 1785 г.), дочери В. Б. Полуэктова, двоюродные сестры А. Ф. Грибоедова.

Попов Григорий Андреевич, обер–аудитор суда над декабристами.

Потапов Алексей Николаевич (1772–1847), дежурный генерал Главного штаба.

Похвиснев Николай Николаевич (ум. в 1828 г.), чиновник, состоявший при Ермолове.

Пржецлавский Осип Антонович (1799–1879), журналист.

Прилуцкая, воспитанница СПб. театр. училища.

Пушкин А. С.

Пушкин Василий Львович (1770–1830), поэт, дядя А. С. Пушкина.

Пушкин Лев Сергеевич (1805–1852), брат поэта.

Пьер — см. Колечицкий П. П.

Равержи (Ravergi), гувернер Д. Чавчавадзе.

Равержи Жозефина, дочь Равержи.

Раевские Александр Николаевич (1795–1868) и Николай Николаевич, сыновья Н. Н. Раевского.

Раевский Николай Николаевич (1801–1843), полковник Сумского гусарского полка, командир Нижегородского драгунского полка в 1826–1829 гг.

Ралль Андрей Федорович ("дядя Гарри"), генерал–майор.

Рамазан–бек, ферраш шаха.

Рамазанов, ошибочно – см. Долбилов. Расин Жан (1639–1699).

Рассветаев, урядник Кавказского казачьего полка.

Раффи–мирза, министр принца Абдуллы–мирзы.

Ребров Алексей Федорович (1777–1862), шелковод и винодел; в 1822–1827 гг. служил при Ермолове чиновником особых поручений.

Рейнгард Христиан Егорович (ок. 1765–1812), проф. философии Моск. ун–та.

Рейс Фердинанд Федорович (Фердинанд Фридрих; ок. 1778–1852), проф. химии, доктор медицины и хирургии Моек ун–та, составитель "Каталога книг библиотеки Московского ун–та".

Ренненкампф Павел Яковлевич, бар. (ум. в 1857 г.), полковник Гвард. генерального штаба, прикомандированный к Паскевичу, с 1829 г. – генерал–майор.

Реут, полковник, командир 42–го егерского полка.

Ривароль Антуан (1753–1801), франц. писатель.

Рикорд Людмила Ивановна (рожд. Коростовцева; 1794–1883), жена П. И. Рикорда, писательница.

Рикорд Петр Иванович (1776–1865), адмирал, путешественник, писатель.

Ринкевич (Рынкевич) Александр Ефимович (1802–1829), декабрист.

Ровинский, полицмейстер – 358.

Родзянко Егор Гаврилович, штабс–капитан л.–гв. егерского полка.

Родофиникин Константин Константинович (1760–1838),

директор Азиатского департамента министерства иностр. дел.

Рустем, Рустам–бек – см. Бежанов Р.

Рылеев Кондратий Федорович (1795–1826).

Рылеев Федор Андреевич, отец Рылеева.

Рынкевич – см. Ринкевич А. Е.

Рахлевский Андрей Иванович (1783–1830), чиновник при штабе Ермолова в 1817–1820 гг.

Рюмин, штабс–капитан Отд. Кавказского корпуса.

Рязанцев Василий Иванович (1803–1831), актер.

С., кн. – см. Суворов–Рымникский А. А.

Сакен – см. Остен–Сакен Ф. В.

Салтыков Петр Иванович, гр. (1784–1813), камергер.

Самойлов Василий Михайлович (1782–1839), артист СПб. оперы, тенор.

Самойлов Николай Александрович, гр. (ум. в 1842 г.), адъютант Ермолова в 1817–1820 гг.

Сардарь Эриванский – см. Хусейн–хан.

Сахно–Устимович П. М.

Свиньин Павел Петрович (1787–1839), литератор, журналист.

Севардземидзев Леонтий Яковлевич, кн. ("Севирзимидзев"), командир Тифлисского пех. полка.

Севиньи (Севинис) Вильям Егорович.

Семенов Петр Николаевич, драматург.

Семенова Нимфодора Семеновна (1788–1876), актриса.

Сенковский Осип Иванович (псевд. Барон Брамбеус; 1800–1858), писатель, востоковед, журналист.

Сенявин Дмитрий Николаевич (1763–1831), адмирал.

Сенявин Николай Дмитриевич (179?–1833) – капитан Финляндского полка; привлекался по делу декабристов.

Симборский Валентин Михайлович (1800–1842) или Андрей Михайлович (1792–1866), офицер.

Симонич Анна Атаровна, гр. (рожд. Амилахвари; 1800–1866), жена И. О. Симонича.

Симонич Иван Осипович, гр. (ум. в 1850 г.), генерал–майор, посланник в Персии (1832–1838 гг.).

Сипягин Николай Мартьянович (1785–1828), генерал, с 1827 г. тифлисский военный губернатор.

Скотт Вальтер (1771–1832). Словиковский, студент Моск. ун–та.

Смирдин Александр Филиппович (1795–1857), издатель и книгопродавец.

Смирнов Д. А.

Снаксарев Афанасий Иванович, штабс-капитан Отд.

Кавказского корпуса.

Соболевский Сергей Александрович (1803–1870), эпиграмматист, библиофил и библиограф.

Соковнина Е. П.

Соколовский, учитель музыки в доме П. Н. Ахвердовой.

Соллогуб Владимир Александрович, гр. (1813–1882), писатель.

Соллогуб Наталья Львовна, невеста А. М. Обрезкова.

Сомов Орест Михайлович (1793–1833), писатель.

Сосницкий Иван Иванович (1794–1871), актер.

Софья, царевна, правительница Гурии.

Сохацкий Павел Афанасьевич (ок. 1765–1809), проф. эстетики и древней словесности Моск. ун–та.

Соц Василий Иванович (1788–1841), цензор, переводчик, театр, критик.

Сперанский Михаил Михайлович, гр. (1772–1839), гос. деятель, член Гос. совета по Департаменту законов.

Степан Никитич – см. Бегичев

С. Н. Степанов.

Стерн Лоренс (1713–1768), англ. писатель.

Страхов Петр Иванович (1757–1813), проф. физики Моск. ун–та, в 1805–1807 гг. ректор ун–та.

Строганов, бар., подпоручик гвард. артиллерии.

Стурдза Александр Скарлатович (1791–1854), чиновник министерства иностр. дел.

Суворов–Рымникский Александр Аркадьевич, кн. ("кн. С"; 1804–1882), внук А. В. Суворова, генерал от инфантерии.

Суворов–Рымникский Александр Васильевич (1730–1800).

Сухачев Василий Иванович (р. в 1798 г.), арестован по подозрению в связях с членами тайных обществ.

Сухтелен Павел Петрович, гр. (1788–1833), генерал, начальник штаба Отд. Кавказского корпуса; один из представителей России при заключении Туркманчайского договора.

Сушков, вероятно, Александр Васильевич (1790–1831), брат Н. В. Сушкова.

Сушков Николай Васильевич (1796–1871), соученик Грибоедова по Благородному пансиону, поэт.

Талаань, персидская пленница.

Талызин Иван Дмитриевич (ум. в 1844 г.), капитан, адъютант Ермолова.

Татищев Александр Иванович (1762–1833), генерал от инфантерии, военный министр, председатель Следственной

комиссии по делу декабристов.

Татищева Аграфена Федотовна, бабка В. И. Лыкошина.

Тейль Федор Васильевич, бар., дипломат.

Телешева Екатерина Александровна (1804–1850 или 1857), балерина.

Тизенгаузен Василий Карлович (1781–1857), полковник, командир Полтавского пехотного полка, декабрист.

Тимковский Василий Федорович (1781–1832), чиновник особых поручений при Ермолове в 1822–1825 гг., писатель.

Тинькова Александра Федоровна (рожд. Грибоедова), тетка Грибоедова.

Титов Егор, лакей.

Този Доминик (ок. 1783–1848), певец.

Толстой Яков Николаевич (1791–1867), литератор, член Союза Благоденствия; с 1837г. – тайный агент русского правительства в Париже.

Толь Карл Федорович, гр. (1777–1842), генерал–лейтенант, начальник штаба 1-й армии.

Третьяков Павел Михайлович (1832–1898), основатель Третьяковский галереи.

Трубецкие.

Трубецкой Сергей Петрович, кн. (1790–1860), полковник Преображенского полка, декабрист.

Туманова Варвара.

Туханский Василий Иванович (1800–1860), поэт.

Тургенев Александр Иванович (1784–1845), директор Департамента духовных дел иностр. исповеданий, писатель.

Тучков Алексей Алексеевич (1800–1879), отст. поручик, член Союза Благоденствия.

Тучков Павел Алексеевич (1803–1864), моск. генерал-губернатор, брат А.А. Тучкова.

Тютчев Иван Николаевич (ок. 1777–1846), отец Н. И. и Ф. И. Тютчевых.

Тютчев Николай Иванович (1800–1870), офицер Гвард. генерального штаба.

Тютчев Федор Иванович (1803–1873).

Тютчева Екатерина Львовна (1777–1866), мать Н. И. и Ф. И. Тютчевых.

Убри Петр Яковлевич (1774–1847), управляющий Коллегией иностр. дел. Уклонский, фельдъегерь.

Умисса ("Омисса"), доктор, сопровождавший Грибоедова до Эривани.

Унгерн, адъютант Ермолова.

Уткин Николай Иванович (1780–1863), гравер.

Ушаков Василий Аполлонович (1789–1838), писатель.

Ушакова Прасковья Александровна, родственница Лыкошиных.

Фата–мирза, гражд. представитель уезда, сын Джигангир–хана.

Федоров Борис Михайлович (1794–1875), литератор.

Федоров Василий Михайлович, драматург.

Фет–Али–хан (Беглер–бей), губернатор Тавриза, поэт.

Фет–Али–шах (Фетх–Али–шах; 1762–1834), правил Персией с 1797 г.

Фильд Джон (1782–1837), пианист, композитор, учитель музыки.

Фишер фон Вальдгейм Григорий Иванович (1771–1853), проф. естественной истории Моск. ун–та.

Фок М. Я., фон.

Фонвизин Денис Иванович (1745–1792).

Фонвизин Михаил Александрович (1788–1854), отст. генерал–майор, декабрист.

Франкер Луи–Бенжамен (1773–1849), франц. математик.

Француз, вероятно, Поль, содержатель гостиницы и трактира в Тифлисе.

Хаджатур – см. Шахназаров.

Хаджи–бек, мирза.

Харламова Д. Ф.

Хвостов Дмитрий Иванович, гр. (1756–1835), поэт–графоман.

Хмельницкий Николай Иванович (1789–1845), драматург и переводчик.

Ховен Елена Романовна, дочь Р. И. Ховена.

Ховен Роман Иванович фон дер ("Ровен"; 1775–1861), генерал–майор, тифлисский гражданский губернатор с 1818 по 1829 г.

Ховены.

Хозрев–мирза (Хозрой–мирза; 1813–1875), внебрачный сын Аббас–Мирзы.

Хусейн–хан (Гусейн–хан, Хусейн–шах), сардарь Эриванский.

Цветаев Лев Алексеевич (1777–1835), проф. теории законов и прав. Моск. ун–та.

Цветков, ошибочно – см. Цветаев Л. А.

Цезарь Гай Юлий (102–44 гг. до н. э.).

Цицианов Павел Дмитриевич, кн. (1754–1806), генерал от

инфантерии, с 1802 г. главнокомандующий русскими войсками в Грузии.

Чаадаев Михаил Яковлевич, брат П. Я. Чаадаева.

Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856).

Чавчавадзе Александр Гарсеванович, кн. (1786–1846), генерал–майор, начальник Эриванской области; грузинский поэт; тесть Грибоедова.

Чавчавадзе Давид Александрович, брат Н. А. Грибоедовой.

Чавчавадзе Екатерина Александровна (в замужестве Дадиани; 1816–1882), сестра Н. А. Грибоедовой.

Чавчавадзе Мария Ивановна, кн., бабка Н. А. Грибоедовой.

Чавчавадзе Роман, двоюродный брат Н. А. Грибоедовой.

Чавчавадзе Саломе Ивановна, кн. (рожд. Орбелиани; ум. в 1836 г.), мать Н. А. Грибоедовой.

Чавчавадзе.

Чайников, воспитанник С-Пб. театр, училища.

Чебышев Петр Николаевич, подполковник в отставке, театрал.

Челокаевы, кн.

Челяев – см. Чиляев Б. Г.

Чепегов (Чипягов) Александр Иванович (1790–1827), чиновник адмиралтейской счетной экспедиции, драматург–переводчик.

Черепанов Никифор Евтропиевич (ок. 1762–1823), проф. всемирной истории, статистики и географии Моск. ун–та.

Чернов Константин Пахомович (ок. 1803–1825), подпоручик л.-гв. Семеновского полка, двоюродный брат Рылеева.

Чернов Пахом Кондратьевич, генерал-майор, отец К. П. и А. П. Черновых.

Чернова Аграфена Пахомовна, сестра К. П. Чернова.

Чернышев Александр Иванович, кн. (1785–1857), генерал–адъютант, член Следственной комиссии по делу декабристов.

Чиляев (Челяев) Борис Гаврилович (1798–1864), правитель горских народов по Военно–Грузинской дороге (1828–1829), майор Эриванского карабинерного полка.

Чипягов – см. Чепегов А. И,

Шаликов Петр Иванович, кн. (1767–1852), писатель, издатель.

Шамир – см. Бегляров III.

Шатилов Николай Александрович, сослуживец Грибоедова по гусарскому полку.

Шаумбург, чиновник российской дипломатической миссии в Персии в 1828 г.

– см. Фет–Али–шах.

Шахзаде–Зилли–султан — см. Али–шах (Зилли–Султан).

Шахназаров (Мелик–Шахназаров) Мирза–Нарриман, штабс–капитан, переводчик, состоявший при Грибоедове в 1828 г.

Шахназаров Хачатур, курьер российской миссии.

Шаховской Александр Александрович, кн. (1777–1846), драматург, поэт, театр. деятель.

Шаховской Федор Петрович, кн. (1796–1829), отст. Майор Семеновского полка, декабрист.

Шейх–Абдул–Айсиз, сеид. Шекспир Уильям (1564–1616).

Шелехов Алексей Алексеевич ("Шелихов"; р. в 1804 г.), танцор.

Шелехова Анна Семеновна (рожд. Лебедева), жена А. А. Шелехова, актриса. Шепелев Дмитрий Дмитриевич, генерал, знакомый П. А. Вяземского.

Шереметев Алексей Васильевич, поручик л.-гв. Конной артиллерии; член Союза Благоденствия.

Шереметев Василий Васильевич (1794–1817) – офицер кавалергардского полка; убит на дуэли гр. Завадовским.

Шереметев Василий Сергеевич, отец В. В. Шереметева.

Шереметев Николай Васильевич (1804–1849), декабрист.

Шереметев Сергей Васильевич (1792–1866), брат В. В. Шереметева.

Шереметева, мать В. В. Шереметева.

Шереметевский В.

Шиллер Иоганн Фридрих (1759–1805).

Шиллинг фон Канштадт Павел Львович, бар. (1785–1837), дипломат, ученый. Шимаковский Н. В.

Ширинский–Шихматов Сергей Александрович, кн. ("Шихматов"; 1783–1837), поэт, член Российской академии, последователь Шишкова.

Шихматов — см. Ширинский–Шихматов С. А.

Шишкин Иакинф Иванович, родственник Д. А. Смирнова.

Шишков Александр Семенович (1754–1841), адмирал, писатель; в 1824–1828 гг. – министр народного просвещения и глава цензурного ведомства.

Шлецер Христиан Августович, проф. полит, экономии Моск. ун–та.

Шнейдер Василий Васильевич (1793–1872), соученик Грибоедова по Моск. ун–ту, впоследствии проф. ун–та.

Шрек Иоганн Матиас (1733–1808), нем. историк.

Штейн Генрих Фридрих Карл, бар. (1757–1831), прусский министр; с 1812 г. служил в русской армии.

Штукенберг Антон Иванович (1816–1887), инженер путей

сообщения, писатель.

Шульц Надежда Павловна, знакомая Ю. К. Кюхельбекер.

Щепкин Михаил Семенович (1788–1864).

Щербатов Иван Дмитриевич, кн. (1794–1830), соученик Грибоедова по Моск. ун–ту; впоследствии капитан Семеновского полка; сослан на Кавказ.

Экунин (Якунин), фельдъегерь, брат П. С. Экунина.

Экунин Павел Семенович (1806–1849), актер.

Эристов Георгий Иессеевич, кн. (1760–1863), генерал Отд. Кавказского корпуса, взявший в 1827 г. Тавриз.

Юноши – см. Карамзины.

Юст Вереднинов (псевд.) – см. М. А. Дмитриев.

Юстиниани, кн., первая жена Ф. И. Ахвердова.

Ягча–мирза (Яхья–мирза), сын Фет–Али–шаха, правитель Решта – 292.

Яковлев Павел Лукьянович (1796–1835), писатель, журналист.

Яковлев С. А., плац–адъютант.

Якубович Александр Иванович (1792–1845), корнет л.–гв. уланского полка в 1817 г., декабрист.

Якунин – см. Экунин.

Якушкин Иван Дмитриевич (1793–1857), отст. капитан, декабрист.

Янькова Елизавета Петровна (рожд. Римская–Корсакова; 1768–1861), автор воспоминаний.

Яхья–мирза – см. Ягча–мирза.

Aviat de Vattoy, проф. французский словесности Моск. ун-та, аббат.

Baudet, гувернер в семье А. Ф. Грибоедова, аббат.

Castello, жена француза-коммерсанта.

Goze m-lle, гувернантка Колечицкой.

Loustot, преподаватель рисования Моск. ун-та.

Michel, кн., Голицыны Прасковья Андреевна, кн. (рожд. Шувалова; 1767-1828), писательница, и Марья Аркадьевна, кн.

Petrosilius m-me.